

«БОЛЬШАЯ КНИГА»

*лауреат*

«РУССКИЙ БУКЕР»

*финалист*



Александр  
Терехов

НЕМЦЫ

*роман*

Александр Терехов

---

НЕМЦЫ

*Роман*

Москва  
«Астрель»

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Т35

Художник Ирина Сальникова

Фото автора на переплете – Виктория Ивлева

**Терехов, А.М.**

Т35 Немцы : роман / Александр Терехов. – М. : Астрель, 2012. – 572, [4] с.

ISBN 978-5-271-41571-5

Александр Терехов – автор романов «Мемуары срочной службы», «Крысобой», «Бабаев», бестселлера «Каменный мост» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА», шорт-лист «РУССКОГО БУКЕРА»), переведенного на английский и итальянский языки.

Если герой «Каменного моста» погружен в недавнее – сталинское – прошлое, заморожен тайнами «красной аристократии», то главный персонаж романа «Немцы» рассказывает историю, что происходит в наши дни. Эбергард, руководитель пресс-центра в одной из префектур города, умный и ироничный скептик, вполне усвоил законы чиновничьей элиты. Однако позиция конформиста неожиданно оборачивается внезапным крушением карьеры. Личная жизнь тоже складывается непросто: всё подчинено борьбе за дочь от первого брака.

Острая сатира нравов доведена до предела, «мысль семейная» выражена с поразительной откровенностью...

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 08.06.12. Формат 84x108/32.  
Усл. печ. л. 30,24. Доп. тираж 4000 экз. Заказ № 4374

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ISBN 978-5-271-41571-5

© Терехов А.М.  
© ООО «Издательство Астрель»

Монстра привезли в октябре; или в понедельник к трем (во вторник – правительство), или в среду, но точно: в день, когда Эбергард плавал, нырял и мерз с новой женой под пластмассовыми пальмовыми ветками аквапарка «Титаник» и бегал в турецкую баню согреться; это Улрике уговорила: посмотрим, что это за «Титаник», пока не забеременела, в общей воде – сплошная инфекция!

Забеременею... Когда... Как забеременею!.. После того как... Когда мы будем ждать маленького... Вот забеременею... Скоро... Улрике обезумела. Пусть и в будущем, впереди, но уже появился долгожданный и зажил ее «маленький». Радостно и одиноко бредила она, ослепленно, словно из-за какой-то оштукатуренной стены. По аквапарку ступала, завернувшись в синее полотенце с двумя белыми волнами зубчиками, и затуманенно улыбалась:

– Как хорошо здесь будет с маленьким... Но не сразу. Когда ему годика полтора будет. Как думаешь, сколько этому?

А Эбергард – босиком по лестницам, взлетал, оберегая треснувшую от недостатка витамина А пятку, и прыгал в синие, белые и зеленые трубы-кишки, и его мотало-било – туда! сюда! – в мигающей душной тьме – вперед! и – в пропасть, вслед за визгами ужаса –



кто ж так надрывается?! – зажмурился, брызги остро секли глаза, и – бухнулся, как бегемот, в середину бассейна, вынырнул и по-бурлацки побрел к ступенькам, утирая воду и волосы с глаз, протиснувшись меж поджарых, просмоленных солярием теток; они повизгивали, подпрыгивали, выдыхали запахи выпитого и плескались, отмахиваясь от свистков со спасательных вышек, одна пожаловалась:

– А мы никак не вылезем... Тону! – и дважды погладила ему плавки между ног.

Он поднял глаза: а видно небо сквозь стеклянную крышу? – а счастливый сегодня день!

Меж железных ящиков раздевалки Эбергард прошептал:

– Всего-то полтора часа.

Не было его с телефоном – полтора часа! И что-то случилось? Что могло? Двенадцать непринятых и сообщение; сразу толкнулось: дочь, но – нет. Нет. Звонили из приемной Бабца – три, депутат-режиссер Иванов-1 и депутат Иванов-2, все друзья – Фриц, Хериберт и Хассо – по одному, два звонка с неопределившегося, один с незнакомого и алкоголик из «Вечерней столицы», но не Эрна. Дочь не звонила.

Оказалось, это день закрепления новых знаний: Эрне одиннадцать, с августа она перестала звонить. На звонки отвечает, но не позвонит. И некого за это ударить. А хочется! Как ребенок колотит скользкий пол и мебельный угол, выбежавший навстречу. Всё эта... БЖ. Бывшая жена. Вот теперь всё злило – неторопливые, мешающие соседние раздевания, очередь на просушку волос, взвешивания, собственные ошибающиеся конечности – ни одной пуговицы с первого раза! – словно болеет мама, словно позво-

нил «у меня день рождения» начальник контрольно-ревизионного управления и придется заносить деньги «на будущее», за «отношения», просто подкормить глотку.

Три года из депутатских четырех поглаживал Иванов-2 Эбергарда крошащимся, медленно-суетливым голоском, и чем ближе выборы в городскую думу, тем чаще, и всегда отзванивал, перезванивал и дозванивался – первым:

– Добрейшего вам, добрейшего вам дня, мудрейший и сильно уважаемый господин Эбергард... Не оторвал я?.. Вы, медиамагнаты, вы формируете там, транслируете? Позиционируете? Всё решаете деликатные вопросы «под ключ»? А мы... Что мы?! – рядовые депутаты городской думы от партии «Единая Россия»... Да мы только отвлека-а-ем своими магазинами шаговой доступности, самовольно установленными «ракушками»... Растопкой снега! Насущными! нуждами! своих избирателей... Там у нас, говорят, новый префект? В три представляют? Что странно – никому не известная фамилия!

Обалдеть. Мэр уволил Бабца. Говорили, да, что после выборов в Госдуму мэр уволит шестерых префектов и половину глав управ – но так говорили после каждых выборов. Говорили: мэр недоволен именно Восточно-Южным – третье место сзади по процентам за «Единую Россию» из всех округов. В районах Панки и Овражки, в серо-кирпичных башнях, заповедниках ЦК КПСС (восемнадцатиметровые кухни, по две лоджии – а когда-то казалось: роскошь!), вдоль президентской летящей трассы «на работу! – с работы!», за КПРФ проголосовали так, что протоколы переписывали дважды! – вот и говорили: Бабец «не обеспечил», а еще больше говорили: Бабцом недовольна Ли-

да – супруга мэра, превращенная волшебством из поздневечерней страхолюдной заносчицы печенья пожилым вдовцам без надежды замуж в миллиардера; и в каждой префектуре в общем отделе «подснежником» или среди беззаконных узников архива находилась старушка осетинской национальности, с убедительными деталями вспоминавшая: «Лидкин стол вот так вот – напротив моего в нашей норе под номером восемнадцать... Вот и говорю ей: видишь, он сидит допоздна, видишь, томится он... Вставай, бери поднос и иди, неси ему чай – хватай! Кому ты еще сгодишься?!»

«Добротолубие» – ООО, обожравшаяся империя Лиды, вот эти полгода в такой спешке отжимало все земельные пирожные и торты, особенно – в зажиточном и чистом Востоко-Юге, что в префектурах и управах решили: Путин подал мэру знак – празднуешь Новый год и – вали! – заглатывают напоследок. И с козырной, четной стороны Тимирязевского проспекта «Добротолубие» с ходу вышибло оформивших уже разрешительную документацию турок – туркам молча показали: заходит сюда вот кто – и они не поползли в суды, чтоб не вылететь из города, страны – навечно! – и не откупать в Генпрокуратуре возбужденные уголовные дела на учредителей; но на соседних двенадцати гектарах промзоны выведенной в область табачной фабрики «Лайка» присели питерские федералы, ребята наглые и прикрытые со всех сторон, – уперлись и Лиде непривычно говорили: «А не пошла бы ты...» Вцепились в питерских и душили все: милиция, СЭС, административно-техническая инспекция, экологи, городские департаменты, астматики, районные советники; голубятники, многодетные, ветераны и студенты письменно протестовали на Старую

площадь, миграционная служба автобусами вычерпывала, осушала азиатскую строительную орду, митинговало окружное отделение Всероссийского общества слепых под охраной казаков Союза кулачных бойцов России. Депутат-режиссер Иванов-1 подвозил в промзону телевизионные караваны и, осторожно опираясь рукой на окрашенный желтым прутик ограждения двенадцати га, поднимал глаза на зрителей с такой скорбью, словно за его спиной – дорогая могила: «Что это строительство даст городу? Нам с вами? Нашим детям? Погибают тихие дворики, где соседи собираются на лавочках под сиренью и пересказывают домашние новости. Мне угрожают. Неизвестный в строительной каске бросил в меня бутылку из-под шампанского, осколками поцарапало ногу до крови. Но – президент Владимир Владимирович Путин призывает нас утверждать нормы права, и я избран для того, чтобы в округе властвовал закон!» Только префектура, только член городского правительства префект Егор Бабец, избитый до синевы полетами между мэрией и всегда очень веселыми представителями администрации президента (те не представлялись, «для связи» оставляли лишь номера мобильных и посреди в целом конструктивно-позитивного обмена мнениями могли вдруг спросить почетного гражданина и заслуженного строителя РСФСР: «Ты че, сука, ты еще не понял, что здесь папины деньги?!»), утратил всякую подвижность, какую-либо ориентацию и плавучесть и, окрашивая кровью окружающую среду, потонул и зарылся в донные отложения, тем более что питерские уже залили фундамент двадцать на пятнадцать на неожиданно появившихся у префекта пятидесяти сотках в Ватутинках – мэр простит?

Мэр, «обеспечив» выборы в Госдуму, удалился в австрийское поместье, взяв страшную паузу в четыре сентябрьские недели, подвесив членов правительства на крюках неутверждения, в «и.о.» – но в прошлую субботу прилетел, и всё, казалось бы, подзабылось и срослось, и мэр – Эбергард видел сам – улыбнулся два раза Бабцу на субботнем объезде реконструкции Бабушкинского аэропорта – и вот...

В машине Эбергард вспомнил: а еще же сообщение! Сообщение прислала БЖ: «Ты мне должен 550 долларов. Я заняла у людей, чтобы купить Эрне вещи на зиму. Это же надо ТВОЕЙ ДОЧЕРИ, а не мне. ДУРА я, что не развелась раньше!!!!!!» – написала Сигилд.

«Членов коллегии», а по правде, весь начальственный люд, собрали в четыреста пятнадцатой комнате, где когда-то заседал райком Ворошиловского района; за столом размещались, согласуясь с именными табличками, замы префекта, начальники отраслевых управлений и главы управ; служилая мелочь опускалась на стулья вдоль стен и заполняла шесть рядов, выстроенных у дальней от президиума стены, где проще дремать или отправлять эсэмэски любимым.

Без опозданий – славился этим – вступил сухопарый и брезгливый управделами мэрии Торопченко с вынужденной улыбкой, словно подзаблудился и в ресторан придется пройти через дизентерийное отделение, ничего не поделаешь, и масочку не захватил, увеличив паузы между вдохами и смотря под ноги, чтобы ни во что не вступить лакированной обувью. Следом, прицепом, на небольшом, неменяющемся расстоянии тяжело тащился монстр, дергая по сторонам боксерски набычившейся башкой – или перетужил галстук, или монстру позавчера пришили новую

голову и он не до конца еще к ней привык; и последним – отвязанный, беспризорный, несомый только воздушным течением – Бабец, пошатываясь, как спросонья; казалось, что на лице Бабца раздавили что-то влажное и он не успел вытереться.

– Принято решение, – равнодушно улыбнулся Торопченко, совершая изящными ладонями необходимые движения, используемые в быту для успокоения детей; через два месяца управделами готовился в двенадцать приемов отметить семидесятилетний рубеж, с завершением на речном теплоходе (чудная советская скромность не позволяла, как советовали дети, перебросить двумя самолетами четыреста двадцать близких друзей семьи на карибский остров или, чтоб не позориться, снять хотя бы на две недели яхт-клуб в Анапе по примеру председателя Верховного суда). – Бессмысленно его обсуждать. Мэр имеет право. Восточно-Южный округ, он у нас... э-э... особенный. Его-ру Ивановичу за работу – большое спасибо, – и сунул, не поглядев куда, в руки вскочившего Бабца букет и грамотку под душераздирающие редкие аплодисменты – словно морско-речное животное умирало и хлопало лапами.

Бабца вызвали на тринадцать тридцать к Торопченко, даже не к вице-мэру и, едва префект ВЮАО, выбравшись из двойных дверей, прогудел: «Георгию Валентиновичу, уважаемому, наш поклон и здравствовать...» – ему, не предложив «присядь», показали монстра: ваш новый префект, отправляйтесь и представьте коллективу, позвоните в префектуру, чтобы подготовили букет там и грамоту какую – это было особенностью работы правительства: всегда должны быть цветы, достойно; обратно бывший и будущий префекты покатили в одной машине.

Эбергард подумал: о чем они могли говорить под жадное молчание водителя? А вот от Борисоглебского моста и начинается наш округ... Да-а, по цветникам держим первое место... Вы не у нас прописаны? Да-а, я уже три года в отпуске не был... Скорее всего Бабец молчал. Он плохо запоминал имена-отчества и забыл, как обращаться к монстру.

Кончалась четырехлетняя, теперь показавшаяся мимолетной, очередная эпоха.

Замы тревожно и виновато впитывали движения Торопченко, уже отстраненно косясь на Бабца, как на размытое и испорченное несвоевременным движением изображение: бесполезно, «удалить», ничего не разглядишь толком, – и страшились взглянуть на монстра, но жажда жгла: какой он? какой теперь буду я? Только несгибаемо верный первый заместитель всех префектов, щуплый и рыболицый Евгений Кристианович Сидоров не спускал переполненных любовью выпученных карих глазниц с монстра и дружелюбно кивал: добро пожаловать, мне и слов никаких не надо, вижу – это твое место, сынок, наконец-то! – ничего, освоишься, поможем, впряжемся всем миром, навалимся, вот я, опытный подлиза-старик, обопрись – сдам всех!!!

Эбергард, как ни клонился, всё равно оказывался виден – преимущественно! – спины впереди как-то подло раздвинулись, противоположно наклонились головы, и между монстром и Эбергардом наискось всей четыреста пятнадцатой простиралась только прозрачная, воздушная, приближающая пустота. Обязательно запомнит, страдал Эбергард, единственного «члена коллегии» в белом свитере и несерьезных джинсах, краснорожего и распаренного, со слезящимися от хлорки глазами, голова гудела от ак-

вапарковых горок (и тошнило еще неделю); запомнит и подумает «а что это там за такая херня?..» – вот и первое впечатление, попал я с этим аквапарком... Монстр нелегко, словно переживая, терпя, сидел, зацепив локтем край стола, опустив неприязненное лицо язвенника, с жеваной, нездоровой кожей на щеках, и не шевелился, лишь изредка, в непредсказуемое мгновение, не связанное с Торопченковыми словами, вскидывал глаза и коротко зыркал из-под свежеподстриженной рыжеватой спортивно-военнослужащей челки; полтинник, прикинул Эбергард, плюс годик-два, откуда? что происходит с мэром? в прежние сильные годы разве бы поставил он префектом на лучший после Западно-Южного округ чело века не из семьи?

– Новым префектом назначен... э-э, – Торопченко заглянул в листок, – мы давно знаем... э-э... по совместной работе, м-м... А, вот, советником мэра товарищ... трудился. Советник мэра... – Пора было читать биографию, но на листке управделами биографии не находилось, он огласил только год рождения в Смоленской области, вуз да еще пожал плечами и удивленно обернулся к монстру: – Так вы, оказывается, мой тезка?! Ну что ж, товарищи... За работу!

Не шевельнулся ни один. Кроме первого зама Евгения Кристиановича – тот часто и облегченно закивал, словно получил долгожданный условный сигнал или сам давно задумал сменить Бабца. Молчали. Единственным словом, прозвучавшим в четыреста пятнадцатой, кроме легких и обыкновенных отпеваний Торопченко, было слово Бабца. Получая букет, бывший префект лающе сказал куда-то поверх, явно не управляющему делами мэрии, «спасибо!» другим дополнительным органом речи, не ртом, что-то в нем



дополнительное болезненно приоткрылось, как окаменевшая и заросшая слизистой зеленью раковина, внутри которой блеснуло какое-то дрожащее окровавленное желе.

Эбергард жалел не его – чего Бабца жалеть, не маленький, через месяц выйдет (мэр следил, чтобы члены семьи оставались в команде, никаких «в никуда») замом куда-нибудь в департамент национально-культурной интеграции общественно-научных организаций местного самоуправления; два загородных дома (Ватутинки пока не считаем), пять квартир, табачные киоски племянника и сауны дочери – это только то, что знают посудомойки префектурной столовой, а сколько еще вывесок, учредительных документов и свидетельств о регистрации, под которые нужное вложено, из-под которых будет сочиться и капать...

Эбергард жалел, что не успел переодеться, жалел, что опять придется поначалу бояться, изучать и облизывать. Жалел только себя, время и силы. И вспоминал, как Бабец, заместителем префекта, четыре года назад хохотал на весь четвертый этаж и всем показывал керамические зубы, подкопав по округности и повалив префекта Д. Колпакова.

Д. Колпаков, был такой, таежник, охотник, считал себя знатоком итальянских вин, ходил в лучших, но как-то не так улыбался, когда мэрова Лидия о чем-то его постоянно и нарастающе просила, а потом поручала, а потом приказывала; выполнял, но с таким лицом (казалось Лиде), будто одалживает; с годами... нетерпение – вот что в ней проявлялось; угадав это, Бабец и похоронил Д. Колпакова тайными походами к вице-мэру – они выпивали вместе еще в бронзовом веке, деля кабинет, лоб в лоб под портретом Брежнева в Красногвардейском райкоме ВЛКСМ.

И однажды Д. Колпаков (летал, конечно, слушок), прибыв во вторник на невыдающееся в целом правительство, обнаружил: в кресле «префект ВЮАО» примостился не особо смущенный, но весь какой-то неузнаваемый зам – выходит, уже не зам, Бабец, а у мэра по правую руку заготовлены букет и бумажно-гербовая благодарность Д. Колпакову за безупречную работу на протяжении многих лет. Друзья, члены правительства Колпакову недружно похлопали, он ослеп, заблудился, ломанулся выйти через особую дверь для явлений мэра, а когда Колпакова поймали и проводили к лифтам, он прошел мимо уже не принадлежавшего ему автомобиля и два часа ошалевше ходил по городу – пешком! Бабец, вернувшись в префектуру с правительства, трубил в четыреста пятнадцатой ранее скрываемым басом:

– Работать хочу! Работать буду! – и повел приехавшего «представлять коллективу» вице-мэра на заключительную чайную церемонию прямо к Д. Колпакову в кабинет – тепло и долго они там сидели, то заливаясь ржанием, то не издавая звуков жизнедеятельности, среди чужих фотографий детей и фотографий собак, рогатых трофеев и желтозубых медвежьих морд, запасных тувель, набитых мятой бумагой, недорасписанных документов и прочих неостывших и неразобранных личных обстоятельств, вряд ли испытываемая неудобство, – в правительстве принято, что приехавший в префектуру вице-мэр чай может вкушать только в кабинете префекта, а префект либо и.о., покинув начальственное место, должен скромно засесть напротив с листком для записи внезапных мыслей и поручений вице-мэра, от своей чашки ни разу не отхлебнув, и лично, не прибегая к телефону, выбежать в приемную кликнуть полногрудую секретаршу

в прозрачной блузке, если вице-мэр вдруг пожелает еще «фруктишек» или самым серьезным образом наляжет на балык, которому срочно потребуется пополнение.

Эбергард тогда подумал про Бабца: а будет день, когда и тебя так.

Никто не остановился пошептаться на лестнице, в буфет на первом этаже завернула одна отчаянная – главбух Сырцова; стремительно, листопадом снесло куртки и плащи с гардеробных рогов, отъехали разом, так, что на выезде на Тимирязевский собралась пробка представительских «хюндаев» и четверок-«ауди» с гербами префектуры на лбах.

– Привет, – Эбергард столкнулся на выходе с другом Херибертом, главой управы Верхнее Песчаное, смешливым, всегда причесанным в нужную сторону, но всегда растрепанным хохлом с выдающимся носом, любителем проехать по монастырским скитам и слетать за благодатным огнем в Иерусалим с благочестивыми федеральными министрами и старцами КПСС. Хериберт родился и довольно долго непонятно чем занимался в русско-украинских пограничных землях, в город уже приехал «взрослым», руководил фирмой «вывоз мусора и отлов собак», а потом как-то вписался в «семью».

– А он тебя запомнил, – подсмеивался Хериберт; речь его упрощала провинциальная угловатость произношений, ненужная мягкость, округлость и глухота. – Монстр-то только на тебя и смотре-ел... Как тебе новое руководство?

– Так... Человекообразное. Мужик уверен, что его и хоронить будут в машине с мигалкой.

– Шутки твои, Эбергард... – приобнял и потряс его Хериберт, коротко оглянувшись. – Шутить хватит.

В нашей школе уже другая программа. Телевизор смотришь? А монстр на тебя недо-обро смотрел. Ты бы сразу подбежал представиться – так и так, руководитель пресс-службы, прославлять буду. Спеши! Монстр, я поглядел, совсем нулевой. Пока до нас доберется, до земли... Нас-то не поменяют до выборов. А с тебя начнет. Объясни, зачем ты ему нужен. Средства-то к жизни надо добывать.

Эбергард улыбался онемевшими губами.

– Не так сфоткают, не тем боком в телевизоре... Да ты весь – на линии огня! На твое место быстро найдется проститутка или чья-то племянница!

Улрике прижала магнитом к холодильнику летописный свиток, где теснились чернильные пункты – первый, второй, второй «а» и прочее.

– Все обследования сделаем и анализы сдадим... Чтобы малыш здоровенький, – погладила Эбергарду затылок, вцепилась и больно дернула. – Ну-ну, терпи. Парочка седых волосков. Давай-ка ты сдашь спермограмму.

– Да ну.

– Надо. Ты папочка у нас зрелый, надо посмотреть, как там у тебя с подвижностью сперматозоидов.

– А как ее... сдают?

– Не знаю. Наверное, оставят тебя одного, в полутемном кабинете...

– С фотографиями Валентины Матвиенко и Кондолизы Райс...

– Дадут баночку. Может быть, в туалете.

– Дома сдам.

– Дома нельзя. Исследования проводят в течение полчаса.

– Пошлю с водителем.

– Скажешь: Павел Валентинович, гоните, пока сперма не остыла?!

Взявшись бриться, Эбергард осмотрел подаренный на день рождения гель для бритья и вдруг заметил на тюбике надпись «Не тестировано на животных» – смутную тревогу вызвали в нем эти сведения.

У человека в зеркале старость поселилась под левым веком. Чуть сжала кожу морщинистая лапка. Первым стареет то, что чаще всего используется. С первых фотографий (включая школьные доски почета) Эбергард улыбался, прищулив левый глаз. Вот и появилась метка «это придется оплатить прежде всего». Сразу захотелось поменьше улыбаться; или всё же улыбаться, но глаз уже не щурить. Словно эту дырочку, пробойну еще можно заткнуть.

До четырех часов – утра или октябрьской ночи – не мог он уснуть, чесался, вертелся и ощупывал борозды на лбу: плохо, что дочь перестала звонить. Я же не один такой. У всех так, все разводятся. Довольно пусто и просто прошла молодость, и почему-то не страшно это понимать. Многое упустил, не угадал время. Мало кто угадал. Всё из-за седых волос, это Улрике молодая...

Эрна. Эбергард звонил дочери вчера и, как рекомендовали переведенные с английского «После побоища. Советы психолога разведенным родителям», старался, выговаривал:

– Твоя мама добрая. Я хорошо к ней отношусь. У нас было очень много светлого в совместной жизни...

Мигом, едва дослушав (так близко оказалось это в ней, так много оказалось этого в ней, так сильно, плотно ее этим набили, начинили, засеяли этим его любимого толстячка и комарика), Эрна откликнулась:

– А почему ты ее змеей называл? Насекомым?

И Эбергард задохнулся: когда? Змеей – да ни разу!! Насекомым? Насекомым мог. Но зачем грязь и духоту предразводных мучений безжалостно пересказывали ребенку – зачем? Что теперь с этим делать? С этим нечего делать. Жаловаться дочери, как обзывали его? Он заснул, как только уткнулся в спасительную мысль: Эрна вырастет, всё забудет. Зарастет, не останется белесого шрама, ровно ляжет загар.

Незадолго, в августе, Эбергард расчетливо опоздал на встречу мэра с населением Восточно-Южного округа – мертвоглазые охранники мэра с бледными щеками, как и мечтал, сомкнули и опечатали двери актового зала пединститута прямо перед его носом, замуравов восемьсот пятьдесят отборных жителей – служащих двенадцати управ округа, полсотни проверенных и ухоженных ветеранов – в первые ряды (по окончании их ждали бутерброды с сыром, водка и автобус), задние ряды закрыли несчастными учителями и воспитателями детских садов – их для выполнения жестокосердной программы городского правительства «Зритель» гоняли каждую неделю: то заполнять (дудеть, подпрыгивая в дурацких колпаках) трибуны чемпионата мира по конькобежному спорту в Птичьем, то приплясывать под неутихающим студеным дождиком в толпе фольклорного фестиваля «Вятка – Москва: столбовая дорога мировой цивилизации», а то и подавно два часа махать флажками и визжать, сцепившись живой изгородью вдоль пути следования возненавиденного всеми олимпийского огня – пусть видит мир ликование России!

Не один Эбергард – опоздал на встречу и лысый ликвидатор-чернобылец Ахадов, профессионально

скорбный инвалид, любитель выступить на стихийных митингах против точечной застройки. Любая речь Ахадова начиналась одинаково: «Я попал на развалины Чернобыльской АЭС в возрасте восемнадцати лет, а по сей день езжу на автомобиле “Ока”» – и мечтал, что префектура смирит его буйство неположенной квартирой-однушкой пусть даже в панельном доме или подарит место в подземном гараже – хочешь в аренду сдай, а хочешь продай.

В общем-то Ахадов с постоянной свитой седых женщин, женщин в париках и безработных юристов, кричащих обыкновенно из зала: «Весь округ пивом залили!», «Кругом одна чернота!», «А мы не хотим переселяться! Вот сам и езжай в Бутово!», – прибыл в пединститут за два часа до начала; и мрачными изваяниями закрепились они у входа в зал, но главный санитарный врач округа Бунько увлек борцов к гардеробной стойке неожиданным сообщением, что для профилактики птичьего гриппа необходимо отказаться от яичницы-глазуньи по утрам, затем неорганизованное население (откуда узнали о встрече? никаких ведь объявлений, единственный плакат на информационную тумбу – за десять минут до начала!) попросили спуститься в цокольный этаж и внести свои паспортные данные в лист регистрации на стойке между женским и мужским туалетом, а также перенести на бумагу все накопившиеся вопросы к мэру и записаться для устных выступлений с микрофоном; а когда Ахадов с активистами гражданского общества, пропуская ступеньки, взлетел в фойе, в зал уже валило правительство и приглашенные на первые ряды, с сожалением отключая свои серебристые, позолоченные, титановые и платиновые мобильники, и требовалось обождать, что-

бы соблюсти культуру; а затем охрана вопросительно взглянула на потерявшего голос начальника организационного управления префектуры подонка Пилюса (некоторые в Восточно-Южном округе еще помнили его старшиной милиции, доставлявшим проституток в гостиницу «Молдавия»), и жирный, одышливый, возвышавшийся над всеми преждевременно облетевшей головой, в настоящее время осененной кое-каким сияющим пушком, Пилюс произвел подобие двуручного благословляющего жеста своими мягчайшими лапами, в которых никакой чемпион по армрестлингу не обнаружил костей бы при пожатии, и охрана попросила граждан не создавать давку, пустят всех, а образовать очередь и дать сперва дорогу делегациям районов; а когда же делегации прошествовали, из зала кто-то неопознанный, но приближающийся к дверям, как от полыхнувшего пламени – бегом, показал руки, сложенные крестом: замыкайте, мест не осталось! – двери сомкнулись и запечатались из интересов антитеррористической борьбы – не зря ведь зал обнюхивал спаниель УВД округа!

Ахадов стукнул было по двери, забарабанил – как?! – но к инвалиду бешено шагнули два коротко стриженных великана, у одного прямо из-за уха спускалась витая белая проволочка и заходила под пиджак, и, больно взяв Ахадова за плечо и встряхивая, пояснили: а смысл отчаиваться? – встреча для опоздавших и непоместившихся будет без изъятий транслироваться в фойе на плазменных панелях, а на поданные вопросы он получит ответ из мэрии в срок, установленный законом.

Честный и откровенный разговор мэра с населением без посредников и бюрократических препон



затягивался часа на четыре; делегации районов спали, оставляя слушать по одному дежурному в ряду, в зале пединститута нагнеталась такая духота, что в позапрошлый раз глава Верхнего Песчаного Хериберт повалился в обморок, и его волоком, расцарапав лицо, затащили за стены с градостроительными планами, чтоб не удивлять мэра неорганизованностью. В ту минуту Эбергард поклялся: больше никогда... теперь в показном отчаянии всплеснул руками, выругал сломанный светофор на пересечении Тимирязевского с Менделеевским, паркующихся баб, расплодившихся педерастов на кредитных «маздах», «форд-фокусах» и «опелях», лезущих на поворот не из своего ряда, и ликующим подпрыгивающим шагом вырвался на крыльцо – дышать, поглядывать на уток в дальнем пруду, торчащих над водой бутылочными горлышками, и дивиться щедрости плодов конкурса рисунков на асфальте, исполненных к приезду мэра местной одаренной детворой, – детвора не ушла далеко этим будним вечером, вот же она – в сияющей новой форме пинала новый мячик на новой спортплощадке согласно плану окружного управления физкультуры и спорта, вывешенному на освещенной стене, зло помалкивая и довольно обреченно оглядываясь на редко меняющиеся цифры времени на фасаде пединститута.

По исполненным мелом подрастающим новостройкам, многодетным, беременным матерям, дружным детям разного цвета кожи (негры угадывались по распухшим губам и многослойно пружинящим прическам), по роям медоносных пчел и космическим ракетам, похожим на рваные презервативы с ребристыми боками, прохаживался пожилой, необыкновенно чисто выбритый капитан милиции в парад-

ной рубахе, сердито заглядываясь на собственные начищенные туфли.

– Вы главный в округе по новостям? – неожиданно спросил капитан. – Не слышно, Юсипбеков побеждает?

– По шахматам? – Эбергард поднял плечи, опустил: даже не... – Я не слежу.

– Да не. В демократию. В долбаном Татарстане, – пожилого капитана заметно расстраивало неведение Эбергарда; своей потаенной, прячущей глаза неуверенностью милиционер напоминал мужа из рекламы таблеток для импотентов, из той, первой части, когда костлявая жена в черных кружевах манит его в постель, а он отворачивается, обхватывает ладонью взмокший лоб, кусает губы и кричит: «Любимая, засыпай сегодня без меня. Я еще хочу покормить рыбок!»

– А че в Татарстане? – Эбергард сочувственно приблизился.

– Ихний сенатор Юсипбеков схватился с Шаймиевым, – капитан сощурился в некое отдаление, где в обнимку, сопя и ловчась обхватить друг друга поудобней, переступали босиком по ковру потные татары, – протестует, что зажали свободу слова, газеты в намордниках. Предприятия приватизировали только своим, в семью. Самоуправления – ноль. Ручные суды. Милиция там... Ващ-ще, – капитан сморщился и сплюнул горечь меж туфлей, – третий месяц уже бьются. Измучили меня уже! Путин-то ведь должен вмешаться! Ведь даже если я это вижу!

– Путин... Конечно, должен. – Неудобно спросить «вы татарин?». – Вы из Татарстана? Или жена оттуда?

– Да нет! Так просто, обидно за людей... Ведь тоже – Россия! А если слетит Шаймиев, то Юсипбекова не поставят. У него братья под следствием за вымога-

тельство и похищение – поставят кого? – И капитан, от чего-то проясняясь, пропел: – Нургалиева. А как с министров уберут Нургалиева, начальник ГУВД Харитин затопчет нашего окружного Мищенко в две минуты! Он Мищенко не-на-ви-дит. Комиссии с округа не вылазят, как аттестация – Мищенко заныривает в реанимацию!

– Почему?

– Мищенко не тамбовский. Харитин на все округа своих, тамбовских поставил, а Мищенко снять не может, тот в волейбол с Нургалиевым играет. Без Нургалиева нашего окружного вынесут! – Капитан злорадно рассмеялся. – И тогда! Наш начальник ОВД – в тот же день! – Пляскина уволит, своего зама по розыску. Его Мищенко со своего занюханного Зеленограда привел. Куча дерьма! А не уволишь – Пляскин с нашим окружным по таможенной части шустрят, гонят контейнеры с Китая. В ОВД заезжает раз в неделю, только деньги забрать – за год «лексус» и «ренджровер-спорт» взял, и жене... А нашему начальнику на день рождения гантели принес, слышишь – полковнику милиции! Тот упаковку резал, поверить не мог – одни гантели?! А Пляскин вылетит, – капитан прошептал, – и Чупрыне не жить.

– А это вы... Чупрына?

– Если бы! Чупрына Пляскину дачу строит. Они с Пляскиным вот так во, – капитан растопырил малиновые, словно отдавленные, пальцы, свел ладони вместе, образовав противотанковый еж, пальцы намертво сжал и показал Эбергарду получившуюся модель суперпроходимой вездеходной покрывки. – Чупрына – участковый, как я! Мальчик, сопли еще! А мозги натренировал – знает, где вычитать!

– А он вам... что-то...

– А то, – капитан сильно покивал фуражкой, словно пытаясь согнать с нее ртутные дождевые капли. – А то, что я и не знал, что гордума районы заново размежевала в позапрошлом годе... И пристанционная площадь в Песчаном, где бабки несанкционированно торгуют, хохлы, белорусы текстилем и мебель у них, и черные по выходным подъезжают с машин овощи... Тоже незаконно. Что это уже не мое... Что это уже Нижнее Песчаное, а не Верхнее... Притащил, сволота, закон с гордумы и доказал: это его теперь территория, а моя кончается на кругу, где троллейбусы разворачиваются – а туда только семечки да носки выносят с трусами, да и то если без осадков. А бабки эти, белорусы, хохлы да черные, да еще когда бахчевые пойдут, э-эх, – капитан не сдержался, повел ладонью перед собой, словно вошел в сверкающее пшеничное море, переходившее там, вдалеке, в слепящее сияние подсолнечника на зеленых волнах. – Там, дружище мой... В Эмираты хоть каждый месяц летай. Там, дружище, на всё хватало, – и еле слышно заключил: – А теперь – Чупрыне. Такой гаденыш! – и с болью мотнул головой.

– То есть снимают Шаймиева... – Эбергард ничего не понял. – Нургалиев уходит, начальник ГУВД увольняет окружного...

Капитан еще раз прошелся по всей схеме, проверяя верность соединений:

– Следом вылетает Пляскин, а за ним – Чупрына, – и взглянул с вопросом: понял?

– И? – осторожно спросил Эбергард.

– И я – в Нижнее Песчаное! – неприязненно закончил капитан, обижаясь, что главного Эбергард не уловил. – Ну не может Путин как гарант в Татарстане не вмешаться! Я думаю, па-лю-бо-му – Шаймиеву не усидеть! Ведь слежу по Интернету – чистое средневе-

ковье в Татарстане... Всё, как мы читали: какие-то баи! Феодализм! Да и народ, как ни запугивай, а терпение-то не бесконечно. Лопнет ведь? Выйдут за правду на площадь! И встанут. И скажут! Верно?

Эбергард вздохнул, одинаково не зная, где правда, что правда, что будет; они с пожилым капитаном иноземцами безмолвно взглянули в начинающийся вечер, поверх человеческих ручьев и малых речек, струившихся под теплым ветром от метро «Панки» радиальной, – ответвляясь в «Перекресток» на улице Кожедуба, возле которого нищие, утепленные шарфами и лыжными шапками смуглые дети гонялись за богатыми и, настигнув, крестились в упор, дальше, погрузнев сумками, течение замедлялось и тонкими струями, каплями, волнами растекалось в подъезды и дворы, окруженные четырьмя панельными полотнищами; кратчайшими тропками возвращался в гнездовья офисный люд, женщины с поблекшими вечерними лицами несли на спинах мысли об ужине и мысли о выездной пятничной торговле овощами и фруктами из Липецкой области и персиками из Испании; в подъездных пыльных окнах дрожь распускались пятна света, пестро, в разную мощность.

Брызнул свет в фонари, воздух, тишину наполняло автомобильное нарастающее и стихающее шипение, подстегиваемое сигналами нетерпеливых. Капитан и Эбергард смотрели куда-то превыше, над слабо подсвеченным облачным подбрюшьем, где еще незримо мириадами звезд расположилось и сияло им всё то, во что давно пора вмешаться Богу, а еще лучше Путину.

В фойе к плазменному экрану, как к постели больного, шепчущего в полузабытьи и вразнобой детали завещания, клонились начальник оргуправления префек-

туры Пилюс и украшенный перстнями и золотом Валера Гафаров из окружного управления культуры. Пилюс слушал внимательно и поощрительно, пометчая в ежедневнике, телевизионного мэра, опалаемого непрерывными фотовспышками. Мэр с неторопливостью главного гостя, с накатом, рассекая правой рукой что-то невидимое, но неубиваемое окончательно, вот опять! – подлетающее к нему, ничем не стесняя вроде бы обезумевшие, не ожидавшие ничего такого и близко аплодисменты, обещал районам Заутрени, Измальцево – и даже Старо-Бабушкинскому! – легкое метро – в будущем году! На сцене, да и в зале все знали: метро в Заутрене и далее не будет – всё, что строится больше года, мэра и Лиду уже не возбуждает, если только на близящихся выборах в гордуму и на выборах президента мы все: ветераны, наши терпеливые подруги – жены, наша удивительная (сжал мэр кулак и потряс, словно наказанную муху) молодежь – сделаем правильный выбор – отдадим голоса стабильности! Преемственности! Процветанию и – единой России! – Мэр поднял обе руки: – И-и-и – поддержим нашего президента!!! – И запил водой под бушеванье зала.

– Щеку не трогал? – спросил Эбергард. Если мэру что-то не нравилось, он щипал левую щеку, словно проверяя качество бритья. Выступления на правительстве (даже если успевалось только «Глубокоуважаемый Григорий Захарович, уважаемые члены правительства и приглашенные. В первую очередь я бы хотел...») сворачивались в «Спасибо за внимание!», как только мэр трогал щеку.

– Эбергард, – Пилюс начал раздуваться и розоветь, дрогнули жирные щеки и скопившееся тесто под подбородком, – завтра в девять мне на стол объяснительную о причинах неприсутствия на встрече!

– Есть, Сергей Васильевич. Как у тебя с прямой кишкой? Газы хорошо отходят?

– Я буду докладывать префекту. Лукавите с префектом!

– Да ладно тебе, – чуть не сорвалось «толстый».

– Со всеми лукавишь! – над белесыми бровями Пилюса вдруг образовались гневные ямки, подскочив и нависнув, он просипел, бешено, обрываясь: – Смари... Без ног останешься! – Мгновение – и мчался уже, заранее шутовски приседая и помахивая воображаемой шляпой, – в фойе в поисках туалета забрел водитель мэра, и Пилюс бросился его проводить и запомниться на всякий случай.

– Че ты так с ним, – поморщился и тянул с освобожденным, намаявшимся в заточении и оттого трижды усиленным акцентом Гафаров. – Гнус, конечно. Но, говорят, с территорией у него отношения есть.

– У солнцевских он никто. Шавка. В бане кому-нибудь спину трет.

– И главы управ, говорят, через него Бабцу толкают.

Эбергард только презрительно фыркнул и послушал мэра.

Гафаров с некоторой робостью потревожил Эбергарда еще:

– Недовольна Лида нашим, а? После выборов снимут Бабца? Кажется, и мэр как-то... нервничает. Говорят, Путин его вызвал, – шептал уже будто себе Гафаров, – и спросил: Григорий Захарыч, ваша семья еще не наелась? Может быть, и нам пора покушать? Обеспечите выборы, и приглашаю вас после нового года стать моим советником... А в город Зинченко пойдет из питерского ФСБ. И – снимут всех. – Гафаров бес-

связно добавил: – У меня ты здесь один друг, один живой человек. С этими разве поговоришь.

– О, а это мой кусочек, – показал Эбергард на трансляцию и вытащил из кармана свой экземпляр стенограммы, чтобы сверить.

Мэр пропал. Камеры поймали и приблизили старика. Переступая телевизионные шнуры, старик шатко брел к микрофону «для вопросов с мест», отстраняя растерянно оглядывающихся на невидимых старших охранников, сгибаясь под орденоносной тяжестью пиджака, и то умоляюще, то гневно взмахивал искривленной, словно неправильно сросшейся после перелома, ладонью: дайте ж слово, я!

Зал напряженно молчал.

– Григорий Захарыч, – прочел Эбергард, – уж извините, что прервал, без записи, Синцов Николай Игнатьевич, район Заутреня, фронтовик, инвалид...

Доковыляв до стоящего цаплей микрофона, старик вцепился в него и, закрепившись, неожиданно звучно захрипел:

– Григорий Захарыч! Уж извините, что прервал... Без записи. Синцов Николай Игнатьевич. Район Заутреня. Фронтовик, инвалид...

– Николай Игнатьевич, для этого я и встречаюсь с населением, чтобы без записи... – пробормотал Эбергард.

Мэр уложил локти на трибуну и улыбнулся с не присутствующей в живой природе кошачьей теплотой:

– Николай Игнатьевич! Для этого я и встречаюсь с... – показал рукой в зал, – чтобы без записи, напрямую... – И объявил, подобравшись и налившись жадным и тревожным вниманием, словно подсвеченный далеким пожарным заревом: – Слушаю вас!



– Хорошо тут говорили и за метро, и за магазины шаговой доступности, – перечислял Эбергард.

– И за то, чтобы летом на лыжах кататься, в трубе, – заходил издалека на цель старик, словно ведомый диспетчером. – Чуем мы, недобитки, вашу заботу... Но хотелось ба, чтобы и вон те...

– Рукой.

Старик освободил левую руку и показал в обмерший президиум:

– ...помнили о тех, кто отдал свое здоровье. О каждом. А то пообещали нам машину с ручным управлением. Бесплатно. К юбилею Победы. Август уже. А машины нету. И в управу писал. И в префектуру вашим там... И депутату Иванову-2. Все отвечают, – старик развел руками, – в течение года получишь. А вдруг я...

– Кончусь. Легкий смех, – следил по бумаге Эбергард. – Годков-то мне – восемьдесят семь.

– Лет-то мне, – старик задумался и потряс головой, бухсуя, что-то припоминаяще пережевывая, – а верней: годков-то мне – восемьдесят семь! Сегодня вроде бегаю еще, а завтра... А вдруг не доведется проехать за рулем до внучек...

– Николай Игнатьевич, – поднял Эбергард руку, – вопрос ясен.

– ...ясен. Присаживайтесь, пожалуйста, – мэр вздохнул, опустил руку и как-то расстроился, пришлепнул ладонью и чуть смял лежавшие перед ним бумаги и вроде знавшие подробнее всё – но не это! Подвинул стакан, еще вздохнул и закусил губу, превращаясь в то, чем физически был на самом деле, – тучного, маленького, вислощекого старика, давно уставшего от ежедневного этого всего...

– Знаете. Сейчас вот подумал, – бормотал Эбергард.

– ...Что мы, – цедил мэр, тускло вглядываясь в не смевшее отвести глаз правительство, – в теплых своих кабинетах... Очень часто стараемся делать всё-всё – по закону. И при этом сами, как люди, как-то... гложнем... Кожа толстеет, слепнем...

– Всё надеемся на правильный документ, на хароший закон...

– ...А человека, – мэра прожгло, и он сморщился в страшной тишине сострадания, – живого, отдельно-го, родственника нашего...

– Дебил! Брата нашего! – Эбергард с возмущением врезал по коленке, Гафаров, подброшенный бесшумным взрывом, вскочил и отбежал, словно потребовали его заботы, двумя поворотами головы по девяносто градусов установив, кто, где, на каком расстоянии и что могли...

– ...Родственника родного... – вздохнул мэр, как-то заскользив. – Нашего... Того, кто... Как родной. С нами... Брата не слышим! Вот – брата! Родного, может быть, брата!!!

– Потребительский рынок. – И Эбергард скомкал стенограмму, листы шевельнулись еще в его ладони как живые, пытаясь расправиться.

– Корешков! Есть здесь Корешков, потребительский рынок? Могу я вас попросить, Андрей Сергеевич, чтобы к окончанию нашей встречи, а именно, – мэр показал президиуму наручные часы с приложенным к циферблату собственным пальцем, и голос его пустился в рост, имея в виду утонуть в крике, – к двадцати одному ноль-ноль! У входа нашего дорогого Николая Игнатьевича чтобы ждал положенный ему автомобиль, и мы все вместе попросим Николая Игнатьевича, во-первых, нас покорнейше извинить, а во-вторых, сесть за руль собственного авто и по-

ехать навестить своих внушек, и пусть телевидение это покажет! Будет?!! Обождите, товарищи, хлопать. Корешков, я не слышу, что ты там мямлишь, ты всем скажи – вон сидит народ, кому мы служим! – будет? Или нам дальше с тобой не работать!

– Будет, – ахнуло что-то приподнявшееся в президиуме, роняя очешники, авторучки и телефоны, и суетливо поспешило на выход.

Мэр, зло сощурясь, обвел взглядом каждого в президиуме, и только потом утомленно опустил голову, пережидая аплодисменты и восторженный рев.

– А я-то удивлялся, подъехал: на парковку не пускают, а инвалидка какая-то новенькая стоит. – Гафаров подсел обратно и тронул Эбергарда за плечо. – Переехал?

– Дом еще не сдан. Пока на съемной.

– На съемной! Я тебе удивляюсь. Сколько тебе лет?

– Тридцать шесть.

– Ну, и зачем ты развелся, Эбергард? – Гафаров ближе двинул стул, сидели словно на лавочке. – Остался бы. Ради дочери! Ради детей мы живем. Эх ты!

Странно: человек всегда помнит, сколько ему лет. Не ошибается. Никто не припоминает утром в кровати и не высчитывает.

Остаться с бывшей женой, с БЖ. Жить до смерти с Сигилд. Ради Эрны.

Если бы Эрна спросила его: как так получилось, ну, у вас с мамой. Что бы ответил Эбергард? Да так, ответил бы. Собирались лежать в одной могиле. Но передумали.

Но себе (эти разговоры внутри черепа текли как кровь, постоянно и становились различимы в лю-

бом одиночестве его, заполняли его личное молчание, даже когда ел, когда сидел на коллегиях) он отвечал еще.

Почему развелся? Больше не мог гулять каждый вечер с собакой один. Год за годом. Не любил жену, совершенно и давно. Жена пахла смертью. Убожество. Не совпадали. Во всем – рознь. Последний год молчали, не только зная, но и ненавидя всё, что каждый произнести мог. Эбергард не мог сделать жену счастливой... Из оправданий это он примерял первым, для повседневного ношения.

Нет, сперва вот – БЖ его не любила. Хотя неважно... Ни сильно не любила, ни слабо, ни из уважения, привычки, страсти (да смешно...), скуки – никак. И только потом (он оборачивался: хватит?) – он задолжал. Улрике уставала ждать. Самая красивая девушка в окружном управлении здравоохранения не говорила: идут годы, а что у меня есть сейчас, что у меня там впереди? Я вся, всё тебе. Когда-то будет – мне? Это звучало само. Трещало в ветках южными вечерами. Завелось и расплодилось в мобильнике и заселило всю его жизнь. Так само склеилось, подстроилось, образовалась дневная рабочая смена: поцеловать, сказать, принять доставляемое счастье – на этикетке, в приходнике указывалось «счастье». Эбергард не говорил «счастье», он отношения с Улрике никак не называл; кто-то другой, посторонний предложил бы варианты «нравится», «удобно», «подходяще» – принимаемый, но не оплачиваемый товар слежался за месяцы и годы (да, так незаметно, незаметно, а – пять лет) в сонную повседневную вату, она вроде и не весила ничего, но – если Улрике не было день (вот если не она, а он уезжал на море с семьей – другое совсем дело!), неделю, или ссорились, и Эбергард вдруг на тоскли-

вую минуту в точности представлял, как это – навсегда совсем «дальше без нее» и у Улрике сразу появится сильный и лучший другой, сделавший Эбергарда не просто «вчера», а «несуществующим вчера», – сразу чуял он что-то похожее на... Сгоревший дом, где жить... На... болезнь и обмочившую клеенки старость – больше никому не нужен. На... нечем жить, всё уже случилось.

Почему Улрике? И об этом думал, но прежде. Сейчас поздно об этом. Ведь не только молодое тело и тепло «меня опять полюбили». Эбергард заметил: он незаметный инвалид – чтобы чуять себя уверенным, ему приходится прилагать дополнительное усилие. Как ребенку в игре больших. Чтобы никто не догадался, что он ребенок.

Всё, что он видит, всё, что чувствует... нуждалось в чем-то подтверждении. И этот, который рядом (вот кем умела делаться Улрике), должен не просто подтвердить: да, ты это видишь. Чтобы сказал, что именно там видно. И только после этого Эбергард начинал сам... понимать. И переживать увиденное по-настоящему. И мог что-то делать.

«Я как-то недоразвит». Оставаясь один, говорил себе вслух.

Так задолжал, и ежедневные выплаты гасили только начисляемые проценты за использование, не уменьшая суммы задолженности, – дожидаясь каждый вечер в сберкассе (вдруг кто-то привяжется, не сможет выйти с работы одна), провожать, каждый день, не просто до метро, а еще вниз. Пряча нетерпение (это для Улрике ничего больше не существовало! – а у него по домашнему адресу существовало еще как! – и росло, и дожидалось его тот же самый каждый вечер!), грустно (пять лет не улыбаться в эту ми-

нугу, ему же больно расставаться с любимой), с заботой, отводить для отдыха взгляд (хоть на что-то!) на меняющиеся цифры метрополитеновского времени – что бы загадать? И не успевал – подходил освобождающий поезд, возвещая о своем приближении вразнобойным раскачиванием круглых фонарей (качались, били немые колокола) и гоня перед собой из тоннеля, словно выдыхая, плотный ветер.

Следующий блокпост: объятия и поцелуи (а вот и закрываются двери), прощальный взмах руки, сожалующее (пять лет!) лицо – он махал рукой с запасом, на всякий случай: вдруг безумное оптическое несчастье – вдруг любимая, Улрике, еще видит его сквозь три вагона, засечет облегчение, заселяющее лицо, улетающая в тоннель? И – делался собой, еще одним самим собой, и взбегал по помогающим ступенькам (и часто на улице в машине ждали его Сигилд и Эрна – «встретим тебя у метро»), и чувствовал себя одинаково: наслаждался освобождением, сдан экзамен – каникулы!

Шло нормально и безболезненно как-то. И теперь – ничего, не вспоминаются первые дни и недели юного тепла с Сигилд, воспоминания не приходят, не тревожат, словно не могут прибыть сами по себе, словно воспоминания как вагоны – их сила должна притащить... сила чего?

Вот что заболело – зимой Эбергард с Эрной сели в первом ряду «иллюзионного театра» (уже переехал к Улрике, но с дочерью как всегда ходили куда-нибудь – каждый выходной), расстегнувшись, но не раздеваясь – холодно! Поверили рекламе, а оказалось – подвал, скамьи на тридцать мест в вымирающем государственном учреждении культуры в районе Тимохино, там во дворе еще выстроили сарайчики и клетушки зоопарка –

за стеклами, запотевшими, как в дыму, томились фазаны, ворочался хряк и мерзла кенгуру – меж клеток уважительно вели возможного спонсора торгово-азербайджанского вида. Спонсор жадно грыз семечки и плевал, в «иллюзионном театре» его тоже усадили в первый ряд, и седой абориген давал пояснения на ухо, указывая то на отопительные батареи, то на определенный угол почерневшего потолка, то на сцену. Свет погас и зажегся, обнаружив на сцене толстого фокусника с блудливым лицом в адресованном спонсору черном фраке и четырех фей.

Фокусник попятился, вглядываясь во что-то затылком, утопил зад в черном занавесе, оцепенел и вдруг натужно и механически равномерно пополз вверх, то есть – всплыл над сценой, мелко и как-то неуверенно помахивая, барахтаясь руками.

Зрители недоуменно молчали.

Лицо фокусника напряглось, и он осторожно завис в метре над сценой, скрестив ноги. Феи набросили ему на шею обруч, фокусник крутанул его пару раз, свалил на живот и с грохотом уронил под ноги, доказав, что с земной твердью ничем не связан, и выманил сострадающие аплодисменты.

С прежней натугой он опустился на сцену, заметным движением отцепился от чего-то металлического, проскрежетавшего за спиной, и отступил, давая феям потанцевать. Самая красивая, брюнетка, танцевала хуже всех.

– Для исполнения следующего номера нам потребуется... Ну вот хотя бы вы. – Фокусник схватил за локоть покорно поднявшегося Эбергарда и прошептал: – Как звать?

Эбергард также шепотом ответил, фокусник развернул его к публике и прокричал:

– Для начала я угадаю имя! Моя ладонь. На ней ничего не написано? Смотрите на мою ладонь и думайте – только – о том – как вас – зовут!

Эбергард смотрел на мятую кожу, в чужую ладонь, походившую на овчарочью морду, послушно проговаривая про себя: Э-бер-гард; почему-то стало душно и страшно.

– Вас зовут... Эбергард! Так?!

Эбергард неубедительно поразился. Феи выкатили гильотину, поставили его на колени, шея легла в железную выемку, сверху прихватила такая же выемка в опустившейся доске и заперлась на замок – теперь снаружи, к зрителю, торчала одна голова.

Эбергард, усмехаясь, пытался задрать голову и посмотреть в зал, но светильники с подпотолочной штанги слепили, он больше не видел дочери. Эрна.

В круглую дырку на ладонь ниже его подбородка воткнули зеленый банан. Улыбнитесь, зрители: вот он тянется мордой к банану, но не достанет – руки-то скованы.

– Внимание! Я нажму этот рычаг, – фокусник, видимо, положил куда следует руку, – стальной, остро отточенный нож обрушится и безжалостно срубит тропический плод, но голова, – он потрепал Эбергарда по затылку, – уцелеет. Бывали, правда, у нас пару раз, хе-хе, накладочки...

Эбергард наконец всмотрелся сквозь жаркий, раскаляющий и останавливающий кровь свет, выбрал среди глазастых бледных пятен и опознал: дочь застыла в каком-то страдальческом наклоне, словно берегла больное ухо от сквозняка или ее попросили так наклониться, чтобы не загораживать задним, губы ее тесно сжимались и тянулись вперед, как всегда, когда она что-то терпела – взятие крови или их с Сигилд ру-



гань, – но он не понял, смотрит Эрна на него? нет? – сверху что-то лязгающе обрушилось, он уронил голову и зажмурился.

Пока показывали фокусы, пошел липкий и чистый снег. Растает? Или много нападает, до сугробов, и на тротуарах раскатают ледайки?

Эбергард подождал у подъезда, пока Эрна сбегала за мешками мусора, – вынесу сам, – они обнялись и постояли, как всегда, замерев и зажмурившись. Он проводил дочь и бросал в ее окно снежки, Эрна хохотала, когда легким тычком снежок лупил в стекло и осыпался, оставляя белую оспину, словно след копытца, а после – махнул рукой и в безмятежной радости подхватил крупногабаритный мусор, какие-то коробки, пахнувшие пирожными и пролитым вином, – теперь, после него, у БЖ, в его бывшем доме часто бывали гости, – понес к мусорным контейнерам и вдруг заметил, что навстречу движется его собака, так же, как всегда ходила с ним, только как-то грустно переставляя лапы по снегу, на поводке у существа в вязаной шапке – на существо он не взглянул, без разницы, урод и урод, – Эбергард улыбнулся собаке, промахнул над играюще задравшейся мордой мусорным пакетом и уронил его в четырехугольные колодезные недра; и не обернувшись – рванулась за ним собака? нет? – побрел к машине, забираясь и забиваясь в фанерном, посылочном ящике тоски. Стыдясь: не погладил собаку! И поехал.

Под продуманные уговоры водителя (Павел Валентинович просил в счет будущих зарплат беспроцентную ссуду в двести тысяч на покупку машино-места) он смотрел на свои руки: в них ворочается боль? Да. Не потому, что у Сигилд «кто-то есть», пусть спят и будут счастливы, рожают детей. Потаенно-свире-

пое шевельнулось потому, что урод пошел к его дочери, а он, Эбергард, – с высокой скоростью удалялся в противоположную сторону, и каждое мгновение – удалялся: стоял на светофоре – удалялся, выбирался на Третье кольцо и еще больше – в юго-западном направлении, а потом на юг, уставясь в телефон, в набранные, непринятые, рассматривал свою боль кончающимся вечером после «иллюзионного театра», после ресторанных шашлыков и счастливой беготни друг за другом с потными головами по новому снегу, в тот именно вечер, когда он почувствовал крепкое (а выходит – показалось): мы родные, вместе, так будет всегда, со взгляда в роддомный сверток, в спящее лицо, сразу показавшееся ему прекрасным...

А это только укус, яд подействует позже. Позже – его Эрна обнимет уroda в благодарность за подарочный пакет. Потом (мама подкажет) и поцелует. Будет его как-то называть. А попривыкнет (и маме приятно, ведь он столько делает для тебя) и – папой. На свадьбе, благодарно глядя на уroda, будет говорить тост «за родителей».

Он не мог не смотреть на телефон, но Эрна не писала.

Главное – не обижаться. Нельзя говорить: а маме ты пишешь по двадцать раз в день. Но он так обязательно скажет.

Той же ночью, когда первый раз возникли болевые ощущения, позвонила Сигилд. Он задыхался, как только видел ее номер, и с лающей ненавистью уже кричал навстречу:

– Алло!!!

– Когда ты еще привезешь деньги? Ты даешь мало! Мне приходится бомбить на машине, чтобы заработать Эрне на репетиторов! Обязан нас полностью...

Отключил телефон и наливался свинцом. Тяжести. Чтобы, как прежде, легко ходить и всех веселить, потребуются дополнительные усилия.

Руки сжимались сами собой, чтобы крепко держать Эрну.

В августе двери распахнулись взрывом, штурмом, нарыв лопнул, и распаренное счастливое население хлынуло, кто прыжками по лестнице вниз и – в туалет семящей пробежкой, кто – сразу на улицу, жадно вставляя сигареты меж губ и выкликая водителей в мобильники, а кто к буфетным стойкам зацепить поразительно дешевые бутерброды с икрой и красной рыбкой; мэра осадили крепостные телевизионщики, за спину его решительно протиснулся и мрачно встал кроваво-синий Бабец, совершенно заслонив беззвучно выматерившегося председателя гордумы, и тот теперь, подпрыгивая, мелькал на мгновение лысиной то из-за левого плеча Бабеца, то из-за правого и опять проваливался. Словно получая подзатыльники, Бабец кивал каждому сказанному мэром слову, тревожно глядя куда-то вверх и вбок, где с грохотом громоздились одна на одну горы размечаемой мэром работы, отжимая левым плечом ректора пединститута, пытавшегося напомнить о хозяине зала в вечерних новостях, а правым, не нажимая, но и не уступая, сиамски сросшись с лохматобровым вице-премьером Левкиным, несменяемым руководителем «строительного блока» в правительстве, – еще в прошлую пятницу все шептали: Левкина арестовали прямо в барокамере, где он проводит по три часа в день, чтобы соропостижно не умереть на семьдесят шестом году жизни, что на даче и в квартире его идут обыски, изъяли слитки золота и знаменитую коллекцию запонок

с бриллиантами! лета не проходило, чтобы Левкина не «арестовывали» то в кабинете, то в итальянском поместье на озере Гарда, где воздух такой сухой, что не бывает пыли. Раз в три месяца мэр, дождавшись по федеральному каналу прямой трансляции заседания правительства или демонстрации обманутых дольщиков, заглядывая в бездны между словами, цедил закрывшему лицо руками Левкину: «Мы вас уволим, Левкин. С вами, Левкин, нам дальше не по пути», но проходил год, еще год, еще, еще два, еще, и «Добротолюбие» Лиды без Левкина, как и прежде, не ступало и шагу.

Вокруг сплотившихся спин и крепких, серебрившихся сединой затылков крутился маленький и сухонький первый зампрефекта Евгений Кристианович Сидоров, обросший сивыми космами, наметив расцеловаться с китайцем – пресс-секретарем мэра и Володей Пушковым – начальником охраны (в интервью «Известиям» весной мэр признался: горько, но теперь, когда он поднялся на ледяную вершину одинокую, друзей у него осталась двое всего: китаец да охранник, и, если мэру плохо, на ночной кухне он делится с ними); с китайцем и Пушковым все встречные целовались теперь в губы да еще норовили дружески сграбастать, приподнять в воздух и потрясти.

Кристианыча не любили за подлость, он всех равнодушно ненавидел, особенно Эбергарда, взявшего в любовницы, а затем в жены госслужащую из округа, которая в общем-то производила впечатление на значительное число лиц, и сам Кристианыч, видимо, как-то задумывался: а вот бы с такой бы...

Говорили: настоящая фамилия Кристианыча – Рыжик. В году обязательно бывал день, когда на фасад

ной стенке кинотеатра «Комсомолец», глядевшей на префектуру, за ночь малевалось размашистое «Рыжик, мы всё знаем!!!!!» и утром пожарно устранялось силами подчиненного Кристианычу жилищно-коммунального хозяйства управы «Смородино».

Слизняком тек, черепахой ползал, просачивался Кристианыч вдоль префектурных стен, подслушивая, следя, встречных, кто послабее, не узнавая, с подчиненными разговаривал брезгливым шепотом, не предлагая сесть, совещания проводил с образцовой краткостью и дельностью, потешно разводил руки перед равными и начальством: «Да кто я? Так, ничего... Дворник! Бумажки с места на место перекладываю» – и мог бесследно замотать любой вопрос, отговорить префекта от любого шага и всех вокруг столкнуть, запутать и перессорить.

Кристианыч наизусть помнил площадь каждого водоема в округе, включая пруд во дворе индонезийского посольства, нормативы, расценки, цифры бюджетных статей (даже в прошлом году), расход краски на квадратный метр, не терпел опечаток и опозданий, хотел, чтоб про него говорили «профессионал», смеялся только тогда, когда префект находил уместным рассказать анекдот, но тогда уже – до икания и падения лбом на стол; чаще Кристианыч зловеще предостерегал – любимейшее его особенно население на встречах, – предостерегал темновато и страшно, словно единственный зрячий среди слепцов, будто видит он один те «силы», «кое-кого», толкающего простой, добродушный люд на самоубыточные волнения, чтобы «обострить», «столкнуть», «подорвать», паникой вынудить к переезду; ведь для чего это всё? – а чтобы подешевле скупить ваши квартиры! – не поддавай-

тесь, мирно разойдитесь, потерпите еще полгода без горячей воды или круглосуточное забивание свай под окнами и – всегда верьте властям!

Пыльной тлей, жуком жил, прогрызал свою дорожку Кристианыч в бумагах, в папках, в кабинете, не выезжая дальше мэрии с восьми утра до двадцати двух (и по субботам и воскресеньям в префектуре светилось его окно), не имея (официально) в собственности ни машины, ни дачи, секретаршу не гладил, о семье-детях не знала даже главбух префектуры Сырцова, славившаяся своим умением зайти мимо секретарши в любой (вроде бы «я сам же закрывал!») кабинет в такой момент, что и через десять лет без жгучего стыда не вспомнишь, и молчать после этого надежно, но с особенным значением.

Префектов, каждого префекта Востоко-Юга, Кристианыч не обожал – а впивался и впитывал, телесным органом префекта становился, какой-то заботливой, перерабатывающей всякую дрянь печенью, правой или левой рукой, отводящей опасности во тьме, чутким носом, первым улавливающим, откуда это понесло и чем, клыками, прямой кишкой, приличной прической, осеменителем, ногтями, желудочным соком, ресницами, позвонком, ягодицами для удобного сидения, согревающим слоем подкожного жира – на общих фото с префектом оказывалось, что один человек прямо, на фотографа никогда не смотрел, – Кристианыч, ребенком, привстав на носочки, не отрывал глаз от префекта; «верность» – вот что он хотел, чтобы говорили про него, кроме «профессионал», верность; префект Востоко-Юга (кого бы ни присылали) казался ему обойденным судьбой – что такое префект для такого... он же готовый мэр (тихо, тихо, Евгений Кристианыч, шептал ему префект, ра-

достно краснея), а если говорить прямо – Россия благоденствовала бы с таким президентом!!! Смысл проживаемых Кристианычем дней и был – в служении, основанном на любви без выгоды, на преклонении, и если Кристианычу изредка (и даже нарочно) любовь эта казалась недостаточно ответной, если ему казалось, что префект не до конца и не полностью понимает, почему он здесь и ради кого – в конце-то концов! – пашет с восьми до двадцати двух (не ради выслуг, нагрудных знаков от мэра и квартальных премий), то Кристианычу скорбью сводило губы, и слезы вдруг вытекали из прохудившихся глаз, и текли, одна за одной, по невысыхающему пробитому руслу, и он просто тряс головой (всё равно страдая – отвлекает префекта, нарушает покой своей раненой малостью...), ибо не находил сил выразиться словесно, и префект понимал окончательно всё; обняв старого преданного пса за плечи, он уводил Кристианыча в комнату отдыха, где скрежетал, поворачиваясь, ключ в сейфовой двери, и булькал коньяк в походные рюмки, и тишину оглашал мокрый и крепкий мужской поцелуй: вместе, до березки!

Первым префектом на Востоко-Юг волной демократии вынесло двухметрового гривастого Лукьянова, методиста станции юных техников на Жлобени, а потом вице-президента Народно-демократического фронта. Лукьянов носил плечистые (то малиновый, то сиреневый) пиджаки с неопознанными гербами, идей у него хватало: бесплатные бани и международный аэропорт со свободной экономической зоной на Волгоградском проспекте, но больше всего Лукьянов любил исполнить собственные песни под гитару, кто бы послушал, – Кристианыч сблизился с вдовой Визбора, повесил ее фломастерную благодарность «за

спонсорскую помощь» над портретом мэра, на столе держал биографию академика Сахарова с закладками, на префектурные субботники надевал зеленую стройотрядовскую штормовку с буквами МХТИ на свитер, попытался, хоть и без успеха, но заметно, что-то вырастить походное на подбородке и каждый вечер приходил к Лукьянову (все пять месяцев, пока азербайджанец, прихваченный на неоднократном изнасиловании несовершеннолетней, а скорее всего – вынужденными обстоятельствами переменившегося времени, письменно не заявил: его принудили оплатить префекту свадьбу, медовый месяц и однушку теще префекта за аренду участка для строительства кафе и четыре места для мелкорозничной торговли) – приходил и просил: спойте еще, сроднился с этими какими-то пронзительными, ни на что не похожими песнями, хожу и мурлыкаю, знакомым напеваю (они: о-о, вот это да... да кто автор?!); договорился издать их массово, презентацию сделаем в кинотеатре «Комсомолец», хотя, по совести сказать, нет-нет, увольняйте прямо сейчас, всё равно скажу: вашим слушателям Лужников не хватит!

Когда окружную власть «укрепили» поумневшим, но не раскаявшимся коммунистом Д. Колпаковым, любителем Флоренции, Венеции, Милана, Рима, итальянских вин и охоты, Кристианыч принял в подарок от знакомого подрядчика карабин и уже через пару месяцев крался в маскхалате за Д. Колпаковым по свежим оленьим следам на западе Сахалина и рассказывал на ночевках у костра (с последующим двусторонним воспалением легких), как совершенно удивительным, непостижимым образом меняется освещение венецианских площадей, если просидеть весь день неподвижно в одной точке, а не бегать за



поднятым зонтиком рысистога экскурсовода, и что запах цветущей липы бьянкелло метауро всё-таки чем-то ему милей соснового аромата и оранжевого оттенка бароло. На шестидесятилетии Кристианыча префект произнес несколько внешне обыкновенных поздравительных слов, включающих «ветеран», «профессионал» и «в каком-то смысле наш мудрый учитель», и преподнес картину с окровавленной лосиной мордой, до этого три года висевшую в его кабинете, – Кристианыч, засопев, словно от внутренней раны, шагнул к Д. Колпакову, склонился и молча поцеловал ему руку; но Д. Колпакова свалил Бабец, бесцветный, измученный запорами и затянувшимся протезированием зубов, не знавший солнечного света росток из комсомольских подвалов, умевший говорить только написанное, лично от себя Бабец высказался только про каждого из восьмерых внуков (украсивших тут же всю наружную социальную рекламу в округе из-за своей исключительной и наследственной красоты) и хмельную и драчливую флотскую юность.

Кристианыч сфотографировался в выходной с внуками Бабеца, фото увеличил, обрамил и поставил перед глазами, начал поддевать под рубаху тельняшку, неожиданно признался, что имел некоторое секретное отношение к становлению советского подводного атомного флота (а прежде любил по трудовой книжке доказывать, что до префектуры нигде, кроме Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, ни часа не работал – коммунальщик, профи!), установил на подоконник модель подводной лодки 667А проекта «Навага», надушных совещаниях украдкой шептал префекту: «Продуть бы цистерны...» – и мог, вдруг как-то потемнев, посреди засто-

ля стихами сказать: «В ней закон: или живы все, или всем одна могила... Перед смертью в лодке все равны»...

Никто не останавливался, выскальзывали на волю. Глава управы Верхнее Песчаное Хериберт бросил на ходу:

– Я замукался, – и убежал.

Фриц, начальник управления муниципального жилья, с кровавым полуослепшим глазом, говорившим о возобновившемся зашибании, со стремительной статью хищной птицы, – тоже мимо, погрозил только пальцем:

– Принято ли среди нормальных пацанов опаздывать? Видишь, подхватил где-то вирус – разрушает сосуды в глазу.

Эбергард легко соврал вдогонку:

– Почти не видно, – и крикнул нарядно-седому румяному главе управы района Смородино Хассо: – Хоть ты-то остановись! Поедем съедим что-нибудь. Возьмем рульку!

– Так ведь пост сейчас какой-то, – Хассо смотрел строго; все говорили: Хассо будет префектом, – я на посту. – Вдруг заменил лицо и со счастливым, перезревшим, замироточивым дружелюбием закланялся проползавшему мимо Кристианычу, кивая, кивая, соглашаясь с чем-то недоступным человеческому слуху, еще и в спину, и для надежности добавочно еще, потом только разогнулся и поскорее выдохнул, словно наглотался вони, и прошептал:

– Как-то на меня поглядел, а? Зря я с тобой... Кристианыч, ба-алин... Слыхал? На Ключевой горе высадил елочками буквы БЕИ – Бабец Егор Иванович. Если глядеть с вертолета – видно. Или из космоса, –

и неприятно привалился к Эбергарду. – Поехали к бабам. Есть тут место на Болотной, караоке-клуб. Девки реально красивые. Выходят в зал, садятся к тебе на колени. Почти голые. Трогают за все места. Это бесплатно. Выбираешь и идешь в отдельную там... Короче, шесть тысяч. На сколько хочешь.

– А потом лечись.

– Да че ты, опять?! – разозлился Хассо, ни на кого не обижался: недалновидно обижаться, только на никчемного Эбергарда мог. – Они медосмотр проходят!

– Дома жена ждет, – Эбергард чуть не прибавил «беременная».

Хассо отвернулся и пошагал без прощаний, случайно отвернувшись от окружных депутатов гордумы от «Единой России» Иванова-1 и Иванова-2, в обнимку двигавшихся по пустеющему фойе (встретившись, депутаты ходили только в обнимку): к бабам Хассо почему-то не ездил один. Иванов-1, режиссер фильмов о милиционерах Советского Союза (сейчас под его именем серьезные люди приватизировали кинотеатры по правильным ценам), отрастивший кудри до плеч, на встречи с избирателями всегда приходивший пьяным и с худощавыми «помощницами» потрепанного вида, остановился расцеловать Эбергарда, наматывая шарф, объявил:

– Старик, надо увидеться! – но, кажется, не узнал.

Иванов-2 (он один никогда не спешил, шуплый и показательно бодрый, всегда с неподъемным портфелем, как командировочный, что в городе одним днем, между поездами) бережно подержал ладонь Эбергарда в своей, что-то добро высматривая в глазах:

– Медиамагнату доброго здоровья! Друг Эбергард, если кратко: я серьезно укрепился за последнее время и укрепляюсь еще. После выборов займу пост ви-

це-мэра. Предлагают префектуру на выбор, но это, согласись, уже не мой уровень. После назначения мне потребуется команда. Могу рассчитывать на тебя?

– Конечно.

Всех проводил, всем улыбнулся, послал веселую эсэмэску Эрне. Выберусь на улицу, куплю арбуз, но не большой, средний. Всё, что он покупал из ягод и фруктов, они с Улрике не успевали есть; гниль и мошкара – приходилось выбрасывать. Покупал больше, чем надо. Еще не привык, что семья другая, поменьше. Что дочери нет.

Обошел, как дерево, словно парализованного посреди разбираемой выставки студенческих инноваций своего куратора зампрефекта Кравцова. У Кравцова умирала жена, уже долго, от болезни, не называемой вслух, называемой – «это», «гадость», «бьяка»... Кравцов возил жену в Чехию под какой-то чудо «гамма-нож» – но это, как докладывала главный бухгалтер Сырцова, «не дало результата», – теперь Кравцов начал о чем-то задумываться, словно замечая у собеседника что-то далеко за спиной, замолкал посреди проводимых им совещаний, словно отдельно для Кравцова выключали электрический или дневной свет и он стоял, прислушиваясь, трогая руками вокруг темную пустоту, и ждал, когда глаза хоть немного привыкнут.

Шаг и – на улице, и все расступились, отбежали, исчезли, и прямо перед Эбергардом, в конце постеленной для мэра дорожки из серого ковролина, оказался префект Бабец возле своей «вольво» со стеснительной мигалкой-прыщом; последним от префекта отгребал плешивый гнус Пилюс, что-то полусогнуто дошептывая, и поздно куда-то сворачивать. Иди к нему!

– Самая сладкая пыль – из-под колес машины уезжающего мэра? Так, Егор Иваныч?

– Ты че там тер с Ивановым-2?! – Бабец, похоже, плохо проводил мэра. Поцелуя, похоже, не выпросил.

– Работаю с депутатами!

– Пока только тебе: Иванов-2 в городе своих вопросов не порешал, – на языке правительства «непорешенные вопросы» означали неоплату положенного, – в списке «Единой России» его не будет. Пойдет Лашкевич из «Торгснабстроя». Готовься там, по Иванову-2. Биографию посмотри, недовольных избирателей. И вот что, – Бабец наконец-то заорал, чтобы всем слышно, заелозив красной ручищей по крыше машины: – Ты почему отсутствовал на встрече?! Опять опоздал? А меня не дерет!!! Должен быть! Ко мне уже целыми делегациями ходят против тебя. То босиком по префектуре...

– Да это сандалиии такие...

– То главспецов управления здравоохранения трахает! Ты думаешь, на твое место желающих нет? Бюджеты осваивать – миллионы! – И бегло, словно об этом же, но еле слышно: – Ты когда мне с Гафаровым решишь?

– Работаем, Егор Иванович, – Эбергард понурился, давая понять: да, вот за это справедливо...

– Третий месяц! – прошипел Бабец и отомкнул машинную дверцу. – Я жду!

Эбергард нагнулся и смотрел, как вдоль ноги дрожаще взлетает комар, выбирая место для смерти, как немой огонек по взрывательному шнуру.

– Ты понял? Нашупал, как говорится, свой партбилет и – иди!

Кто? Звонила опять БЖ:

– Не бросай трубку! Во-первых, хочу сказать, ты – редкостная сволочь!!! Во-вторых, сколько денег ты

дашь на день рождения Эрне? И когда заберешь свои вещи? Ты же купил себе большую квартиру – я про тебя знаю всё! И – не бросай трубку!!! – когда ты скажешь Эрне?

– Что я должен сказать?

– Что ты ее предал и бросил! Что никогда не вернешься! Эрна думает, что ты купил квартиру для нас, что мы переедем в большую квартиру и мы опять будем жить – все вместе!

Что-то лопнуло, какое-то сухожилие, и рука с еще кричащим телефоном отпала от головы и отогнулась куда-то подальше, в сторону, словно выпачканная чем-то трудноотмываемым, смолой. Сигилд кричала, неужели и до Эрны долетает всё, до парты, в соседнюю комнату? – и неожиданно услышал: тук-тук, сердце. Вот это да. А вдруг он теперь будет слышать сердце всегда? Вон, у матери уже несколько лет в голове пыхтит паровоз так, что будит по ночам, пыхтит да еще гудит – в плохую погоду.

Застыл у автомобильного окна, на укачивающем заднем сиденье, и не сразу понял, машина тронулась с места или по обочине двинулся дом, зажигались окна и шевелилась за шторами вечерняя жизнь. Сделать бы замечательным этот день, какой-нибудь годовщиной защиты диплома. Внезапной радостной новостью. Свалившимся на голову счастьем. Он вскрикнул:

– Остановите! – нет, обознался, просто похожая очень, но не Эрна, девчонка тревожно одна шла в тени под деревьями, и сверху на нее летели сухие заплатки, осенняя шелуха.

Похожая очень девчонка, но не дочь, много встречается похожих, а раньше не замечал. Эбергард уже не мог остановиться, представлял дальше: это Эрна,

проехав половину города троллейбусами, впервые по-взрослому, одна, подходит как-то нелепо, самостоятельно одетая, наспех, словно торопилась сбежать из дома, пока Сигилд или этот урод вышли с собакой или в магазин, и говорит, измученная страхами не найти его и остаться одной, без денег возле устрашающих метрополитенных дыр, говорит, глядя в сторону, безнадежное, что не может свершиться даже по мнению ее, но последнее, что она еще не пробовала: «Папа, пойдем домой. Я не хочу, чтобы с нами вместо тебя жил... этот. Не хочу, чтобы мы с мамой жили без тебя».

Он раскроет рот, присядет, чтобы поближе, но это тот неудобный возраст – никак не попадешь, чтобы на равных, – или он нагибается? Или обнимает ее? и: я и так буду всегда с тобой – но Эрна, еще не дослушав, но правильно поняв всё:

– Не хочу так, пойдем! – и потянет его руку, не умея объяснить того огромного по силе последней надежды, что таится за ее простым «не хочу». Эбергард почувал с ледяным ужасом: и пошел бы домой, навсегда, все непреодолимое стало бы пеплом – вот в эту минуту.

Детский требовательный взгляд всё меняет, нестерпимо. Ты должен жить, должен служить, забыть про лично себя. Стараться быть лучше. Светлей. Не пугать унынием маленьких. Не повышать голос. Не говорить плохих слов. Теряешь право заглядывать «что там в самом конце». Поэтому никто не любит обсуждать с детьми свою жизнь.

Пробормотал «туда», и водитель Павел Валентинович повернул в привычную когда-то сторону, к дому.

– Вот здесь.

Он не хотел, чтобы его «тойоту» заметили у подъезда, дом – его дом, их дом, теперь его не дом – начинался с коммунальной комнаты в четырнадцать и восемь, потом отселялись соседи, и последняя, старушка Гусакова, приползала обратно через четыре дороги со своих новых квадратных метров и стояла по два часа, вцепившись в палку, под прежним окном, всматриваясь в собственное неотделимое, но всё же как-то отделившееся от нее прошлое, пугая Эрну; соседям объясняла: забыла при переезде ковшик, а потом говорила: две иконки, но ни разу не попробовала, боялась подняться и позвонить в квартиру, сделанную «по евро» строителями подрядных организаций ДЭЗов Смородино и Верхнее Песчаное. Бедных, отстающих время вытеснило из дома, из подъездов не выползали уже старухи подышать, хотя железных лавочек наставили вдоволь – на лавочки ненадежно, на краешек присаживались только транзитные, следующие до ближайшего метро, всюду посторонние личности в белых бейсболках и черных рубашках, застегнутых до верхней пуговицы включительно; кошки больше не перебежали из-под машин в подвальные окна, выждав пересменку в собачьих прогулках; на каждом этаже требовательно покрикивало по ребенку; грузовой лифт подымал наверх упакованные знаки отличия среднего класса и спускал мешки строительного мусора и обломки перегородок, невидимая девчонка из окна, заставленного розами, кричала вниз:

– Мальчики, не балайтесь! – хотя здесь, внизу, подалее от фонаря стоял один Эбергард, да справа и слева в костлявой тьме сиреневых кустов раздавалось змеиное, сдержанное, высвобождающееся шипение открываемых пивных банок.



Что он видел? В межшторную щелку в зале – вот Сигилд снимает белую водолазку, поправляет волосы, открывает шкаф. В его комнате копошится урод. Вот схватился за шторы и сдвинул потесней. Полез (тень нагнулась) что-то достать из-за спинки кровати – на этой кровати спал Эбергард, а еще раньше умирала бабушка Сигилд, а теперь спит урод, соблюдая приличия до свадьбы, – Сигилд показывает дочери «как должно», порядочные отношения: мы просто друзья, это просто ночует мамин друг, без его помощи мы бы не обошлись, он остается ночевать для того, чтобы не тратить время на дорогу, чтобы больше времени оставалось на заботу о Сигилд и Эрне, – одежда и обувь Эбергарда окружают его, египетские ракушки и образцы пляжного песка.

В комнате Эрны горит лампа, нагнувшись над столом. Дочери не видно. Может, читает лежа. Он ждал. А может, в ванной.

– Ненавижу, – получилось вслух.

Он чуял ненависть к Сигилд, к БЖ, как заложенность груди, жаркое, нарастающее предобморочное неудобство, как неутолимое желание избить, и удивлялся: как сильно. Ничего из рекомендованного глянцем «цивилизованного и благородного». Непрерывное, полыхающее пламя-ненависть – всё, что складывалось из ежедневного кровотоечения «не вижу Эрны» и ежедневного страха «я ее потеряю». До, до всего, – когда еще Эбергард мог играть представлять «когда я уйду», а вернее «если», – он представлял: сильнее всего будет мешать и звать дом, не сразу вылечишься. Ведь Эбергард не улетал на Огненную Землю, а вот – в семи километрах. Будет тяжело (предполагал так) от легкой возможности вернуться, вот же – его дом. Постель, место за

столом, мир, собравшийся и застывший под очертания его тела. А оказалось: некуда, сразу обрушилось, и больше – невозможно жить ни рядом, ни далеко, а даже – под небом одним с БЖ – одному лучше бы сдохнуть! Сигилд не должна существовать, если жив он, или наоборот – вот что вонзалось и рвало сильнее всего.

Глядя в окно детской (вот опять: мог – не мог остаться, дотерпеть ради Эрны до смерти, или измениться, или Сигилд сделать другой, выскочить из карусельной игры «Как ты мне, так и я тебе, только больней», и стоило ли оставаться только ради Эрны), не знал ответа, отвернувшись, победно прошептал: «Ведь это я бросил ее», – и не видел краешка малого, куда бы причалить назад, даже ветки – вцепиться! Сигилд – сплошь не его... Ничтожная, неблагодарная, невыносимая!!! Она была другой? И он остановился под волнами ветра, словно перекатывалась горстка пыли и вдруг легла, замер, испугав спешившую следом прохожую, и поднял голову – бетонная плита дома мощно торчала из земли, будто текла вверх, как порог, крыльцо, как ступень к темно-синему плешивому туманными нашлепками небу в редкую звездную крапинку. Ветер мотал встречных и бесприютно метался по дворам; что он делал вечером? В основном ждал сообщений от Эрны. Решил сам не писать. Посмотрю, когда же она про меня вспомнит. И боялся убедиться, что – никогда она сама не вспомнит. Ребенок. Нет, надо писать самому. «Спокойной ночи, девушка». Не ответила. Написал и Сигилд. «Предлагаю все вопросы, связанные с финансированием, обсуждать по мэйлу или смс». Нет ответа.

– Эрна уже подросла, – сказал он Улрике, – не знаю, что ей надо. Боюсь на нее обидеться.

Еще он боялся обидеться сразу на всех и однажды уснуть в одиночестве.

– Ты должен бороться. Она твоя дочь. Почему ты видишь себя только в плохом будущем?

Если бы я видел себя в хорошем будущем, я бы не выбрал тебя. Только Улрике умела объяснять всё, абсолютно всё происходившее так, что он выходил победителем.

Да и как сможет Эрна любить двух людей, ненавидящих друг друга?

Улрике он увидел в коридоре управления здравоохранения – удивительно красивые ноги, удивительно тонкая талия, белокурые волосы, – шел следом, разглядывал и думал: таких не бывает, такие красивые не работают на государственной службе, сейчас обернется и окажется: или девушка сорока восьми лет, или уродливое лицо, или нет груди... Девушка остановилась у дверей заместителя начальника управления по детству и обернулась, ей было двадцать один, училась на вечернем, и всё в ней оказалось так, как не бывает, так, что Эбергард испугался.

– Если вечером, раздеваясь, обнаружите у себя на бедрах покраснения кожи, не пугайтесь. Это я своим взглядом натер.

– А-а, так это вы Эбергард. Меня предупреждали.

Вот и выборы скоро: в почтовые ящики по утрам протискивались листовки, Эбергард, выходя из дома, все выбросил, свое изделие прочел:

«Мы, гомосексуалы, ветераны обороны Белого дома в августе 1991 года, призываем всех уважаемых господ выступить против выдвинутого «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» ЗНАМЕНИТОГО РЕЖИССЕРА, НАРОДНО-

ГО АРТИСТА СССР БРОНИСЛАВА ИВАНОВА, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО МЭРОМ. Мы призываем вас отдать голоса Михаилу Задорнову из партии "Яблоко". Поддержать Задорнова – значит поддержать подонка и гомосексуала Ходорковского, воровавшего русскую нефть и содержавшего "Яблоко". Поддержите Ходорковского – проголосуйте против ИВАНОВА!!!» И кивнул дворнику, втыкающему лопату под кучу листьев:

– Ну что, подсыпало халтурки?

В машине понял: давно не спускался в метро, года четыре. Взглянул с сочувствием в переполненный троллейбус, как на оставленную родину.

У банка на углу префектуры уважительно тихая очередь ожидала открытия. Мимо косолапо прошли пахнувшие потом инкассаторы. Старики, собравшись в круг, подслеповато согнулись над квитанцией, разбирая, на сколько подняли на холодную воду, и обсуждая мэра:

– От родников в Птичьем себе трубу протянул. Тем родникам пятьсот лет!

– А разве он в Птичьем живет?

– А где ж еще?

– Ты почитай его декларацию, в газетке была. Он нигде не живет! В городе площадей не имеет.

– Живет, небось, в квартире с подселением.

– Бомжует! Да еще жену кормит.

– Медком.

– Написал: корову держит.

– Какую корову? Слона!

Из банка Эбергард пошел к куратору – зампрефекта Кравцов отвечал за информирование населения – отпроситься до обеда и отдать откат.

Кравцов что-то собственноручно калякал, измученно вздохнул:

– Вот черт, до сих пор не привыкну «пленум» с маленькой буквы, – снял и отложил от себя очки, как мертвую стрекозу. На столе вокруг свадебной фотографии с теперь умирающей любимой прибавилось иконок и пузырьков со святой водой, правой рукой Кравцов схватил четки.

– За август, – Эбергард положил пакет из «Седьмого континента» на соседний стул. – За минусом, – Эбергард нарисовал карандашом на листке для записей 7,5%, показал Кравцову и шепотом: – За обнал.

Кравцов кивнул, отобрал бумажку, порвал в снежок, просыпал в урну и ткнул в свои записи:

– Из департамента, видишь, пришло, что мало мы как-то способствуем малому бизнесу. Какие-то новые формы... Может, пособие какое напечатать? Массовым тиражом? Типа «Как организовать свой бизнес». А?

– Можем. Прямо пошагово. Шаг первый – «Устройся на работу в ФСБ».

Кравцов вдруг спросил:

– Что такой черный ходишь? Все уже замечают. Я, конечно, так, краем уха... Но уныние – грех, – Кравцов так дергал четки, будто старался порвать, что-то свое себе представляя, – надо жить! От тебя только зависит, что пускать внутрь, а что не пускать.

– Михаил Александрович, – Эбергарду показалось: минута подходящая, – ремонт надо в новой квартире... Мучаюсь на съемной. Молодая семья. Может, найдется возможность кинуть через ДЭЗ «Верхнее Песчаное» хоть бы миллиончик, провести как капремонт квартир ветеранов. Остальное уж сам буду наскребать. Очень буду благодарен, – что означало двадцать процентов от суммы.

– Конечно, друг. Поможем большой любви, – Кравцов заморгал и вытер пальцами, указательным

и большим, заблестевшие глаза – от переносицы к краям. – Но с главой управы ты сам вопрос порешай, – еще десять процентов. – Это Хассо? По-дружески тогда, – пять.

Пресс-центр занимал три комнаты первого этажа, справа от буфета. Эбергард смахнул в сторону заявление курьера «Прошу выдать мне материальную помощь на покупку ж.д. билета» и взглянул в компьютер – парень, чье лицо отражалось в мониторе, недавно подстригся. Неужели у него черное лицо?

Когда Эрна вырастет... Напомнит: ведь мама тебя любила. Что ответит он? Ответит: любила... Когда любят, говорят: решил уйти – уходи. Но я всё равно люблю и буду любить тебя больше всего на свете, и годы ничего не изменят, вот на эту стену повешу твои фотографии, вот у этого окна я буду ждать твоего возвращения, смотреть на эту косую асфальтовую дорожку – от троллейбусной остановки, пока не умру; буду узнавать среди ночи твои шаги на лестнице и каждый день говорить дочери: как бы и с кем бы он ни жил и сколько бы ни давал денег, твой отец – самый лучший на белом свете. Вот любовь, а не когда через четыре недели приезжает и подселается «мамин друг».

Эрна напомнит еще: но ведь и ты не любил ее. Это ведь будет ее волновать? Что он тогда... Ответит: неважно. Если бы мама любила меня по-настоящему, я бы вернулся. Даже по-другому: я бы не ушел! Так убедительно даст ей понять (Эрне будет важно узнать это), что родители действительно не любили друг друга – в расставании не было ошибки. Эрна вдруг спросит: а я? Что тогда я?

Ты. Он обнимет ее. Хотя девочке, когда она выросла, может быть неприятно, когда ее крепко обнимает

и пытается прижать к себе пожилой, пожеванный человек. Но когда он потянется к ней и Эрна обязательно шагнет навстречу, он обнимет ее и прошепчет: Эрна, я любил тебя и тогда, когда ты была облачком, когда ты была глазастой гусеницей, ворочалась в одеяльном коконе и беззубо зевала, и теперь – когда ты стала яблонькой. Я буду любить тебя всегда. И если там, в этом черном «там», обрезающем мою жизнь лезвием «там», есть хоть что-то – я буду, на самом краешке, на самом входе, я там ничем не буду заниматься, я буду только сидеть и ждать тебя, чтобы сразу подхватить, еще на лестнице, как из рук медсестры в роддоме, чтоб ни на миг ты не успела подумать, что одна, что отца рядом нет.

Скоро, наверное, они сядут в кафе – где еще? – Эбергард посмотрит на любимые, ровно изогнутые, словно нарисованные брови и приготовится сообщить: знаешь, наверное, мы с мамой разведемся (здесь он не допустит паузы и дальше заговорит весело и на подъеме интонации), но для тебя не изменится ничего (но для тебя изменится всё) – что-то дрогнет, потрескается, прольется, опустеет и высохнет глубоко внутри, неслышно взорвется в любимых зеленых глазах, и через десять лет, открывая свою душу кому-нибудь (сколько же на свете скотов, но пусть ей встретится добрый, порядочный!) у какого-нибудь окна, наполненного ночью, она скажет: ну вот, а когда мне было одиннадцать лет, родители развелись. И всё кончилось. Жизнь оказалась совсем другой. И кивнет: «вот так-то», чтобы больше не говорить, чтоб не заплакать.

Мы с мамой решили развестись, потери невеликие: не смогу поднять упавшее одеяло и накрыть тебя, поцеловать спящий висок сквозь влажные пряд-

ки, освободить медвежонка из самых ласковых на свете объятий, не услышу (Сигилд не дозовешься) «Посиди со мной», когда страшно в темноте; держа за руку, не расскажу сказку какую-нибудь – вот и всё; да и Эрна потеряет всего лишь одну сказку «любили друг друга, жили долго и счастливо, и умерли в один день», никто не скажет ей: так бывает, так должно быть у тебя, у тебя так и будет – как у папы с мамой.

– Привет, привет, солнце наше появилось, – художник Дима Кириллович, как всегда, наперекор секретарше, отстаивая: у художника особые отношения с первыми лицами – напрямую, ворвался в кабинет, пробежка и – застелил стол свежими плакатами: – Смотри, как по противопожарке получилось. Как? Тут я мрачности подпустил... Схулиганил, а? И стихи свои добавил, ты не против? Вот к этому: «Чиркнул спичкой, закурил, лег, в постель, забылся. Правый, как и левый глаз, навсегда закрылся!» А?

– Здорово, – Эбергард думал: где купить спиннинг?

– А вот «Для вас малыш – алмаз, икона. Не спи, мамаша, бди, отец! Замешкаетесь, как ворона, подпалит что-нибудь юнец!» Скажи: пойдет?

– Пойдет. – Где он видел спиннинги? На «Ботаническом саду» точно, в «Рамсторе» целый этаж, но туда пилить...

– Добавишь хоть сорок долларов за подписи? – Дима Кириллович принужденно захохотал, свернул плакаты и с чем-то приготовленным уселся напротив: жилистая шея, подвижное, изнеможенное лицо, обширная лысина, творческая седая борода, скрывающая желтозубый рот с двумя досадными прогалами, – Дима носил одну клетчатую рубашку по году, пока с воротника не начинали свисать нитки,



все деньги тратил на дочь, только и разговоров: Тамарка, Тамарка, поздняя, долго ждали, жена не работала, развивая невероятно одаренную, по многочисленным сомнительным свидетельствам, девочку. Дима глядел на Эбергарда безумными, смеющимися глазами и походил на разжалованного за педофилию священника.

– Есть пять минут? – И не дав ответить: – Посоветоваться. Сам не могу понять: имеет ли мне еще смысл у тебя работать? – Это Дима спрашивал раз в месяц. – Я ведь не какой-то мальчик-верстальщик, примитив... У меня выставки были в Узбекистане, мои картины в галереях. Я тут послал смеху ради свое резюме – ты не представляешь, во, – он показал свою «Нокию» за восемьсот рублей, – звонят каждый день! В корпорацию зовут арт-директором. И в рекламу. И зарплаты – в четыре раза больше, не вру! В шесть! Ты чувствуешь, как Россия поднимается? Всюду запах денег! Вот и я почувствовал. Мастера, профи должны жить по-другому. Даже если просто в провинцию уехать сельским хозяйством заниматься, знаешь, как можно на сахаре подпрыгнуть? А я? Ты видишь, на чем я ежу? Тамарку еще на английский записали и в танцевальную... Педагог сказал: я сорок лет обучаю, первая девочка-феномен с такой пластикой, «драматическую ситуацию переживает не по-верхностно», Тамарка моя! – Дима захохотал звуками «кх-кх-кхы», раскачавшись от радости, словно впервые это услышал, а не сам только что сказал.

– Ну, напиши заявление об уходе.

– Да вот и я такое помыслил, – протянул Дима Кириллович, хитря, дразнясь, что-то пробуя: да? нет? – Но подводить-то тебя не хотелось. Столько лет вмес-

те... Сколько тебя выручал. На мое место человечка-то не так-то просто, это я как раз очень понимаю. Да еще на такие деньги. Я ведь с идеей, у меня с Богом канал. Видишь, от меня свет? – протянул перед собой обе руки, вывернув к Эбергарду желтоватыми покойническими ладонями, стеснительно подержал и убрал. – И у тебя тоже – канал, с Богом. Но у тебя есть еще и другие каналы. Вот ты послушай, что тебе сейчас Бог говорит? Молчит, видно. Меня, в принципе, всё здесь устраивало. Но деньги... Маловато, ты пойми. Долларов, думал, триста еще... – и как-то испуганно, через силу добавил: – четыреста. Небольшие, извини меня, для тебя расходы. Дела-то идут, разве не вижу? Квартира у тебя новая, слышал. Так? – Помолчал. – Ну... Как решил? – Еще помолчал: – Но я тебя не брошу. Звони. В плане совета. Не обижайся, просто время новое такое настало, чую: можно быстро вверх пошагать, потребовались большие идеи! – слышишь? Шелест знамен! Уже не слышишь. Уже где-то... Благодарю за сотрудничество! – В пособиях «Как правильно уволиться, прежде чем начать новую и богатую жизнь» Дима, видимо, прочел, что увольняться надо именно так – крепко и покровительственно пожав бывшему работодателю руку.

Молчание – всегда более сильная позиция, Эбергард молчал.

В дверь поскреблись, как мелкоживотными когтями, где-то над полом, внизу, и засунулся, словно столб косо повалился, в щель высоченный, пучеглазый, дерганый, зомбированный господин, но не упал, а на цыпочках подкрался к стулу, смотря наверх! – вбок! – на пол! – что-то мелко клюя, поднимая брови, удивляясь, дую полноватыми губами и сразу после производя

напряженно улыбающуюся гримасу, одаряя запахом типа «Кензо», показывая правильный костюм и портфель добротной кожи.

– А где же моя секретарша? – про себя Эбергард добавил еще два слова матом.

– Пошла, насколько я понимаю, порезать вам еду. – Зомби шептал несвободно, с некоторым дополнительным усилием и необъяснимыми паузами, что свойственно пожизненным отличникам, прирожденным холуям или заикам, скрывающим до поры дефекты своего речеворения; с его позолоченной визитки глядела быстро испаряющаяся еще в глазах, не доходя до памяти, фамилия однородная «Степанов», «Сидоров», «Савельев», водруженная на броненосец слов с выделявшимися «стратегия», «фонд», «консалтинг», «и развития», и особенно «ветеранов» чего-то там, и в углу щит, украшенный плохо различимыми элементами, но с несомненным впереди танком. – В будущем году выборы, – напряженно заглядывая над подоконником, пропищал зомби, осмотрел пальцы на правой руке, на мгновение на его лице отразилась гримаса человека, услышавшего «Пожар!!!», а затем он совершенно плотно сомкнул веки и задышал спокойно-спокойно. – Скорее всего, – он проснулся и задрал голову на потолочные лампы с надписью «Сделано в Венгрии», – я возглавлю штаб одного кандидата.

– Кто вам заказал пропуск в префектуру?

Зомби «Степанов» подмигнул и дернул плечом. И добавил:

– Мне сказали: есть такой Эбергард. Многое от него зависит.

– Я здесь никто. Всё зависит от мэра. Вы с мэром свой вопрос порешали?

– Видите ли, – зомби точным движением расстегнул портфель, – мой клиент – серьезный человек и занимает заметный пост в одной, скажем так, – пропел, – структуре. Силовой. И цель его участия на выборах не избрание, а... – он осторожно, как тикающее устройство, извлек из кожаных теснин портфеля подарочный пакет с белыми плетеными ручками и переместил Эбергарду на столу, мельком показав: внутри – «Нокия» в титановом корпусе, и запнулся, настороженно прикусив губу и с недоверием вглядываясь в Эбергарда, будто впервые задумавшись: а кто это, собственно?

– А в структуре этой намечается какая-то проверка. Недружественная, – предположил Эбергард, подтянув к себе пакет за ручки. – И одному серьезному человеку... вот из этой структуры... хорошо бы на время проверки залечь в отпуск... связанный с регистрацией его кандидатом в депутаты гордумы, – Эбергард загрузил знак уважения в нижний ящик стола, к теснившимся уже там близнецам, двоюродным, старшим и младшим братьям; он следил, чтоб ничего съестного, а то развел как-то раз...

Каждому произносимому, колющему в челюстной нерв слову зомби жмурился и боязливо кивал, только упрашивающее поднимал руки: т-ти-хо! тише! – и вскочил:

– Я только познакомиться. Прошу простить, что без звонка. Не повторится.

– Поможем ближнему, – серьезно и просто сказал Эбергард. – Хорошим людям надо помогать. Звоните.

РУБОП Восточно-Южного округа сидел на 4-м Проектируемом проезде в двухэтажном бывшем детском саду, отремонтированном на средства благотвори-

тельного фонда «Законность, право, правопорядок и социальная ответственность бизнеса». Начальник РУБОПа Леня Успенский, или Леня Монгол, сидел на больничном, поэтому Эбергард застал его в спортивных штанах, красной майке «Манчестер Юнайтед» и пляжных шлепках, насунутых на белые жаркие носки, – Леня стоял напротив гаража во дворе РУБОПа и жал на пульт, пытаясь, видимо, уже не первый раз опустить непокорявшиеся рулонные ворота.

Ворота, подергавшись, застревали в метре от земли, Леня покрыл техническое удобство матом и заново ткнул в пульт – ворота с натужным поскрипыванием поднялись.

– Привет. Подержи, – Леня отдал Эбергарду пульт и полез в гаражное, до краев, как тюремная посылка, забитое нутро, поплотней укладывая разнокалиберные коробки с микроволновками, автомобильными телевизорами, суперпылесосами, компьютерами и ящиками вина, окружая всем, что помягче, короб с домашним кинотеатром: вонюче пахнувшей кавказской буркой, перчатками для бокса, подушечками с вышитыми петухами, прозрачными упаковками с пледами. Под самый потолок, в щели он пихал колчаны с клюшками для гольфа, лыжи, ракетки, перекатывал и тяжело подымал напольные вазы, вминал поплотнее ковры – выбил в бешенстве куда-то на хрен баскетбольный мяч, скатывавшийся с самой верхотуры и дважды давший ему по лбу, – поприжимал плечом добро, примерился: нигде не выступает? – еще бережливо поднадавил и велел Эбергарду:

– Ну теперь-то – попробуй!

Теперь-то ворота, похрустывая, застревая, задевая корябающиеся сокровища изнанкой, но всё-таки доехали и – замкнулись.

– Ты что, переезжаешь? – спросил Эбергард.

– День рождения был. Два месяца назад.

В кабинете Ленья с кем-то приторно-улыбчиво переговаривал по мобильнику и, закончив, зафиксировал в настольном календаре некий цифровой параметр, дважды обведя его фиолетовым овалом:

– По-ня-то, – и рассмеялся с удовольствием.

– Спиннинг тебе принес, – Эбергард показал коробку и прочел с упаковки, хотя заучил дорогой, читал, чтобы спрятать расположившееся на лице напряжение: – Шимано. Кардиф. Монстер. Японский. Хороший?

– Вроде на лосося... Зачем ты тратишься-то?! – взвешивающе качнул на ладони мобильник. – С утра одни звонят – заводите дело и сажайте. А вторые звонят: закрывайте дело и отпускайте. Начали с десятки, – Ленья прижмурился, – уже двести.

– Ты можешь меня послушать, две минуты...

– Я на больничном!

– И не глядеть на телефон!

– Дай тогда спиннинг. Да я тебя слушаю! Смотрю спиннинг и тебя внимательно слушаю!

– В управлении культуры есть такой Гафаров. Помнишь, при Д. Колпакове там работала начальником Земская? Обыкновенная голодная баба. И вот она сплелась с этим азербайджанцем в безумной страсти. И посадила его на дирекцию капитального строительства. Основные деньги туда, понимаешь? Всякие там ремонты музыкальных школ, стройка. Подготовка к зиме... Бабец, когда уволил Земскую, поставил Олю Гревцеву и начал как-то...

– М-да... Оля Гревцева, это – да-а, – Ленья отложил рыболовную снасть, – уютная такая баба... Как надеет свое декольте... Правда думаешь, они... с Бабцом?

Не могу. Потный, красная морда. Зубы страшные. И Оля.

– Оля поговорила с Гафаровым. Типа надо как-то перестроиться. Он ее послал. Типа в департамент и в город он заносит, а с округом вопросы решать не будет. Кто бы с кем бы ни трахался в кабинете префекта. Бабец психанул: надо разорвать!

– Вот оно... Ну, а что. Занимайтесь...

– Три месяца занимаюсь. Накопали кучу материала. Ничего особенного за Гафаровым нет. Только незаконное хранение охотничьего ружья в шестнадцать лет. Возбудили хренову тучу дел по налоговым преступлениям, прихватили главного инженера – через него шел обнал. А он уперся и азербайджанца не сдал. Бабец через день звонит: когда?

– За обнал сейчас особо не раскрутишь. Хороший спиннинг. Небось, штуки полторы отдал? – И Леня после брезгливого выдоха, освободившего его от услышанного, пустился в обсуждение язей, температуры нижнего слоя Черного моря, ловли крабов в иле и хариусов, размеров и цвета речной форели. – А на вкус рыба как рыба... Ну вот, закинул я свою – самую тяжелую блесну! – и она так: бултых! – думаю: всё, зацепило, а гляжу – ведет! Щука. Килограмм на десять, – он развел руки с таким усилием, словно силился обхватить земной шар.

– Помоги решить, – попросил Эбергард.

– Как? – удивился Леня и потряс разведенными руками.

– Надо как-то.

– Надо. Надо! Тебе надо? Префекту? А где здесь Бабец? – Леня переворошил бумаги на столе, заглянул под стол. – Кто будет соответствовать? Вы там кушаете, а как дерьмо вынести, зовут: Леня! Обра-

тись к территории, пусть его закопают. Нашли, понимаешь, пожарную команду, – и показательно насупился.

– Бабец тебе не за хрен двушку дал?

Леня молчал. Но поднял брови, словно что-то припоминая.

– Ты че, слово «совесть» пишешь с ошибками? Фиктивно развелся, на очередь тебя в неделю поставили и через месяц дали двушку на Тимирязевском. Не захотел панельку – дали в монолите. На ремонт денег префектура скинула? А два машино-места в собственность в прошлом году. Было?

– Ну было.

– Ты Бабцу даже «спасибо» не сказал! Даже не позвонил!

– Не сказал, – слабо откликнулся Леня. – А ты точно знаешь, что Бабец с Гревцевой? Я прям не могу...

– Сырцова видит, какой Оля выходит от префекта. С какими губами. А Сырцова специалист.

– Вот это да! По коньячку?

– Не, я поехал. Вот тот, – Эбергард оставил папку из картона, – человек.

– А кто он? – спросил Леня.

– Я думаю, опасный рецидивист.

– Ну и я так думаю.

Товарищи встали и обнялись на прощанье и, размыкая объятия, одновременно глянули за окно – во дворе из подкатившего БМВ Х-5 вылезли два худощавых мальчика, похожих на аудиторов или биржевых аналитиков, – белые рубашки, остроносые туфли, сонные послеобеденные движения. С заднего сиденья они выволокли согнутую кавказскую личность в черной коже. Личность, в полуприседе, словно надломленная посередине, посеменила, куда указано,



держа перед собой соединенные наручниками ладони – так носят воду или переносят птенцов в безопасное место. Мальчики, о чем-то беседуя, обмениваясь улыбками, двинулись следом, по очереди, почти не взглянув, куда именно, ударив личность с небольшого размаха ногой в бок.

– Поколение, – вздохнул Ляня. – Кого ни ткни – папа генерал. Я им не начальник! Что за люди? В прошлом году лучший стажер за первый же месяц заказал двадцать тысяч. В этом году меньше, что заказывают: полтинник. Берут у всех. Держаться не могут совсем. К нему приходит совершенно! незнакомый! человек! говорит, отмажь меня – дам полтинник. И тот тут же выходит, слышишь, садится к нему в машину и берет полтинник, хотя знает, что не отмажет! Куда мы с такой молодежью придем? Ты веришь, – они спускались по лестнице, – я помню времена, когда если в сводках – по всему Союзу! – появлялось, что кто-то где-то видел у кого-то пистолет, – событие на всю страну! Весь СССР искал этот пистолет! Куда мы идем? Какие-то совсем страшные времена подкатывают! Баба-то снимут? Лида, говорят, лютует... У тебя не болит печень? А что болит? А душа?

Он подумал: если бы Сигилд осталась с Эрной одна, заболела и еще бы уволили ее... Тогда (он представил себе темную квартиру, Эрна несет матери таблетки на блюдце и воды запить) он – он, он обязательно бы ее окликнул, протянулась бы рука. Прости. Вот так могло, это бы могло, да.

Эбергард забыл всё, что их соединяло, но это не означало, что теперь их не соединяет ничего, что ничего не соединяло – никогда, просто не думал про

это никогда. Про месяцы, про календарные измерения, когда он любил и был (а не пытался, изображал, не был) вот тем чистым человеком, что собирался сделать Сигилд счастливой, дать ей много больше, чем она сама сможет и осмелится захотеть. Построить их дом. И опять видел то, что запрещал видеть себе, но приходило само, словно «муки совести» и «совесть» существовали: когда поженились, ни машины еще, ни денег, ни Эрны и особенно – ни мозгов, он решил строить «загородный дом» на шести сотках глины в двух часах поездом, не нанимая, сам, и дочистал в тот вечер (он видел всегда именно один этот вечер) канаву под фундамент. Опаздывали на автобус и могли поэтому опоздать на электричку, и, чтобы скорее, – Сигилд взялась помогать, выбрасывала руками комья земли из канавы, двигаясь ему навстречу; работали молча, у него даже не было сил крикнуть: «Не надо!» – но они всё делали, как один человек, не говоря, не взглядывая друг на друга, дышали одним ртом, одно сердце гнало кровь для двоих – и успели, и на автобусной остановке к Эбергарду подковылял нанятый садоводческим товариществом сторож в розовой панаме, сторож шел в киоск за водкой, остановился, показав Эбергарду большой палец: «Вот такая у тебя жена! Хорошо вы смотрелись вместе. Сразу видно – крепкая будет семья. Таким всё нипочем» – вот что режет, вот оттуда, из того вечера, словно ветром, словно речной запах, приносит память о нежности, жалости; но когда потребовалось для спасения что-то вспомнить, видно, вспомнилось что-то не то; всё же кончается не сразу, но когда кончилось, когда оглядываешься: что теряешь? – кажется: а ничего уже не теряешь, нечего – это потом начинает, нарастая, сперва тихо болеть,

и после каждого приступа уговариваешь себя: самое, самое уже прошло, заранее жмурясь от предчувствия – еще большего.

Он позвонил Эрне из возлересторанной толпы:

– Назначаю тебе свидание, девушка. Послезавтра в семь вечера у подъезда. Поедем развлекаться. Придешь? – Зачем ты спрашиваешь «придешь?» – ты не уверен? Если зовет отец, она не может не прийти!

– Да, приду, – как-то сухо ответила Эрна: всё кажется, всё теперь выдумывается. – Пап, а ты будешь давать нам с мамой больше денег?

«Нам с мамой»!

Говори спокойно.

– Мы с мамой сами обо всем договоримся, – спокойно, но с каким-то рычаньем, опухающим горлом выдавил он.

На него оглянулись, и Эбергард понял – кричал. И никуда он теперь один не ходил. Всюду – вдвоем с тенью...

– Вас ожидают?

В ресторан он приехал последним: Хериберт, Фриц и Хассо уже сняли пиджаки и читали меню. На кухне над злым пламенем повар с людоедской статью чиркал ножом о нож, оценивая поглядывая на ужинавших.

Подкрался, помахивая букетиком ложек и вилок, тощелицей официант с оттопыренными ушами, уже заранее улыбаясь. На запястье его виднелись часы размером с небольшой будильник, не помещаясь в рукав, бейджик на груди представлял по фамилии – Немухин.

– А где Мухин? – строго спросил Эбергард.

Заказали салат казачий из баранины с редькой, пельмени из оленины в хлебном каравае и карпа на сковороде. Посреди стола в лужу свекольного соуса лег поросенок в кепке из половинки красного перца и глядел на мир глазами-оливками, обложенный апельсиновыми колесами и розетками из редиски.

– И пришлось купить смокинг и туфли в Италии, а потому, что на капитанский бал только в смокингах, – Хериберт отчитывался за круиз: Венеция, Флоренция, Сицилия, Дубровник, Пиза – и вдруг пихнул Эбергарда в плечо: – Хватит, с кипящим чайником в голове ты не проживешь! Поехали со мной на Афон – очистишься!

Эбергард смотрел в зеркало – на диванчиках за его спиной потрепанный пузатый мужик с седым хвостом разъяснял испуганно соглашавшейся, сильно накрашенной спутнице, похожей на внезапно овдовевшую пожизненную домохозяйку:

– Наши самолеты! Могут подниматься в стратосферу. И лететь без дозаправки четырнадцать часов. Но каждая дозаправка – это риск! А с Венесуэлы подлетное время сокращается втрое! И двенадцать крылатых ракет под крылом... Вы что, не знаете, что наши главные месторождения на Чукотке... Какие лечебные грязи в Южной Осетии! Нам осталось только: вложиться! в инфраструктуру! Абхазии!!! – Ел мужик хорошо, было видно: не ему платить.

– А? – Эбергард прислушался к Фрицу, начальник управления муниципального жилья возил пальцем по столу:

– А если рисовать человека менструальной кровью, это означает сильнейший приворот!

Отклонился подальше от разговоров, чоканий, спортивных трансляций, грохота, сопровождающего

поглощение пищи, и накрыл телефон ладонью – звонила мама:

– Сынок, Сигилд так со мной разговаривает, что я плачу. Как же так получилось. Ведь вы так подходили друг другу по гороскопу. – Никто не полюбит сильней, чем мама, и Эрна вырастет и будет любить своих детей, а не отца. – Не разберусь с дозировкой ципромила. Там написано один двадцать пять за день, за три раза, а таблетка ноль пять, не могу разломить... И голова такая плохая, давление с утра померила – сто сорок, сахар почти четырнадцать, а пятно на носу сегодня очень хорошо видно – или на погоду? В сердце боль не колющая, а тупая, от лопатки идет...

Он поднялся, попятился к гардеробу, глядя за окно (под каштаны из ресторанной кухни вышла женщина в синей безрукавке и покормила из пакета трехногую собаку, заодно что-то ей рассказав: такая моя жизнь), и, дослушав маму, поморщился (так жгло), куснул язык, но всё-таки пересилил себя и позвонил Сигилд:

– Во сколько я приезжаю первого сентября?

– Первого сентября Эрну поведем мы, – и Сигилд отключилась.

– Я даю положительную энергию, снимаю порчу, – объяснял Фриц, прерываясь на внезапный смех и оглядывая друзей влажными от любви глазами, и поглаживал нетвердой рукой брови, правую, левую. – А то приходит Стасик Запорожный из «Стройметресурса», весь потерянный: со всеми соглашаюсь... «Единая Россия» миллион попросила на велопробег ветеранов – даю. Бабец велел часовню на участке поставить – и опять «да»! Я говорю: может, тебе что подарили недавно? Точно! Крест с бриллиантами, на шее ношу. Вот! Вот поэтому голова-то твоя теперь всем и кивает! Крестик забрал, в полиэтилен обер-

нул, в сейф запер и свечку зажег, вокруг Стасика поводил. Вчера звонил: вроде полегче стало!

– Ты это... со Стасиком поаккуратней, – и Хериберт особо улыбнулся. – Он же из... этих.

– П-понял, – пробормотал Фриц и озадаченно засунул в рот пельмень и помахал вилкой. – Да я и сам знал!

– Ребята, ребята, – Хассо сгреб ближайших за плечи, и все уже поняли о чем. – Поехали пописюнимся с телками!

– С телками... – Хериберт покраснел. – Я прошлый раз смотрел: совсем молоденьких выбираешь! Скоро до школьниц дойдешь.

– Это моя мечта. Возбуждает даже знак «Осторожно, дети». Дам объявление в газете: «Москвич, без вредных привычек, познакомится с серьезными намерениями с женщиной, у которой есть красивая старшеклассница дочь с большой, упругой грудью».

– А меня возбуждает, когда в прогнозе погоды говорят: «Столбик термометра поднима-а-ается»...

– А я видел объявление: «Массажистка. Красный диплом. Белая кожа»! А ты чего молчишь?

Эбергард показал, что от подступающего смеха он подавился чесночной гренкой, продышался и подхватил:

– А я посмотрел лоты аукционов органов власти. Самый распространенный – «Работы по устранению сухостоя»! – И первым захохотал. – Все работы – только через аукционы. Коррупции не будет. Хассо, а какой у тебя самый коррумпированный орган?

– А я вот сидел и глядел на дорогого нашего друга Эбергарда, – взялся за рюмку Хериберт, заново особо улыбнувшись. – Сидит он, и смотрит на нас, и ест, как мы...

– И пьет!

– И пьет. И ничем вроде бы не отличается... А с душой своей совсем, совсем он не такой... И что он на самом деле про нас думает?

– За это мы его и любим! За Эбергарда!

– За нашу совесть, – Хассо выпил и, проиграв отрыжке, огляделся: что бы такого... сожрать?! – Но я так и не понял: на хрена ты развелся? Не мог так трахать Улрике?

«По кофе» и – закончили, сбросив деньги Хассо; тот (усилив глаза очками, которые носил редко, переживая – очки старят! и так седой! – а Хассо не собирался стареть, плавал, бегал, качался и в журналах всегда читал о продуктах, укрепляющих потенцию) словно с удивлением рассмотрел чек, сумму делил на четыре и высчитывал чаевые не умолкая; друзья двинулись разбирать плащи, привычно, как дети, подставляя руки гардеробщику. Эбергард отказался от помощи, но сунул гардеробщику денежную бумажку – тот вышел за гостями, изображая проводы, сунул бумажку в нагрудный карман и еще заглянул следом, отслоив карман большим пальцем, словно проверяя: удобно ли там денежка устроилась? Водители, также сдружившиеся за эти годы, расходились и рассаживались, хлопали дверцы, фары расстилали под ноги свет. Фриц задержал Эбергарда и трезво спросил:

– Что там у тебя? – Из четверых – старший, и вел себя так же, и всегда спрашивал в упор, неприятно, почти касаясь – нос к носу, еще больше втянув впалые щеки и подвыпучив словно воспаляющиеся от водки глаза.

– Не дает Эрну отвести первого сентября в школу. Каждый год я водил. А теперь она с уродом. Появился какой-то урод.

– Набей ему морду, – Фриц отмахнулся: это мелочи; и – рыкнул: – Сделай другие глаза! Не должен ходить с такими глазами. Ну, не сложилось с Сигилд, бывает. Треснуло и – пошли рвать друг друга до кости. А дети – волчата, они ничего не понимают, они идут по кровавым следам! Кто первый зашатается, того и начнут рвать за компанию, хоть мать, хоть отца. Стой крепко, и дочь останется с тобой!

– Спасибо, Фриц, – прошептал Эбергард, становясь мальчиком: еще слово – и потекут слезы. – Только ты... Понимаешь, люблю, даже психованную нашу жизнь, безумную как-то выстраивает... даже оправдывает... присутствие хотя бы одного правильного, такого, как ты. Человека.

– Или Бога, – серьезно сказал Фриц.

– Или ребенка.

– Послушай, а что значит – Стасик Запорожский «из этих»? Из каких «этих»?

– Представления не имею. Я думал, ты знаешь.

Фриц вздохнул:

– Неудобно было спрашивать. Вот и думай теперь. Голубой, еврей или фээсбэшник? А я с ним по бизнесу связан...

У тебя звонил телефон. Эрна? – вот что сразу. Да. Почему сразу «Эрна»? Никто больше не нужен? Папа (словно торопится, или волнуется, или идет по улице, движение шумного воздуха, говорящие губы ближе-дальше или дыхание покоя), я не смогу послезавтра встретиться с тобой (мы же договаривались! почему?), у Алечки день рождения. Вот и незачем «почему?», не втиснешь, скажи уверенно:

– Ну, хорошо, тогда до первого сентября, я за тобой заеду, – и тряс головой, и морщился от засухи, от непрозвучавших «буду ждать», «жаль, что так вы-



шло», «целую», «давай, в другой день!», со стороны – сумасшедший (всё, отключилась, нажав нужное) и прошептал: – Сумасшедший. – И вечером дома (ты же собирался встречаться с Эрной? что значит «она не может»? ты же заранее предупредил?! вы же договаривались! ты же ее отец!) смотрел с Улрике то, что показывал телевизор, а чувал жалость: никогда у него не будет там, потом, пожилой сверстницы-жены, такой, что прожили с юности душа в душу, друг в друге, перемололи всё, перемогли, перемолили, и вот теперь хоть и ползают, да заботятся друг о друге; он пошевелился, закрепляя движением: да, такого точно у него не будет; притворится мужем Улрике, но без свадьбы, зачем свадьба? – свадьба уже была, пиджак и брюки, волосы особым образом, семья уже – была. Надо расплачиваться.

Вчера – точно четырнадцать лет, как они познакомились. Кроме жалости он (вдруг, в эти минуты! несколько раз по шестьдесят секунд!) скучал еще – по теплу, по словам Сигилд. По дому. Плохое на подлинное «сейчас», пока они смотрели с Улрике в телек, забылось, и он тосковал, словно Сигилд умерла. Но всё-таки жива. Нет, умерла. Но всё-таки жива, вон позвони – услышишь. Наверное, слишком мало времени прошло... И прямо не верится, что ничего не получилось, что их целые, настоящие годы уже становятся и станут туманным, ошибочным эпизодом (взглянул на Улрике – неродное, уродство, взглянул на стены съемной трешки – чужое), поднялся и двинулся на кухню, словно чтобы там кому-то сообщить: вот у меня появилось прошлое. Прошлое, оказывается, это развалины, смотри на взорванную электростанцию, взглядом вдоль проводов: вон там еще и вон там было напряжение – где кончилось оно? Когда на-

чали подолгу молчать? Засыпать с невысказанными обидами, недоговаривать, потому что не имеет смысла, одно и то же, всё равно ты (я) не изменишься, не поймешь, не станешь, когда после заметных (а потом незаметных, а потом «без») мучений он начал целовать Улрике, расстегивать на ней пуговицы зажмурившись и – утолять.

Улрике нашла его и прижалась:

– Я с тобой.

– Давай, – вдруг, откуда это? но нужное, будто согласился, покоряясь, согнулся до земли и перебирал «заведем», «родим»... – Пусть у нас будет ребенок. Твой и мой.

Она молчала, словно оказавшись под водой и боясь захлебнуться, и крепче прижалась, посильней, стараясь не вздрагивать и молча, чтобы Эбергард не услышал, как расплакалась она, – за все свои годы с ним, говорившие «надежды нет», «ничего у тебя не будет, как у всех», «от чужого двора не бывает добра»; но она верила в свою любовь, отдала любви всё и любовь не обманула – всё у нее будет, как у всех, и еще лучше.

Утром первого сентября ветер повалил тополь на высоковольтную линию и сгорела подстанция «Капотня-4» – отключили свет в трех округах, Интернет, мобильную связь, встало метро, и люди поднимались и вытекали на земную поверхность, затопив дороги, не давая тронуться подогнанным со всех округов автобусам, пугавшим, да еще с перевернутыми, для подтверждения недействительности, неизвестными, чужеземными номерами маршрутов, – и всё остановилось. Эбергард опоздал, но ехал зачем-то за дочерью – Эрну поведет в школу отец! Может быть,

нет – должна его ждать Эрна! У подъезда стояла Сигилд. Но без цветов. А где?..

– Я тебя предупреждала. Эрну повез Федя.

Федя, имя существа.

– Я всё сказала Эрне. Пусть знает, что ты нас предал. Нечего ей пудрить мозги!

В мозг девочке – пару! чугунных! гвоздей! Без обмана.

– Когда ты заберешь вещи? Что молчишь? Если не заберешь вещи, я привезу тебе их в префектуру, – уже в спину; так и не смог взглянуть прямо на Сигилд, кажется, продуманно нарядилась, много белого. – Я подавала в суд на развод, вчера нас развели. Можешь получить копию решения и поставить штамп в паспорт!

Зачем-то он приказал Павлу Валентиновичу:

– К школе!

Но не пробились и долго еще тащились в префектуру через Третье кольцо и далее – из промзоны в промзону; Эбергард слушал радиопесенки, отправлял эсэмэски и поглядывал на страшные сооружения, словно просившие называть их «ректификационными колоннами», – выходит, подделала его подпись на повестке... Оспорить. Отменить. Смысл? Сигилд такая, он знал. Такая, как все.

Будто «ничего нового», так надо, не теряться, потерпел два дня и эсэмэску: «Эрна, что у тебя в выходные? Поедем в дом отдыха: аквапарк, шашлыки, лошадки!» – «Не получится, идем с классом в боулинг. В воскр с мамой к знакомым на дачу». Что за знакомые ублюдки там появились?! Какая дача?! Послал: «Жалко. Я тебя очень люблю». Ждал днем. Нет ответа. Ночью проверил: конвертик, есть! – оказалось, скоты прислали рекламу. Утром: опять нет. И нет. Это

ничего. Ребенок. Он не мог прекратить, насмотреться, хоть что-то – разглядывал номер Эрны, ее цифры, жал клавишу, не давая погаснуть. Вот она. Живая где-то. Молчит. С ним молчит.

– Нужны все эсэмэски с этого номера и на этот номер. За последние две недели. Оформлен на меня, – он бросил паспорт секретарше Жанне, тощей, уродливой, огромные стекла в очках, «я стерва, и мне нравится ею быть, потому что меня никто не полюбит!». Жанна боялась Эбергарда так, что могла заплакать посреди мирного разговора про опечатки в обзоре прессы для префекта, всех остальных посылала матом.

Ночь. Это ночь. Ведь ночь? Да. Как он здесь... Но это место... Деревянные стены?.. Это дом отдыха, где они... Вот Улрике. А что? Что подбросило? Кто-то ходит? А, он вздрогнул: телефон. Посреди ночи – страшно звучит его телефон – Эбергард вскочил, боясь не застать наверняка ошибившийся голос какого-нибудь пьяного из другого часового пояса, из Владивостока, только не тишину, только не с неопределившегося. Только не «умерла мама», и следующий он. Да. Да!!!

– Ну, эт-та... – улыбался где-то Леня Монгол, – у меня тут солнышко. Сижу с обгорелой мордой. Че звоню. Все вот эти хваленые массажные салоны... Жена говорит: Леник, вижу маешься – ну сходи. Девки худые, маленькие, лезят по тебе, как котята, – тьфу! Хотя я, ты знаешь... люблю больных и тощих! Приняли там одного... Читай новости. Хвались!

Эбергард посмотрел новости в телефонном Инете, спать хотелось, но не заснул почему-то, сидел и зе-

вал на балконе в темноте – сверху кто-то сморкался, бабочка дребезжала в окрестностях лампы, огромные лесные вялые комары крестили стены, как освящающие штампики нанятого священника, безжалостно пятнающие обои и фактурную штукатурку. Он поднял голову: звезды на небесном платке, косо постеленном меж косматых верхушек берез. Что-то неведомое стрекотало, тянуло сыростью от травы, пробивало тишину Осколковское шоссе, и спокойно восклицали что-то женские черноволосые азиатские голоса в деревянных, крашеных зеленью домиках для прислуги. Переругивались дальние собаки, шаркал и посвистывал невидимый ранний прохожий, с удовольствием катил охранник на велосипеде, совершенно не глядя по сторонам – наслаждаясь мальчишескими воспоминаниями, виляя рулем и радостно приподнимаясь на педалях перед препятствиями, в своей черной форме и угловатой фуражке похожий на эсэсовца в отпуске.

Без десяти восемь, когда в префектуре уборщицы громыхали ведрами в туалетах и свет горел только в коридоре и двух окнах Евгения Кристиановича Сидорова, Эбергард уже стоял в пустой приемной Бабца, разбудив раньше срока недовольную ночную дежурную, утепленную платком козьего пуха вокруг поясицы. Дежурная стеснялась при посетителе вернуть в кабинет префекта позаимствованный чайник и отойти в туалет и вздыхала, ожидая секретаршу Марианну, навек закрепившуюся в приемной благодаря в основном чудовищному размеру груди, кожаным юбкам с разрезом и умению особо наклониться, приземляя поднос, а Эбергард смотрел дежурной за спину на стародавнюю, появившуюся до префекта Д. Колпакова, до Ворошиловского райкома, но всё-таки после Марианны

картину – какое-то замызганное волжское побережье; картина тревожила Эбергарда тем, что в кудлатых, низкорослых зарослях березняка и елок торчали три высокие пальмы. Эбергард каждый раз присматривался, но нет: обезьян вроде не видно.

Бабец протек в кабинет не здороваясь, так полагалось: Эбергард не записывался на прием, а префект по пути в кабинет погружен в значительные размышления о ходе реализации программ мэра и городского правительства на территории округа, поэтому не узнает знакомые лица, не отвечает на полупоклоны, но кланяться обязательно; позвоните ему, попросил Эбергард дежурную, выждав минуты, достаточные для «переобуться», «отлить», «позвонить жене, что доехал и что машина – к ней», «выпить таблетку», «полистать поканально телек»; а вы договаривались? представьтесь хоть. Он устроил племянницу дежурной корректором в «Вечернюю столицу», дежурная знала его шесть лет, но так полагалось. Егор Иванович, тут подошел Эбергард, пресс-центр, не записан, просится, на одно слово...

Бабец важно хмурился в слоистое нутро красной папки «На подпись. Срочно!», поросшее лепестками разноцветных закладок, никаких рукопожатий и «сидись», не подымая глаз:

– Ну что?

– Егор Иванович, простите, что без звонка, просто, хоть и не имеет к префектуре прямого отношения, по департаменту культуры, но округ-то наш... Решил вас пораньше поставить в известность, вдруг кто будет звонить, чтоб вы в курсе... – На листе бумаги – «вот».

Эбергард смотрел, перетекая глазами в глаза Бабца, читая его глазами, разделяя сладость и восторг, но всё же – с брезгливого, отстранившегося расстояния...

– Да ты что?! – ахнул Бабец и прочел еще вслух, разжевывая по слову: – «Вчера сотрудниками роты ДПС. В ходе операции “Арсенал-2” на контрольном посту милиции. На улице космонавта Рюмина...» Хоть не в нашем округе!! «Был остановлен автомобиль “лексус”, управляемый руководителем дирекции капитального строительства управления культуры Восточно-Южного округа Валерием Гафаровым. В ходе осмотра в салоне автомобиля был обнаружен сверток из мешковины с автоматом АКС-74УБ, съемный глушитель и два магазина». С шестьюдесятью патронами! «Чиновник и автомобиль доставлены в ОВД Вознесенского района». Слушай, так это... Твою мать! – Бабец упустил очки куда-то под ноги. – Так он – террорист?! В мэрии все а-хренеют. И мэру... Молодчик, что ты мне. Мать честная! Пойдем, – отворилась дверь в комнату отдыха, – да садись ты! – доставалась бутылка, – не могу просто поверить! Гафаров этот, черножопый... Ай-яй-яй, говорил я тебе! – помнишь?! – надо к нему повнимательней присмотреться. Чуял я! – Бабец протянул Эбергарду стопочку. – Куда мы идем?! – прокричал префект и хватанул Эбергарда за руку, словно у него лопнули глаза. – Железные двери с кодовыми замками на каждый подъезд. Видеокамеры на каждый этаж. Дворы огораживаем – решетками! В детских садах вооруженная охрана. И в управлении культуры работают бандиты. Что дальше? Теперь скажет: автомат не мой, а? Деньги судье занесут.

– Всё равно. Три года.

– Спасибо! – кратко и больно Бабец сжал его руку и вывел обратно в кабинет. – Что информировал. – И перевел на громкую связь стеснительно пропищавший внутренний телефон. – День, как всегда, начинается с тебя, Евгений Кристианыч!

– Егор Иванович, – первый заместитель Сидоров чеканил явно написанное, – докладываю: сегодня в семь ноль три на мой телефон поступил входящий звонок с телефона главы управы Троице-Голенищево Панченко. Панченко сообщил, что у моего подъезда по месту прописки, Весенний бульвар, девять, припаркован автомобиль БМВ, государственный номер вэ 126 эсэр, и что в перчаточном ящике автомобиля находятся документы на право владения, оформленные на мое имя. В ответ на мой решительный протест Панченко заявил, что это благодарность по итогам проведенного аукциона на выполнение работ по вывозу мусора в Троице-Голенищеве. Официально заявляю, – Кристианыч поправил голос, – что никакого отношения...

– Я понял, Кристианыч. Что хочешь? – Бабец поморщился, высоко обнажив всю свою металлокерамику – до синеватых десен.

– Оградить от провокаций.

– Сиди жди, – Бабец понажимал кнопки, – Марин, с Панченко соедини.

– Пойду я, Егор Иванович?

– Видишь, Кристианыч первым задергался. Чуткий, суч-чара. Думает – уберут меня. Слышал, такое по городу несут? Панченко, алло, ты там забери то, что пригнал по одному адресу. Чтоб у меня тут ничего не воняло! Слушай, это мой вопрос, что, и как, и с кем ты решал, а? Дети, блин, – брякнул трубку и тускло взглянул на Эбергарда. – Говорит: что это он – всегда брал, а теперь...

Эбергард решил, вдруг и Бабцу бывает необходимо участие:

– Но ведь там, – и покосился за окно, над Тимирязевским проспектом, в середину города: мэрия, герб



и флаг, – вроде бы... – закончить следовало, – «всё сложилось»...

– Глядит он на меня, кажется, не зло, – раздражаясь на себя (с кем? кому?), начал Бабец, – но он же...

Бабец умолк, но фраза продолжилась сама собой, поползла дальше, словно у нее отросли ноги, диким мохнатым суставчатым насекомым выдавилась из норы, и до Эбергарда доползла как льдистый подвальный запах из провонявшей холодильной камеры: «но он же в семье не один» – Эбергард тяжело, измученно, страдая за префекта и слезливо, приемным сыном, несправедливо обойденным любовью, но без малейшего упрека вздохнул, приподнимая грудью гриф невидимой штанги, хотя ему было всё равно. В целом – всё равно. Неважно.

Вот! – важно (это настоящий он только что шел префектурным коридором и пел «Прилетела-села важная пчела...» – а сейчас закричал заранее внутри себя; но – и ладно, что бы там ни... и жить дальше! А может, ничего и нет):

– Что вы просили, звонки и сообщения. На двух листочках, – и секретарша Жанна пропала, потому что Эбергард бешено кивнул, не думая, на «сделать кофе?».

Вот Эрнэ пишет уроду: «Завтрак в школе я не кушаю», вот пишет ему же еще (два дня прошло): «Федя, ты приедешь сегодня ночевать?»; отцу не пишет, уроду пишет, ну да, он свежий, новый, ребенку интересней, он там – каждый день, и вот – что искал: «Я тоже тебя люблю. Очень-очень», – рядом с появившейся кофейной чашкой откуда-то упали две слезы, хотя Эбергард не плакал, он растерянно закрыл лицо ладонью (секретарша убежала – спасись!) и вздрогнул и вздрагивал еще от каких-то вну-

тренних ударов, его били изнутри, и согнулся над столом, прислушиваясь, кто же это там в него заселился? И еще попозже, теперь бесконечно – что же там под кожей и ребрами других людей? – зачем уроду выдавливать из его дочери признания в любви, из чужой девочки, из одиннадцатилетней дочери живого присутствующего человека? Хорошие отношения – да, нужно иметь хорошие отношения со всеми проживающими на жилой площади... Но любовь? И он бы на месте уроды с дочерью живого присутствующего человека – никогда. Зачем это?

Бесконечно, не унять, и измученный, он думал (уже совсем потом): ну что ж, Эрна жива, она здорова, ей ничто не угрожает, отцу не пишет «я тебя люблю» даже в ответ, даже на выпрашивание (как радовалась эта тварь, выговаривая «Эрну повез Федя», ах ты...), живет в семье, отдельная комната, ее любят. Успокоиться. И отойти в сторону.

Лишить тварей возможности жалить!

Но (Эрна не писала, Эбергард позвал сообщением в кино, нет ответа, нет даже «нет», нет «не могу»! Он больше не звонил, он обиделся, как же так «люблю очень-очень», ему казалось: Эрна знает, «за что» он обиделся, и теперь позвонить первой должна она) оказался под дверью «Психолог» и вслушивался: «Ваша девочка немного подозрительна мне. Но – не более того. Я тоже в детстве был подозрителен, ну и что? Про Эйнштейна в детстве почитайте», с чувством подвинулся стул: «Не надо нам Эйнштейна!» – лучше не слушать! Эбергард посмотрел на белозубые и застенчивые плакаты, на очередь в соседний кабинет, в очереди материнская дотошность терзала вынужденное смирение футболиста в рамках анатомии? природоведения? – теперь это называется

«ОБЖ»: «Из носовой полости воздух попадает... Куда?» – «В глотку!» – с оттенком оскорбления сообщил выученное футболист. «И там...» – «Теплые кровеносные сосуды согревают его» (думал: не готов к битве, а если урод окажется таким-то и таким – чем Эбергард ответит? Любовью? Словами? Своим вечерним шепотом прошлых одиннадцати лет?). – «А слизь?» – «Поглощает пыль». – «А пища потом куда?» (Но любовь для ребенка – подарки, количество и своевременность, и развлечения, пышность и разнообразие; и постоянное присутствие; успокоиться, собрать силы, наметить, куда бить.) – «В пищевод». – «А куда идет воздух после глотки?» (На осенние каникулы – в Париж, что случилось для тебя такого неожиданно? Ничего неожиданного, не бывает по-другому. Просто впереди еще – много боли. Вопрос лишь в том, есть ли там что-то, за болью, за изживаемой детской глупостью и жестокостью, временем, есть ли там Эрн рядом с ним, или он там один. Деньги. Для войны нужны деньги.) «В дыхательное горло!»

– А что находится в гортани?

– Ничего!

И учебник захлопнулся:

– Два!

Расскажите – рассказал; психолог слушала так, словно уже виделась, словно вот-вот перебьет, и всё это он уже в прошлый раз – слово в слово, только из вежливости не прерывает – всё, что он, перевод его «больно» не имел почему-то значения для нее и для него, он и так знает: главное – что скажет она, психолог, колдунья, когда он замолчит и начнет слушать, крутить квитанцию и мять, сворачивать в идеальный прямоугольник, разглаживать сгибы... Нет, всё напрасно, как только Эбергард увидел: психолог похо-

жа на бухгалтера и бедна, а психолог обнаружила: ребенка не привели, нет надежды на многосеансовую терапию.

– Отношение ребенка можно изменить... только! путем! убеждения! вашей! жены! Дочь не принуждайте. Просто найдитесь рядом. Смотрит телевизор, вы – рядом. Гуляет, вы – рядом. Встречайтесь по графику, пусть ждет. Ожидание приносит много радости. И больше не говорите, что вам с ее мамой было хорошо – ребенка это ранит!

– Мне кажется, она обманывает меня, когда говорит, что...

Психолог неприязненно рассмеялась:

– Удивляетесь? А вы? Посмотрите на себя! Вы же постоянно неискренни!

Эбергард отдал квитанцию и – больше не клиент, психолог причитала вместо «до свиданья»:

– Да не переживайте! Всё изменится! Когда мои разводились, – и она, выходит... оказалось – то же самое у всех, – я тоже, – почему «тоже»? откуда тебе знать, что думает Эрна? – винула во всем отца. Подросла – винула мать. Еще подросла, поняла: семья – это двое, – он уже читал это один миллиард раз!!! – и в разводе виноваты, – погрозила ему, – обе стороны. Но не пойму, что с вами? Может, у вас с бывшей женой еще не кончилось? – И вдруг, словно выстрелило, что-то взорвалось на соседней стройке так, что пассажиры на остановках вздрогнули и оглянулись: – Вы любите ее?

И она умолкла, действительно ожидая ответа, хотя должна была согласно его представлениям о людях тарыхтеть и тарыхтеть... Что тут скажешь.

– Вы несчастливы в своей новой семье? Тогда в чем дело? У нее новая семья, у вас новая семья, нет мате-

риальных проблем, всё естественным образом должно забываться, и никто не мстит... Вот я, – и это у всех! – развелась и – Гос-споди! – да мне всё равно! где он там да что там с ним... А у вас? Может, любовь перешла в ненависть? И дело не в дочери? Дело в вас?! – Психолог еще говорила, неудобно же встать и уйти, но Эбергард встал и ушел на полуслове, она кричала вслед («Это уже – их – семья! Вы не можете вмешиваться в – их – жизнь!»); на воздухе он оглядывался, ощупывал, отряхивался (водитель Павел Валентинович припарковался впереди, за автобусной остановкой, за вереницей чернлицыных бомбил и махал оттуда: я – здесь!): как? Так?

Вопрос, что я на самом деле испытываю к Сигилд?

Я испытываю к Сигилд сильную неприязнь. Это правда.

Что ты на самом деле хочешь?

Хочу быть с Эрной как можно больше. Как можно ближе. Как раньше. Как всегда. Воспитывать. Оберегать. Правда. Я ее отец. Это не должны говорить, знать, видеть, это должно – быть. За всё сказанное – ручаюсь, это не кажется – твердость, действительно.

А теперь обернись.

Психолог сказала: «их семья». Там уже семья. Если ты ушел, ты, получается, согласился, что дочь будет жить в другой семье, с другим отцом. Та семья живет на свой лад, своей судьбой. Ты не имеешь права вторгаться. У дочери твоей есть родители, оба. Она с ними, с родителей будет спрашивать Бог или кто-то там, как они справляются. А ты – только вежливо предложить подмогу и не обижаться, если «спасибо, у нас всё есть». Все дети уходят от родителей и звонят раз в месяц, если не забывают. У тебя просто немного раньше.

Нет, ему показалось: вот здесь он обнаружил и быстро нажал кнопку «Отмена» – он же не уходил от дочери, только от Сигилд. Семья Эрны – это и я! Нет, это моя дочь, я буду ее растить, это не я пациент!

Он пробовал ходить, пробовал дышать, и всё получалось «с тяжелым сердцем».

Водитель вручил Эбергарду газету:

– Почитайте обязательно! Двоюродная сестра Раисы Горбачевой вышивает ногами!

И он против воли увидел фотографию инвалида.

Эрна не ответила ни на одно из трех новых сообщений. Ни на утвердительное, ни на повествовательное (1370 знаков, но содержащее вопросы), ни на прямо вопросительное. За следующую неделю ответила лишь однажды на «заберу тебя с английского»: «Английского завтра не будет». Ее голосом: не увидимся. Матери (когда они с Эбергардом еще встречались каждые выходные) звонила каждый час – без напоминаний! – и каждый звонок: «Мамочка, я люблю тебя!», «Мамочка, я люблю тебя!»

На крыльце префектуры седой поганкой торчал Кристианыч, наблюдая за муравьиными усилиями туземцев из ЖКХ в мушкетерских пополах, вылизывавших неуместные листья со внутреннего двора (ожидался вице-премьер Левкина). Согнув, как полагалось, за пять шагов голову, Эбергард бесшумно обогнул по максимально удаленной траектории Кристианыча, прошептал: «Здрости, Евге... Крист...» (первый заместитель никогда не подавал ему руки), и тот вдруг кивнул:

– Как с дочерью? Что ж не пришел посоветоваться? Эбергард поклонился: виновен.

– Откажись от дочери. И тебе ее приведут, – и он опустил морщинистые веки, сливаясь с октябрьской серостью.

– Я теперь люблю деньги! – ввалился уволенный художник Дима Кириллович и без спросу упал в кресло для важных, равных Эбергарду и повыше людей, приставленное к обособленному круглому столу – непривычный: в костюме, распухший галстучный узел с усилием размыкал жестяные углы рубашечного ворота, оправданием швырнул на стол визитку на шершавой золотистой бумаге. – Я всегда считал: стыдно зарабатывать, стыдно хотеть денег – моя ошибка! И мне ничего не давали, даже когда давали всем. Теперь заставляю себя говорить каждое утро, – Дима вскочил и вдавил высыхающую рябую конечность в борт пиджака, присягая, глядя на невидимый поднимающийся флаг новой родины, – я люблю деньги. Я хочу деньги. И они у меня будут. И квартира у меня будет, – и выдавил вдогонку, опасно, словно матом, – получше твоей.

– Я вообще на съемной живу. У нас префект новый, вчера представили, – Эбергард, не посмотрев, смахнул визитку художника в урну. – Устроился?

– Почти арт-директор информационно-издательской группы аппарата вице-премьера Ильи Семеновича Левкина! – и Дима расстегнул пару пиджачных пуговиц, обнажив на поясе новый мобильник в коричневом чехле. – Слушай, распорядись там кофейку... Только не растворимый. Жанночка, сделай-ка капучино, что-то я пристрастился... Я по делу. Может быть, выберу тебя для одного – очень – интересного – предложения. Но, знаешь, день так плотно расписан. Засиживаться не могу. Уж извини.

– А почему арт-директор «почти»?

– Есть там пока один мальчик... Но сла-абый, – Дима захихикал и долго не мог справиться с собой, разомкнуть заслезившиеся веки, – ты бы его задушил в первый же день! Я туда пришел, как хищник, огляделся, – Дима действительно внимательно и хитро обозрел углы, настороженно расставив когтистые лапы, – и понял: начальства много, но всё мясо, деньги только у папы. Решает один, – и жарко прошептал: – Левкин! А его все ли-ижут, обступили, я побегал вокруг – присосаться негде. Вгрызться негде! Дождался дня рождения папы: позиционировать вас надо по-другому, Илья Семенович, новое слово нужно в основание вашего публичного образа, слово же камень, на камне строится всё, и слово ваше – величие! А от него пойдем развивать – величие свершений, величие облика, величие замыслов... Так Левкин меня прямо за руку хватнул, до синяка – хочешь покажу? – и так: да, да, да! Разработайте! Вот как я всё проинтуичил. – Дима не мог успокоиться и маячил перед Эбергардом туда и сюда, словно выскивая паркетину, какая-то вроде здесь скрипела, улыбался и разводил руками.

– Надо же. А я думал, у Левкина вокруг только племянники. И троюродные внуки...

– И это есть! Есть, – захохотал Дима, замахав руками. – Одни свои! И трепещут. Ты не представляешь, как чудно: зайдет – все должны встать; на кого взглянет – представляйся: имя, стаж, образование. Если выступает, то полный зал. Увидит свободное место – поворачивается и уходит. И чтоб в первом ряду ветераны. Обязательно с медалями. На любом совещании. Он посреди доклада – к ним: «Ну что, мои дорогие? Есть замечания? Хотите что сказать,



гордость наша?» Если выезжает на объект, любит, чтобы все вокруг мусор убирали! Даже я уже два раза бумажки вокруг департамента собирал – не откажешься! – Дима присел и будто сам себе, в полузабытьи, едва слышно пропел, подзакатив глаза: – А ведь под идеи мои бюджет получу... Исполнителей буду выбирать. Из самых лучших. – Помолчав, рассчитывая, чтобы поглубже упадет, прорастет и окрепнет: – Интересно тебе?

– Давай.

– Только, ты же знаешь, как я люблю. – И Дима сурово прогнусавил: – Без косяков. И строгое соблюдение сроков. За деньги я спрошу. Страшней меня не будет, всасываешь, что я говорю?

– Еще бы.

Дима нетвердой от радости рукой цапнул со стола Эбергарда салатовую бумажку для заметок и вывел «20%», просипел, преодолев подрагивающую предвкушающую запинку:

– Откатишь?

Эбергард отобрал у Димы Кирилловича ручку и жирно переправил в «50%».

– Даже так? Ну что ж – партнеры! – и произвел горячее рукопожатие. – Всё заприкину и перезвоню. Давай как-нибудь пообедаем, только возле меня, в центре, а то до вас телепаться...

– Извини, Дим, мне тут надо...

– Это мне пора, – Дима охнул, увидев часы, и с некоторой небрежностью осведомился: – Слушай, у тебя машина не свободна? Павлик не добросит меня до метро?

– Нет.

– А через час? Может, я подожду? – Дима Кириллович неожиданно похлопал Эбергарда по плечу. –

Ты так не переживай из-за своих там личных ситуаций... Нет непокупаемых ситуаций. Есть вопрос цены!

Опаздывал в префектуру – монстр не вызывает, делать нечего; дольше обычного спал и посреди мук обидного утреннего просыпания (оттого, что чешется голова, сбилась подушка, кто-то дышит в лицо) понимал: хочу жить один, следом понимал: хочу домой, к дочери и так сильно, что хоть вставай, одевайся и иди под редким осенним солнцем, переступая заледеневшие лужи, как в детстве – «хочу домой»; над тарелками и чашками завтрака что-то утреннее из этого проступило на его лице, и Улрике забрала свою чашку и ушла в комнату – такое молчание за столом не согласовывалось с ее представлением о торжестве взаимной любви.

Всегда и сейчас – что Эбергард искал в дочери? Понимания. И не мог сказать: «ничего не понимала», «ничего не хотела изменить», а лишь «ничего не могла». В самом начале, когда он побеждал, вернул себе интерес к будущему времени, выбросив из жизни заржавевшую, изношенную женщину, Эрна ответила ему на вечернее «Как настроение?» – «Каждый вечер кажется, что кто-то должен еще прийти. Но никто не приходит. Возвращайся»; он так быстро стер, замазал, зарастил, завалил спешно купленным дочери новым мобильником это сообщение, что вспомнить не мог, точкой оно заканчивалось или восклицательным знаком. И тогда же, в первые недели, месяцы (дочери казалось: мама и папа просто живут отдельно, папа много работает, ремонтирует новую квартиру – хотя никто не знает, что ей казалось самой, а что вбивала, впрыскивала под кожу и втира-

ла в виски ее Сигилд, но что бы ни казалось – вырастет и забудет) – Эбергард забирал ее из дома показаться со снежной горы, – не до конца еще забравшись в машину, валенки торчали снаружи, Эрна вдруг выпалила:

– Почему вы с мамой так редко видитеесь?

Хорошо подготовила Сигилд! Эбергард показал на затылок водителя Павла Валентиновича: потом...

Черным вечером они пять раз скатились с горы, и внизу неожиданно Эрна опять спросила: почему?

Он сказал, достал давно припасенное, как подарок. Что кончилась любовь. Мы будем жить в разных домах. Но ты – наша дочь, ты всегда будешь с нами. Мама не останется одна, я надеюсь, у нее появится другой муж. Он не сказал только: у меня есть Улрике, помнишь, много лет назад я принес тебе в подарок фею с золотыми крыльями и с волшебной палочкой – это тебе подарила Улрике.

Я так не хочу, сообщила Эрна.

Мама будет счастлива, а со мной она несчастлива. Я не буду ее мужем. Но всегда буду твоим папой.

Не хочу так, хочу, чтоб ты был и муж. Я не хочу, чтобы родители в разводе. Эрна сняла варежку и вытерла слезу. Кто-то в классе, видно, пояснил ей, что происходит, когда родители договариваются пожить какое-то время раздельно и чем всё это обычно кончается.

Он сидел на корточках перед Эрной, но смотрел ей в живот. Вы не можете помириться? Нет. Ты бы подошел в Прощеное воскресенье и попросил прощения (это он ей рассказывал про Прощеное воскресенье!). Тут никто не виноват. А если я приведу ее к тебе, вы помиритесь? Я не виноват. Но кто-то же сказал первый: давай жить раздельно? Мы оба. Ты будешь

жить у меня и у мамы по очереди. Но я так не хочу – по очереди.

Тогда будешь всегда у мамы, а я буду встречаться с тобой каждые выходные. И так я не хочу.

Всё будет хорошо.

– Но вы даже не разговариваете! – как-то взросло воскликнула Эрна, и он не выдержал, схватил за заплакавшие плечи и закричал: мы еще будем разговаривать, будем встречаться, проводить вместе праздники, вместе летать на разные моря, в красивые города и всё там смотреть!

– Когда?! – тоже закричала она.

Он выпустил ее, словно упустил, выронил и замерз сразу, он хотел ответить «когда мы будем старичками».

– Я всё сказала, что хотела. Пойдем.

Они, не взявшись за руки, двинулись в гору, но мимо тропинки, с каждым шагом пробивая снег глубже и глубже, и посреди пути наверх оба провалились по пояс – молча барахтались в трех шагах друг от друга и не могли выбраться.

Дни, недели монстр молчал – никого не вызывал, не ездил знакомиться по районам, не собирал совещаний, уволил только водителей Бабца за скверный запах и бедный вид да поменял положенную префектам «вольво» на «ауди-8» (великодушно предложенную дальновидным застройщиком в аренду по цене, равной «за так»), велел окружному ГИБДД выделить для сопровождения «лендкрузер» с мигалкой. В префектуру он заезжал часа на два, неспешной развалочкой двигался к кабинету ноябрьским болезненно-сумрачным коридором, за ним мордатый водитель нес портфель и косолапили два рослых охранника (и это

было чудно префектурным – префект с телохранителями! – звонили в префектуры, соседям: вон как у нас! – Д. Колпаков-то пешком на работу ходил! Бабец, помните, один ездил на рынок у Фрязинского вокзала, когда там спорили азербайджанские евреи, опекаемые государственным таможенным комитетом, с солнцевскими, соединившимися с ГУВД, и каждый день – труп на выходе из парикмахерской в день пятидесятилетнего юбилея или пожар в свежестроенном павильоне; а в зампрефекта Кравцова, приехавшего отключать «незаконное подсоединение к электросетям», когда «старшие» еще колебались, с кем «порешать», неустановленное лицо бросило топор, а главу управы Фрязино Мишу Табольцева, на него Бабец перевел стрелки, когда «старшие» наконец-то выбрали, застрелили в префектурном дворе без пятнадцати девять утра – просто так, без всякой практической пользы, в знак «вопрос закрыт»...).

В кабинете монстр принимал доклад Кристианыча, ни в какую не соглашавшегося присесть наконец на вот эту хоть бы вот стулочку, о поступившей почте и наблюдал, как Кристианыч почту эту с пояснениями расписывал; и пил какой-то особенно целебный чай, доставляемый одним и тем же опрятным китайцем из ресторана на Ярославском бульваре, с главным бухгалтером Сырцовой – Сырцова ходила счастливая, подмигивала: «Любимая жена!» Где он проводил остальные часы, дни, недели? С кем что перетирал? Обсуждал «правила игры», прежде чем нажать *play*? Разбирался с кадрами – кто чей? Размечал доставшуюся делянку: откуда вынимать, кому носить, сколько и как прилично отвести ручеек от общего течения и запрудить собственный рыбхоз? В префектуре ничего не

изменилось, стало как-то потише, только милиционеры на проходной дежурили теперь по двое, и на лавочке они больше не отдыхали, и пропуска проверяли поголовно у всех, даже у многолетне знакомых лиц и подруг; и еще один милиционер в бронежилете встал у входа на четвертый этаж, на пути к кабинету префекта, да еще опустела приемная – бессменная Марианна в кожаной широкобедрой юбке, устранив из пышной блондинистой копны седину и попытки восстановления прирожденного цвета, вооружившись самым глубоким, хоть и слегка, увы, морщинистым, но по-прежнему полногрудым вырезом, из которого перли наружу черные кружева с красными цветочками, совершенно терялась и непривычно надолго замолкала, страшась включить телевизор, когда напротив нее усаживались охранники, – те разговаривали только между собой и как-то непонятно или о непонятном, с местными отказывались сходить перекурить или выпить кофе, на прямые вопросы храбрых о хозяине отвечали снисходительной улыбкой, в которой можно было прочесть всё что угодно, но всем читалось одно: «сами скоро увидите».

Но никто пока ничего не видел – темно и поэтому страшно; в округах префектов почти не меняли, а если кто-то рос или умирал, на смену предсказуемо приходили люди из системы, или, как говорили, «из семьи»: первые замы – свои, или из соседних округов (горизонталь), или начальники городских невкусных отраслевых департаментов, рвавшиеся на божественное «распределение средств целевого бюджетного фонда» и сопутствующие сладости территориального единоначалия (вертикаль), – расписание на пять лет вперед, ясно, «кто, если что...», и про каждо-

го знали, «чей» – мэра или Лиды, самое меньшее – «Левкин его двигает...»; явление монстра в богатом Востоко-Юге поразило правительство и префектуры, и черный управский люд, и муниципальную голытьбу – крепость, выстроенную волшебным «всем всё понятно», а тут непонятно! А вдруг мэра «нагнули» федералы? Тонем?

Листок учета кадров, Ф.И.О. монстра никому не говорили ничего: между г.р. в деревне Смоленской области, заочным политехническим институтом и записью «советник мэра» (удостоверения «советников» дарились отставникам и продавались мелким понтырящикам) дырявилась тьма из двух строк: «коммерческая деятельность» и служба в обозначенной цифрами «в/ч КГБ СССР» – сам монстр в высокопоставленной бане отрекомендовался «разведчиком», признал нелегальную работу в Соединенных Штатах, никак не объяснив незнание английского; во второй бане также упоминал Штаты, но уже как место срочной командировки для «спасения» сперва как-то попавших туда, а потом почему-то едва не пропавших миллиардов городского правительства; в третьей бане монстр объяснил человеку, показавшемуся ему особо умеющим хранить тайны, что он, монстр, и есть то самое неизвестное, как бы несуществующее для масс влиятельное и ловкое лицо, погасившее пламя в отношениях супруги мэра и ФСБ Ростовской области, запаленное без спросу купленными землями, недоплаченными налогами, не занесенными, куда следовало бы, деньгами, местным юристом, зарубленным самым зверским образом, и – в наибольшей степени – недодуманным решением, кого именно поддержать на выборах в областную думу, чтобы впоследствии душить губернатора.

При знакомстве в департаменте строительства с вице-премьером Левкиным монстр невольно проговорился: «Когда мы били чеченов...» – в аппарате мэра расслышали его: «Я ж из Питера, как президент...»; о Путине (это примечали все) монстр говорил как-то остановленно, родственно, слабо улыбаясь чему-то, ведомому только ему, словно припоминая недавнее свидание либо предчувствуя близкую (и явно не первую) встречу; услышав, «прописываясь» в департаменте территориальных органов, фамилию Левкин, монстр вдруг рассмеялся: «Знаем, знаем мы Левкина... Взятчик!» – и спокойно махнул свою рюмку среди окаменевшего молчания; прокурору города монстр поведал: я – генерал-лейтенант, журналисту «Городской правды», напавшему на него после заседания правительства, сказал: «подполковник запаса», военкому округа алкоголику Кузьменкову – «в отставку ушел генерал-майором»; начальник окружного ФСБ шептал подкармливавшим его главам управ: «Выяснил точно: полковник внешней разведки» – не прояснялось, кроме одного – монстр, похоже, сидел; любое упоминание мест лишения свободы задевало его лично, он прямо бесился и что-то бессвязно излагал о противостоянии парламента и президента в октябре 1993-го, погубившее не одну «офицерскую судьбу», про страдания за правду и честь Отечества, выбитые зубы; при этом Эберггард коротко знал человека, своими ушами слышавшего, как отставной генерал ФСБ, серьезно взошедший на федеральный уровень по внешнеторговой части, принимая в подарок легкую, несмотря на длину, но исключительно теплую шубу для молодой жены, услышав в ответ на свое дежурное «какие там у вас новости в округе?» фамилию монстра, поморщился и, не желая вдаваться в омер-



зительные подробности, процедил: «Увольнял из ФСБ его я. За бизнес».

На каждом этаже в кабинетах Востоко-Юга боялись, и никто не хотел бояться больше других; знал что-то наверняка, успокоить мог Кристианыч – он один ходил уверенно, но первый зам никого не спасал, совещания открывал: «Округ дождался настоящего руководства»; как всегда, посетителям из числа подрядчиков и застройщиков опять таинственно предрекал: «Будет мэром»; но, встретившись случайно на пути от пятого подъезда мэрии к автомобилю под первым снегопадом с главой управы Смородино Хассо, лично следившим, чтобы надпись «Рыжик, мы всё знаем!!!» на кинотеатре «Комсомолец» своевременно стиралась, Кристианыч, дважды довольно испуганно оглянувшись (это поразило Хассо больше всего), без всякого вопроса, сам, своевольно, едва различимо просипел:

– Артист. Большой артист, – и спрятался в машину.

За успокоением все ходили побираться к Сырцовой.

– А-а, Эбергард... А мы тут... Чайку? У нас и котлетка есть, будете? – Из кабинета, «да нам уже пора», «мы уже попили, сами не знаем, чего сидим и встать не можем», разбежался, звякая чайными ложками, бухгалтерский люд. – Посмотрите, лимон зацвел! – как глухому, голосила толстая, боком ходившая Сырцова, запираясь на ключ. Эбергард оглянулся на две желтые капельки, повисшие среди сухих веток (что бы ни сказала – будь, как всегда), и улыбался, слушал, словно ради приличия, словно ему больше важны приключения лично ему неизвестных сырцовских внуков или дачных кошек – веснушчатая медноволосая Сырцова обожала земледелие.

– Ходит с пистолетом! Сама видела. Мне сказал: Галина Петровна, жизнь меня побросала. Я с таким быдлом работал! Так что у меня здесь никто плакать не будет. Марианке каждый день: бутерброды с семгой и черной икрой должны быть всегда. Инвесторов будем встречать по высшему разряду. Закупайте на представительские расходы. Вопросы есть? А Марианка, ты знаешь, как она умеет, попой повела: вопросов нет. И представительских у нас тоже нет. Так удивился... Инвесторы с языка не сходят. Тут к нему уже первые подползли: «Стройперспектива», Запорожский из «Стройметресурса», «Золотые поляны» этого, Льва Эммануиловича... И префект каждому вот так, – Сырцова болезненной гримасой сжала губы и огорченно покивала головой, заговорив ровно, текуче: – Да, я тут посмотрел, столько у вас врагов... Столько врагов! Ну да ничего, будем помогать, да? Они ему: да всё у нас в порядке, всё мы порешали, и с мэром, и со Старой площадью, имена-отчества ему какие-то называют, что кто-то должен был ему звонить... А он как не слышит: столько врагов... Поможем, ничего, будем вместе по жизни пробиваться. Стасик Задорожный с во-от такими глазами вышел: а за что этому-то?! Сколько можно?! Очень, – Сырцова сложила пальцы щепотью и потеряла с хорошо слышным мышинным пробегающим шелестом, – нацелен на это дело.

– Про всех префектурных, наверное, расспрашивает? – Эбергард заставил себя еще улыбнуться и спрятал губы в чашке, но она неожиданно оказалась пуста.

– Ему зам по инвестициям нужен свой, а Кравцова не уволишь. Бабец, когда дела сдавал, попросил: если с Кравцовым не сложится, не увольняйте Мишу сра-

зу – у него жена умирает, подержите его. И монстр пообещал. Марианка подслушала: сказал – уверен, с Кравцовым сработаемся, если нет – год у него есть. Обещаю, Егор Иванович, так сказал. Да и все другие останутся на местах. И предложил: давайте, может, бизнес какой в округе затеем. Но у Бабца ума хватило: спасибо, не надо. Хотя это Кристианыч мне по секрету... Мэр префекту сказал: посылаю тебя на Востоко-Юг разобраться с провалом на выборах: кадры подвели Бабца или Бабец подвел свои кадры. Вот такая пуля прилетела!

Сырцова – наконец-то! – испытующе глянула на Эбергарда: выдержишь? говорить? нет? – закуталась потеснее в платок и нависла над столом, отодвинув грудью калькулятор, и Эбергард благодарно подвинулся навстречу – вот оно, всё лучше общей тьмы. Или общая тьма всё-таки лучше... Вот сейчас он родится на чертов этот свет!

– Галина Петровна, говорит, а что это за девятнадцать миллионов на пресс-центр? Я говорю: так наружная реклама на выборы. И соцопросы. И газеты...

– Так в других округах...

– Говорю: в других округах по шестьдесят миллионов! А он, сам глазки спрятал: а что за человек этот – Эбергард? Я говорю: многих мы с вами обсудили, и вот только про одного...

Эбергард благодарно сжал веснушчатое запястье главбуха.

– Могу сказать со всей ответственностью – душа у него есть! Добрый. Мастер своего дела. И деликатные вопросы умеет решать. Поговорите с ним. Монстр, а глазки не поднимает: какой-то он... И – не сказал!

– Но – с неприязнью?

– Не поняла. Но ты – ищи работу!

– Да вы так всегда говорите! – И они рассмеялись. – Говорят, из Питера?

– Всегда что-то говорят, – отмахнулась Сырцова, – а ты не слушай, а то зацепятся языками в столовой и – бу-бу-бу, бӯ-бу-бу... Кто мы такие? Никто! Как те, верхние, думают... что они думают... зачем и куда кого ставят – мы никогда не пойдем! Отдельвай квартиру и ищи работу! А мне бы до пенсии досидеть...

Эрна не позвонила сегодня, завтра, послезавтра, неделю, две, дальше, и что же: не позвонит он – она не позвонит никогда? И всё-таки позвонил, сам:

– Не виделись уже три месяца, – чуть не спросил: «Ты не обиделась на меня?» – Я уже соскучился, – свободно, не стискивая зубы, почему-то не получалось теперь говорить, Эбергард просил, он боялся, пусть скажет «тоже соскучилась, папа»; нет: – Давай на выходных сходим в клуб!

– Давай. – Прежний голос? Да, прежний голос. Или всё-таки новые интонации? Да, нет, хватит грызть себя – прежний голос!!!

– Возьми-ка в руки листок и чем записать, – радость возвращала ему уверенность, – давай, давай, я подожду... Взяла? Напиши в столбик: что бы ты хотела видеть в нашей новой квартире.

– А какая она будет?

– Я же говорил: большая! И отдельно запиши, что должно быть в твоей комнате – может, нарисуем облака на потолке? Или сделаем сцену?

В безопасный день, во вторник, когда монстр до обеда участвовал в заседаниях правительства, хмуро вслушиваясь в шепчущие подсказки Кристианыча,

и плечо его брезгливо перекашивалось от глядящих прикосновений меловых и сладко-пахучих Кристианчевых перстов (первый заместитель префекта теперь особо следил за собственными индивидуальными запахами), а после обеда обходил нужные департаменты, в префектуре чаще улыбались и говорили громче, Эбергард решил навестить Марианну из приемной, бесшумно отворил дверь:

– Привет.

Марианна вздрогнула и отшатнулась от окна – почему-то босиком, похоже, она уже долго что-то высматривала во дворе – зачем? Словно отвернулась от всех поплакать.

– Господи, – побледнев, она потеряла чуть сбоку левую грудь и побыстрее вернулась за стол.

– Ты что?

– Ничего, ничего, Эбергард, – говорила она, словно сквозь сон, словно вслушиваясь в еще один голос, более громкий, в диктовку. – Господи, как же хорошо, что это ты... Монстр просит ходить на высоких каблуках, а я... Чтоб ноги отдохнули.

Ничего из «садись», «хочешь кофе?», «чего не заходишь?», «поотвечай на звонки, пока я покурю», молчала и неловко разглядывала свои алые хищные ногти – невероятно: словно хотела, чтобы Эбергард поскорей ушел.

– Ничего, что я... – он показал под ноги, на паркет, – пришел, здесь, стою.

– Не знаю, – прошептала Марианна, – я теперь ничего не знаю. Он такой непроницаемый. Уборщица ночью зашла в кабинет, а на столе автомат и записка – «Префекта нет. Но ты не балуй».

– Запишешь меня на прием? Пора! – И не выдержал: – Или пока не советуешь?

Глаза ее что-то говорили, но Марианна только вздохнула.

– Говорят, из Питера? – Эбергард кивнул на кабинет, предлагая обменную игру «а ты что знаешь?» – в префектуре играли все.

– А мне сказали: сын члена ЦК. Другие сказали: папа его – генерал милиции, отвечал в городе за прописку. По фамилии совпадает. А по отчеству – нет. Но все, – Марианна обвела рукой незримых бесчисленных присутствующих, – что – очень. Богатый. Человек.

– Ну, у тебя с ним?.. – хотя про это не полагалось спрашивать.

– Не знаю, – Марианна не глядела на Эбергарда, словно пряча слезы; надо спросить «у тебя никто не умер?». – В первый день позвонил: сделайте мне авокадо с папайей. А я не знаю: куда бежать.

– Семья?

– Сыновья какие-то...

– Слушай, кто мог монстру что-то про меня... в негативе?

– Да ничего я теперь не знаю! Одно: когда приходит человек, первое, на что монстр смотрит: зубы. Какие зубы. Из наших только Кристианыч заходит, как у тебя с ним?

– Как у всех.

– И твой друг Пилюс всё трется в коридоре, чтобы встретить, хоть до лифта проводить... А еще говорят, – да, теперь Эбергард видел: железная, раз в восемь лет менявшая мужей на помоложе, пережившая райкомы, исполкомы и три дивана личных комнат Марианна, мать трехлетнего сына и бабушка двенадцатилетней внучки, тихонько плакала, ухитряясь не выпускать слезы, – что монстр это – так... Что над ним другой человек.

– Ты так с ума сойдешь от этих слухов, – Эбергард ловко обогнул стол, нагнулся, поцеловал и обнял Марианну, поглаживая знаменитые, выгодно обтянутые груди. – Что он – первый? Изучим, освоим. Привыкнем. Его уволят, а мы будем всегда.

– Иди, иди, молодожен, – всхлипнула Марианна. – Насмотришься там в своем пресс-центре порнухи и приходишь...

– Помнишь, как в ночь прошлых выборов, в кабинете Бабца? А на столе?

Марианна наконец-то рассмеялась, обмякла и прижалась тесней. Эбергард ничего не услышал, никаких скрипов, голосов и шагов приближения – тело само, не прибегая к помощи мозгов, вдруг отшатнулось, вытянулось, шкодливо шмыгнули руки за спину, и неприятным, фальшивым голосом он затрубил:

– Марианна Сергеевна, запишите на прием? По текущим вопросам освещения в СМИ...

Потому что двери приемной взрывом открыло и ввалился огромный щекастый малый, похожий на только что закончившего со спортом, но уже прибавившего мяса штангиста, с коротковатыми руками, которые по каким-то многолетним неисцеляемым медицинской причинами не могли плотно прижиматься к бокам, – он резко остановился, вопросительно, разбуженно глянув сперва на Эбергарда, потом на Марианну, словно «что здесь делает этот...», «мы же договорились, чтобы в приемной не...» – Марианна схватила папку с почтой, отложила и погрузилась в чтение телефонограммы, приблизив ее к лицу, будто потеряла очки, – малый скрылся в кабинете помощника префекта.

– Да ладно тебе. Он ничего не видел, – и Эбергард зажмурился на миг, прогоняя затопивший его страх.

– Они всё видят, – Марианна горела пристыженной краснотой и трогала пальцами лоб, щеки. – Новый помощник. Борис Юрьевич.

– Откуда?

– Оттуда, откуда... Похоже, они все – из одного какого-то места, где-то их там делают. Видел, глаз подбит?

– Да я даже не...

– Не первый раз. Мне кажется, это он ему... – и Марианна постучала ногтем по табличке «префекту на подпись» на красной папке. – Больше не заходи. Попробовать тебя записать?

Эбергард вроде бы подумал, но думать он уже не мог, словно понюхал, пощупал, посмотрел во тьму и – ничего, ничего.

– Нет, – и выбрался в коридор и уходил почему-то на цыпочках, размахивая неистово руками и корча рожи, чтобы выдавить из нутра нажитую тоску, к удивлению и неуверенным улыбкам постового милиционера, уморившегося стоять в бронежилете, и клял себя: зачем? зачем?! зачем он высунулся?! зачем он дал себя увидеть?! И побежал по лестницам вниз, налитые тяжелым временем часы оттягивали к земле руку, забился в кабинет и недоуменно смотрел за окно – вот что-то косо понеслось над землей мимо желтых и белых боков заворачивающих к метро автобусов, что-то подлетело к оконным стеклам, падая, паря, приземляясь, словно трогая мягко замерзшую траву кошачьей поступью заживающей лапы, мгновение и – мягко запушились фонари.

Заглянул друг Хериберт – глава управы Верхнее Песчаное всегда улыбался, улыбался и сейчас, но как-то совершенно заново: словно рубанком со стальным широким лезвием хитрому хохлу в косметических се-



зонных целях сняли старую кожу вместе с глазами – и новая кожа улыбалась незащищенно, болезненно и непривычно, и на ней не обнаруживалось глаз; казалось, Хериберт завернул в пресс-центр от безысходности, спрятаться, в ближайшее укрытие он забежал по пути прямо откуда-то «там», где состругивают наружные кожные покровы, понимая: сейчас таким ему еще нельзя показываться людям – сразу поймут то, что и так все поймут, но попозже. Хериберт не хотел говорить или хотел говорить, но не знал, что хотел говорить; но он точно хотел, чтобы кожа хоть немного огрубела, обветрилась, потеряла прозрачность, скрыв, как больно качается насосами кровь, как пузырятся в мозгу страшные мысли-идеи; он хотел пожить еще немного в строю, протащиться еще чуть вперед, застряв меж плечами марширующих дальше уцелевших соседей, – Эбергард уже видел такие лица, и его согрела гадкая радость чужого падения: сегодня не он, и сегодня уже прошло, сегодня уже больше никого не уведут; не он; он, может быть, – никогда.

Хериберт ухватился за стул и качал его – шаткая опора, не сядешь, опасно; забылся и тряс стул этот дальше, как трясут детскую коляску, забившись под каштан в сторонку от солнца, собаководов и самокатной визжащей мелюзги вокруг пруда, заросшего тополиной шерстью:

– Радиованю уволили.

Радиованей в префектуре Востоко-Юга прозвали руководителя аппарата Ивана Сергеевича Глуценкова за то, что он лично проверял все микрофоны перед началом коллегии в четыреста пятнадцатой комнате.

Как?!

– Вызвал, обложил матом – вроде бы пыльные шторы в комнате отдыха. На «ты». Потом объявил: для обеспечения безопасности работы префекта необходимо провести капремонт. Очистить крыло, где бухгалтерия, машбюро и социалка, и выстроить там ЗОД – зону особого доступа! С видеонаблюдением. И еще одним постом охраны. В эту зону префект должен подниматься на отдельном лифте. В общем лифте он не может ездить, там всё в моче и микробах. Свой лифт прямо из подземного гаража – гараж тоже нужно выстроить, никто не должен видеть, как префект выходит из машины. И – у префекта должна появиться полноценная комната отдыха, а не эта конура. Достойная мебель. Гидромассаж. Ортопедические матрасы! Также надо поработать с городом вопрос устройства вертолетной площадки – пробки, понимаешь, его утомляют. И говорит, – Хериберт решился опробовать улыбку: действует? – Справитесь в кратчайшие сроки? Надо, кстати, прокуратуре проверить целесообразность расходования средств аппаратом префектуры за последние три года. Или, говорит, лучше доверить ремонт новому работнику, ветерану специальных операций в Чечне? Радиованя: ясно; вышел и прямо в приемной написал заявление. Год до пенсии оставался.

– Что-то у него с головой, на почве безопасности. – Эбергард думал другое: минус, Радиовани больше нет; поднялся и шагнул к Хериберту, словно готовясь утешающе обнять: а ты?

И Хериберт смущенно махнул рукой – и еще есть анекдот:

– И я улетел. Слышал?

– Нет.

– Честно? Ничего, сейчас разнесут... Я-то случайно попал.

Так будут говорить все.

– Когда монстра представили, главы управ пошли в баню – обсуждали. Никто его не знает. Говорю: как никто? я знаю!

В баню Эбергарда, выходит, не позвали – конечно! Главы с главами! Замы с замами! Первые замы с первыми замами! Князья! Без холуев и обслуги! Друзья! – даже не сказали ему! Да кто он такой!!!

– Вспоминал, вспоминал, а доехал до управы и нашел визитку – точно. Весной приходил на прием. Я бы и не вспомнил: коммерс и коммерс, хомячок. У нас там участок интересный такой, давно оформила на себя ассоциация инвалидов правоохранительных там кого-то, на углу Институтского проспекта и Руднева...

– Напротив «Восточной кухни».

– Ну да, туда левее, к французской школе, там уже песочницы... Ветераны-летчики, хрен знает, какую-то Аллею Героев из елок высадили. А эти правоохранительные бойцы весной пишут мэру: просим в рамках реализации взаимных социальных тра-та-та передать участок под застройку ООО «Правопорядок и милосердие чего-то там...»

– Ну, понятно.

– Вот монстр толкачом от этого ООО и приходил: не можем выйти на площадку, жители встали стеной. Я говорю: что может управа? Управа ничего не может. У вас даже разрешения на строительство нет. Школьную спортплощадку хотите сносить. А там еще Аллея Героев. Он: документы мы потом, по ходу оформим, у нас ресурс есть, вы нам пока список дайте, с адресами. Кто провоцирует. Кто устраивает про-

вокации. Провокаторов. Это у него любимое слово. Мы им сперва двери дерьмом... Не поймут – ребята физически воздействуют. С семьями провокаторов разберемся, – щеки подрагивали, словно во рту Хериберт держал бьющееся сердце, он потемнел: лицо одного цвета и строго зачесанные на бок, но подрастрепанные волосы; волосы – это маленькое личное море, личный ветер, что-то личное, что не скроешь, поэтому содержать необходимо в порядке, – отдельно светлели только брови, выгоревшие в очередном паломничестве.

– А ты?

– Позвонил Бабцу. Он говорит: не лезь ты, там какой-то криминал.

– И Бабца уволили. А монстра назначили.

– А неделю назад участок этот, – Хериберт сладко прижмурился, – продали «Добротолюбию», Лиде. Понял? На хрена теперь монстру строить? Ему теперь можно вообще ничего не делать – сами принесут да еще просить будут, чтоб взял.

Далее не полагалось, полагалось предложить кофе, бутерброды, но подробности агонии манили: как? – действовали неясные расчеты: я тебя спрятал, расплатись рассказом, я тебя понимаю, жалею, лишнего не говорю, а ты расскажи, а я всем расскажу, избавлю тебя от расспросов, пусть я узнаю первым – кто первым знает, тот сильней, богаче – никакое несуществующее «облегчение души» здесь не действовало.

– И как тебе... объявляли?

– Я знал. Предвидел. Когда в Иерусалиме последний раз молился, голову поднял, а под куполом над моей головой лестница висит и монах на ней...

Эбергард чуть не спросил: «Настоящий?» – Хериберту время от времени что-то являлось.

– ...А в руке у него свечи пучком, и вдруг – свечи сами собой вспыхнули как благодатный огонь, и никто монаха, кроме меня, не видел. И я понял: многовато хватил я благодати, перебор. А вчера, как к монстру позвали, я матушке в монастырь позвонил, она: «Только не бойся, а то бес тебя сразу подхватит». Я и не боялся, а всё молчал. А монстра бес крутит, в глаза не смотрит, рукой то кресло, то за телефон: «Вы плохо работаете. Ничего не умеете. В районе бардак»; я только тихо: «Чем вы недовольны? Верхнее Песчаное – лучший район города по итогам года».

– Один на один?

– Чекисты... Как без свидетелей? Кристианыч сидел. Глухонемой. Только глаза выпучивал. И Кравцов тоже. Все друзья мои! А монстр: но вы профессионал, такие люди всюду нужны. Поможем вам перейти в департамент ЖКХ или в жилинспекцию. Согласны? Я сказал, – Хериберт едко посмеялся над собой, – по-думаяю. А в восемь утра в управу заходит УБЭП, в потребительский рынок. Нам мелкая розница добровольно жертвует, раз в месяц, на социальные нужды населения, – Хериберт внимательно взглянул на Эбергарда, словно проверяя: знает он? нет? признает, что именно так? – А один вдруг написал, что у него вымогали. Я его семь лет знаю! Пирожками торговал у метро. А теперь яхта в Хургаде. Так ты ж с нами плавал!

– Серега.

– Серега. И уже дело возбудили. Монстр звонит: мне доложили, у вас неприятности, но вопрос решаемый, мы не позволим ментам в стоптанных ботинках устраивать провокации, еду к мэру просить, чтобы вас, моего лучшего главу управы, направили на усиление соседей, в Гуселетный район Востоко-Севера, со-

гласны? Ну и я уж: да, да! Спасибо большое! А что... И – ничего. Я посмотрел: Гуселетный. Спальный район. Парк. Два кинотеатра. Населения – в три раза меньше, чем Верхнем Песчаном. И всего один рынок выходного дня. Ни одной станции метро! – Хериберт замолчал, всё, что он мог сказать, не главное, о чем имело смысл говорить, закончилось, пальцы щупали пустые ящички, нажимали кнопки, но нет – память пуста, в тишине звучало только страдание, как неприятный, приближающийся и приближающийся, не приближающийся, но будто бы приближающийся слышимый звук.

– Видел нового помощника? – чтобы не молчать, чтобы понять услышанное и на себя примерить.

– Богатырь. Смотрели мы с Хассо, как к префектуре подъехал Серебристый «лендкрузер». А у нас сейчас и возможности есть, да купить боишься. А в первые-то годы – поставишь свои «жигули» за квартал от префектуры и шлепаешь на работу в орган власти пешком. Слышал, чернобыльца Ахадова избили? Шел на пикет против точечной застройки. Во дворе. Бил какой-то спортивный парень. И трое смотрели. Сказали: жалуйся, куда хочешь. Если еще раз придешь на встречу с населением – бить будем каждый день. Понял, какие люди заходят в округ? А нам – на выход.

Это тебе – на выход.

– А что делать мне? – Эбергарду казалось: отделившегося, отсоединенного Хериберта уже относит течение, и со стороны «уже не с нами» ему лучше видно и – посвободней, перед ним не стыдно на тайный миг обнажить свою растерянность, слабость, тщедушие, да и Хериберту приятней, что выпавшим и лишним он чувствует себя не один.

– А что тебе делать?

– Кому носить?

– А ты с кем решаешь?

– У меня куратор Кравцов. С Кравцовым. А уж как он там дальше с Бабцом...

Хериберт легко покачал головой, словно стрелка весов поискала по сторонам точку равновесия, соответствующую искомой величине, и равнодушно (это кольнуло Эбергарда: зря он раскрылся...) ответил:

– Кравцову и носи. И совесть твоя будет чиста. Пусть Кравцов там как-то с монстром это отрегулирует. Тебе на разговор с монстром напрямую выходить нельзя. Он с тобой о деньгах говорить не будет. Если у них появятся к тебе вопросы – к тебе подойдут. Че ты смеешься?

– Ты сказал «совесть чиста».

– Да, брат, – Хериберт перекрестился, – едим тех, кого не видим. А как иначе? Такие мы люди.

«Список готов для новой квартиры?» – утром, перед школой Эрна ответила: «Мне ничего не надо. Как сам хочешь».

Лифты еще не пустили, они с дизайнером Кристиной поднимались по пожарной лестнице, боясь пропустить этаж, обозначенный цифрами из мела, каждый раз – новой рукой и в новом неожиданном месте; навстречу и за ними вслед шлепали резиновыми тапочками запыленные строительные рабы: вниз – в обнимку с мешками сыпучего мусора, вверх – с мешками цемента и штукатурной смеси на горбу; в квартире – найдя и осмотревшись – они остановились между столбов и бетонных стен, казавшихся сырыми, посреди самого большого из будущих жилых пространств.

– Сто восемьдесят семь квадратов. – Эбергард заметил: – У вас новая прическа, – волосы дизайнера

с момента последней встречи заметно отросли, нарядно потемнели, и теперь какая-то упругая сила удерживала их красивыми волнами, высоко поднявшимися над головой. – Можно потрогать?

Дизайнер (про ребенка и мужа никогда ни слова, что означало: муж – нет, ребенок – да), выделявшая значительную долю от гонораров, чтобы тело и телесные облачения говорили: «Современна, не занята, зарабатываю, никаких проблем со мной, у ребенка няня», – кивнула и посмотрела в сторону – он опустил ладонь: мягкие волосы, легко уступающие нажиму. Как трава.

– У меня нет никаких пожеланий. Природный камень там или дерево венге... Все пожелания у жены, вы уж с ней... Мне главное – комната дочери. Чтобы ее подружки зашли и сказали: ах! – И рассказал, как рассказывал теперь всем, хотелось: – Давно не видел ее.

– Вот почему у вас грустные глаза. Дочь будет жить с вами?

– Нет. Может, вообще ни разу не переночует. И не придет, – Эбергард говорил и не верил. – Но комната пусть будет.

– Будет ее ждать?

– Не ждать. Просто – быть. Как облако. Как намерение.

Дизайнер достала из усыпанной желтыми камнями сумочки рулетку и осторожно шагнула в темный проем одного из будущих санузлов измерять стены – она не доверяла строительным чертежам. Эбергард поборол желание отправиться на помощь, чтобы еще раз потрогать волосы и что-нибудь кроме волос, – продолжил разговор с дизайнером, с наклеенными ресницами, с какими-то блестящими мелкими штуч-



ками, прилепленными на веки, кольцами, запахом, краешком красных трусов и браслетами; непрекращающиеся слова, подземная река теперь сочилась наружу в любом месте, как только он останавливался, и любому – омывая ноги; он поворачивал глаза внутрь себя, там, внутри, дизайнер и другие встречные по очереди и размещались, и внимательно слушали: вот эти месяцы ко мне не вернутся, я это недавно понял: ничто, никакое запоздалое объятие с разбегу «а вот и я» не вернет эти месяцы; как бывают месяцы лишения свободы, так бывают месяцы лишения любви. Так после тюрьмы, наверное, человек лишается целостного, полного, комплектного мира – так и я не смогу любить полностью, как прежде, Эрну без этой сотни дней, потому что любят не кровь, стекающую по соседним венам, а... Четвертый месяц из нее уже выветриваются мои слова, и самое главное – в ней нет моего пламени, Эрну лишили моего тепла, и я не смогу согреться ответно, ведь дети – это тепло, оставляемое про запас, на вечер; хоть нас разделяет (Эбергард поднял голову: окна неплохие, но всё равно – придется менять на деревянные) – пять минут машиной, я уже не знаю, с кем она подружилась за эти месяцы, и она не знает про меня... Знает с чужих, ненавидящих слов...

Убить, пробормотал он, змеиную голову с острыми зубками, БЖ, распаленную тварь! Но – когда же он отучится... Первое, что подумал, увидев квартиру, – как бы порадовалась Сигилд; что-то просто помимо него действует; тело непонятно чего ждет, будет ждать еще какое-то время, мучает не только прошлое, но возможное настоящее, осязаемое настолько... Вот Сигилд – вот он же видит! – проходит вперед: «И здесь еще комната! И дальше? Да сколь-

ко же здесь всего комнат, Эбергард?!» – вот Эрна носится, очумелая от счастья: «Папа, пусть у меня будет джакузи!» – вот они приезжают вместе и проверяют, как делается ремонт, выбирают плитку с макаками, какие-то особые лампы в детскую, вместе – радость, радуются, а потом летят, опять вместе, отпуск... Он не сомневался и не сомневается, что дальше жить с Сигилд не мог, но возможное настоящее от этого не становилось менее кровавозазубренным, уничтожающим его нынешнюю жизнь, – он не сможет признать женой Улрике, маму ее – тещей, ее родню – родней, но вот если у них с Улрике родится сын или дочь – пусть они будут настоящими.

– Что, извините?

Слушательница что-то сказала, дотянув и ткнув рулетной ленточкой в последний угол, замкнув ломаную.

– Я говорю: наверное, вы не любите женщину, с которой сейчас живете. Поэтому вам так больно. Вы должны избавляться от этой боли, – она спрятала рулетку и осматривала себя у окна: не вымазалась? – От боли бывают плохие болезни. Пройдет время...

– А что делать с дочерью сейчас?

– Просто любить, – но было видно, что на самом деле она ответила «что ж здесь поделаешь... тут ничего не поделаешь...».

– Ну да, время, – он спускался за дизайнером на улицу, – но я же не против времени. Я против подлости и садизма.

Дизайнер отчужденно молчала, типа: а, всё бесполезно, не надо было раскрывать рот, кому это я...; но другая, она же, сочувственно слушала его, и Эбергард досказывал: все, что хочу – пусть ребенок остается ребенком в своем положенном детстве, пусть

мать останется матерью, а отец отцом, пусть отец и мать говорят друг о друге ребенку только хорошее, настоящее или искренне выдуманное, пусть эта крыса не делает из маленького человека колюще-режущий предмет для мести – за что? У Сигилд появился друг, а может, и заранее запаслась – да на здоровье! – деньги Эбергард дает, хотя ей всегда мало, Сигилд осталась квартира – три комнаты, купил ей машину, Сигилд здорова и работает, продает сибирские макароны, оптом – за что мстить? – все разводятся, вот и они развелись.

– Павел Валентинович, завтра к девяти тридцати. – Завтра... Он даже остановился от счастья – завтра он увидит Эрну (хотя очень несправедливо, что писала она «люблю очень-очень» какой-то вползшей в ее квартиру многоногой мрази), но завтра – огромный день, поедут в клуб, что-то Эрна скажет отцу, что-то спросит, и он ответит: «Да всё не так! Ты не верь», погладит этот исцелованный поисками температуры маленький лоб, разъяснится, потеплеет, растает, придет, а потом кончится зима, и на весенних каникулах из снега они улетят куда-нибудь и будут там разговаривать перед сном; самые важные – вечерние слова, когда гаснет свет и не видно лиц, когда уже сказано «Спокойной ночи» и настает время, после «Ты спишь?», сказать что-то очень...

– Эбергард!

Улрике, высокая и красивая девушка, спешила к нему вдоль дома упруго и длинноного и улыбалась с такой силой уверенности, что он неожиданно сказал:

– Всё будет хорошо, – потому что почувствовал так, понял, как понимают простые вещи навсегда: «настало утро», «окончена школа», «теплая вода» –

почуял себя на вершине, а еще – летящим в каком-то радостном прыжке сознания: он прав! хорошо он всё сделал, он там, где хотел, его любит удивительная, приносящая удачу девушка, и он ее любит – зачем жить без любви; они обнялись и замерли, и думали, наверное, одно, так часто у них получалось – одновременно думать про одно, будто срослись или одинаковые мысли приходили одновременно.

– Спасибо тебе! Спасибо тебе. Запомни этот день. Сегодня по состоянию на девятнадцать двадцать мы вместе.

– Мы есть. Мы всегда будем вместе, – и Улрике рассмеялась. – Как же я счастлива...

Спешили домой и засиживались допоздна, не наговариваясь, не утоляясь; с минуты, когда Эбергард позвонил: «Можно, я сегодня переночую у тебя?» – Улрике уже не работала в управлении здравоохранения, учила испанский, придумывала, как обставить гнездо постоянное, сто восемьдесят семь метров; а теперь еще – курсы будущих матерей, где не выключали сонно-мурлыкающую музыку; до полуночи и дальше они разговаривали и разговаривали, бережливо, словно кто-то уже подсчитал оставшееся им время, ложились и после долгожданной, законной, наконец-то небоязливой ненасытно-долгой близости вставали опять – выбирали в инете дома в Испании, намечали взять няню англичанку, – Улрике уже не думала, как она будет потом, «потом» наступило, она не хотела другого «потом», ее нашли, и мир открылся, ей всё казалось необыкновенно интересным: составление букетов, зимняя пересадка пятилетних плодовых деревьев, съемка видео, правильное питание, психология – может, она станет детским психологом? Откроет частный детский сад?

Учредит фонд помощи сиротам и больным деткам, что много страдают? «Если будут возможности, – она не произносила “деньги”, заглядывая Эбергарду в лицо, – может быть, потом, когда-нибудь – давай возьмем из детдома малыша?» Эбергарду показалось: он повзрослел, набегался, нашел своего человека и эту любовь уже не отдаст несущественным, погрызающим всё обстоятельствам совместного проживания, удержит ласковую маленькую ладонь в ладони своей – до конца.

– Мы умрем в один день, – серьезно говорила Улрике, – мы с тобой никогда не умрем.

Ночью (всё наоборот – теперь они не виделись днем):

– Три месяца перед зачатием тебе нельзя алкоголь, париться, даже очень горячий душ нежелательно – тогда созреют здоровые сперматозоиды. И поменьше работать. Сдадим все анализы на инфекции. Пройдет январь, и начнем? – Дальше Улрике слушала его, про волшебную комнату Эрны, и подхватывала: – Обязательно должно быть зеркало и столик с ящичками, много-много ящичков. Она должна чувствовать себя принцессой. А у нашего маленького будет своя комната?

– Ты же всё знаешь! Ты видела проект. – Третий раз! Одно и то же! – Там больше нет комнат!

– Первый раз ты на меня закричал.

– Я спокойно сказал. Зачем спрашивать о том, что и так хорошо знаешь?! – Вот и Улрике хотела сказать: Эрна не приедет.

– Пусть у них будет общая детская...

– У Эрны будет отдельная комната!

– Но она же не всё время будет у нас. Когда Эрна будет приезжать, тогда наш малыш...

– Это будет комната только Эрны!

– Только Эрны. Согласна. Но мы же не можем всё время спать в одной комнате с малышом. Это может привести к неблагоприятным психологическим последствиям, из которых знаешь что развивается? Когда Эрна вырастет – ты же купишь ей отдельную квартиру, а малыш переедет в ее комнату...

– Ты можешь со мной об этом больше не говорить?! Я никогда не сделаю по-твоему!

Улрике отвернулась, словно другие темы были у нее на других полках, где-то за стеной, вот:

– Звонила твоя мама. Плачет. Очень ей обидно, что Эрна не звонит, на звонки не отвечает. У мамы в декабре юбилей?

– Да. Поедем. – Он прочел в ожившем телефоне сообщение Сигилд: «Эрна не пойдет в клуб», позвонил и орал на кухне: – Почему?! Мы же договорились!

– Я не собираюсь перед тобой отчитываться! Когда ты выпишешься из квартиры? Вывози свои вещи. Не хочу с тобой иметь ничего общего!

Подать в суд! Лишить денег! Избить! Отнять квартиру! Убить себя, чтобы Эрна задумалась.

– Не переживай. Это не сама Эрна, она ребенок... – Улрике заплакала, видя, как сжимается и мнет его лицо, и – тут позвонила Эрна, первый раз, как он ждал и хотел, – сама:

– Почему ты не спишь так поздно? Мы же договаривались пойти в клуб, я всё распланировал, – Эбергард успокаивался и заранее зажмурился: ну, бей.

– У меня другие планы. Ты должен учитывать мое мнение. Как ты смеешь называть мою маму крысой? Фильтруй базар, если хочешь говорить о моей маме! Ты ведешь себя так нагло, думаешь, тебе ничего за

это не будет?! – И все, даже не ясно, кто кого вычеркнул, кто первым нажал, чтобы отключиться.

– Какая же Эрна глупая, – повторяла Улрике, – говорит с тобой, как с одноклассником. Она не понимает, что не может так говорить с отцом. Ты должен объяснять ей, воспитывать...

– Как?! Подарками и поездками? Каждый раз всё дороже? Когда воспитывать? Я ее не вижу. Наверное, я потеряю дочь.

– Увидишь, она сама к тебе придет.

– Я не смогу долго ждать, – Эбергард хотел сказать то, что не выговаривалось складно. Ну вот, что любовь – когда человек каждое утро выходит навстречу другому человеку и второй – тоже идет навстречу... И они встречаются на месте любви. Каждый должен за день проходить свою половину, вернее, каждый должен идти; кто пройдет побольше, кто поменьше, но обязательно, что идут оба; и если второй человек совсем не выходит навстречу – никто не сможет каждое утро всё равно (если разлучила не смерть) искать его и ждать... Какое-то время – да, в надежде – да, но – не бесконечно. И когда Эрна во времени «может быть» соберется пойти к нему – на месте любви его уже не будет... Он не сможет любить любую, простить всё, любое всё, принять любую, не потеряв себя, а он не хочет потерять себя, свое – терпеть уничтожение, служить рабски... Деньги давать – да. Помогать – да. Звонить и поздравлять с днем рождения. Но любить – нет, наверное.

В последние месяцы, когда уже многое про будущее хоть и не называлось, не понималось, но виделось ясно, Эбергарда очень заботило, какие дни ребенок запоминает навсегда, – он придумывал такие дни для Эрны, оплачивал их, организовывал, вбивал «за-

помнит это на всю жизнь» гвоздиками в обивку какого-то теплого транспортного средства, что повезет их в будущее вдвоем: удивительные улицы, куда они приезжали вместе, удивительные вещи, которые его руки отдавали ее рукам, внезапные радости, устроенные им, всегда приходящая помощь – это всё перевесит; но – стоило слегка рвануть чужими руками, стоило похолодать и – словно ничего не было, не имело значения, а было что-то совсем другое, что разъясняют, рассказывают теперь ей эти... – дословно повторяясь в телефонных жалобах подругам, шепча над дочерью перед сном, досочиняя, изворачивая, заостряя, подвывихивая – вот, вот и вот; вот это Эрна запомнит на всю жизнь, этим станет. Его сбережения пропали. Или – скоро пропадут.

– Ну наконец-то! Сколько обещал заехать! – Глава управы Смородино Хассо обнял Эбергарда в приемной. Ухоженный (даже волосы уничтожал на груди) Хассо умиротворенно уложил свою седую голову на плечо руководителю окружного пресс-центра на глазах поднявшейся безумной секретарши Зинаиды и двух вытянувшихся замов, первого и по ЖКХ, – так полагалось, прислуга должна знать, кто близок, – и прошли сквозь кабинет в комнату отдыха, карнавально увешанную на всякий случай вымпелами как бы друзей – ФСО, ФСБ, группы «Альфа» и футбольного клуба «Терек». Хассо, не садясь, вдруг звякнул в шкафу посудой:

– Будешь? Вон как с Херибертом-то...

– Ты что с утра пораньше? Не поедешь сегодня в префектуру?

– В префектуре я уже был.

– Хассо...



– А? – Хассо выпил, с тоскливым недоумением осматривая кофемашину, сейф, вазочки с орешками и изюмом, словно здесь ему предстояло жить и питаться до смерти, не выходя.

– Ты что такой?

– Я из префектуры. Позвонили из аппарата мэра вчера: почему префект два месяца не принимает население. Сегодня и попробовали: я, Боря Константинов из Озерского и Загмут (вопросы подобрали по нашим районам) – все в новых костюмах, Загмут даже маникюр сделал. Вот так – мы, здесь – префект, здесь Кристианыч – сели. И вдруг форточка... И монстр таким ти-ихим, но повизгивающим... за-вприемной Кочетовой: «Сколько раз говорил, чтобы не скрипело! Посадили префекта под сквозняк? Чего добиваешься, шалава?» У нашей боевой Кочетовой руки дрожали и – я первый раз видел – ноги дрожали, я посмотрел – у меня в зеркале: белое лицо! Кристианыч ему листок с записавшимися – девять человек, отобрали попримичней, простые вопросы, а он прямо с ненавистью: «Че подсовываешь? Сколько денег с них собрал?! Как мне надоели ваши вонючие старики!» – листок Кристианычу в морду и – ушел. Конец приема. Мы посидели. И тихонько разошлись.

– Так мэру доложат.

– К мэру Ходырев уже ходил.

Вице-премьер Виктор Иванович Ходырев отвечал в правительстве за выборы, отбор, прогулки и кормление депутатов и кадровую политику на местах.

– И сказал: префект Востоко-Юга производит на министров и руководителей департаментов болезненное впечатление некомпетентностью и неспособен к работе на территории. Предлагаю после ново-

го года переместить его по горизонтали – в отрасль. А мэр ответил, – Хассо раскрыл пустую ладонь, – воспитывай! Не уберут. Если только после выборов... Если уйдет мэр...

– Слушай, нельзя думать всё время про это. Он уже столько раз уходил!

– Само думается, – Хассо потер щеки, будто накатался на снегоходе и подморозил, быстро и сильно. – Ты что приехал?

– Ты имеешь некоторое нравственное влияние на руководителя своего муниципалитета?

– Что надо? – Хассо уже давил пальцами на телефонные кнопки.

– Слушай, опека же теперь в муниципалитете. Может, вызовут мою бывшую, пуганут.

– Зря ты, – в сторону, но неприятно поморщился Хассо. – Будет казаться: выиграл. А это будет твое поражение. Ушел и ушел. Нам всем о другом сейчас... Виктория Васильевна, к вам Эбергард сегодня зайдет – мой друг и ваш друг. – И Хассо сказал с напористой теплотой: – Помогите ему, он там расскажет. Как мне. Да я знаю, что и так помогли бы, но – прошу. Только с секретаршей там его наедине не оставляйте. А то он у нас... специалист! – Отключился. – Ждет. Зря ты.

Виктория Васильевна Бородкина, строгая женщина с яркой помадой и бородавкой, слезой стекавшей по щеке, говорила безучастным наставительным шепотком и каждый день, судя по всему, начинала в салоне красоты – Хассо возвысил ее из председателей избирательной комиссии после нищего педагогического прошлого. Бородкина царила – редкое счастье не только быть замеченной, но и властвовать человеком

из префектуры, без стеснения ковырять личное, допуская снисходительные усмешки, словно с этой минуты осведомлена о некоем позорном медицинском факте в отношении Эбергарда, который лично она никогда бы не допустила в своем организме и при всем уважении к главе управы не может извинить.

– Вызовем! И поговорим! Что она там думает... У девочки должен быть отец! А вы сходите в поликлинику и возьмите справку, что интересовались здоровьем девочки. Не дадут – поможем! Сходите в школу, поговорите с учителями и возьмите справку, что интересовались успеваемостью. Чеки от подарков сохраняйте. Денег дочери не давайте – еще неизвестно, куда она их употребит. Обязательно поздравляйте дочь с государственными и семейными праздниками – подарком и открыткой. У жены вашей деньги есть? Значит, наймет адвоката. Цель адвоката – убить мужа в суде. В суде у нас заседает Коротченко, а если Коротченко раскорячится – никто не пройдет. А она раскорячится! И Чередниченко заседает. Мы и ее знаем как облупленную! С кем и когда.

Эбергард знал: на первой встрече обещают больше, чем могут и хотят.

– Отдельная комната для дочери – хорошо. Специалисты органов опеки проверят, чтоб был холодильник для хранения продуктов, игрушки и постельное белье. Дочери вас никто не лишит, вы не наркоман и не алкоголик, им никакой диспансер не даст таких справок – мы проследим! Мнение детей после десяти лет учитывается, с кем они хотят. Думайте, что сможете дочери предложить. Как только ваша жена поймет, что вы не один, сразу начнет царапаться к вам, чтоб договориться.

Через две недели монстр закончил чаепития с главбухом Сырцовой, не отвечал на ее поклоны, поехал на правительство без Кристианыча. Кристианыч уже не расписывал почту, но не покидал кабинета, чтобы при надобности оказаться под рукой, когда запищит прямая связь с префектом – но прямая связь молчала, а позвонить сам и сказать что-то сладкое монстру Кристианыч не смел. На место Хериберта в Верхнее Песчаное заступил молодой военный пенсионер Бойченко с детскими алыми губами любителя варенья – «прописываясь» в бане с главами управ, он научил всех кричать «Ура!» после тоста, пугающе расспрашивал: «Улучшилась ситуация в округе за последнее время?» – сам рассказывал одно: образцово подготовил к строевому смотру отстающую роту. Радиованку сменил некто Шведов, обладатель пышной неофициальной шевелюры, ходивший первую неделю в пиджаке с золотыми пуговицами и просторных светлых брюках – секретарше Шведов пояснил, что подолгу жил за границей, скучает очень по своей яхте, что секретарь его не должна в префектуре иметь друзей.

Не задерживаясь, монстр посоветовал «искать другой вектор развития» следующему – заму по потребительскому рынку Варенцову – и добавил, что если Варенцов желает «уйти без грязи», то за три месяца воспитает себе смену – смена в виде утрюмого обритого здоровяка с наскоро вырубленным лицом заселилась в кабинет Варенцова, наблюдая даже за тем, как Варенцов переобувает уличные туфли на кабинетные.

Следом, одним днем задумалась о своем будущем и «всё для себя решила» Сухинина, сидевшая на социалке, и уступила кресло отставному генералу

МВД – тот проводил страшные совещания с директорами школ, кричал: «Я не дам воровать!», часами сидел один, глядя на совершенно пустой стол, и через месяц уволился; его сменила «поискавшая себя в коммерции» Золотова, говорили, монстру она троюродная сестра, и тоже взялась кричать – за два месяца из ее управлений уволились четырнадцать человек. Умный начальник юруправления Сева Лучков быстро поступил в аспирантуру и собрал справки о хронических заболеваниях; монстр давил: «Подставить меня хочешь? Это что за кидок? Я тебе не разрешаю уходить! Я прослежу: никто тебя не возьмет!» – но Сева вырвался и сменил телефон; в его кабинет заехал полноватый неулыбающийся господин, нигде не работавший больше года, говорили: «передвигает его контора»; уволили начальника управления экономики, Кочетову, век отслужившую «на приеме населения»; Гарбузова из общего отдела ушла сама, как только монстр второй раз запустил в нее принесенной почтой.

Новые люди – они смеялись вместе с прежними в буфетных очередях, поздравляли равных по должности с днями рождения, показывали фотографии детей и собак и выглядели обычными, единокровными, теплокровными млекопитающими, потомством живородящих матерей – как все, но никого это не обманывало: упаковывались они отдельно, между собой говорили иначе (или казалось испуганным глазам?), улыбались друг другу особо, уединялись, припоминая общее прошлое (где это прошлое происходило? когда?), отстраненно замолкали, как только речь заходила про монстра; владели будущим, жили уверенно, они – «на этом» свете, а префектурные старожилы оставались «на том»; новые знали «как»: не поднимали

на префекта глаз, вступали в его кабинет на цыпочках (Марианна показывала желающим – как), крались до ближайшего стула, неслышно присаживались и глядели в стол, помалкивали (и все теперь старались так же), когда префект спрашивал, быстро переходя на мат и бросание подручных предметов. Новых объединяло происхождение, не дающее себя для определения уловить, не сводимое к буквам ФСБ, к слову «органы», что-то более глубокое, близкое к человеческой сути, наличие каких-то избранных, меченых клеток в многоклеточном организме, позволивших оказаться в восходящем потоке.

В понедельник вечером оповестили: завтра после правительства монстр вернется в префектуру и соберет «трудовой коллектив» в зале заседаний в семнадцать часов для «разговора»; монстр дозрел представиться уже без няnek, поручителей и поводырей, доказав провокаторам в правительстве, что хозяйство принял и теперь – рулит.

С утра Эбергарду не давались мелкие движения: зубная щетка не попадала, возвращаясь, в стакан, бритва покорябала кадык, пуговицы не шли в прорезь, шалили лифтовые кнопки, ласковая веточка у подъезда зацепила и сбросила шапку с головы; в такие утра сразу думаешь: чем-то кончится этот день? – и оглядывался: надо запомнить – женщина греет автомобиль, зачерпывает из сугроба снег и сеет на лобовое стекло, опять берет снег горстью и бережно несет – как птичье гнездо с яичками в крапинку. Павел Валентинович обернулся: в префектуру? – машина летела с ровным остервенением, как мчатся машины, вырвавшиеся из тоннеля или из пробки, никого не подбирая, мимо вздето голосующих рук, нагоняя и обгоняя автобусы, стоймя перевозившие людей.

Эбергард всё смотрел – как девчонки целуются на остановках, а мальчики выдувают пузыри жвачки – воздушные шарики, которые должны перенести их в Америку, на светофоре заглядывал в соседние машины, как в окна спален, – в них женщины красили губы, в утренней тьме на выходящих из земли коленом и уходящих под землю углом трубах сидели вороньи бомжи под таинственными объявлениями «Демонтаж гидроклином, алмазная резка бетона».

Собрались заранее и в безмолвии ожидали – внизу, под сценой (где во время окружных мероприятий располагался секретариат, поглощавший записки с уводящими от основной темы обсуждения мелкими, частными вопросами и личными эмоциональными выпадами и необъективной информацией и запускавший записки с действительно важными, хоть и неожиданными и даже острыми вопросами, на которые префект всегда находчиво, убедительно и не без юмора отвечал и даже извинялся за допущенные ошибки) приготовили столик для монстра и явно свежкупленное кожаное кресло – без микрофона; торчать посреди огромной сцены и говорить в микрофон, следя, чтобы губы находились на равном расстоянии от звукоусиливающего устройства, монстр не пожелал.

Вот – зашли охранники, хмуро оглядели зал, здоров подбородки, так высматривают по углам знакомых, что «обещали быть», и расселись в первом ряду, вот – появился префект, слегка задумавшись на входе: здороваться? нет? – за ним ввалился помощник Борис Юрьевич, как всегда – ручищи слегка в стороны, словно намочил их и теперь сушит, последним вплыл начальник организационного управления Пилюс, теперь не отходивший от помощника префекта, охранников и водителя монстра. «Он как-то смог», – с бо-

люю подумал Эбергард, но успокаивал себя: нет, не обязательно добегают первым, кто первым побежал. Что может Пилюс? Курить с охранниками, провожать префекта до туалета, лизать ягодицы – ничего не значит; мало ли что он ходит следом, пускай, места вокруг монстра много, всех не задвинет, всё не вылизет, мало ли что ненавидит Эбергарда – первым делом будет закрывать свою задницу, а там посмотрим еще, кто кого подвинет.

Монстр с осторожностью (что же у него болит... с таким цветом лица... печень? кишечник? Поэтому всех ненавидит?) опустился за стол и вдруг с бешеным зыркнул на передернувшегося судорогой помощника, словно немо вопрошавшего: сбегать? – монстр забыл! – листок с планом «разговора»? очки? – всё, короче, с самого рождения монстра пошедшее криво по вине окружающего быдла, стало невыносимым совсем вот с этого мгновения – это почуяли все, и наступившее лютое молчание своей предгрозовой дурнотой напомнило школьное «к доске у нас пойдет...» или минуту, когда любимая подсоберется с силами и скажет наконец «да» или «нет» (знаешь, что «нет», «у меня есть другой», или «я устала прощать»; если бы «да» – стала бы так долго готовиться!), минуту, когда что-то легко и обморочно звенит в ушах, и хотя ничего еще не случилось, но так плохо, словно уже случилось, а когда случится, будет обязательно – еще хуже. Ноздри монстра раздувала злоба, каждое утро он вставал с постели, чтобы уничтожить врага, и здесь он для этого.

– Я, – выдавил монстр, настраивая голос, и все слышали, как черные люди загребают лопатами снег на выезде от префектуры на Тимирязевский и швыряют под проезжающие колеса, как лепестки роз под



счастливые шаги новобрачных в рай, – я – исполняющий обязанности префекта Восточно-Южного округа. Буду работать в округе, пока работает мэр, – аккуратно подлизал, пусть передадут. – Заступил я к вам, – в голосе префекта засквозили придурковато-деревенские нотки, заиграл, – сел так в кресло префекта и взялся читать устав города, с этого, разные там чудачки говорят, надо начинать, – пнул вице-преьера Ходырева. – А кресло мя-аконькое, и так мне сладко сиделось, я и подумал: вот работка так работка! А потом, – монстр выпрямился и прищурился от какой-то рези в глазах, – проехал по улицам, вошел в аварийные дома, увидел, как живут многодетные матери, ютятся в тесных и холодных квартирах, увидел проданные коммерсантам детские сады, помесил грязь во дворах и по брошенным стройкам, прочел письма обиженных нашим чиновничьим бездушием, ограбленных приватизаторами, запуганных наркоманами и хулиганьем... – он постукал кулаком по столу, потому что поднявшиеся чувства затопили гортань и надо переждать, чтобы восстановился рабочий уровень для производства словоговорения, – и понял – вот здесь! – моя работа! Вот – на земле! – мое место!

Эбергард слушал с третьего ряда, сразу за главами, дальше не мог сесть, ему полагалось в третьем, на первом – замы префекта; главы управ и руководители муниципалитетов на втором; если бы Эбергард сел дальше, все бы поняли: боится; он сидел за каменно глядящими не непосредственно на префекта (читался бы вызов), а в общем, туда, в область его местонахождения, Фрицем и Хассо, прячась за подмороженного сединой Хассо; ужасно захотелось оглянуться: улыбается кто? – улыбается? – хоть жестом, поправляя-

ющим очки? переменной ручной опоры? поерзыванием в смене отсиженного места на отдохнувшее? – чтобы кто-то поймал взгляд его своим и мигнул не мигая: да, отжигает наш, поднатаскал кто-то монстра за это время – и всё-таки обернулся (хотя – не надо, ровно сиди!). Но никто не взглянул в ответ, все стыли, как кладбищенский разнобой крестов и плит, неодобрение похоронной процессии сквозило в глазах: как можешь ты отвлекаться сейчас, время ли!.. – все до одного – мимо; заметил его, скривив губы, только Пилюс и, угрожающе поиграв пальцами, покрепче прижал к себе папку с бумагами – толстую папку; так и не сел, оставаясь на входе, псом.

– Вы думаете, я ничего не знаю?! – заорал монстр и убивающе клюнул пальцем в зал, как на зло, в примерном направлении Эбергардовой вороватой оглядки. – Да я каждую субботу сажусь за руль подержанных «жигулей» и объезжаю округ, захожу в подъезды! – И намеренно замолчал, словно ожидая обморочных падений, стонов, партсъездовских рукоплесканий, извержений пены на эпилептических губах. – Я знаю, какая у вас грязь, – на «грязи» всё чужое, присоветованное и пару раз пересказанное зеркалу исчерпалось, и монстр забормотал нутряное, свободное, стесняясь и ярясь на всех за свое стеснение, куда-то под начищенную обувь первого ряда: – Антисанитария на дверных ручках. Что за стулья? Рвань! Купим. Мебели приличной нет. Купить! Ремонт. За дверные ручки не возьмешься – мало ли кто их хватал, у вас здесь ходят чахоточные, в соплях... Как я могу братья за такие ручки? Ручки вычистить!

– Есть! – это с первого ряда вскочил Евгений Кристианыч Сидоров и вытянулся, дрогнули щеки, карие

глазки ласкали префекта, подкатывали к суровым камням теплые обнаженные волны: я, это я, больше некому, я, навсегда; и Пилюс, шатнувшись от обиды, что не первым сообразил, пытаюсь обогнать хоть громкостью, басанул что-то от дверей, похожее на «Сделаем!» – Эбергард опять не сдержался и покачал головой: вот стыд, Кристианыч, на глазах у всех, шестьдесят четыре года! Проститутка!

– Работайте спокойно, – монстр вспомнил упущенное из заготовленного, – честных тружеников не трону. Но дальше я пойду только с теми, кто обеспечит выборы. Глав управ прошу подняться ко мне в кабинет для продолжения разговора. Остальным засучить рукава – за работу!

Истуканы шевельнулись, ожили, поднимались с мест и, придя в рабочее настроение, торопливо вытекали проходами в старые коридоры, в новую жизнь; над не шелохнувшимся Эбергардом быстро прошептала Сырцова:

– Вставай! Не сиди! Твои друзья же ему доложат.

Он поднялся, главбух продолжала почти не разжимая губ:

– Говорят, уволят еще шесть глав управ. А после выборов – уволят всех. Сам сказал: не задержусь. Жду назначения в правительство России.

Он думал «что делать?». Позвонила дизайнер – эскизы готовы, в четверг вечером заезжают строительные хохлы. Предупредить консьержку. Новый год. Первый Новый год без Эрны.

– Можно, я протру подоконники? – Но Жанна зашла без чистящих приспособлений, что-то сообщить, на всякий случай, вдруг важно. – Все моют двери и окна. Марианна из приемной микрофоны в телефонах прочищает проспиртованной ваткой. У землепользо-

вателей столы протирают водкой. И все молчат. У нас эпидемия? Вы помните, у меня ребенок...

Глав в кабинете монстра держали недолго, Эбергард застал на стоянке Хассо; глава управы Смородино (любому издали показалось бы) молча стоял рядом с Фрицем, начальником управления муниципального жилья, но приближение Эбергарда оборвало едва слышную фразу:

– ...И прослушку, говорят, везде поставили...

Друзья, стараясь не таиться и не спешить, прогулочной отошли за угол кинотеатра «Комсомолец», словно выпить или отлить.

– Ты чего без головного убора?

Эбергард даже не взглянул на Фрица, что-то новое знал только Хассо, должен делиться, если друзья.

– Про деньги?

– Как обычно, – без охоты признался Хассо. – Сперва процент объявил: за «Единую Россию» шестьдесят восемь, восемьдесят девять – за Медведева, явка – сорок пять. Заплатить агитаторам и бригадирам, ну и вобщак – с какого района по сколько. Вот с меня – миллион семьсот.

– Ни хрена себе «как обычно»... Ходырев, когда собирал префектов по выборам, Востоко-Югу выставил одиннадцать миллионов, а монстр: округ должен двадцать восемь! Семнадцать уже на карман! – верящий в существование государственных и житейских законов, Фриц говорил только Хассо, Эбергард должен быть благодарен, что ему позволяли послушать.

Хассо пожал плечами:

– А что мне? Я свои отдам. Я из бизнеса выну и отдам, в районе за год мы уже всех выдоили. Ты еще не понял, что они за люди? Фриц, жди – скоро они к тебе придут, и поймешь.

Фриц и Хассо обернулись на Эбергарда. И тот улыбнулся. Ясно. Думаете – а вот он вообще ничего не понимает, а ему первому помирать... И верные признаки. Да? И без жалости: лишь бы вас не забрызгало, чтобы валясь – не зацепил. Не заразиться.

Словно боясь, а вернее – боясь, Эбергард постоял за углом своего бывшего дома, отвернувшись от ветра, но недолго – здесь, в поле, в лесу, во дворе, в море – ничего нет. Всё происходит там – в сцеплении людей; всё, что он есть, – там. Всё, что с ним на самом деле происходит, – там. В подъезде он заглянул за пазуху почтовому ящику, в душу, выудил рекламный листок – «И снова о чудесном воздействии водки с маслом», «Семь глотков урины»; у лифта приклеили картонный коробок в цветах российского флага – на макушке щель: «Что вам мешает жить? Напишите нам в “Единую Россию”» – скоро выборы.

Эбергард ступил в прокуренную квартиру (Сигилд наконец-то нашла причину для воссоединения с сигаретами – она страдает! и урод, видно, покуривает), вещи – узлы и коробки – ждали прямо у порога, ни шагу дальше; из глубин квартиры выплыло вот это... в голубенькой маечке и замерло за спиной безмолвно-гневной Сигилд (без звонка?!), как повешенное на крючок пальтишко, – Эбергард слабым шевелением в руке почуял желание ударить, хотя не мог поднять глаз, почему-то стеснялся.

Не нашлось сил на «а где?..» – выпрашивать и звать, но, когда он нагнулся к упакованному прошлому, примериваясь: унесу за раз? – дверь детской распахнулась и Эрна выбежала: «Папа!» – и обняла, прижавшись, как к дереву (Сигилд и урода словно ослепило какое-то болезненное для органов зрения мигание света,

они отвернулись, каждый в свою сторону). «Посидишь со мной?» – все исчезли, черное, нерастворимое в нем исчезло от одного прикосновения руки, он прошел в детскую, на свое место, слева от стола школьницы: покажешь дневник? Его – не та, из телефонного молчания, из телефонных злых слов, предсонных и послесонных страданий и додумываний, – родная, опустилась рядом и положила голову ему на колени, он гладил волосы; они говорили, но молчали, потом он сказал: «Пойдем погуляем с собакой!» – чтобы никто не мялся за дверью: когда же он, скорей!..

Так он представлял «в лучшем случае», готовясь к разнообразным «худшим», но получается всегда «никак», продлевая удушающую неокончателность.

Дверь открыла Ирина Васильевна, няня; ее брали няней, а когда выросла Эрна, оставили помогать по хозяйству; влажный пол – уборка:

– Они в гостях.

Эбергард забыл про собаку – собака плакала и билась ему в ноги: где ты был?! – не давала ступить, уносились за мячиком: давай играть! – валилась на бок: чеши, гладь – вот кто его ждал, как надо.

– Растолстела как...

– Теперь же не гуляют. На пять минут вышли и – хорош. Всё по гостям ездят, – няня выкрутила тряпку, не взглядывая на Эбергарда.

Вот вещи – да, именно так, как он представлял: мешки и коробки в бывшей бабушкиной комнате; на бабушкином диване появился новый плед.

Он выносил сумки, Павел Валентинович грузил в багажник и салон – всё? – разулся и прошел по комнатам: всё? – чужие ботинки, чужая бритва, пена для бритья, тюбики, флаконы, какие-то от морщин ба-

ночки – что это? на хрена ему столько? На полках Эбергарда – чужое. Так всё быстро... Но, возможно, уроду просто негде жить, снимать дорого, а по месту прописки тесновато.

– Давайте поменьше денег, – няня ходила следом. – Раз появился человек, живет с ней... Он работает, она работает. Живет припеваючи, каждый день выбрасываю чеки... Знаете, трусы за сколько покупает? Каждый выходной Эрне праздник делают! Сигилд никогда не будет вам благодарна, всё равно будете виноваты. А с Эрной разговаривайте, должна она понимать, сколько вы для нее...

В комнате Эрны на заметных местах – новые куклы, он вздохнул и взял с парты дневник – «четыре», «пять», «принести краски», «небрежное оформление» и – чужая роспись внизу в «Подпись родителей»; он полистал страницы: учителя, предметы, личные... Вот – его имени в «личных данных» не было, парой к Сигилд Эрна вписала уroda, фамилия, имя, отчество, мобильник, – и обернулся, словно кто-то позвал, – на двери детской Эрна приклеила плакат «До свадьбы осталось 11 дней», летучими зернами одуванчиков набросала восклицательные знаки и сверху нарисовала двух голубков и кольца.

– Кажется, всё. Я поехал.

– Не расстраивайтесь, – няня заперла собаку на кухне и держала подрагивающую от собачьего натиска дверь. – Девочка спокойна. Веселенькая. Учится, старается. Вам нечего за нее переживать.

У подъезда Эбергард, как всегда, оглянулся на окна, но махать из окна уже некому. Павел Валентинович догрузил коробки, присмотрелся, нагнулся и что-то поднял из снега и протянул:

– Вывалилось.

Эбергард принял на ладонь – какой-то прозрачный пакетик.

В пакетике лежало обручальное кольцо – он кольцо никогда не носил, где-то оно лежало дома. Эбергард быстро сжал пальцы, торопясь успеть, прежде чем кольцо начнет говорить.

Не удержался и вечером подержал в руках (Улрике с тревогой следила, пытаясь подсказать: в этом можно еще ходить; а вот в этом ты мне очень нравился) каждую вещь – вещи, как фото, видеофайлы, воспроизводили в мозгу годы, месяцы, самого Эбергарда, вытаскивали на свет составные крепкие части жизни; утраченное тепло и прожитое время показывались и – навсегда отлетали.

– Всё придется выбросить. Или отнести в церковь, – сказал Эбергард, словно мог что-то оставить. – Это всё другого человека.

Улрике потянулась обнять:

– Ты что?

Он уклонился:

– Ничего. Я счастлив. Теперь не надо гулять с собакой. Не живу с посторонним человеком в одной квартире. Меня никто не раздражает! Всё, как хотел.

Выйдет замуж, думал Эбергард, ну и нормально. Посияет – пусть. Пусть талдычит: «Только с Федором я поняла, что такое настоящая любовь!», «Какое это счастье, когда рядом надежный, порядочный мужчина!», «Как жаль потерянного времени!». Эрна покричит со всеми «горько!», послушает поощряющие тосты, «дочь, которая не оставила маму в трудную...» Что изменится? Ничего. Он усмехался подползшим всё-таки посреди ночи мечтам подростка, любящего кино: ворваться, отменить, вернуть Сигилд, опять



просыпаться по утрам в своем доме, видеть Эрну каждый день... И снова: нет, наверное, Эрна не любила его еще и раньше – до ухода. Как же сделать девочке больно? Как дать ей понять... Она мне нужна, я ей – нет. И комната в новой квартире останется пустой. Посреди ночи он жаждал любви, уверенности в своей нужности, незаменимости. Пусть человек, которого я люблю, боится меня обидеть. Меня бережет.

Утром позвали к куратору – заместителю префекта Кравцову: прощаться? или началось, дождался, что-то? Эбергард тосковал в приемной, развлекая допросами о внуках безмозглую секретаршу Кравцова Лидию Андреевну, частенько говорившую посетителям: «Вы такой худой... Сдайте анализы на онкологию!» Уморившись, Эбергард умолк и подслушивал разговор южнонародных теток, дебело развалившихся на соседнем диванчике, – та, что помладше, в распахнутой черной шубе, из-под шубы торчала у нее нелепая красная юбка с высоким разрезом, в меховой шапке, надвинутой к бровям, склонила носатое лицо над переводной книжкой «Как познать себя» – читала, прерываясь на беззвучный плач, почти на всякое слово второй, постарше, в повязке, как траурной, на голове, типа старшей бездетной сестры, профессионально занимавшейся переноской чужих тяжестей и безболезненным состраданием чужому горю, знавшей, что и когда сказать на похоронах, – та брэнчала браслетами и басыла без стеснения – такие в префектуру приходят только раз, больше таким пропуском не закажут.

О чем они? Про интернат слабоумных?

– Да ты че плачешь? Всё будет хорошо! Главное, чтоб здоровье, – трубила старшая. – Ничего, вырастет.

– Уж очень далеко-о...

Посидели молча, помоложе склонилась ниже над книгою и заплакала:

– Уж больно далеко. Мост через реку. Я запомнила – Ока.

– Ничего! Будет спортом заниматься. Только бы не лежал. А то будет как медведь. Будет живот, как у слона, и ты с ним не справишься!

Они еще посидели молча, отвернувшись в разные окна.

– Уж больно далеко. Ехали-ехали... Я спрашиваю: когда же мост?

Старшая подозрительно покосилась на Эбергарда и зашептала:

– Ты его, главное, научи немного деньги считать. И – лишь бы сильным был. Что там могут в жизни эти крепкие духом... – и вдруг сама заплакала, удивляясь своим слезам.

– А-а, ты... – Кравцов, оказывается, забыл, что звал; ничего важного, значит, только и думает о своей умирающей жене, когда о другом должен думать, отстаивать себя и своих. Кравцов собирался уезжать, дорассказывал кому-то в телефон с привычным мучением: – И когда мы после восемнадцатой химиотерапии посмотрели анализы – чисто! Я пришел к Марине и говорю: вот и всё! И вдруг какой-то голос надо мной сказал: нет, не всё! И она этот голос тоже услышала! Подожди минутку, – он зажал ладонью трубку, словно – чтобы согреть. – Эбергард, ты это... Там в приемной жена Валеры Гафарова из управления культуры, слышал, что посадили? Там совсем беда, денег нет за квартиру платить. А у нее ребенок инвалид, Гафаров его в школу на руках таскал, а теперь и на врачей денег нет... Слушай, возьми ее на работу, как-то поддержать.

– У нас небольшие зарплаты. – Вот чем занимается дебил! Нашел, за кого просить! – Михаил Александрович, Гафаров вообще миллионер!

– Я не знаю, куда там, что... Но сейчас – копейки считают. Она учительницей когда-то работала. Тебе ведь корректоры какие-нибудь нужны? Давай забирай ее на хрен из приемной, пока монстр не увидел.

Эбергард не пошевелился, не разогнулся перед куратором, перед тем, кому отдавал деньги, но ему показалось: разогнулся и выложит сейчас всё, и Кравцов увидит наконец перед собой человека, равного себе – зачем-то громко отодвинул стул, сел и сразу встал и отправил руку в карман, но не попал.

– А кроме азербайджанской жены?!

– Ты что, Эбергард?

– Ничего не хотите сказать? Как у нас там? С кем дальше работать?! – что означало «ты деньги до монстра доносишь?».

Кравцов вздохнул, но не улыбнулся; он говорил без уверенности, без скрытого до поры успокаивающего знания, а «лишь бы ушел»:

– Я всё решу. Куда ты кипишь?

– Не опоздаем?! А то у меня доброжелателей хватает.

– Решу. Решаю. Притремся, сработаемся, – махал рукой «уходи!», «заканчивай с этим!». – Он нормальный мужик. Будешь, как и раньше, – через меня. Ну, че ты как... на своей семейной почве.

– У меня всё нормально (с нажимом «у меня», «смотри за собой!»). – Эбергард не заметил предложения пожать руки и всё забыть и еле сдержался, чтобы не долбануть дверь. – Здравсти, – смотрел мимо лица, мимо изумленной дуры Лидии Андреевны, начавшей: «Что-то вы...» – Вы – супруга Валерия Михай-

ловича? Спускайтесь в сто двадцать четвертый кабинет и ждите меня там, – и повернул в сторону, противоположную от лифтов, чтобы не спускаться вместе, чтобы неловко не молчать – с этажа на этаж, – и угодил за поворотом в безмолвную стаю выходящих из первого заседания под председательством монстра членов земельной комиссии, и прихватил за локоть Хассо – белая голова, не спутаешь:

– Оп! Не бойсь, это я! Привет району Смородино! – и умолк, потому что Хассо, не обернувшись, высвободил руку и пошел дальше молча с такой окончательностью, словно ему зашили рот довольно давно и губы срослись, говорить нечем – непривычно бледный, словно одного из всех выделил и отбелил его зимний законный свет (уволили?), чужой, никого вокруг не зная, не зная языка этих мест, даже двух-трех простых слов. Обижаться? Эбергард отстал и свернул к пожарной лестнице, едва не столкнувшись с помощником монстра – его окрестили в префектуре «мордой», – и зачем-то «морде» закивал, улыбаясь, и обрадовался: и он кивнул! Вход на пожарную лестницу открывали, когда престарелым девушкам из машбюро, уже давно переведенным за компьютеры, хотелось покурить, но сейчас на кресле райкомовских времен, открывающем на сгибах губчатое нутро, сидела одна Марианна из приемной, без сигареты, роняя лоб то на одну, то на другую подставленную руку – не осталось сил.

Эбергард выглянул обратно в коридор: никто не идет? – и взбежал по ступенькам:

– Вставай! – потащил ее из топи за плечи: ну-у!

– Больше не могу. Каждое утро – приезжает и уже всех ненавидит. И своих, и наших – всех! Подай кисель! Возят из ресторана. Подала. А-а, что это в чаш-

ке плавает? А что там может плавать, Эбергард? Может, крахмал... Я не знаю! Спермой префекта поите?! И – ногой в поднос! – кисель на меня, смотри – пятна на блузке. И тут. И – чтоб не виляла больше жопой. Ходишь, как проститутка. И кожаную юбку припомнил, сколько не надевала уже.

– Иди в туалет, посмотришь в зеркало и – на рабочее место! – он толкал ее к выходу. – Давай!

– Ночную дежурную уволил. Сказал ей: проветривайте приемную после себя. Даже в тюрьме проветривают. Она засмеялась: в тюрьме не была, не знала. Уволили! Двадцать лет отработала!

– Марианна, иди! Думай о дочке – ей квартира нужна? Ты в очередь ее успела впихнуть? Вот и иди! – и заглянул еще, хоть остыть, к Сырцовой. – Галина Петровна, представляете, мне кормить жену Гафарова! Нашли неимущую... Были на земельной комиссии?

Сырцова закрыла глаза, открыла – да.

И ждала: «много работы», «есть что по делу?». Не до разговоров. Что-то еще?

– Ничего не случилось? Нормально прошло?

– Ничего подписывать не стал. Вы, сказал, думаете, я не знаю, что за каждое согласование вы заказываете деньги? За каждое! – Взял верхнее дело, а оно из Смородино. – И ведь немалые деньги, чемоданчики, – и с такой прям злостью: да, господин Хассо?! Скоро у нас совсем другие разговоры начнутся. На кого наручники наденут, а?

– А Хассо? И Хассо ничего не ответил?!

– Спокойно сидел, на монстра не смотрел. Так, побледнел сильно. Взялся зачем-то пить, минералку открыл, а струей в стакан не попадает – руки ходят вот так вот. Монстр посмотрел на эти руки, и что-то

человечье в его глазах всё-таки мелькнуло. И закончили. Я так поняла: ничего подписывать не будет, пока не приведет своего начальника в райкомзем.

– Как вас зовут?

Жена Гафарова ответила простым именем и трудным отчеством, Эбергард не записал и сразу забыл; родственницу, уверенную, что надо всегда надеяться на лучшее, смотреть вперед и жить дальше, он попросил остаться в приемной; жена Гафарова (он старался не запомнить ее лицо) рта не раскрывала, княжески считая, что предлагать-рассказывать будут ей, не привыкла молить, пока.

– Мы государевы люди, зарплаты крохотные, – промямлил и катнулся на кресле подальше от стола и с сожалением затряс головой, как копилкой: найдутся, погремят еще слова? Есть? – А как получилось, что вы... без средств? Я надеялся, Валерий Михалыч вас... Какие-то накопления там...

– Адвокат, – объявила она диагноз. – Очень дорого вышло, – «адвокат» прилипло у нее на язык и высывалось, обнаруживало себя на каждом слове, застряло светящейся пулей посреди вскрытого рентгеном черепа.

– Да? Мне казалось...

– Дом продали, лишь бы Валера вышел.

– Да где ж вы такого адвоката нашли?

– У следователя познакомились. Случайно получилось. Меня допрашивали, он зашел. Пожилой такой мужчина, солидный. Сам бывший сотрудник органов. Он со следователем свои вопросы решал: когда то моему клиенту, когда это... Вижу, на «ты», мобильник с собой, а мобильники там у всех отбирают...

– Понятно, – Эбергард вздохнул.

– Я к нему подошла, и он, оказывается, ко мне сам хотел подойти, так как-то уверенно, сразу: надо порешать сейчас, пока задержали, а постановления об аресте нет, сейчас занести, срочно и много, двое суток всего... Посоветоваться не с кем, Валера пишет: отдавай всё, лишь бы выйти, сам в шоке... А уж я... Слезы. Только половину собрала. Тут я виновата. Пятьдесят тысяч долларов отдала. А больше... не успела просто, растерялась. И – арестовали.

– Деньги адвокат вернул?

– Нет. Он же не себе брал. Им. Они же не возвращают.

– А потом? – Эбергард внимательно разглядывал собственные ногти на левой руке, словно собирался их купить.

– Адвокат, спасибо, меня поддержал: надо дальше бороться, не опускайте руки. Дело можно закрыть. Пусть Валера скажет: сверток, что там, в машине, ему дал знакомый на хранение, а сам знакомый умер. И собирайте деньги, я следователю отдам. Я говорю: у нас нету такого знакомого. Адвокат сказал: у меня есть такой человек, что умер, я вашему мужу подскажу. Времени было побольше, я всё собрала, успели, мы вовремя отдали. Большая сумма. Адвокат сказал: Валеру завтра заберем. Я приехала к СИЗО...

– Адвокат вышел и говорит: я всё решил, и вот уже постановление о прекращении дела готово – бумагу вам показывает. Только без подписи. И без печати. Но следователю – так он вам сказал, да?! – вдруг позвонили из городской прокуратуры – или прямо из генеральной! Или сам Путин?! – Эбергард уже кричал. – И сказали: на вашего мужа пришел заказ! А с этим поделать ничего уже нельзя!

Жена Гафарова пробормотала:

– Вам адвокат уже рассказал? Вы его знаете?

– А денег вынуть он не может потому, что следователь сделал всё, что обещал, вот же бумага! Но у вас же еще остались деньги, что-то еще можно было вытрясти – адвокат пожилой, солидный, он там со всеми знаком, сказал: нет, нельзя падать духом, боремся дальше, чтоб судья дал по нижнему пределу и чтоб колонию не на Крайнем Севере и не там, где черных прессуют. Пусть только ваш Валера изменит показания и скажет: да, оружие мое, потому что неосознанку судьи не любят и могут раскатать по полной, и продавайте дом, собирайте еще деньги, несите скорее! Да? Так? И результат – три года?

– Четыре.

– Сколько вам лет? Вы что, первый год в нашем городе? Вы на улицу выходите?! – зачем ему? – хотел еще «ты хоть читать умеешь?!», «зачем ты живешь?!». – У вас есть хоть какое-то образование?

Жена Гафарова, не понимая, плакала, как плакала, видимо, всегда, встречая в жизни непонятное, несправедливо оценивающее ее, обманывающее – за что ее ругать? делала, что могла, и – всё бесполезно; она поняла: и здесь – бесполезно, улыбнулась сквозь слезы непонятно кому, своей жизни без солнца:

– Ничего у меня нет. Только больной ребенок... Вся в нем. Вот, – она показала куда-то вниз, на уровень детского роста, – моя жизнь. Еще какие-то люди звонят: Валера нам должен, и нам Валера должен... Мне бы хоть какие-то деньги. Никуда не берут. Только уборщицей в детский садик, а сколько там...

– Ладно. Ладно! – единственно важный вопрос: – Это Кравцов вам сказал, что в пресс-центре для вас есть работа?



– Нет, муж написал: найди в префектуре Эбергарда. Он там единственный – человек.

Эбергард поозирался в поисках источника едва ощутимой вибрации, раскалившей ему мозг: никто не позвонит? Вскочил:

– Сейчас, – из приемной выманил за собой Жанну, та угадала маневр и закивала, прежде чем Эбергард велел: – Кофе ей и минут через пять скажите: Эбергарда вызвали к префекту – и провожайте. Скажите: перезвоню, когда будет предложение. Если сама позвонит – никогда не соединяйте.

Дура! Одевшись пожарно, выхватив пальто из рук гардеробщицы, Эбергард ушел подальше от дорожек и троп, соединяющих префектуру и станцию метро, от всех дорог, на голую, излюбленную собаками землю, руслом повторяющую путь теплотрасс, твердя:

«Дура! Безмозглая! Идиотка!» – пытаюсь почувствовать себя единственным, чтобы очертания человека проступили в мутной четырехугольной проявочной воде при красном коммунистическом фонарном... – он проявлял себя над заснеженной травой и, обернувшись на дальние панельные восьмиэтажки несносимых серий, вдруг увидел на их месте какие-то другие дома – нет! – на ближнем кусте торчала красная варежка, оттопырив большой палец; его дочь, он побежал в мысли об Эрне – может быть, просто встретиться, простить, и обнимутся – сегодня; так, сейчас она на английском, Эбергард полез по сугробам, скорей на твердое – навстречу энергично шагала школьница в неказистом пальто, ее гнал снег, раздуывающий, не перейти ли ему в дождь, – она ни о чем, казалось, не думала, крепко держа меж пальцев сигарету, потому что таким образом держалась за нужную ей жизнь; он так сильно захотел увидеть Эр-

ну (а на самом деле ему хотелось – рассказать ей всё, пусть не расскажет сейчас, но – есть такой человек, его дочь, всем остальным не расскажешь или расскажешь не «всё», а «что-то», и взамен потребуют слишком многого)...

– Во дворец пионеров! Или как он там сейчас... Дворец творчества?

– Дворец творчества юных, – Павел Валентинович любовно рассматривал гибэдэдэшника, тормознувшего джип перед ними. – Если штраф впополаме брать – тридцать долларов. Десятерых наказал – три соточки. А через год и машину можно приличную купить товарищу младшему лейтенанту. Всё деньги, господин Эбергард... Как без них? К киоску без косаря не подойдешь. В маркете в пакетик того-сего положить – пятихатки нет...

Во дворце пионеров (или как там) аварийно воняло канализацией – дети, родители, педагоги заматывали рты и носы шарфами и раскатывали ворота свитеров на нижние пол-лица; за время отсутствия Эбергарда появились железные воротца и вахтер – в застекленной будке сидел с трудом поднимавшийся дед в черной куртке охраны с погончиками и нашивками и жрал что-то из миски с жадностью впущенного в тепло и на подкрепление бомжа.

– Нельзя без пропуска. Если отец, должен быть пропуск, – повторял он непреклонно и вяло; Эбергард показал сто рублей. – Нет, – удостоверение префектуры, пропуск в мэрию... – Что это? Нет, пропуск должен... А то вот прорвался один маньяк и – троих детей зарезал.

– В вашу смену?! – бешено уточнил Эбергард, и звонить некому – другой округ!

– Нет. В Америке.

– Жаль, – и Эбергард отправился ходить под фонарями; снежные крупинки таяли на ноздрах, по снегу плыла, покачиваясь, его тень, почему-то он уже знал: не получится. Может, Эрна не поехала сегодня на английский. И внутри «дворца» ее нет. То, что он ощущал, походило на усталость, на первые часы простуды, официально регистрирующейся завтра. Эбергард остановился у застекленной стены: виден гардероб? Не одевается Эрна? А, вот: опершись задом о столб, поддерживающий небеса, облицованную мрамором колонну там стоял урод, у него есть пропуск; Эбергард не запомнил его и не собирался: стоял кто-то, держа в охапку пальтишко Эрны, на капюшоне светлый мех – словно ее саму переломанно прижал к брюху, и красный рюкзак, – сама Эрна, отдав вещи, попросила деньги и помчалась в буфет – так они с Эбергардом делали, так она делает и теперь: для нее ничего не изменилось. Просто записала новое имя отца в дневник. Эбергард больше не думал. Удовлетворенно, словно приезжал за подтверждением, всё и подтвердилось, ртуть термометра переползла красную черту, выдавилась за край, за тридцать семь; закинув на спину котомку с камнями, он потащил ее к машине, желая зла: пусть уroda убьет, неисправная электропроводка, пусть заболит и сдохнет, не давать денег, выгнать из квартиры, не давать доверенностей на вывоз ребенка – пусть на моря летают без Эрны! – чем бы еще ответить? Ответить нечем.

– Совещание по выборам, зайди. – Пилюс ненавидел Эбергарда за многое (казалось: за то, что Эбергарду улыбались женщины, и только после за то, что в пресс-центр на освоение бюджетов не взяли племянницу Пилюса, что вопросы Эбергард решал

с префектом и Пилюсу не откатывал, что безнаказанно пропускал коллегии, летом носил джинсы и сандалии и говорил много раздражающе лишнего); раз в полгода Пилюс предлагал префекту «кадрово укрепить» пресс-центр, над постоянством его наездов посмеивались, Пилюс не понимал, что тут смешного, и, почесывая рябую плешь, катал очередное «на ваше решение», а также постоянно «вызывал» Эбергарда, получая «сейчас некогда», «загляну, когда будет время», – встречались они только в кабинете префекта или Кравцова, никогда – без свидетелей, но теперь... И Пилюс победно добавил: – Поручение префекта, – может, и врал, или не врал, или врал...

Кроме самого начальника организационного управления, «совещалась» только Оля Гревцева из управления культуры, заканчивая обсуждать свой «вопрос»; после увольнения Бабца Оля постарела, ступала по официальным ковровинам со сдержанностью вдовствующей императрицы, словно нося на животе или в душе заживающий, но, увы, не спасший операционный шов, одевалась траурно, о Бабце говорила насмешливо и с такой убедительностью отстраненно, что совесть главбуха Сырцовой, любительницы изнурительных автобусных экскурсий, заметившей одним трагическим июньским днем на цветочном рынке парижского острова Сите двоих, выглядевших ну совершенно – копия! – как префект Бабец и Гревцева, начали дырять укоряющие мелкозубые мысли: а было ли? точно они? Да разве мог член городского правительства носить шорты, ковбойскую шляпу и ржать так, что туристы-японцы оглядывались, и именно в те дни, когда мэр отпустил Бабца удалять шлаки из кишечника в православную лечебницу, а Гревцева сидела на больничном и исправно, хоть и заспанно, от-

вчала на телефон? Не напрасно ли Сырцова об этом всем своим поганым языком?..

– Как прошло? – Пилюс, заставляя Эбергарда подождать, по инструкции, словно на глазах проверяющих или под пишущий микрофон, интересовался первой встречей режиссера Иванова-1 с избирателями; на столе Пилюса, верно люди сказывали, лежал исторический двухтомник «ВЧК – КГБ – ФСБ», обросший красными закладками.

– Что «как?» А как могло? – отмахнулась Оля. – Как. Как всегда. Людей согнали. Оpozдал на час. Приехал с запахом. Я ему: чайку? Он: почему чайку? Может, водочки хряпнем? На сцену вышел и: избираться не хочу, это меня мэр попросил, программы нет. С первого ряда старушка и спросила: а зачем мы тогда собрались? Тишина. Я мигнула кому надо, Бронислав Васильевич, ваш творческий путь... И он зашелся.

Проводив Олю, Пилюс как бы обдумывающе помолчал и приступил, глядя на свои агонизирующие, сами собой пошевеливающиеся пальцы, мягкие и белые, словно вываренные в кипятке:

– Что будем... по Иванову-2?

– А что, его регистрируют?

– Там...

Эбергард бросил считать троллейбусы, вползающие с Одесской на Тимирязевский, но Пилюс не показал, где «там» – в кабинете префекта? у вице-преьера Ходырева? в городской «Единой России»?

– Есть решение зарегистрировать. Всё-таки действующий депутат, пойдет от «Партии жизни». Чтобы Шаронов не вонял... Что докладывать префекту?

Не ответишь «префекту доложу сам», молчание; Эбергард потерял вес, повис, ничего не знача, про-

жеывая неприязнь, протянул руку ухватиться за главное, то, что спасало первым, что, по его расчетам, только и могло спасти, – «дело»; дело прежде всего, ради дела, дело на первом месте, общая польза, интересы дела требуют, кто-то ведь должен работать – что они без меня?! – мне поручают – я им нужен, рабочий, кочегар – мозолистые руки, кожа с неотпаривающимися следами... Он спросил-указал:

– Записывать будете?

Пилюс тоже сглотнул внутреннее канализационно-кипящее клокотание, и он тоже признал: да, «дело», пока не до укусов – и фокуснически выудил из мебельных недр толстый снежно-блистающий лист доселе невиданной в префектуре бумаги и свинтил серебряный колпачок с золотоперой ручки с индивидуальным номером, изготовившись заполнить аккуратными и понятными словами шпаргалку: вдруг при докладе на нее невольно покосится монстр, ненавидящий всё дешевое, потертое, бедное, сквозняки, покашливания, насморки, морщины, запахи, дыхание близкого человеческого присутствия и захватанные дверные ручки?

– Иванов-2. Как юрист работал на компании Ходорковского. То есть тоже вор. Засветился в банковских структурах «Госроскредита». Раздавал кредиты близким родственникам, потом банки банкротил. Подтянем обманутых вкладчиков. Дед отсиделся в войну на Западной Украине, привлекался к ответственности за пособничество бендеровцам. Жена ездит на депутатской машине за деньги налогоплательщиков. Устраивает пьяные загулы на казенной даче в Одинцово с участием уголовных авторитетов грузинской национальности. Ну, что еще... Иванов-2 – совладелец магазина для геев напротив гордумы.

– Правда?!

– Ты, главное, пиши... Короче: «Единая Россия» очистила свои ряды, а педераст и вор перебежал в «Партию жизни», чтобы не отвечать за данные избирателям обещания. На прошлых выборах раздавал ветеранам продуктовые наборы. Колбаса в наборах оказалась с истекшим сроком годности. У меня есть заявления ветеранов-фронтовиков о пищевых отравлениях. Напишем: Герой Советского Союза скончался.

– Это убедительно, поближе к дню голосования, – промышчал раскрасневшийся Пилюс (ему казалось: это он поработал, это он молодец, тяжелоато пришлось, но выполнил; Пилюсу сразу захотелось одинокого отдыха в раздумьях, как получше преподнести монстру свои усилия), уважительно глянув на Эбергарда; хвалить или сказать «спасибо» не мог, достаточно, что ничего сегодня больше не затронут, свое «сегодня» Эбергард выкупил, Эбергард так и чувствовал; машинально шагая в раздумьях «как прошло» к лестнице; увидел: у лифтов люди, среди них – монстр в черном пальто на меху, – Эбергард укоротил шаг, давая префекту погрузиться и уехать; хлопать по лбу «как же забыл!», разворачиваться и убежать поздно, и папки с бумагами нету в руках – остановился бы у подоконника разложить на свету документ «во исполнение поручения префекта», страница к странице, а затем и увлечься важнейшим параграфом... нет, монстр уже заметил Эбергарда и уставился на него над плечом режиссера-депутата Иванова-1 – тот размахивал руками и вдруг нежно прихватывал монстра за утепленный воротник, подтягивая префекта словно для венчающего сердечное излияние небритого поцелуя в губы, и было заметно, как содрогается монстр от сдерживаемой злобы при каждом таком...

(что поделаешь – любимец мэра, так всем говорит, пойдй проверь!) – и тут режиссер обернулся:

– Вот! А вы знаете, кто это?! – имя Эбергарда он запоминал только на время предвыборных усилий, а те еще и не разворачивались. – О-о, это страшный человек. Так посмотришь – скромный. Незаметный. А все мы – в его руках. Привет, дорогой, – и обнял руководителя пресс-центра, и префект долгожданным движением двинул Эбергарду руку, Эбергард благодарно коснулся, легко, ненавязчиво, едва, не улыбаясь (вдруг не понравятся зубы), смотря, как нужно, чуть вниз, сколько можно удлинив руку, изогнувшись, издали (вдруг не понравится запах); сказать «можно к вам на прием?», что-то вообще сказать? но не смел – префект с охраной двинулся в лифт, и скрылись, а Иванов-1 поправлял теперь Эбергарду воротник:

– Душить будем гниду Иванова-2! – И усмехнувшись, словно нечаянно видел пьяным, видел, как Эбергард крал, пропел: – А у префекта-то... что-то на тебя – есть!

– Да ну! – легко рассмеялся Эбергард, наступила ночь. Еще одна ночь. Ночь – Эрна, и еще одна ночь – пропадало будущее.

– Ты там как-то, – Иванов-1 ткнулся лбом Эбергарду в лоб, – с кем-то вопросы решаешь? Со старыми кадрами?

– Ну да. Как положено. Я соответствую. А они уж там, с ним...

– Мне кажется, что-то они как-то что-то не спешат донести до него... Ты смотри, не опоздай переключиться! Слушай, а давай сделаем мне новую фотосъемку для выборов! Я с ветеранами. Я с инвалидами. С солдатами. Я – с молодыми девками в белых трусах!



Только на улице Эбергард почувствовал, как что-то сползло с его лица, какое-то напряженное выражение, достаточно весомое, чтобы звучно шмякнуться в снег, и падало оно именно вниз, под ноги, но беззвучно, и тут же заступило на дежурство другое, он так и не заметил, есть ли что-то между, потоптался: туда? сюда? и – вдруг – семь цифр, отбрасывающих в стороны всё, вдруг – позвонил:

– Сигилд...

– Я требую, чтоб ты не заходил больше в мой дом! Мне это не нравится! Мужу моему это не нравится!

– Но ведь...

– Хочешь видеть Эрну – жди ее на улице.

– Я предлагаю встретить Новый год вместе.

– Что-что? – хотя она прекрасно всё услышала; если бы сейчас кто-то спросил Эбергарда «за что вы ее ненавидите?», было бы удобно ответить: «Вот за это».

– Встретим Новый год семьей: ты, я и Эрна. Пока Эрна не выросла, мы всё равно – семья.

– Я буду праздновать со своим мужем и Эрной!

– Но Эрне лучше, если мы втроем...

– Она не хочет с тобой!

– Откуда ты знаешь?

– Спроси у нее сам! Что ж ты не хочешь праздновать со своей проституткой, с этим ничтожеством?! Не так уж тебе хорошо там, да? Спыхватился? Нас бросил...

– Только тебя.

– Не захотел начать всё сначала! А я хотела!

– Это неправда.

– Я звонила, а ты бросал трубку. Я-то надеялась, что сможем что-то восстановить. А теперь – поздно. Я люблю мужа. И муж любит меня. Лучшие свои годы я отдала тебе...

– И было много хорошего.

– Мрак! За моей спиной только мрак! Эгоист! Я так страдала. Эрна плакала... Месяц! Каждую ночь!

– Это ты придумала только что.

– Мне было так тяжело одной.

– Твой друг переехал к тебе через три недели.

– Ненавижу!

– Пройдет время...

– Я тебя и через двадцать лет буду ненавидеть. Эр-на любит нового отца.

– Он не отец, – Эбергард едва не сказал «твой урод».

– И он всегда будет с Эрной, он ее любит. А твоя мать меня предала.

– Я не оставлю Эрну, не надейся, – про себя он добавил «тварь».

– Никакими вызовами в опеку меня не запугать. Он любит Эрну, воспитывает ее...

– Ладно, Сигилд. Всё у тебя будет хорошо, – он отключил этот голос, потом отключил телефон, вышел вдруг из собственных пределов и оглядел себя и живое вокруг себя: Эрна навсегда дочь разведенных родителей, у нее не будет родных брата или сестры. Фотографии родительской свадьбы станут свидетельствовать лишь о несчастье и лжи. Милая Эрна, твой папа мало-помалу нашел твоей маме замену получше и помоложе...

Да, еще, оживил телефон и отправил Сигилд: «На выходные мы едем с Эрной к бабушке на юбилей», и набрал Викторию Васильевну Бородкину из муниципалитета Смородино, но ей уже пересадили мозги; Эбергард заметил: в этой беде не помогает никто, словно он сумасшедший, а все вокруг здоровы, словно дверь, в которую он бьет, не существует; помощи

те! – все отводят глаза: бесполезно, это не вылечишь, на самом деле – это он-то как раз здоров, а они...

– Как раз! – собиралась вам звонить. Вызывали мы... вашу... – Бородкина издала продолжительный звук, напоминающий длительное всасывание чайного глотка. – Но тут, при всем уважении... Что тут можно... У девочки сейчас – полноценная семья. У матери дочь никто не отнимет. Вы же не пойдете в суд...

Он нажал «разъединить», теперь Бородкина пару раз наберет его сама, а потом побежит докладывать Хассо: сделала всё возможное, но друг ваш требует не пойми чего, ведет себя вызывающе, грубо, неуважительно, психованный какой-то... Неудивительно, что дочь с ним не хочет, а мамочка так плакала, так плакала, когда приходила, и рассказала, между прочим, что... Ну и ладно, ладно, скажет Хассо, не надо меня во всё это, спасибо, Виктория Васильевна, он обратился, мы помогли. И не отзвонит.

Эбергард поехал в управление муниципального жилья к мудрому Фрицу, знатоку законов реальной жизни и потусторонних сил; ну что ж, органы опеки надо душить через город, через департамент территориальных органов, через ассоциацию муниципальных образований; не ответил на вызов вспыхивающий «мама» – мама, если он не отвечал, перезванивала Улрике и подробно плакала для нее, чтобы та запомнила и передала Эбергарду без изъятий.

– Я иду? – толкая двери, первую, вторую, Эбергард не понял, но почувствовал что-то: секретарша Фрица не улыбнулась ему, болит голова на снег, приступ ипотечного удушья, но «во-первых» он подумал о другом – и Фрица...? И – пустой кабинет.

– Я здесь, – Фриц расположился в уголке, на несчастном стуле, который занимали сотрудники управления, опоздавшие на планерку, – им приходилось держать рабочие тетради на коленях и приподниматься из-за спин, «давая информацию» в ответ на «поставленный вопрос». Выпустив галстук поверх пиджака, как язык удавленника, Фриц держал в руках свежераспакованное приспособление для видеоигр (Эрне бы понравилось), выуженное из подарочных пакетов, теснившихся у его ног; как онемевшие гуси, сбежавшиеся за кормом, – бутылки шампанского тянули серебристые горла, расталкивая обтянутые пленкой бока конфетных коробок, конверты с деньгами засовывались в конфеты или на самое дно – новогодние подарки в управление свозили заранее; Фриц, подбородком в грудь, замороженно смотрел в мерцающий в руках, мигающий омут – в нем готовились к битве два самурая – сходились и – расходились, толчками, как рыбы в аквариуме, и страшно медлили.

– Всё. Последняя жизнь, – и Фриц осторожно опустил игрушку, как зажженную свечу под ноги, – нужно было меч подлиннее... – он, словно прислушиваясь – к звонкам телефона, забытому в пальто? шевелениям и вздохам в приемной? подпольным шорохам подземных вод? поведению сердца? – и улыбаясь, но только глазами, как улыбаются обворованные или обманутые, рассматривал Эбергарда: вот так... видишь, не ты, а... а мне – вот так... И кивнул, чтобы вопрос больше не нависал, раздуваясь: да.

– Как монстр заступил, приехала морда, Борис. Я и не знал, что помощником будет. Просто туша. Сказал: с главами управ договорились – в месяц по триста тысяч для префекта с каждого. С меня – миллион. Так они решили. Я говорю: откуда у меня? Бюд-

жета нет. Я могу только свою зарплату отдавать. У нас система как-то не сложилась. Инспекторам моим, может, что-то и капает... А мне – если только бутылку виски, – Фриц говорил не всю правду, не важно, он давал представление о точнейшей правде, хранить его для собственного спасения больше не имело смысла, его оно не спасло. – Вроде отъехали. Две недели назад монстр вызывает, обнял, такие прям друзья! В комнату отдыха, вздыхает: беда, Фриц, беда, если вы спасете только... Я: весь во внимании. Он: сын женится! Квартира нужна молодым. Большую не надо. Метров двести. В центре. А откуда я?.. Это же два миллиона долларов. Два с половиной. Я говорю: давайте попробуем сына вашего как-то на очередь поставим и будем двигать потихоньку, а через полгода какую-нибудь трешку в округе за выездом попытаемся выдать или в новостройке...

– Его это не устроило.

– Перестал визировать мои распоряжения. Говорит, пусть прокуратура проверит управление Фрица. Я сперва уперся: да пусть проверяют. А когда уже распоряжений шестьсот зависло, вызвали в город: раз контакта с префектом нет – пиши по собственному. Говорю: куда мне теперь? Не маленький, устроишься где-нибудь. Шестнадцать лет отработал. Медаль от мэра имею... – Он опять прислушался и подсказал Эбергарду: – Никто не звонит.

– Я всегда буду звонить...

Звонить Фрицу незачем, его погасили, на Фрице нащупали выключатель и отключили; скорей попроситься, тех, кто задушит органы опеки муниципалитета Смородино, надо искать среди живых, но он остался и сидел еще, и еще сидел, говорил и слушал: почему? Кому он показывал свою человечность и ду-

шевное тепло? Бога нет, людского суда – тоже, Эбергард про себя всё знает сам, а вернее – никогда про такое в себе и не думает, да и Фрицу мертвому безразлично, делай с ним всё, что хочешь, и сам Фриц не позвонит выпавшим; зачем Эбергард остался (хотя – а вдруг Фриц куда-нибудь да устроится...), присел напротив и говорил почему-то честно, как себе, когда спрашивал Фриц (вот в какие минуты люди вспоминают всерьез о ближних, сразу оглядываешься в пустыне, лесостепи: кто живой? – когда треснул панцирь и на замерзшем песке осталось шевелиться недолго).

– Ты не слишком переживаешь из-за дочери? – Они сидели на Востоко-Юге, здесь где-то шла сейчас, ужинала, делала уроки, смеялась, жила и выросла без отца дочь Эбергарда; одиннадцать лет не расставались с минуты, когда медсестра спустилась по лестнице с младенцем и спросила: «Вы отец? Держите крепче! Дальше – вы».

– Фриц, вот я живу, и мне никогда не больно. У меня всё сложилось, я всё выстроил – я не пропаду. Но я почему-то – ничего не чувствую по-настоящему.

– Зачем на себя наговариваешь?!

– А с дочкой – я почувствовал. Первый раз! Я ожил. Теперь уже не могу остановиться, это само... Я, оказывается, еще не пустой! Я – человек, оказывается! Фриц! Вот тебе, чего тебе хочется? Не сейчас, а вообще? – Эбергард разговаривал с Эбергардом, он не слушал, что там недовольно и смущенно вытекает рядом, выплескивается водяным насосом...

– Ну... Чтоб всё было как-то по-нормальному. У меня, у детей. Уровень по доходам. Запас. Короче, чтоб можно было не работать и жить достойно, на процент. И столько, чтобы инфляция эта не сожрала...

Я бы хотел на Средиземном море жить. Я тепло люблю! А вот дети выбрали Новую Зеландию. По мне там скучно. А им, видишь, нравится такая скука!

– Дружище! – Эбергард поднялся.

– И моя вина есть, – вздохнул Фриц, – не учел, что шестого декабря начинается возмущение Меркурия. А это означает угрозу занимаемым позициям...

Эбергард едва не рассмеялся.

На улице над собой Эбергард увидел звезду и, как по команде, написал Эрне: «Давай увидимся», и тотчас пришел ответ: «Сегодня, к сожалению, не могу», и ничего про «где», «а позже» и «почему», но зато «к сожалению»! – у него не хватило сил пережить без Эрны еще и эту приближающуюся ночь.

– Эрна.

– Привет, пап!

– Какие планы на Новый год?

– Не знаю.

– Мама сказала, ты не хочешь со мной?

– Я хочу с мамой.

– А я хотел с мамой и с тобой.

– Но это будет видимость. Вы же не вместе. И потом – это будет неуважительно к другому человеку.

Эбергард помолчал, долго.

– А за что тебе его уважать? За то, что кормит тебя? Растил? Больше любит, чем я?

– Он не бросил маму в трудную минуту. И любит ее.

И – заодно – дармовую трешку. Молодец!

– Содержание твоей головы прояснилось. Я не знаю, кто бросил маму в трудную минуту! Мы разошлись по взаимному желанию. Но ты – точно бросила кого-то в трудную минуту. Вырастешь – поймешь, – ничем Эбергард ее не купит, Эрны уже нет, вырастет,

похожая на урода, с его словечками и осанкой. – Значит, этот Новый год с мамой, а следующий – со мной?

– Не знаю.

– Ладно, отдам тебе на выходных подарок для мамы на Новый год, положишь под елку.

– Не покупай ей подарок.

– Почему?

– Мне негде его прятать. И я у тебя его не возьму.

Следовало сказать про переходный возраст девочек, подростковую жестокость, глупость подростков, но Эбергард не сообразил что.

– Ладно. До субботы. Я приеду к одиннадцати. Будь готова.

– А что в субботу? – вот, она говорила, как мама.

– Мы едем в Орел.

– Нет, я не еду!

– Эрна, – не кричать, не отключаться, не рвать, что-то всё время должно существовать неразорванным между отцом и дочерью, – бабушке семьдесят лет, мы все готовились, все приедут. Бабушке очень важно сейчас увидеть нас вместе... Она неважно себя чувствует.

– Почему ты так поздно сообщаем?

– Тебе разве мама не говорила?

– Ты должен учитывать мое мнение!

– Слушай, это – не обсуждается. Если я твой отец, а ты моя дочь и ты хочешь, чтобы так оставалось и дальше, мы – едем к бабушке.

В ухо корябнуло, простучало и следом вполз на пушистых паучьих щупальцах голосок Сигилд:

– Эбергард, – в четверть силы, с температурой «плюс», признавая, что здесь – святое, здесь я на твоей стороне, всё бывшее перед этим – ничто. – Я ото-



шла на кухню, меня никто не слышит, – не сомневался – Эрна прокралась следом. – У нее в субботу рождественский бал.

– Бабушка не видела ее год!

– Я всё понимаю. Я объяснила ей. Я сказала: решать, конечно, тебе.

Это не может решать сам ребенок!

– Но мое мнение, она должна поехать. Пойми, это ее решение.

Лисий хвост метет по следам!

– Это не я! Это, кстати, твои черты. И зачем ты всё время давишь на нее? Вечно куда-то заставляешь с собой ходить. Эрна такая грустная после встреч с тобой, часто плачет. Почему нельзя перенести на другой день?

– Люди отпросились, взяли отгулы, съедутся со всей страны и – переносить... Ради чего?!

Сигилд погрузила телефон в тишину, словно сунула его в кулак, а сама повернулась спросить: что будем делать? – и:

– Она – категорически! – не хочет ехать в субботу. Для нее это особый бал. Ей сшили настоящее бальное платье! Хотя я считаю – она должна поехать и поздравить бабушку!

– Если она не поедет, я не смогу относиться к ней, как раньше, она больше не будет кататься со мной в Париж и Лондон!!! – да всё уже, станция опустела, над рельсами Эбергард остался один, кому там бормотал он... – в жизни он всегда оказывался не готовым, продуманно готовился, но – не к тому, что происходило на самом деле: обыгрывая его, происходило что-то другое.

– Я не знаю, что делать, Эбергард, – кажется, Сигилд радовалась.

– Хорошо. Бал, в субботу не может... Праздновать будем в воскресенье, я заберу ее в субботу сразу после...

– Ой, я так не хочу, чтобы вы ехали в ночь. Такие жуткие аварии...

– Тогда выедем в воскресенье утром, – с него сама по себе скручивалась серая оберточная бумага, рулоны, складки, углы и, не опадая, закрывала стены, глуша. Постоянный бумажный шорох.

– И сразу же в воскресенье домой? Не тяжело ей будет восемь часов в машине? В воскресенье... Что-то ведь у нас было в воскресенье. А-а, ведь мы записались к врачу!

– В воскресенье.

– Что-то мне не нравятся ее аденоиды, даже страшно куда-то ее отпускать, – и слышно – Эрна прошептала Сигилд: «Мы же собирались в воскресенье за подарками. Ну, мам! Мы же запланировали!» – и он поехал восвояси. Никому не нужна любовь. Живешь в уверенности, что твоя любовь нужна всем. Нужна всегда. Снег, но когда перемещаешься в машине – ничего зимнего; зиму, Новый год, дни рождения, праздники – всё отняла работа, машина и возраст... С беременной Сигилд они пошли за грибами, нашла белый: «Это лес мне подарил». У Сигилд был маленький, аккуратный животик, мячиком. Однажды стало плохо на эскалаторе и она упала на руки Эбергарду. Зиму обещали еще шестьдесят дней, а потом она должна уйти; поплевав за плечо, подув, он ехал, с мучением вслушиваясь в отчетливо раздающиеся звонки бывшей жены, – галлюцинация, преследующая его уже около года; с прилавка свесили ноги рождественские чулки, бегали друг за другом разноцветные лампочки по карнизам, на Синичьих горах ковшом светился трамплин и скелетно мигала какая-то елка, полоса-

тые ленточки огораживали места падения сосулек, сугробы громоздились как проявление какой-то нездешней силы, не побиваемой ничем, – Эбергард смотрел в зад «мерседеса», летящего впереди, и думал: как легко убить. Удар клавиши. И меня. Снежный дым клубился в трапециях электрического подфонарного света, они поползли под землю, за снегоуборочной машиной, гладившей стены тоннеля вспыхивающим светом, наверное, и смерть похожа на тоннель: спускаешься, въезжаешь, ниже, понижее, и впереди уже нет света, а потом – выключают звук; и – они вылетели из-под земли.

Вот и обжились в чужом, в съемной, комнаты пропитались их взглядами и словами и обмякли, цвета и запахи, материалы уже неразличимы как цвета, запахи и материалы, а как одно – там, где мы просыпаемся...

– Что случилось?

Улрике – она улитка, носит его дом на себе, она умеет, она сможет посреди любых стен развернуть, устроить вот это... что ничего не страшно, ты не останешься один, красивая девушка улыбается:

– Добро пожаловать, – развесила по стенам распечатки проекта – их новая квартира, жизнь, – пойдем: столовая, круглый стол, он напротив кожаных диванов, белой кожи, пусть светильник – кораблем, окна до пола – они будут пить кофе над землей, в небе – круто! – Эрне ужасно понравится, да? Барная стойка – природный камень в гостиной, вот – мозаика, такой будет паркет, даже светлее... Знаешь, как называется ванна? «Любовная история». В форме сердца!

Выберет сама, съездит со строителями по ярмаркам и магазинам, чтобы не отвлекать, выберет то,

что порадует Эбергарда, его дочь, их маленького; прикольная вращающаяся дверь в комнату Эрны – она открывается в обе стороны, она вращается, она вращается без шороха, после вращения закрывается плотно, гарантия на механизм пять лет – здесь нечему ломаться, такую дверь делают в Тверской области, но делают немцы, они следят за экологией...

– Эрна не едет.

Улрике ахнула, и быстро и крепко схватила Эбергарда за руку, словно он оказался на скользком краю, и обняла, он смотрел ей за спину: вторая ванная, спальня с овальной кроватью, гардеробная и зеркала, кабинет – он столько мечтал, как впервые пробежит по комнатам Эрны, что мечта эта окрепла и живет теперь дальше сама по себе, ничего не замечая. Эрны здесь никогда не будет, но вот – она всё равно бежит по комнатам, вот она кричит: «Папа! Здесь столько места...» – через семь дней начнет уменьшаться ночь, через шесть, пять, скользили по лицу невидимые отражения, Улрике говорила, говорила, говорила (Это не Эрна! Это мама ее! Эрна поймет! Никто не заметит отца!), Эбергард попросил: не говори со мной больше об этом или я прямо сейчас прыгну с балкона, лопается голова; посреди ночи, точнее – ночей, понимал он: едем без Эрны; ну да, он-то надеялся на общие воспоминания, но воспоминания рассеяны превосходящими силами противника и перестали выходить на связь – судьба воспоминаний останется невыясненной, да и существование их теперь вызывает сомнения; Эрна ему грубит, и если он перестанет с ней разговаривать, перестанет и она, хоть на всю жизнь. Не нужен. Его дочь не могла записать урода вместо отца в дневник. Его дочь не могла не поехать. Отец сказал:

едем. Дочь должна ехать. Когда бы он ни сказал. Куда бы... Тем более – к его маме. Надо поехать, Эрна, ты что... Подумать о другом и заснуть, но пожар, пламя и любая дорога сворачивала сюда же... Он прощался, так больно это, со своей девочкой (она же была? не мог ошибаться он так! у него была дочь...), теперь от имени Эрна его отделяла не пропасть – Эрны, его Эрны, родной, уже не было нигде, она как-то кончилась; дочь бы скучала, звонила, бежала к нему, не писала б уродам «люблю очень-очень», ждала: когда же ты приедешь – приезжай каждый день! Не стала бы холодной. И пустой. Как ее мать. Ладно он... Но бабушка. Бабушка для нее... И для Сигилд... Не жалея сил, столько любви... Эрна не едет. Может, поймет. Позвонит завтра? Скажет (пусть хмуро): во сколько выезжаем? Он не похвалит: так и должно быть. Просто обнимет: здравствуй, всё прошло. Но не звонила завтра, до последней минуты – он ждал, а после и внутри осталось пламя окончательности, любимый человек умирал в его сердце, оставаясь именем, телом где-то жить, – он больше не любит Эрну, чужая, вот еще одна ночь, да пусть не приходит; если жизнь или люди заставят прийти, Эбергард спросит: «За деньгами? Деньги я пришлю курьером»; нет, он скажет: «Как хочешь. Мне всё равно»; нет: «Теперь уже не нужно. У меня нет времени для тебя. Надо жить для тех, кто этого достоин», это ведь не Сигилд, а Эрна сама не захотела с ним; он делал для дочери всё, она никогда не плакала, он одиннадцать лет – всё, что хочешь, и – бесполезно; Эрна не добрая (вот ночь той же зимой еще), променяла его на игрушки, одежду, предала; каждую ночь Эбергард писал ей одно, но ветвящееся письмо, чувствуя – он изменился, успокоился, если лед – это покой; больше не ждал звонка, не писал, не

звал, он понял... Только не мог ничего поделаться пока с нитьем под ребрами и бессмысленными надеждами всё однажды навсегда вернуть, сделать, как раньше, как-то чудом – выжить; так, наверное, старики надеются встретить еще раз девочку, увиденную шестьдесят пять лет назад на теплоходе из Новороссийска, дать ей знать о себе, хотя никто из них не объяснит, каким образом это может произойти. Во сне. В чем-то таком, вселилием напоминающем сон. Поэтому он думал: вот умру и... Вот в той стороне по ночам словно мерцала надежда, самое ничтожное желание человека – рассказать сон, случившееся чудо, зависящее от складок постели и питания на ночь, – он лежал во тьме, и увиденные сны выходили из памяти, как пассажиры из самолета, бегло и равнодушно взглядывая ему в лицо, не всех он успевал запомнить; однажды приснилась Сигилд, Эбергард обнимал жену (во сне Сигилд оставалась женой) в подъезде советского дома и шепотом молил: «Не обижайся».

– Этот Новый год встречу один. Хочу заметить – первый Новый год без Эрны. Это же не просто так.

Улрике поплакала тайком и уехала к маме; без пятнадцати двенадцать, открывать шампанское пора, он остался сидеть напротив телевизора, забыв вернуть убавленный звук, желания: не думать о плохом, чтобы жила еще мама, чтобы родился здоровым малыш, чтобы никогда не пожалеть, что встретил Улрике. Улрике пришла ночью, они смотрели на елку с дивана, как с берега, еще не двинувшись к подарочным коробкам.

– Ты должен воспитывать Эрну. Объяснять, что так нельзя.

– Как? У меня нет под ногами земли. У нее теперь всегда будет выбор.

– Ты не должен сдаваться. Встречайся с ней, приезжай в школу. Если бы Эрна хоть иногда, хоть на выходные приезжала к тебе...

Он работал, оплачивал электропроект новой квартиры, Улрике вечерами раскладывала перед ним образцы плитки, свитки обоев, неразличимые оттенки, кусочки «как будет», «когда сюда упадет дневной свет»; Эбергарда волновала и уголяла их близость, сладость любимого тела, но если он просыпался посреди ночи, не засыпал – только про Эрну. Он и днем думал только о ней. «Смотришь, как черви пожирают то, что было твоей любовью».

– Что?

Эбергард обнаружил себя в префектурском лифте.

– Да так. Стихи.

Возможно, Эрна отказалась от него от страха не существовать. Ее зачислила в живые любовь двоих людей, но любовь эта оказалась несуществующей и ей, Эрне, показалось, что живет она по ошибке. Хотя – сейчас много таких детей.

– Доктор наук, – Улрике показала на мониторе наспуленную тетку в седых кудряшках, напряженно сжимающую пальцами карандаш, – лучший специалист по психологии подростков. Может, к ней? – но оказалась – ватная старушка с веселыми глазками и жеваными губами, попросила разуться – она принимала в игротке, на мягком ковре, среди лошадок, медведей, зайцев – всего пушистого. Что бы ни говорил Эбергард из своего ночного, дневного, страшного – старушка радостно кивала: ага!

– Это называется «незавершенный развод». С бывшей женой вы боретесь за лидерство. Принципиальные оба! Психолог нужен вам, вашей жене и ее супру-

гу – договориться, как распределить роли, чтобы девочке было лучше.

«И окажется: девочке будет спокойней без меня».

– А почему Эрна...

– Девочка в этом возрасте отходит от семьи. Для нее главное теперь – мир! И ответы на «какая я?», «кто будет со мной дружить?», «с кем хочу дружить я?», «против кого я?». Говорите с ней о моде, фильмах, оценивайте ее, пусть ей приятно будет с вами видеться... Будьте гибче. Не отдают на выходные? Ничего страшного! Попросите: нарисуй что-нибудь для меня!

– Но ведь она...

– Она избегает вас инстинктивно. Вы всё время ею недовольны, вы в конфликте, в своей обиде. Нельзя ей мстить. Вы же миритесь с недостатками друзей...

Собеседников, особенно впервые встреченных, Эбергарду часто хотелось пнуть ногой.

– Она может считать виноватым вас. Или маму. Но в этом себе не признается: как она может упрекать маму? Ее вранье – защита, девочке надо выжить, найти отдушину, то, что приносит радость. Отсюда потребительство, желание получать всё, что возможно... Конечно, есть опасность, что на этой почве разовьется поверхностная личность... – Но доктору наук всё равно. – А вам доставляет удовольствие ее видеть?

Как на это быстро ответить? Это удовольствие? Нет. Какое-то оправдание. Но и тревога: какой Эрна стала? Увидятся ли они еще? Не чужие?

– Ага, – старушка словно что-то подметила у него над бровями, какое-то юркнувшее в волосы насекомое, – вам нравится иметь распланированное будущее.



Он подумал: ну и что. Каждому человеку хочется, чтобы завтра его ждали люди, которых он любит. Даже если они не приближаются, то пусть и не отдаляются. Вот ответ: он очень спокоен, когда Эрна рядом.

– Понимаете, – у старушки кончались слова для него, – вы всё время находитесь в одной точке. Вы всё там же.

«Ну да, я ее жду. Я не хочу без дочери. Хочешь сказать: Эрна ушла, можешь не ждать?»

Эбергарду казалось: доктор наук не всё понимает, не до конца, в нерусском телефонном номере не хватает еще ноля или плюса в начале, налегания на дверь при втором повороте ключа, не досчитанной лекарственной капли, его упущение; а, вот это:

– В дневнике, в «родителях» написала не меня, а...

Она догадалась:

– Так вы считаете девочку своей семьей?

– Я не считаю. Так и есть.

И старушка наконец-то, как он и хотел, поняла всё, с таким радостным удовлетворением качнулась ему навстречу:

– Ага-а, вот оно в чем... – решив задачу, вышаривая в сумке меж потрохов чью-то визитку, – вы пытаетесь жить на две семьи. В этом случае в первую очередь нужно лечиться вам. Я вас направлю к очень хорошему психоневрологу – за полгода приведет вас в норму. Вот телефон. И – спорт! Отдых! Побольше положительных эмоций. Двести долларов.

– Что?

– Моя консультация стоит двести долларов.

Марианна помахала слабой рукой от гардероба, она стояла в новой шубе, добавив себе неудачной раскраской пять лет, – везет в мэрию важный пакет? –

как заразная, махала ему: проходи, уходи, не подходи – еще издали доложила:

– И я – всё. На свободу!

– Что-то случилось?

– Да. Не все выловила из рассольника огурцы, – она прикрыла ладонью задрожавшие губы. – Но ничего... Отдохну полгода. А после майских монстра снимут. И вернусь. – После этих, не Эбергарду первому сказанных слов (за тем и пришла, нарядилась и стояла у гардероба) она зарыдала с похоронной последней силой, так, что за буфетными столиками стихли, оглянулись милиционеры на проходной и посетители, ожидавшие лифты; Эбергард обнял ее. – Человек, которому я желаю зла, всегда умирает. Таких уже было два. Думала в управе какой пересидеть, к твоему Хассо... а он – ка-ак шарахнулся от меня, а я – столько для него... И для всех. И теперь – ни один! Никто! Даже не подходит! – Эбергард гладил ее спину, похлопывал, заново гладил и почувствовал, как вдруг выпрямилась она и проглотила рыдания. – Ох, тебя увидели. Ты-то зачем подошел?

– Кто там?

– Помощник его прошел, морда...

– Ну и что?

– Ты не знаешь. За всеми смотрят, про всех собирают и сразу – ему – докладывать бегут. У него же мания. Все подставить его хотят. Все готовят провокации. Все виноваты, он – никогда не будет виноват, – еще постояли, так обыкновенно люди расстаются навечно. – Ты-то хоть будешь мне звонить?

Он нехотя, неуправляемо, как задувает ветер или начинается снег – сам по себе – вспоминал, как расписывался с Сигилд, стоял в загсе, что рядом с кинотеатром «Форум», слушал самые обыкновенные сло-

ва пожелания счастья и предостережения, напоминания о каких-то важных вещах, мама смотрела из щербатой шеренги приглашенных, сердце колотилось, на голове жениха располагалась нелепая прическа... как еще раньше ездили за кольцами в магазин – купили и зачем-то сразу же беззаконно надели и не знали, куда деть потяжелевшие руки, выросшие, тревожные, другие – с каким-то всем очевидным, беременным значением сжимавшие автобусный поручень; все встречные смотрели на кольца, оборачивались, замечали так, что тяжело было идти, руку опустишь – в ней нарывающе ломится кровь, приехали домой и кольца с благоговением сняли и уложили в коробочки... а вот если завтра Сигилд собьет машина – пожалеет он? И свою юность? Заскучает по тому, что никто, кроме нее, знать не может? Показалось – да. Да. Эрна не звонила, проходили выходные, зима, его день рождения и ее – и он не звонил; двенадцать лет его девочке, первый раз не поздравил, где сейчас она? – всё, выходит, всерьез – Эбергарда забывают, и он забудет, отвыкнет, еще посмотрим, кому не сейчас, потом будет больней, он не станет побираться, когда-то «потом» его может и не быть.

– Есть вопрос. – Звонил Хассо, первый раз за две пятилетки без «поехали к бабам, нам уже простыни греют»; в ресторане «Крузо» официантки ходили в обрывках леопардовых шкур, на крыше бунгало торчало чучело обезьяны. Жираф качал своим подъемным краном... Бабочки тропиков...

– Где Фриц? Где Хериберт... – Хассо попросил графинчик водки и показал на пустые стулья: – Конец семье!

Эбергард устало, словно нагрузился мешками с цементом, наблюдал, как в ресторан входят дамы, гордящиеся своими шубами, – отдают в гардероб, как на выставку, отпускают нехотя и тревожно, как дочерей-невест в гости на дачу к какому-то новому мальчику, взявшемуся ну буквально ниоткуда.

– Префект приезжал ко мне, на район. Ба-лин, – сокрушался Хассо. – Слышал же, прорыв трубы диаметром девяносто. Под Севастопольским мостом уже озеро... Телевидение. Девять вечера. А нашему мэру позвонил и вставил: городские службы на месте, а где префект? Я подтопал – наглаженный, без головного убора, доложить. Население смотрит, районные советники... Только представился, монстр уже заорал: что делает здесь глава управы?! Надевай сапоги и иди по району! Смотри! Нет ли еще аварий на коммуникациях! Телевидение всё снимает. Я ботиночки свои на меху скинул, – Хассо еще раз осмотрел блюдо с устрицами. – Точно не будешь? Сапоги у коммунальщиков взял и – похерачил.

– Куда?

– Куда я мог пойти? – обиделся вдруг Хассо. – Что за дебилские вопросы?! Прямо через поле, по колёно, в сторону гаражей, туда, на огни, через ямы, к новым домам на Радужной... Шел и по сторонам смотрел – нет ли где повреждения коммуникаций!

– Радужная разве твоя? Я думал, Верхнее Песчаное.

– А какая ему на хрен разница? Он же не понимает, что мой район по ту сторону моста. А мне идти больше некуда было, чтобы он видел... Думал, ноги отморожу и сдохну. Боре Константинову и Загмугу велели «подумать о будущем». Пишут заявление. В райкомземе Жмуркова сняли.

Эбергард понял: про опеку, Викторию Васильевну Бородкину сегодня не поговоришь.

– У тебя как? – так полагалось: сперва друг рассказывает задушевное о себе, затем слушает друга, как у него. – Как дочь? Хреново, брат, – Хассо умело уплотнял, не оставляя пауз для ответов, опыт – столько встреч с населением! – Задолбал ездить куратор из окружного ФСБ...

– Толстенький такой...

– Да. Тот, что на дне рождения тамадой... Приезжает. Без звонка. Садится. Голову вот так опускает: ох, и грязи на тебя... Столько грязи... Я говорю: что такое? Он: столько грязи... Налей, что ли, стакан. Он – только виски. Не уходит: столько грязи. Еще плесни. Опять приезжает: сколько же на тебя грязи собрали... Налей, что ли... Я говорю: хоть о чем? По конкурсной комиссии? Подготовка к зиме или, – Хассо пооглядывался, – по квартирам? Он свое: столько грязи... Давай, что ли, пообедаем. Рестораны выбирает самые дорогие. И – кушает хорошо. И сто штук евро займы попросил. Какая может быть грязь?!

– Может, жкх?

– С жкх я всё, – Хассо подкатил глаза, к небу, – до копейки, – и неубедительно закончил: – Если там что и прилипает... Так... мелочовка, – и стряхнул с пальцев какую-то незначительную бриллиантовую пыль и, как от запаха гари с кухни, напрягшись, вонзил руку под пиджак, к сердцу – телефон. Следом, точно сговорившись, зажужжал и заелозил меж салфеткой и рюмкой мобильник Эбергарда, мигая: «Сигилд»! «Сигилд»! – он быстро поднялся и унес свой разговор от начавшегося разговора Хассо.

– Ты должен давать больше денег! – раздавил большим пальцем ненавистный голос, неуязвимо, без

«вот тварь!», без «ты же вышла замуж, почему я должен?!», он – другой.

Хассо также уже переговорил и, словно внезапно проголодался или узнал о предстоящем путешествии, для которого потребуется запас белков и углеводов, сосредоточенно разделявал рульку, отпуская вилку лишь ненадолго, чтоб подцепить клочок квашеной капусты.

– Кравцова уволили, – вот что он заедает, страх; Хассо показал: ты тоже рубай, шамай, когда еще придет. – Привезли заявление, чтоб подписал, в реанимацию, где его жена умирает.

– Монстр обещал его год не трогать.

– У них времени мало, Путин мэра вот-вот... Надо успеть! Кравцов меня в девять пятнадцать с Игорем Стариковым из Ново-Ездоцкого вызвал, как самых близких: остаток на счетах, давайте подумаем, как... Я говорю: сбросьте нам на порубку деревьев, а мы тридцать процентов откатим, а в десять ноль-ноль морда позвонил в бюро пропусков: все заявки Кравцова аннулировать. Кравцов рванул в больницу к жене и сам думал залечь, ему туда бумагу и ручку подвезли, подписывай, или завтра заходит проверка контрольно-счетного управления.

– А я?

– Что?

– Я же носил Кравцову.

– Не дергайся ты, они тебе сами скажут.

– Может, мне самому к монстру..

– Если разговор получится, скажи: есть подрядчики по моей теме, на сумму такую-то. Готовы соответствовать, – Хассо раздражали затруднения Эбергарда, своими ногами ходи, ничто не должно отвлекать его от главного – в префекты! – А лучше не лезь. Поста-

вят нового куратора – пусть он порешает. А по моему вопросу? – только со стороны могло показаться, что разговор их плутал и прерывался, не держался на стальных натянутых тросах необходимости и взаимных расчетов.

– Я узнаю, – есть ли «грязь» и у ФСБ на главу управы Смородино?

Приемная зампрефекта Кравцова оказалась пустой, и видно, что – окончательно, словно Кравцов переехал с четвертого этажа, умер или только вчера ушел в отпуск; идиотка Лидия Андреевна весело отвечала на каждый звонок:

– Да нет, с чего вы взяли? На месте! Вот только приболел вчера, а так – работает Михал Саныч, – она одна ничего не знала.

Кравцов молчал, страшась что-то выпустить из себя; на столе иконки и фото любимой стояли, как прежде, но тесней, чтобы, съезжая в выходные, ничего не забыть. Размеренно лазил рукой в отросшие рыжеватые космы за ушами, поправлял, гладил, словно там что-то зрело или ему прописали почесывания зашных областей; так бы делал и дальше, но, заметив Эбергарда, вынужденно взялся за ручку, а другой рукой за бумагу и замер, утвердившись меж привычных якорей, примагнитившись.

– За февраль, – Эбергард показал пакет и переправил его под столом, подпихивая ногой, Кравцову. – Я пораньше, чтоб вы могли... Там, – чтобы монстр понимал: Эбергард «соответствует». – Мне что посоветуете?

– Тебе, – Кравцов слегка удивился: что это он? с какой стати зампрефекта должен в такой день говорить о какой-то такой малости? – Что тебе? Придет

на мое место нормальный мужик, ты с ним сработаться. Придет дурак – кто же ты будешь, если его не переиграешь, – так при увольнении на каждое «возьми с собой» отвечал префект Д. Колпаков и так уже десять лет говорили увольняемые все. – Но к монстру, – вот об этом Кравцов не таился, голос потерялся, смешался с пенным шипением ярости, – не суйся. Каждого уничтожает. Топчет. Ненавидит людей. Мы ж как привыкли – делаешь хорошо школьную программу, будет тебе и внешкольная. А у него – только внешкольная, только это, – Кравцов показал пальцами «деньги». – Но этого, – он опять показал, – ему мало. Ему надо еще и людей жрать. Нас пожрет – своих начнет. Ты с ним не сможешь...

– Не уволят его?

– Сидит как приштиленный на делах Лиды, а сейчас ничего другого не нужно, последние дни...

– Михаил Александрович, уже сколько лет – последние дни...

– Я не жалею. Я покидаю «Титаник», дальше плывут без меня! – и так говорили все; заместитель префекта старел, потухал, худел, обрастал тополиным неухоженным пушком и щетиной, дальше без неба, под плитой, больно смотреть, как копошится он там во тьме (не он, а зашевелившаяся мумия, собранное врачами из... возвращенное из... поднятое с... подобие) и устраивается как-то жить дальше среди насекомых и бледных, вмятых побегов неузнаваемых растений, без солнца; Кравцов говорил вниз, кому-то устроившемуся у него в ногах, пакету «за февраль» с откатом. – Я-то устроюсь. Жалко только времени. Нужно время, понимаешь, чтобы на новом месте, – о чем прежде всего думал каждый, – чтобы выстроить схему.



Эбергард не слушал, читал сообщение Сигилд: «Эрна с классом едет Варшава – Берлин – Амстердам – Париж, не хочешь дать денег на путевку и личные расходы?» – «Нет»; звонок догнал его уже в коридоре:

– Тебе наплевать на дочь?! Да? Живешь в свое удовольствие? Никакой ответственности! Да денег можешь вообще больше не давать! Чтобы я... Не выплывешь из квартиры – Эрну больше никогда не увидишь – я сделаю так! – Она подождала: подождала радующих ее всплешек, плевков керосина в собственное пламя, страданий, задыхающегося голоса и раздраженно спросила в молчащую пустоту: – У тебя есть ко мне какие-то вопросы?

– Нет, – вопросы Эбергард накопил только к самому себе, и – следом эсэмэс от Эрны, первая за недели, месяцы и – о чем? «Почему не хочешь давать денег на поездку?!» Отвечать – не отвечать? И всё-таки ответил: «Потому, что не чувствую твоей любви» – двенадцатилетней девочке он ответил так и ответа не ждал, кончилось; всё, что касалось Эрны, – вымерло внутри, ему показалось – больше не заболит. Что произошло? Порезался обидой до крови и перестал скучать. Всё, что мог: будил Эрну болью, пытался вызвать недоумение и тоску, обратить внимание на потерю отца – ничего не заметила. И теперь он чувствовал: не хочет говорить с Эрной. Не хочет обслуживать. Оставался вопрос: любит он ее? Любил? Или с дочерью у Эбергарда произошло всё то же самое, что с ее мамой, только намного быстрее?

Фриц устроился – редееющие префектурные старожилы, избитые тирными пульками, постановочно освещенные жестяные зайцы-барабанщики и медведи

делились этой вестью с радостью, словно обреченный Фриц испытал на себе сверхновую рискованную вакцину и – выздоровел совершенно, хоть и потерял половину веса и волосы все, потенцию и зубы, – теперь у всех, кому грозит чума сиреневых штампов в трудовых и окончательных страшных разговорах, есть надежда что-то такое проглотить, дурно пахнущее выпить и всё-таки вынырнуть с задыхающимся стоном из-под льдов, в какой-то дальней полынье, пугнув тюленей и нерп.

– Без секретаря, – в кабинет поместился только Фриц, скромный, списанный из застойной гвардии стол, Эбергард, чайник и две коробки «листовой бумаги для офисной техники». – Визитки еще не сделал, – вице-президент в болтливой, рожденной безрукой и одноногой, инвалидной ассоциации муниципальных образований – ей подтирали текущие унитазаы... Фриц... Человек (упившись на встрече белорусских побратимов в прошлом году), сообщивший официантке ресторана «Милостивый государь», что может лично проинвестировать строительство двадцатидвухэтажного монолитного дома... – Боится меня, – то есть матерого, ведомого старшими, неслучайно поставленного «вице» боится президент ассоциации, понимая свою скорую участь. – Не подпускает никуда, – да там бюджета девять миллионов (Эбергард, собираясь в гости, поизучал), и одному-то не напилишь на приобретении моющих средств и закупке галогеновых ламп! – Вчера пригласили на правительство. Левкин как-то раскованно себя вел. Пространно выступал. Что не любят, – чем еще оставалось хвалиться, о чем говорить? – ясно: Фриц с утра уже поизучал астрологические таблицы на сегодня, и больше занятий не оставалось. – У мэра, – сообщалась великая тайна, все

уволенные, униженные, сниженные, уничтоженные не только переселялись под кепку, в мозг мэра, но и даже начинали управлять в нем течением мыслей по некоторыми извилинам, – есть настроение перераспределить полномочия и бюджеты управ в пользу муниципалитетов, смекаешь? – Фриц энергично покачал головой, он слышал марш, сводные духовые оркестры. – Пер-спек-ти-ва не хилая, да? Ну и сейчас проблематика, – он вдруг взглянул обозленно, тесная обувь что-то терла до крови. – Ведь надо как-то гармонизировать отношения между управами и муниципалитетами, чтоб не возникало конфликта интереса... У тебя есть какие-то идеи в этом направлении? Скоро наш вопрос на правительстве, с меня требуют новые идеи!

– Надо как в Западном Дергунцево.

– Та-ак, – Фриц живо распахнул явно купленную за собственные деньги рабочую тетрадь в мягкой коже и избавил от колпачка ручку с золотым пером размером в березовый листик.

– Вот в Западном Дергунцево достигнута гармония, уважительные и конструктивные отношения местных органов власти и местного самоуправления. Каждый понедельник, утром...

Фриц подогнал к перу чернил, насупился и принялся записывать.

– Руководитель муниципалитета приносит главе управы план работы на неделю районного собрания. Без формальностей – глава управы ведет его в комнату отдыха, сам заваривает чай с лимоном, сам наливает чай руководителю муниципалитета...

– Че, серьезно?! – замер: такого не знал!

– И пока глава управы знакомится с планом, руководитель муниципалитета у него отсасывает. Я ни ра-

зу не слышал, чтобы в Западном Дергунцево муниципалитет и управа спорили, кто главней – никаких амбиций, только интересы общего дела!

– Еще идеи есть? Какие-нибудь другие.

– Поднимите на правительстве вопрос об использовании молодыми специалистами ипотечных кредитов для покупки должностей. Ну нету у выпускников вузов необходимой суммы! Пусть вносят десять процентов, на остальное берут ипотечный кредит под приказ о назначении... Во власть придет грамотная молодежь, владеющая современными средствами коммуникаций, избавленная от родовых пятен советской системы!

Фриц вырвал из блокнота испорченный листок:

– А ты знаешь, за сколько монстр продал мою должность? Триста шестьдесят шесть тысяч евро.

– Что это сумма некруглая?

– А обилие шестерок тебя не смущает? И первая тройка? Тройка – это ведь шесть, поделенная на два... Видел я тут... – словно выключили свет, провалился пол и друзья взглянули друг на друга в подвальной тьме, над журчанием течений, поблизости от мест, где и происходит то, что на самом деле, и Фриц, как всегда, неприятно приблизил лицо, – Твоего нового куратора. Согласован на место Кравцова. Гуляев. Алексей Данилович. Генерал-майор КГБ. Президент федерации бадминтона. Последние места работы – заместитель директора Третьяковской галереи, управляющий делами министерства природных ресурсов.

– Сколько лет?

– Под шестьдесят. Такой, знаешь, генерал – ля-ля, баня, пиво, волейбол, пять раз причесаться за день, «у офицера, если не выпьет за женщин, день прошел впустую».

– Думаешь, человек монстра?

– У монстра не бывает своих. Подтягивает или бандитов, чтобы деньги принимали, или отставников, чтобы на них всё валить. Но поглядел я на твоего Гуляева, – Фриц помолчал, показывая, что еле сдерживает веселье, – большой любитель природных ресурсов. Очень интересуют его потоки. Финансовые. Хочешь ему понравиться, прояви свою ненависть к черным и евреям.

– С порога и начну: извините, Алексей Данилович, что опоздал, наставили чернозадые своих лотков – хрен проедешь, и жиды носятся на своих «мерседесах»!

– Написал в «увлечениях» – коньяк, охота. Эбергард, а у тебя есть увлечения?

– Секс в автомобиле.

– Как с дочкой, Улрике, мама? Ну, ладно, много есть вопросов, которые хотелось бы обсудить, но это не представляется возможным.

Главней тот, кто первым обрывает разговор, тот, кто отмеряет время.

В ежедневном «несделанное» по утрам он видел «Хассо – ФСБ?», но ждал случая, попутной машины – срочные дела и неплановые встречи стоят дороже – и дождался: начальник РУБОПа Леня Монгол объявил защиту докторской; Эбергард оплатил печать ста пятидесяти приглашений в красных конвертах, перевязанных золотыми бантами, пачку визиток из бересты с золотым «доктор юридических наук», поздравительный плакат и жирную гусеницу из разноцветных шариков на вход, чтобы не тратиться на подарок, – гуляли в Ленином ресторане «Друзья-товарищи» на пересечении Жуковской

и Налбандяна, открытом после ремонта, – Леня Монгол своей рукой нарисовал проект, затем перерисовал, еще дополнил, дополнения отменил, отменил отмены и пробовал еще, шатаясь от первого же случайного мнения, увиденного в кино или рекламе, – ремонт, как всё в его жизни, Лене Монголу за добрые дела делал бесплатно мир, состоящий из «друзей», и Леня увяз в безнаказанном творчестве, ему понравилось, увлекся, терял веру в себя, хотя винил исполнителей (армян сменили сербы), и сам уже не знал, как выбраться, – и вот (Эбергард приехал за час до праздника, подстерегая минуту для разговора) самобытный дизайнер водил по ресторану пятерых господ в костюмах, говоривших больше, чем килограммовая декларация о доходах, и показывал завитки на колоннах, мраморные виноградные листики и кисти, барельефы с античными военнослужащими, обращая внимание на с виду обыкновенные деревянные пластины, привезенные, между прочим, из Африки, и то нужное нашлось только с третьего раза, остановив всю экскурсию точно под люстрой, похожей на юбку перекормленной балерины, усыпанную бриллиантами, для какого-то особого, долгого пояснения; в двух господах Эбергард опознал генералов из убэповского главка, остальные, с роскошными кавказскими бровями и рано обозначившейся плешью, украдкой озирались как-то кисло, словно в поисках источника неприятного запаха или подло леденящего по ногам сквозняка, с выражением: «Так вот на что ушло наше бабло...» Эбергард походил за экскурсией в почтительном отдалении, наручных часов, цепи на груди или перстня, соответствующих этой компании, на нем не было, своевременно подал в помощь Лене Монголу два воспламеняющих

вопроса («Откуда, говорите, мрамор везли?» и «А кто же придумал всю эту красоту?») – пламя в топке пыхнуло с новой силой, паровоз дрогнул, загудел и потащил дальше вагоны: бар, кухня и личный кабинет с небольшой такой сценой и бильярдную в цоколе, где восемнадцатилетняя чемпионка Москвы по бильярду, с высоко открытыми черноколготочными ногами, готова налечь на стол и показать, какие штуки выделывают кий и шары. Эбергард отцепился и медленно выкатился на веранду, где и застыл, проскрипев колесными парами, не осмеливаясь погрузиться в рыжую кожу диванов и кресел, – также, боясь осквернить, маялся стоймя бедняк – невысокий очкастый дедушка в зимних, не вполне сияющих ботинках, на которые он беспокойно поглядывал, зная за собой слабинку; вдвоем с дедушкой они и маячили на веранде, пока не выбежал Леня Монгол в поисках тишины для приема поздравлений по телефону; доктор юридических наук трогал, разглаживал листья, стволы и цветы кадочных насаждений – всё живое! – и показательно улыбался, словно собеседник мог его видеть, кивал, жмурился, казалось, на затылок Лене Монголу струилось ароматическое масло для успокоения, бодро откликнулся:

– Принято! Так точно! Есть «так держать»! Разрешите исполнять?!

Леню Монгола уже подпоясали подаренной шашкой, на голову нахлобучили папаху с красной лентой наискосок поверх двуглавой самодержавной кокарды. Эбергард двинулся к герою – не спеши, несрочное дело, так, на веранде возле фуршетных столов выросли гости, ряженный в полковника милиции пучеглазый артист с отсутствующей шеей обследо-

вал прибывающих металлоискателем, обнаруживая в сумочках дам детские соски, а из внутренних карманов мужских пиджаков вытягивая белые бюстгалтеры с кружевной отделкой, – публика хохотала и выстраивалась перед припадавшим на колени суевливым фотографом, совершенно не замечавшим нескольких серьезных господ, предусмотрительно подославших к нему насупленных «помощников» с «вон тех не фотографировать, услышал меня?!»; залитая загаром певица Ирина Коростелева в прозрачном платье (в жизни ростом полтора метра! – и где же та грудь? – да там вообще нет груди! – во врет телевизор!) рассаживала, заглядывая в двухстраничный печатный список гостей с рукописным хвостом.

– Ни хрена себе, – восхитился Эбергард, как только Леня Монгол опять заметил его, – Коростелева!

– Подарок друзей.

– А это кто? – Эбергард показал на дедушку в зимних сапогах – тот так и стоял в углу веранды, не приближаясь к напиткам и закускам, словно ждал автобуса или другого какого-то вида городского транспорта, что проходит через веранду и его заберет.

– Диссертацию мне писал, – Леня Монгол сам словно только что его вспомнил. – И первый-то раз – провалил. Я, честно говоря, думал его... Закопать. Как меня отговорили?! Юрий Александрович, да не бойся, садись, рубани салатиков!

– Вы у нас... – певица Коростелева нашла в списке и усадила Эбергарда прохладной рукой напротив Мужжири, хозяина универсама «Райские вершины», усмехнулась его восторженному:

– И танцевать будете?

– Может быть, буду.



Ни один мужчина не молчал, все пытались запомниться. Так странно – он знает Коростелеву уже столько лет, а она с Эбергардом не знакома!

Ничего не ел потому, что дородный, медлительный и капризный, переживший четыре шунтирования Муджири кушал очень изящно: накалывал вилкой нужный кусочек, заворачивал его в нужный листик, обмакивал в одну плошку, в другую, откусывал с нужного бока и придирчиво жевал, проверяя на подлинность наслаждение; знал про каждое блюдо: как называется, из чего делают и как правильно есть – Эбергарду оставалось только щипать лаваш и разглядывать добавленную к ним за стол даму с нарисованными бровями в траурно-черном платье, глубоко открывающем вялую грудь; запястья дамы обвивали браслеты, в ушах качались золотые бубенцы – бывший судья Востряковского суда Верка Братищева теперь работала на какого-то рейдера; официант нагнулся к ее застывшей белокурыми волнами и острыми всплесками прическе, что-то подробно и почтительно перечисляя, но ответ получил краткий:

– Водки!

Переодевшись медсестрой, Коростелева два раза спела и понесла микрофон от стола к столу (Леня Монгол подсказывал, кому прилично «дать слово»); скоро, исчерпав общепонятные «ректор государственно-статистического университета», «председатель правления банка “Возрождение и преодоление”», «генеральный директор авиакомпании “Сибирские крылья”» и перейдя к весомым и ясным немногим «друг», «большой друг виновника торжества», «уважаемый человек из высокого дома», «человек, который работает на самом-самом верху рядом

с самым-самым сильным человеком», обойдя половину, Коростелева еще раз переделалась, оставшись в одних колготках, и с чувством сказала, что споет лично для офицера и ученого Леонида Успенского и его друзей, он идет с ними по жизни и:

– Им принадлежит весь этот мир!

– Прирезал я еще лесок, полгектара к даче, – Муджири давно уже рассказывал, никогда не улыбался, казалось: плохо всё, но терпит, – расчищаю пока. Дочери-то я построил на Екатерининской пустоши, рядом с полем, что, говорят, Медведев выкупил. Знаешь картину Шишкина «Рожь»? Вот это поле...

– У нас еще гость, – объявила Коростелева, отдышавшись, Леня Монгол ей подсказывал, сам путаясь, на ухо, – гость дорогой. От префектуры Восточно-Западного, вернее Восточно... В общем, от – префектуры! – Леонида Павловича поздравляет Гуляев Алексей Данилович, заместитель префекта!

Никто не оборачивался (зампрефекта – мелочь), соединялись рюмки, решались вопросы, официанты прочитывали мысли и конькобежно скользили по коврам – Эбергард следил за микрофоном, микрофон понесли за стол, где довольно напряженно праздновали люди из генпрокуратуры и таможенного комитета в продуманном соединении с красными мордами – тяжеловесно-тучными предпринимателями. За этим столом не смеялись, почти не ели, два особо выделенных официанта отбегали лишь за каким-то редкостным травяным отваром, вазочкой меда или самым обыкновенным ржаным сухариком (ну, есть у вас – самый обыкновенный-преобыкновенный, ну просто ржаной сухарик? господи – ну просто подсушенный черный хлеб, один ломтик? – и каждый предложенный сухарик оказывался недостаточ-

но обыкновенным) – молчали за этим столом тяжело, ощущалось: самое меньшее – двое из гостей уже когда-то встречались за столом, по разные стороны, в исключительно неприятных обстоятельствах, оставивших на память одному из них четыре имплантата в нижней челюсти слева и суммы по тогдашнему курсу. Особенно суммы. Из-за этого стола и поднялся новый заместитель префекта Гуляев, вот он – поджарый пожилой юноша, над низким лбом аккуратный зачес справа налево, семидесятые годы, плакаты, хоккеисты, космонавты, комсомольцы, БАМ, лицевые морщины, заработанные улыбками и неудержимым хохотом над анекдотами первого секретаря парторганизации, смешливые ямочки на щеках – с выражением и трогательной искренностью Гуляев зачитал «адрес» из красной папки – Ленья Монгол, не выпуская бокала, вытянулся, шутовски подровнял носки и втянул пузо, ближайšie похлопали, – пожиманье руки, Гуляев за что-то коротко извиняется, покаянно показывая ладони, – такая незадача, позор, префектура – без подарка! – Коростелева запела «Это любовь пришла за тобой, это весна постучалась...», Ленья Монгол двинулся вдоль разнообразно качавшихся затылков, опять приклеив к уху мобильник, а Гуляев (Эбергард уже отодвинулся от стола, чтобы легко подняться, будто потанцевать, скрыв суету и страх) – Гуляев, не садясь, застегнул пиджак, кивнул соседям: обидно, как обидно, такой стол, такие люди, но вот приходится, необходимость... – и, огибая препятствия, заготовив правую руку и лицо, если нужно будет сигнализировать Лене Монголу «не надо, не выдумывай, не провожай! Занимайся гостями! Еще раз поздравляю и – празднуйте!» – и окраинами, за стульями, вдоль бревенчатых и камен-

ных стен выбрался за двери, нащупывая в карманах номерок, к гардеробному зеркалу, возле которого уже открыто и просто улыбался Эбергард:

– Добрый вечер, Алексей Данилович! Хотел представиться. Руководитель окружного пресс-центра Эбергард. Ваш подчиненный!

Гуляев с удовольствием взгляделся с «да что вы говорите? не может быть!» и протянул руку: жми!

– Дождался! Что ж ты, Эбергард, топчешься в сенях, не спешишь представиться? Давно уже пора, – глаза его утопали в лукавом масле.

– На вас, наверное, и так всё навалилось.

– Вот и поможешь разгрести. А то друзья-то твои – каждый день: бу-бу-бу Эбергард то, бу-бу-бу Эбергард се...

– Кристианыч да Пилюс?

– Не помню. Всё, что не нужно, быстро забываю. А за тебя дела говорят. Работу твою вижу и вижу, что человек ты самостоятельный, серьезный, скромный.

– А префект это видит?

Гуляев вздохнул «что ж ты так сразу»:

– Префект для меня человек новый. И дело новое. Думаешь, мне просто – с федерального уровня вот сюда? Я сам еще не разобрался, что он видит. И что хочет видеть.

Гуляев помолчал, дав Эбергарду высказаться, предположить, оценить, сыграть лицом или глазами, но Эбергард простодушно и внимательно слушал.

– Будем работать, будет у нас получаться – всё у нас с префектом сложится, так я думаю. Скажу одно: выборы его очень волнуют.

– Есть много предложений...

– Напиши! Знаешь, армейский принцип: сделал дело – напиши. Не сделал – дважды напиши! Свое ви-

дение, на три страницы. Что есть по твоей части и что нужно сделать. И приходи в любой день, без всяких звонков, сам звони на мобильный, давай вместе!

– По социальной рекламе я еще хотел, по самоуправлению...

– Давай! Только знаешь, что бы мы ни делали, как бы ни старались – всё равно придется сидеть с палочкой на лавке под забором и разглядывать закат, – он облачался в длинное легкое пальто, бережно обернул шею узорчатым шарфом. – Говорят, принято поздравлять окружных силовиков, я, дурак, и поехал, а тут – такая публика... Не знал, как сбежать!

– Я здесь только, чтобы вас увидеть, – сочинил Эбергард, соображая: сейчас затронуть черных и жидов? на следующей встрече? – Тоже поеду.

– Ты побудь! Надо владеть информацией, как прошло, кто был. Потанцуй, отдохни, ты-то молодой, – Гуляев оглядел Эбергарда, – красивый! Господи, как же завидую я вам, ребята!

Так, отыграли...

– Первое действие, – вылетело вслух; на глазах скорбного гардеробщика лицо Эбергарда вывернулось и превратилось в потертый бумажник, складчатый, облезлый, по уголкам прихваченный тусклыми металлическими скобками, сжимающий своими дряблыми, старческими щеками пару бумажных денежных мыслей в беззубом рту и ежедневную монетную мелочь; представился, не страшно пока, появилось вроде «еще», «потом», «завтра», и как всегда, всегда, когда светлело, он сразу думал про дочь: может быть, и Эрна... – говорил себе: не из-за чего, – но всё равно радовался.

Из-за столов разом поднялись, завершающе чокались, раздавали визитки, вписывая или диктуя номе-

ра мобильных, фотографировались с Коростелевой, обязательно обнимая, приглашая присесть вот сюда на коленочку, кто посмелее: можно я возьму вас на руки? В первое вставание уезжали чужие, случайные, приезжавшие порешать вопросы, отдать долг, внести аванс, на всякий случай, то есть – все; Леня Монгол свахой соединял последние пары по интересам: «Товарищ генерал, разрешите вас познакомить с очень интересным человеком!» – и развивал в хохот любую улыбку.

– Леня, тут у меня по Хассо есть вопрос, район Смородино...

– Ну. Он тебе друг? – Леня Монгол излучал свет, радость, тепло детства, но заговорил с таким отомобилизованным напором, словно весь этот праздник он устроил для того, чтобы услышать Эбергарда и ответить ему. – Какой он тебе на хрен друг? Ты этого не понимаешь? Что ты за них пытаешься решать? Ты сам-то теперь кто?

– Хороший человек, – Эбергард еще пытался ответить на равных, но чуял, как кровь заливают щеки и шею и рвутся его мундирные гнилые нити, он – беден, его позвали сюда за отпечатанные приглашения.

– А дальше? – и Леня Монгол радовался, что Эбергард молчит: он так и знал, вот видишь, тебе нечего сказать, ты сам понял. – Как у тебя с монстром?

– Всё сложилось, – он больше не увидит Леню Монгола, а вот Леня Монгол однажды побегает еще за ним; глупо, но так бы подумал любой, когда уже не полагается плакать, когда обижают.

– Можешь попросить его принять Муджири? Там вопрос по земле.

– Представлю. Монстр вроде прислушивается. – Зачем? От неожиданности, но это ничего, что врет,

можно будет: монстр ответил «да, но не сейчас», монстр почему-то промолчал, сказал «мне надо еще подумать», что земля эта приглянулась племяннику монстра, городскому ФСБ, Лиде – и не проверишь.

Леня Монгол приобнял Эбергарда и развернул лицом к Муджири, внимательнейше наблюдавшему за их беседой, и хлопнул Эбергарда ладонью по груди: он, вот он решит – и ваш вопрос, Давид Георгиевич, порешали.

Хотелось исчезнуть, не быть, но разбежаться не полагалось, курили и прощались с поцелуями на крыльце, рассматривая, кто ездит на чем, есть ли охрана; Эбергард отпустил Павла Валентиновича, но не мог на глазах у всех отправиться пешком в сторону метро; всё, Баба уволили, с монстром пока не сложилось, он – никто, и Леня Монгол ему ничего не должен.

– Раньше честность была, – Муджири из вежливости не говорил про дело, не он же договаривался, не ему и спрашивать, просто он остановился рядом с уважаемым человеком, размещая поглубже легкую меховую шапку на голове. – Я ни к кому не ездил. Ко мне приезжал секретарь райкома. Мы могли с ним бутылочку коньяка распить. Но давать конверт? И в голову бы не пришло! Я обратился: хочу как-то обозначиться, приготовил в подарок ружье Тургенева, сказали: префект оружие любит... А мне: он просто так никого не принимает. Ищи кого-нибудь в ФСБ. Почему? – он добился своего, Эбергард взглянул в его печальные, страдающие глаза: да что же это такое?!

У «ауди кью-5» Муджири ждали трое мрачных, больших одноплеменных мужчин, он иногда говорил про них «племянники», иногда «родственники»; родственники всегда сопровождали его на отдельной машине.

– Надо уважать людей. Я – крупнейший налогоплательщик Восточно-Южного округа, – и Муджири посмотрел, куда обернулся Эбергард: официанты, пополнив свои ряды швейцарами и гардеробщиком, выстроились коридором – от крыльца до «фольксвагена» Лени Монгола, – он шел и каждому совал бумажку, налево и направо, одаренные кланялись.

– По пятьсот дает. Всегда по столько. И парковщикам. И на заправке, – и Муджири показал руками, как сеятель разбрасывает зерна. – Говорит: да не оскудеет рука... Приехал ко мне на тот Новый год: есть заказ на тебя, Давид Георгиевич, хотят тебя закрыть, предупреждаю по дружбе, и по дружбе – за полтинник всё решу. Человек!

– Да, – Эбергард кивнул.

– И так три раза: зимой, летом и опять зимой. Еще полтинник. И соточка. Я потом проверил, когда появилась возможность, – никто меня не заказывал. Лентя Монгол, ты запомни, обманывает только своих. Так надежней. И безопасней. Ну, – и они обнялись, – спасибо тебе! Ты заезжай с дочкой, сделаем хорошую скидку! – Муджири сошел по ступенькам навстречу встречающим, берегущим от подкальзываний рукам, сразу распрямившись и ступая страшно и весомо, с каким-то едва смиряемым бешенством оглядывая свою свиту, словно не вполне понимая: кто же они такие и как смеют прикасаться?!

Машины разъезжались, поплевав дымком, Эбергард остался один, здесь, где с умоляющим мяуканьем раздавали листовки, нищая собирала милостыню в коробочку из-под айфона, легко целовались, словно клевали друг друга, встретившиеся влюбленные (рюкзачок за спиной), под столбом, обклеенным фотографиями пропавших красавиц (не найдут даже



зубной коронки), рядом с женщиной, что, обмерев от усталости и стыда, прижимала к груди лист бумаги (Эбергард ожидал прочесть «помогите, умирает ребенок», но на бумажке зияло «Дипломы. Аттестаты. Трудовая»), а вот за ней девушка держала плакатик «Умерла мама» – телевизионные сериалы добавляли ей достоверности, окружали, в согласии со сценарием, маленькими братишками и сестричками с печальными глазами, православной, но совершенно непрактичной бабушкой, плачущей над чужими свадьбами и похоронами (всегда отказывают ноги), богатым, но бессердечным и пожилым ухажером-кротом, сутенерами, развратной подругой и честным парнем-приятелем, попадающим из затратной беды в еще более затратную беду, – днем эта же девушка ходила согнувшись с клюкой у светофора на пересечении Сиреновой и Зарайской, собирая «на операцию». Вокруг прохаживались кавказцы, зачесом и блестящим закреплением волос равняясь на кинематографические образы итальянской мафии на улицах Нью-Йорка, и одинокие молодые люди поднимались из подземных глубин и брели к хвостам троллейбусных очередей с неприметной значительностью наемных убийц...

Куда же теперь? – смятение настигало его всегда после встречи, соударения с чьим-то ясным, резко прочерченным победоносным маршрутом, он не мог почему-то так, как все, и если раньше одна девушка, Улрике, объясняла ему: нет, и ты можешь, то теперь она подбирала мозаичную плитку на столбы в гостинной и читала, «час и день зачатия влияет на пол ребенка», и больше он не верил ей, там, в... еще не называемом «семьей», всё уже (по второму разу) шло понятней, еще немного – и страсть, жажда и удобст-

во телесных соединений, так владевшие ими (потом поймется – только им, а Улрике всего лишь – всё для него, вот что называется «всего лишь»!), перейдут в экономную супружескую близость, в ночное домашнее животное, неприхотливое, близорукое, независимо обитающее где-то само по себе незверье, приходящее так неявно, призраком, что невозможно понять: пришло? Приходило в обертке ночи? Просит что-то? Довольно всем? И слово «нужна» больше не появится с близостью рядом и не придет даже рядом постоять; на жизни надо писать «всё это сейчас пройдет», чтобы потребитель знал с самого начала – торопись; центральная канализация, горячее водоснабжение, обеды для бездомных и телевизор побороли ад – всем хватило, всё, чем не владеешь, – можно посмотреть, ты Бог – пользуйся, переключай каналы.

Эбергард не спустился в метро, смотрел, паря над сочившейся раной жизни, метрополитеновским устьем, на течение нижней, обыкновенной жизни, на возникшие (казалось ему – раньше не было) сословия людей, согласившихся с пожизненной и наследственной низостью, – не горы и языки разделяли теперь русскоязычных, не полосатые столбики и мускулистые имена вождей, а – восходящий поток воздуха поднимал одних, земля же притягивала других, многих. Люди разделялись по участи. Миллионы согласились стать мусорщиками, проводниками поездов, расклейщиками объявлений, вахтерами, водителями, продавцами, массажистами, нянями грудных детей, дворниками, кассирами платных туалетов, переносчиками тяжестей, дежурят у компьютерных бойниц, смотрят в мониторное небо, садятся за почтовые решетки и на цепь в стеклянные банков-

ские конуры, – некрасивые люди из съемных комнат-квартир разбирают сотни низких уделов для некрасивых людей-пчел в дешевой одежде с жидкими волосами и рябым лицом, учатся опускать глаза, знать место – место угадывается по выражению глаз, по – «как человек идет», а уже потом – «одет»; им отвели место, где им можно громко смеяться, с такими же – образовывать семьи, таких же – рожать, и по телевизору в утешение покажут множество мест, где им не побывать, покажут жизнь настоящих: вот это – жизнь, а вы – тени ее, сопутствующий мощному движению крупного млекопитающего однонаправленный мусор; делайте всё, что скажут, питайтесь по расписанию – у них, вот у этих, жалких, расписанных, свой школы, особые дворы, магазины, свой язык и телепрограмма... Эбергард давно не спускался в метро, к этим, в плацкартные вагоны, очереди сбербанка, подсобное хозяйство участковых и уличного быдла – но понимал: родом отсюда, но теперь он и друзья, и соседние «правлящие круги» живут на летающем острове – их поднимает теплый воздух и несет; оседлали, удержались, угадали, повезло, и он не вернется – сюда. Только гостем. Дело не в деньгах, казалось ему, и не в надеждах – в выражении глаз. В том, каким его когда-то увидит Эрн.

Отсутствие человека замечаешь не сразу, но подхватываешь неизлечимую, отчаянную и обнаженную сверхчувствительность руки, впервые обнаружившей пропажу. Украли и – куда делась прочность его жизни? Украли, и – шатнулось, словно изъеденная изнутри – такая по правде? – жизнь его оказалась пыльной и пустой, наполненной лишь облачками строительного мусора, быстро оседающими, открывающими скелеты годов да ребра покупок, – и боль-

ше? – больше ничего, всего лишь несколько слов за спиной и одно теплое пятно, которое и заметить-то могут только умные приборы ночных беспилотников, прочесывающих остывающие за ночь пустыни, чтоб найти и до конца испепелить: там кто-то есть! Что-то шевелится и перемещается! Определенно обнаружено теплокровное! Там моя дочь. Приходится говорить – наша дочь. Наша. Отмирание всего происходящего в жизни – когда украли – приходится продумывать, проявить взрослый разум – обдумать, ограничить, замерить, куда падает тень, и самое сложное – применить к «любил» и «не любил»... Там ничего не видно. Только много смеха. И очевидной лжи.

Зима прошла, шла и прошла стремительно, летела сквозь, не замораживая, вывешивала солнце и полыхала в окно около полудня, а потом натянулись березовые струны, из-под снега вылезли космы спутанной, как спросонья, травы, под балконами обнажились дорожки сигаретных окурков, грибами ползли из-под снега бутылки, пришло тепло, не похожее на весну, плюс, перекликались капли осторожно и редко, и ветер покачивал «тарзанку» на ветке, сделанную из пожарного рукава; по утрам Эбергард смотрел на горизонт, заросший строительными кранами, на – как таял снег, обнажая палые листья, как холодно стоят лужи во дворе детского сада, из окна съемной квартиры он проверял, видна ли Казанкинская башня, и ясно ли видна – иногда опускался туман, скрывая даже университет; летали вороны, расставив хилые, словно покромсанные ножницами крылья, высыхали и пылились автомобильные крыши – время года не имело для Эбергарда значения, Эрны ведь нет; ну, весна, здесь не бывает таких дож-

дей, чтобы шли день за днем и день еще, здесь громыхали трамваи, набрав полные рты пассажиров, и по ним барабанили сиреневые тени веток, и вдоль трамвайных рельс сочилась серая вода, с хриплым дыханием гребли дворницкие лопаты, оглушительно лаяли собаки, и липкие почки узелками путались в нитях растянутых веток – это возрождались опиленные тополя, заново, в обход, сквозь запекшиеся раны, распуская сабельки, вихры, занимаясь зеленым пламенем, обсаживаясь бледно-зелеными, чистыми до нетвердости какой-то листьями, и легкий зеленый ветер скоро уже качался повсюду в древесных кронах. Ремонт, сверления в префектуре закончились, никто не боялся уже встретить префекта в коридоре, лифте или, не дай Бог, туалете (Пилюс, угловив в такую беду, гаркнул: «Здравия желаем!» и выскочил вон), ожил четвертый этаж (нет, боялись больше, дежурные подземного гаража по физиономии монстра, по настроению телохранителей научилась предсказывать беду и сразу звонили наверх: приехал «плохим») – в ЗОД (зону особого доступа) монстр поднимался на собственном лифте, там же, в ЗОДе, и питался, в собственной столовой, сперва рукописно пригласив «разделять трапезу» замов (один Кристианыч мудро укатывал на выездные совещания и не «успевал»), и замы собирались задолго, мялись и оглаживали друг друга под видеокамерами у запертых дверей, а потом (охранник хмуро отпирал: всё?) онемело, гуськом прокрадывались внутрь, как впотьмах по весеннему льду; но скоро монстр уволил повара и следом – другого, а потом и замов выпроводил в общую столовую, крича: «Из-за вас меня кормят помоями!» – и еще уволил нового секретаря, костлявую злую девку, не подружившуюся в пре-

фектуре ни с кем. Уволился санитарный врач округа, начальница окружного управления образования, Панченко, глава управы Троице-Голенищево, начальник управления строительства префектуры Горюнов... Начальник окружного управления департамента имущества Кандауров не увольнялся, но весь февраль и половину марта носил на лице глаза, глядевшие прямо в страшное нечто; монстр его не принимал, Кандауров топтался у дверей ЗОДа, перекладывая пачку бумаг из уставшей руки в отдохнувшую, потом пропал и нашелся в больнице; в департаменте, куда он привез два заявления (как положено, раз – на отпуск, два – «по собственному»), объяснял автомобильной аварией – лицо уже заживало, приоткрывались глаза, задушенные распухшей синевой; на ахи Кандауров отвечал кратко: «Спасибо, что жив», но не радовался, продолжая смотреть в нечто; на ближайшей коллегии монстр, переходя от вопроса организации торговли бахчевыми к вопросу об неклеимых весоизмерительных приборах (Эбергарду пересказывал Хассо, Эбергард избегал, не ходил), с чувством сказал:

– Кандауров был профессионал. Высочайшей пробы. Потеря для округа. С кем я остаюсь работать? Гуляев, вы отвечаете за кадры?

Гуляев перекладывал бумаги и ровнял манжеты, глаз не поднимал, научили, и внешне – не унывал, словно вата торчала из ушей, ничего не слышит.

– Не справляетесь, Гуляев. Без-дельник! Нету должного контакта с городскими департаментами. Если не можете работать, пишите заявление. Идите играйте в свой бадминтон.

В ту же пятницу Кристианыч отметил шестьдесят пять на бывшей сталинской даче, иногда открывав-

шейся для скромных праздников достойнейших людей, – только монстр, замы и главный бухгалтер; монстр Кристианыча ласкал, а тот, дважды остановившись вытереть слезы, сказал в итоговом слове: у нашего города (здесь все свои, мы – семья, я – ваш, для меня это величайшая честь), у нашей Родины появилась надежда – вы, дорогой мой человек... Я слушал, слушал вас, ваши незаслуженно высокие оценки моего скромнейшего труда, а сам-то думал: высшая мудрость руководителя – воспитать смену, уступить дорогу молодым и сильным, но остаться рядом, советовать, передать опыт... После чего монстр улыбнулся, улыбнулся еще и рассказал, что в родной смоленской деревне, где он благодетельно построил (на деньги инвесторов Восточно-Южного округа) церковь и больницу, он ходит по улице с кнутом и стегает местных лодырей и пьянчуг, а там – все такие, такой народец у нас – гнилье!

Сырцова шептала (громко говорить в префектуре уже не умела) Эбергарду:

– Я сидела там с мокрой спиной. Я не понимаю их шуток. Разговоров. Они там все свои.

Вдруг! – не проснулся с этим, а вдруг вечером, в машине, когда Павел Валентинович, бывший администратор «Союзгосцирка», рассказывал, как познакомился с третьей женой:

– Артистка балета на льду. Номер: орлы, грифы и голуби. А я на гастролях разыскивал знакомого джигита и ошибся номером в гостинице. Открывает – роскошная девка! Это вам нужно другое крыло... А у вас пуговица на пиджаке... Кожаный пиджак был! ...Сейчас оторвется. Давайте я пришью. Выпьете что-нибудь? – в каких дублированных на русский фильмах он подсмотрел такую жизнь?.. – Позвал ее пить к тому

джигиту, а ночевать, конечно же, пошел к ней. Привезла из гастролей мне в порт Лиепая синенький «мерседес». А потом пилила меня, будто я пол-Москвы перетрахал в этом «мерседесе». Я говорю: зачем мне для этого «мерседес»? Мне еще в метро дают!

– Хорошо жили?

Павел Валентинович задумчиво, с «э-э», протяжно ответил, словно: промолчать неловко, а пытаться бесполезно:

– Доходы артистки основывались на том, что орлам положено свежее мясо, а правила дрессуры требуют, чтобы животное голодало...

Вдруг – когда Эбергард смотрел на весну, светлевшие вечера, слушал... и неожиданно, непонятно от чего – почувал себя другим, сильным, он отстоит свою дочь – кто его остановит? – засмеялся про себя: никто! – Эрна будет с ним; всё тает, сохнет земля, птицы обещают приятные, волнующие вещи, как он мог сомневаться, не верить Улрике – Эрна его любит; пусть даже война, что смогут против него? – они устанут, у них нет столько денег, им это незачем – а он не устанет; позвонил Сигилд:

– Я хочу забрать Эрну на выходные. В субботу после школы забрать, в воскресенье вечером привезу.

Сигилд удовлетворенно заурчала, но не бросилась, хоть он повернулся беззащитным боком, молчала, давая понять, что честно взвешивает, именно в эту самую минуту принимает нестесненное собственное решение, чтобы он уяснил навсегда, кто будет решать и ему разрешать. Пусть откажет. Неважно. Сперва попробуем по-хорошему.

– Лучше заberi ее в пятницу после школы. До воскресенья. Мы с Федей идем в гости допоздна, Эрну всё равно некуда деть.



Улрике прыгала от радости и бросилась его целовать: вот видишь, я же говорила! Ура-а! – трясла его и не могла остановиться: что Эрна ест? Что она больше всего любит есть? Вдруг ей не понравится, что я готовлю? Закажем из ресторана? Поужинаем в ресторане! Эбергард кричал ей на кухню:

– Это еще ничего не значит! После всего, что Эрна... Я должен ей всё высказать, – и улыбался: завтра!

Улрике свое:

– Куплю ей куртку, девчонки любят наряжаться! Ничего ей не говори! Как ничего и не было! – Звонила его маме: – Эрна! С ночевкой! Пятница, суббота! И – воскресенье! Да я сама обалдела... Да. Да. Вот именно, отец есть отец!

А он не знал, куда двинуться, чем заняться до завтрашних четырнадцати пятнадцати, как за час до Нового года, как в день рождения: накрывают на стол, а ты маешься в белой рубашке и всем мешаешь; он расчертил листок – ПТН, СБТ, ВСКР – и, заглядывая в «Яндекс», мучился: как? – театр (или кино?), 14-00, обед – так? Улрике: умоляю, не высказывай ей ничего! Пусть в воскресенье поспит подольше... А если просто – в парке погулять? Эрне нужен воздух. А вдруг ей станет скучно просто гулять, так давно не гуляли они... На каток? Обязательно: по магазинам за одеждой; и вот – уроки, и еще вот здесь: уроки. Должно хватить. Я ей нужен. Улрике: слушай, давай лучше купим ей комп! Нет, в следующий раз, а то слишком... Он забывал улыбку на лице и видел: Эрна (постелем ей в маленькой спальне), он посидит с ней перед сном, большая здесь квартира, да ты что, новая будет в два раза больше! Улрике, у тебя есть проект комнаты Эрны в цвете? Точно, я распечатаю! Это твоя комната, самая светлая, это стол,

а это подиум, как сцена, – на подиуме столик с зеркалом и ящичками для украшений, так пойдет? – прикольный диван? – а на этой стене нарисуем ночное Токио какое-нибудь или – что ты хочешь? Это, наверное, дорого. Об этом не думай. Думай о другом. Это твой дом. Через год кончится ремонт, да, так долго. У тебя будут свои ключи. Приводи кого хочешь в гости – огромная гостиная, потанцевать, побеситься, хоть весь класс. Совсем недалеко от твоей школы. Да-а? Здорово! Можно прибегать на перемене! Не уходи, пока не засну. Ее рука – и всё, всё, что, казалось, бетоном напозло и застыло, убивало, выедало его изнутри, – стало несуществующим, не бывшим, будем разговаривать (глаза у нее всё-таки мои, взгляд), и многое придется трудное объяснить, хотя лучше всего объяснит время; будут у Эрны свои дети и муж, и когда-то скажет она: «Я теперь лучше понимаю папу... Такая глупая была!» – скажет легко и тут же позвонит Эбергарду: представляешь? – потому, что ничего не было непоправимого, обошлось, прояснилось, он вздыхал, и вздыхалось всё легче, легче, он может всё, человек может всё, когда... вообще, когда его любят... Он тихо: «Ты самая лучшая девочка на свете. Я тебя очень люблю», Эрна уже будет спать, но прошепчет: «И я»; он, конечно, не будет звать каждую неделю, подождет, она сама захочет и позвонит... может быть, просто взять билеты на французский цирк, «Фабрику звезд», катание на лошадях заранее, за месяц, «заодно и переночуем, да?», давай-ка свой дневник, что с учебой...

Он встал ночью к мобильному телефону, задышавшемуся, заклекотавшему от разрядки, как к застонавшему старику, и остановился посреди всего, стараясь зацепить время: вот я, на улице Ватутина, одиннадца-

тый этаж, мне тридцать семь лет, я жду утра потому, что увижу дочь, я живу, сейчас конец марта, кровь течет во мне, беззвучно и надежно работает сердце...

Общероссийский правозащитный гражданский клуб «Право отца» собирался по утрам в ДК «Красный строитель» у платформы Балтиец.

– Что же это вы... – дежурная хотела сказать «опоздали» и что-то как бы безотносительное типа «никто не хочет платить алименты», но все силы разума направила на прием и оформление «спонсорской помощи» в одну тысячу рублей. – На групповое? Индивидуальное, – она показала на американисто сияющего безумноглазого на афише «АРТУР ШИШКОВСКИЙ. Всё решено!» – десять тыщ! – Десять пальцев, ужас! и повела: в угрожающе заполненном мужском и гневном зале с декорациями избушки из березовых бревен и двумя плоскими облаками на сцене ерзал на тонконогом стуле раскрасневшийся бритый малый в черной водолазке, одна ладонь его ловила и пощипывала другую, у ног стояла барсетка.

– Теща была дезинформирована женой о якобы рукоприкладстве в ее направлении. Рукой не трогал. Но отрубным батоном по тылке она получила. А теща заявила суду, что бил заморозкой – филе индейки. Планомерно, сука, разрушала семью. Решение суда никакое. Сколько писем написано, в органы там опеки, в том числе и президенту – кругом ложь и безразличие, причем за наши же деньги. Безнадега. Если б не работа – спился бы. Сына не видел больше года. Требуют: даже не звони ему. Вот что я понял, – малый помолчал, готовясь сказать то, ради чего его вызвали, в этой игре, видимо, каждый участник обязан бросить стае кость «вот что я понял», – после дерьма, ко-

торое я перенес. Я крайне устал сейчас... Решил не звонить. Сами пусть звонят. Про сына буду помнить всегда, – Эбергард зажмурился, и все замерли в зале потому, что малый незаметно для себя заплакал, – но не позволю играть моими чувствами к ребенку. Только игнор. Полный игнор этих существ! Позвонят – поеду общаться. Нет – пусть ищут другого папу.

В зале сидели тесно, непоместившиеся стояли, выкрикивая (настал черед зала) свое, подымая руки: на меня посмотри, а я, брат, тебе вот что скажу, – Шишковского, знающего пути решений, Эбергард не заметил, но все кричали так, словно напоказ, Богу, кому-то, кто выберет, кого оставить и допустить в следующий тур:

– Яйца нащупай! Ты че, бабенке своей вырванных лет устроить не можешь? Готовь правую ногу для волшебного пенделя!

– Ты амеба или реальный отец, сильный духом?! Если ты и дальше будешь отступать, сын твой вырастет без сознания превосходства мужчины в семье.

– Да не оправдывайся ребенком! Сыну будет лучше, если ты будешь счастлив, победишь!

– Другой папа – садизм! Ребенок вырастет психическим калеккой. У тебя есть шанс выправиться, а у сына твоего – нет. Добивайся, чтоб он жил на два дома.

– Да херня, прав ты, мужик. Воевать – плохо всем, и сыну. Подлизываться – тебе плохо. Отморозиться – лучшее. Никак так никак. Никогда так никогда. Разговоров ноль, действий ноль. Абсолютный вакуум. Им не для кого будет спекулировать твоим пацаном. Не показывай ей своих желаний! Слабаков не любят, а жена тебя посильней психологически. Подавишь в себе желания, она сама выйдет на связь – деньги

понадобятся, еще что... А там ты потихому и восстановишь позиции...

– Бедная, бедная жена, бедные дети, – прошептала дежурная, не хотевшая слышать и видеть, но вот не удержалась, не ушла. – За всё придется платить. В Библии сказано: муж отвечает перед Богом за жену и детей. А жена – только за себя. Как можно порочить честное и святое имя женщины? Не думают даже о своих матерях... – поглядела воспаленно на Эбергарда и ушла.

Посреди сцены на доске крупно написали красивым почерком учительницы начальных классов: ПОЧЕМУ жена не дает видиться с ребенком?

1. Власть: подчинить себе бывшего мужа.
2. Обида: виноват муж, я – жертва.
3. Подсознание: на самом-то деле виновата я.
4. Страх: так я всё потеряю.
5. Ненависть: сама себя теперь ненавижу.
5. Гордость: я не могу проиграть.
6. Желание: пусть подруги увидят мою победу.

Эбергарду захотелось уйти, не вливаясь, не уравниваясь с этим жарким, он осматривался, словно случайно заглянул, а сам здоров, заметил единственную женщину – строго одетую, но слишком красивую для служащего государства, – молодая, рослая, коротко стриженная, черные блестящие волосы и крупные, волнующие губы, словно их недавно прорезали на лице, опухшие, еще не успели зажить, – женщина уморилась стоять и присела по-школьному – на подоконник, вытянув длинные уставшие ноги, прижав к груди маленький комп, смотрела, близоруко морщась, то в зал, то за окно с гримасой – скучно, то на стены, увешанные почему-то плакатами культуристов с пластилиновыми улыбчивыми лицами и бес-

смысленными глазами, то на Эбергарда – и вдруг улыбнулась и подмигнула ему – не так, как подмигивает мужчина, воровато, мгновенно, словно попало что-то летучее в глаз, а – веко медленно прогладило глазное яблоко.

– Да судебное решение!!! – один (сутулая, образованная спина) погасил всех криком: говорю только я! – Если мать не захочет, исполнить нельзя! Ты ребенка к себе разок возьмешь, а мамаша на следующий день после возврата пойдет к невропатологу и за тысячу рублей зафиксирует: стрессовое состояние... И – иск подаст о лишении родительских прав. Или – об ограничении! в этих самых правах, и с высокой! – вероятностью! – удовлетворения! – И уже как-то боязливо сообщил: – Такое мое мнение... – и заглох, и все отцы и сочувствующие как-то подобрались и расселись, как для начала просмотра, с обожанием что-то послушать; в зале, видно, так заведено, убавили свет – на сцену вскочил Шишковский, невысокий он оказался ростом, сиял, как и обещала афиша, словно звала его лотерейная комиссия, – в джинсах и белой майке, он так проскакал к вынесенному навстречу микрофону, будто следом за ним должны выскочить ребята с гитарами и барабаном, уже на ходу нащелкивая пальцами какой-то бодрый темп, – Эбергарду показалось: вторая, основная часть собрания откроется хорovým пением.

– Каждый из вас может... – Шишковский вытянул «м-может» и посмотрел вверх, где, подымаясь выше, переплетаясь в игре крылами, порхали сказанные им слова, опустил голову, а правую руку протянул вперед, намереваясь коснуться чего-то горячего, поймать что-то, – Эбергард не выдержал и вышел.

Дежурная бубнила:

– У всех недостатки. Да на свои посмотри. Не ладится – обратись к Богу. Что бы ни случилось, сохранять надо душевный мир. Сказано: невозможно человеку – возможно Богу. Сходи в храм, пообщайся с батюшкой. Да рано или поздно – ребенок будет с тобой.

– Вас ищет Гуляев, срочно, звонила секретарша, – Жанна перехватила Эбергарда у гардероба. – Монстр в мэрии.

– Не сказала: что?

– Вы же знаете ее. Ведет себя так, словно ее в префектуру взяли работать королевой. Говорю: как вас... забыла имя-отчество. А она: вспоминайте.

Эбергард, молодо пропуская ступеньки, понесся наверх: идеи по выборам? А какие у меня идеи по выборам? Организовать чаепития с ветеранами на базе районных библиотек с раздачей предметов длительного пользования. Сегодня – Эрна!

Секретаря Гуляева Анну Леонардовну Эбергард всегда заставлял за окрашиванием губ или чаепитием; в обед (если монстр уезжал) она закрывала приемную на пару часиков – заместитель префекта дремал, может, и она... либо чаевничали, вспоминая служебные вершины, преодоленные хребты и распадки, и – ничего больше; главный мастер в установлении и оценке интимных, влажно-стремительных соединений Сырцова сразу определила, что отношения Гуляева и Анны Леонардовны давно уже проследовали станции «совместная работа», «взаимопонимание», «сопереживание», «любовь», «связь» и углубились в гранитную толщу неразрывного (равного по прочности и охлажденности семейному) взаимовросшего существования.

В префектуре Анна Леонардовна страдала: задерживается позже шестнадцати (монстр в особые дни выставлял помощника-морду у гардероба отмечать убежавших и опоздавших), так не привыкла в прежних приемных, переработка угнетала: вторую половину дня Анна Леонардовна полулежала на столе, отвлекаясь на небольшой коньячный стаканчик; экзамены на подготовительное отделение факультета старушек она уже сдала, но одевалась ярко и разговаривала с насмешливой дерзостью, ужасно привлекательной в пятнадцатилетних, преждевременно созревавших девчонках и труднопереносимой во всяком другом исполнении, особенно морщинистом и пожилым; Эбергард сперва (обязан соответствовать, зачем обижать, ей же рассказали, какой он) не сразу отпускал после выпрошенного поцелуя руку, два раза случайно приобнял, замечал красоту, приносил сувенирные безделушки для украшения кабинета и жизни, жаловался, что есть дармовая путевка на Гоа – некуда девать, хотите? – но Анна Леонардовна проявила устойчивость, не прижималась и не хихикала, не помогала, про Гуляева не делилась, и, исполнив долг, Эбергард облегченно играл теперь только в честного, болеющего за дела парня, горячего отца, преклонявшегося перед мудростью, человеческой теплотой и мужской немногословной порядочностью Алексея Даниловича.

Теперь – Эбергард показательно отдышался, во рвавшись (но постучав!), пусть запомнит, доложит: сказали «срочно» – бежал! – Анна Леонардовна смотрела себе на колени, под стол, разминая и поглаживая виски, – уже хорошо, причина не Эбергард, из-за Эбергарда она бы не страдала.

Подняла руку с усилием, словно отдающимся болью в сорванной спине, голова у нее не поворачива-



лась вообще – тиски! – показала: идите. Там у нас... Такое... сколько живу и чтобы – такое... Эбергард представил, отворяя двери: зайду – в гробу лежит Гуляев, и главы управ полукругом поют, оберегая ковшиками ладоней свечки; или – высоко поднятая подушками, хрипло вздымается и булькает на выдохе дважды простреленная и бесполезно забинтованная грудь героя, и вызванные родственники сжимают уходящее запястье и шепчут: «Леша, Лешенька... Нет!!!»

– Зайди! – и Гуляев закричал, продолжал кричать на принявшего профессиональную позу «я ни при чем, но раз так надо, пусть виноват буду я» начальника оргуправления Пилюса: – Мы трижды с тобой договаривались об этом! – Три гневных пальца под нос! Кричать не умел, видно, ненужных душил потихоньку, боязливо, не зависящими лично ни от кого объективными обстоятельствами, обманутых оставлял в неведении, с уволенными дружил, кричал потому, что кричали только что на него, этажом выше – эхо; сидел растрепанный, словно ночевал в кабинете или ему отвесили пяток плюх неустановленные незнакомцы прямо в приемной, и растирал ребра, прикрывавшие сердце, очевидно, мечтая покончить скорее с этой бесконечной херней, закрыться и вмазать стаканчик.

– Почему не выполнено поручение префекта, Сергей Васильевич?! – и крутанулся в кресле – в сторону! – так было противно смотреть на Пилюса, из-за которого его, Гуляева... Эбергард подкрался и присел рядом с начальником оргуправления в позе покаяния, навалившись грудью на стол, руки сфинксовыми лапами перед собой, глаза вниз, в полированный заливчик между рук – это наша общая вина, несовершенна жизнь!

– Да неужели трудно, – Гуляев добавил слова матом, и еще одно, – Сергей Васильевич, подобрать ответственных, вменяемых исполнителей, правильно поставить задачу и обеспечить контроль за исполнением? Организоваться. Продумать. И просчитать, – Гуляев говорил энергично, напористо, как говорят люди, совершенно не представляющие, как это можно сделать. – Ты что меня подставляешь под префекта, а?! Не можешь работать, – эхо отпело, теперь зампрефекта цедил непосредственно как монстр, – или не хочешь? Я никого не держу! Парализована работа префектуры, страдает округ – миллион жителей, ты думаешь об этом?

Пилюс звучно сглотнул в такой тишине, от которой побаливает в животе. Эбергард дышал так неслышно, чтобы казалось: не дышит. «А теперь поручим это Эбергарду» – пронеси, Господи.

– Иди! – пусть вынесет отсюда этот ком туалетной бумаги, эту вонь. – Давай, Сергей Васильевич, как-то... Раз и навсегда. Решить окончательно. Нужно финансирование – пиши! Нужна помощь – обращайся! Навалимся все! Кто откажется – мне докладную на стол!

И Гуляев, дождавшись, когда дверь выпустила Пилюса и закрылась, простонал, словно в голове его дребезжал будильник, и сильно прощупывал макушку, затылок, лоб, пытаясь, продавив кожу, попасть в кнопку, отключить этот звон! Эбергард быстро скосил глаза – может, факс какой из мэрии на столе? – сорваны сроки формирования избирательных комиссий? что-то серьезней: не подготовлен вопрос на правительство? Что-то с мэром? Не дай Бог – с Лидой.

– У нас ЧП, – Гуляев повторил для себя, чтобы как-то определиться, закрепить распадающийся, валя-

щийся мир, встать хоть на чем-то неподвижном. – С утра. Вызвали всех: Кристианыча, управляющего делами, Шведова, Бориса. И – два часа! В основном – меня. – Если Гуляев впервые признал, что монстр с ним не только попивает чаек и вспоминает лубянские коридоры, знакомых девок и андроповских мастодонтов, то – опасно очень. – Отменили гаражную комиссию, прием инвесторов, – Гуляев поколебался: говорить? нет? – да что теперь скрывать: – У префекта врач...

Эбергард поднял глаза с «жалко как», «надеюсь, не самое страшное», «вот работа...»

– И самое обидное, он прав, понимаешь? Прав! На триста процентов прав! Мне нечего было ему возразить. Он – дал поручение. Мы – три совещания провели по этому вопросу! И – не выполнили! – Гуляев опытно ввел «мы». – Подключайся! А то ты вечно норовишь как-то стороной...

– Да я... – Эбергард без хамства (ради дела!) выудил из письменного прибора Гуляева листок для записи и карандаш – пишет? пишет; галочка, галочка, единица – первое и – в двойной кружок. Готов!

– Префект поставил задачу: чистота в его санузле! Обеспечить трехразовую уборку, но – высокого! – подчеркиваю, высокого уровня! Трехслойную туалетную бумагу. Размещение полотенец не так вот, на крючках – так их заселяют микробы, – а стопками и в упаковке, – Эбергард следил, но Гуляев не улыбался, сам проверяя Эбергарда: вот только улыбнись! – Месяц! – мы налаживаем эту работу! И вот тебе – результат, – Гуляев остановился и провел ладонью от бровей к губам, вытирая плевки и подступы обморока. – Префект, оказывается, позавчера! – понимаешь? – позавчера намылил палец и мазнул пеной,

понимаешь, вот так, снизу по крану. Сегодня утром посмотрел – след остался! Никто кран снизу, под горлом не трет! Сверху вымыли и – хорош! Да что мы тогда вообще можем, если это не можем?! Твоя задача, дорогой мой, уклончивый Эбергард, – полотенца в вакуумной упаковке, шесть штук в день, на упаковке – дата стирки и глажки, так он хочет. И чтоб – стопочкой. Повторяет – стопочкой. Сможем?

– Алексей Данилович, в пленку найдем, где закатать, а вот с вакуумом, я, честно говоря...

– Эбергард!

– Будет с вакуумом. Каждый день шесть штук.

В приемной перед страдающей Анной Леонардовной выступала пузатая, стриженная под мальчика уборщица в бордовом фартуке, выбрасывая то одну, то другую руку вперед, – она, единственная в префектуре, не боялась ни монстра, ни перевода на другой этаж или в другие туалеты, ни увольнения:

– Сам-то пользуется... как свинья – брызги по всему полу, бумаги нарвет – под ноги, полотенца бросает...

– Эбергард, – Анна Леонардовна не могла умирать одна, почему достается только Гуляеву, вон сколько теперь у него начальства, каждому хочется дергать за нитку, привязанную к лапке, вызывая внезапную панику зверька, – почему вы улыбаетесь?

– Это у меня сводит челюстные мышцы от постоянного нервного напряжения, – добавить: был у хирурга, в медицинской карте есть диагноз?

– А почему вас не было вчера на штабе по выборам?

– Совершенствовал взаимодействие с городскими СМИ.

– Алексей Данилович очень недоволен.

– Я больше не буду пропускать. – Он обождал: всё? – в смысле «пока всё», быстро – до лифтов и только там глубоко и болезненно вздохнул: он взрослый человек, и во что приходится играть... Но сегодня у него есть лекарство – Эрна, что бы ни случилось!

Рано. Но ему хотелось скорей (Улрике заказывала стол в ресторане подальше от спорттрансляций, билеты в театр, распечатывала сеансы в кино, еще перебивала: «Куртку я купила, красиво упаковала, у тебя на столе», «Не ругайся только на Эрну, вы так давно не виделись, помни: это твоя дочь и она всегда будет твоей»), его ничего не держало так, и ничего так не влекло, и он уже шел к машине – за Эрной – по весеннему, весело сочившемуся асфальту и – стоп! – чуть не уперся в низкородную холуйскую «Волгу» с господумским пропуском – на таких машинах ездят фельдъегеря – и ахнул:

– Я тебя не узнал.

Художник Дима Кириллович бороду сократил до символического богословско-банкирского волосяного насаждения, на голове оставив седоватый, кубически выгесанный минимум; Дима не улыбался, поворачивался боками: чиновное пальтишко, очки... заметь, очки – одни стекляшки на серебряной перемычке.

– Ехал мимо, нас тут собирали, место одно, под Одинцово, вижу – ты куда-то топаешь... Подвезти? Что не звонишь? Звони, я для тебя всегда открыт.. Сам в таком замоте. Ну, а ты всё, – Дима усмехнулся и неопределенно покачал головой: да-а, префектурка Восточно-Южного округа, когда-то ведь и меня касались все эти смешные и мелкие, травянисто-насекомые...

– Ну, Дима... – и Эбергард всё-таки расхохотался, – ты что, раздоил-таки Левкина?!

– Да ну их, – Дима не удержался и также с удовольствием захохотал, зашипел, утирая заслезившиеся глаза, оглядывая себя: что это я так вырядился, – так устал я от них... Жа-адненькие... Я и так лизал, и так лизал, и царапался, и впрямую уже просил, и вроде довольны, хвалят, а к деньгам не подпускают... Да мне бы одного перстня с мизинца Левкина хватило, чайной ложечки... На всю жизнь! Попросил проездной оплатить – отказали! Только своим, только своим – ни одного постороннего, семья!

– Как и везде.

– А вот не скажи... Я понял: ага-а. Подумал-подумал, – Дима показал, почесывая скрытые бородой сантиметры кожи, как он озирает, нечто много большее его роста, обломок скальной породы, заваливший вход, – значит, имеется у меня в расчете ошибка. Полюбить деньги – мало. Но! Притекают деньги туда, куда указывает идея! – Дима Кириллович говорил уже для себя, здесь Эбергард наверняка отстанет, непосильно ему – так высоко. – Надо вычислить, понимаешь ли, одну небольшую такую точку, где напряжение твоего личного космоса пересекается с напряжением геополитического вызова, и взорвать это напряжение, освободив такое движение, что унесет твой род, – Дима Кириллович вытаращился, – в элиту! И – больше не работать! Одно верное решение. Определить точку, и – хватит прикосновения.

– И где ты теперь работаешь?

Дима Кириллович погрозил: скажешь так, а все туда же и попрутся, на готовое... Но смилостивился:

– Вице-президент ассоциации «Беларусь – Россия – Индия»: сила без насилия – ось Евразии, транспортный коридор «Север – Юг» при Общественной палате союзного государства Россия – Беларусь.

– Ни хрена себе. А Индия при чем?

– Все спрашивают. И тебя зацепило! Правильно я рассчитал. Я ж стратег! О дочери думаю. Хочу, чтобы Тамарка в Гоа перебралась после школы, а этим наплел: союз России и Белоруссии не срастается потому, что не хватает ему цели и духовного осмысления ее. Вот как мы цель выставим: евразийский транспортный коридор – это же триллионы! А Индия нас духовно подпитывает – духовная уния, энергетические каналы, восемнадцатый уровень знания, Тибет. За духовную унию я отвечу. В Индии, конечно, придется пожить, как по-другому? Я готов, художник – это всегда жертва! – Дима Кириллович удушил рукой незримое птичье горло. – И знаешь, клюнули, забегали с моим проектом, спрашивают: а сколько? Я им говорю: на второе полугодие, на оргпериод, потребуется так, мелочовка, – и Дима словно загнал стальное полотно меж Ленями – в мясо! – Девятнадцать миллионов! Думаю: ну... Хватило бы десяти... Трех!!! А они только спросили: рублей? И всё. Надо было сказать: долларов!!! Ничего, это на следующий год! Я, может быть, – Дима уже понимал, что пожалеет о сказанном, захочет забыть, сейчас будет лишнее, но не мог он остановиться, – и тебя, может быть, к себе заберу. В тактике, – он показал пальцами спичечный рост, – ты можешь что-то, я ведь за тобой наблюдал... Вот тут, под ногами, не выше травы – любого можешь обыграть. Понадобится, может быть, мне такой человек, если, конечно, финансовые твои требования не чрезмерны будут... Да всё больше, чем здесь, верно?! Кинь на мэйл свою объективку, я там покажу...

– Всё отменяется, – это звонила Сигилд, – Эрна решила поехать с классом в Суздаль.

– Но мы же... – ах ты...!!! – А завтра?!

– Они едут на сутки.

– А в воскресенье?

– В воскресенье мы поедem поздравлять с днем рождения Фединогo отца.

– С какого у нее каникулы?

– Почему ты спрашиваешь? На каникулы мы уедем. Ну, всё? – Сигилд не отключалась, ей было интересно.

– Так, – но он не знал, что «так». – А где сейчас Эрнa?!!

– Не кричи на меня, я же сказала: провожаю ее в Суздаль. Сейчас за ними придет автобус!

– Ты, смотрю, меня невнимательно... – заметил Дима, – а я, брат, буду работать только с теми, кто каждый звук мой будет впитывать, да еще и понимать, что я не сказал, да имел в виду...

– Я поехал.

– Эбергард! Минуту! Знаешь, когда я понял, что попал? Оказалось, у моей фамилии – белорусские корни! – и еще неразобранное.

Автобусы – три двухэтажных, запыленных, высококолых уже отправились (никто не заметил, что он бежал? теперь иди) – проползли вдоль школы и выстроились у светофора развернуться в сторону проспекта Энгельса, родители подтянулись следом, превратив тротуар в железнодорожную платформу, – выкрикивали избыточные напутствия, чмокали воздух, рисовали пальцами подушечные сердечки и вглядывались. Эбергард вспомнил вокзальное: на счастье первым в вагон входит мужчина; нашел Сигилд и встал рядом, не уступая, поднял руку, как и она, и, как она, улыбался Эрне, куда-то, в каждый автобус,



но Эрну не видел: много грязных окон, много лиц, давно не видел ее, подросла, может быть, стесняется, что ее провожают; но кому-то ведь победно машет Сигилд, «только моя девочка», и он махал: и моя; может, Эрна смотрит из глубины автобуса, над головами, стоит в проходе, отшатнулась, удивилась «откуда здесь папа?» или испугалась, может быть, и обрадовалась; он махал рукой: всё в порядке, заехал тебя проводить.

– Когда ты выпишешься? – Сигилд почти не разжимала губ, продолжая улыбаться и махать.

– Я не буду выписываться, – у него получалось не хуже! – и он махал, попросив кого-то в ближайшем автобусе: «Будь осторожна».

– Я не хочу, чтобы ты был прописан в моем доме!

– Мало ли чего ты не хочешь!

– Я хочу, чтобы мы жили своей семьей, я не хочу, чтобы ты лез в мою семейную жизнь!

– Пока мы живы, наша семья – ты, я и Эрна!

– Ты же хотел оставить квартиру нам, вот и оставляй!

– Не выпишусь, пока не обеспечишь мне встречи с дочерью!

– Я не могу ее заставить. Подонок, я выпишу тебя через суд!

– Да Бога ради, тварь!

Первый автобус дернулся, словно по зеленому сигналу светофора кто-то выстрелил в него, и повернул, и второй, и – третий, Эбергард и Сигилд махали руками, завод еще не кончился, хватало батареек; лишь когда деревья, дома и расстояние скрыли боковые окна автобусов, любую возможность их видеть, отец и мать быстро отвернулись друг от друга и разошлись, и с каждым стремительным шагом – всё дальше и даль-

ше друг от друга, и Эбергард пощупал пустой конверт с надписью «будущее», посушил ресницами какую-то влагу – ничего, ничего, видишь, не так и болит, уже по привычке, даже смешно, как мог надеяться, казалось бы, старый трюк... эх... Сигилд насунула черные узкоглазые очки, и в таких же – крысиных – ждал ее возле машины урод, что-то там драматически представив, типа «что он тебе только что сказал?», «он не обидел тебя?», «почему ты не позвала меня?», «хочешь, я с ним поговорю?». Сигилд свистнула, и он живо погрузился за руль.

Что случилось там, за те годы, которых словно и не было никогда, – им трудней стало видеть друг друга, не хватало смелости сказать «изменились». Они стали трудноузнаваемыми. Оказывается, чем дольше люди живут вместе, тем труднее узнавать в них тех, первоначальных, полюбивших друг друга.

– Эрна не приедет. Всё потом. – Улрике замолчала так, что ему показалось: не соединилось, говорил в выключенный телефон; увереннее шел, пока не уперся в прутья гимназического забора и подержался обеими руками за железо: не могу.

Когда-то на Красном море Эрна заговорила о небе. Укладывал спать. И вдруг...

Какой я буду на небе? Эбергард сказал: каждый человек становится на небе таким, каким он хочет, и живет там вместе с родными, уже всегда.

Эрна спокойно и светло уточнила: когда я умру, я смогу опять быть маленькой? Да, сказал он. И там будут дни рождения? Да. Эрна совершенно счастливо улыбнулась. И он вцепился в нее, скомкав свое лицо резиновыми складками, в углах которых неожиданно начала сочиться горячая вода. Папа, что ты плачешь? Эрна обеспокоенно затрясла его. Он

так задохнулся, что не мог ответить. Тогда я тоже, она зажмурилась, и слезы выступили из-под ресниц. Эбергард прошептал: просто не хочется уезжать. Эрна торопливо: так бы и сказал! Глупо из-за этого плакать, мы же сможем приехать еще! – и прижималась к нему, единственный человек, не видевший, что скоро они разведутся, веривший, что мир неизменен; она уснула, рука Эбергарда, прижимавшая ее к постели, напрягла мускулы и начала выпускать тяжесть из себя, выпускала и выпускала, пока не стала невесомой, легче воздуха, оторвалась и медленно всплыла... Он думал: не могу, не хочу ее терять. Вцепиться и удержать. Не верь никому. Вырастай скорей. Дай я тебе всё расскажу. Запомни меня молодым и сильным.

Да. Еще вот, как-то шли они – Эбергард по дороге, Эрна по бордюру вдоль дома и вдруг крепко схватилась за его руку, о чем-то страшном подумав, чтобы не отпускал он ее, не оставлял.

Что-то, картины какие-то помнишь всю жизнь. Почему бы не запомнить что-то хорошее. А помнится острое, то, что ранит. То, куда стекает кровь. Когда он вчера сдавал кровь, готовясь стать отцом еще одного ребенка, беременная медсестра спросила: как вы переносите вид крови? Поработайте рукой...

И Хериберт устроился; в Гуселетный район (монстр обманул) главой не утвердили. Хериберт съездил на Афон и в Пюхтицы, за него молились благодарные лично ему старцы в Оптиной и вымолили только административно-техническую инспекцию, начальником управления. Недешево обошлось, вздыхал Хериберт и сладко улыбался, но всё ж госслужба, к деньгам, правда, не подпускают, но сейчас начнут

проверки готовности развлекательных аттракционов к работе в летний период, выстроится какая-то схема... Заболевшие выздоровели, и друзья обнаружили: давно не собирались; собрались в кибитке посреди ресторана, обставленной аквариумами, – в застекленной воде внезапно всплывали скаты и также внезапно обрушивались, боком, как дохлые, на дно, – развалившись на расшитых черепахами и осьминогами подушках, пили водку из графина, то обнажали утиные кости, то цепляли свиные ребрышки со сковородки, поглядывая сквозь аквариумные заросли на ужинающих девушек, из тех, кто уже съездил за загаром; не о чем говорить.

Хассо наметил показать, как легок, весел он и расслаблен, пьет, и с сердечной теплотой расспрашивает друзей, и внезапно хохочет, валясь на Фрица или Эбергарда, – ржачка, но в первой же подходящей тишине сгорбился стервятником, переступил сутоло на сухой ветке и – как и все они – только об одном:

– Точная информация. До первого июня меня уберут. И всю управу зачистят, – он пытался говорить, как о чем-то постороннем, в интонации «а вот в Астрахани, ребята говорят, рыбалка-а...», но мигал и хрипел не жильцом. – Монстр так и сказал: пора корчевать это Смородино.

И все, шатнувшись, как от чумы (на нас не надейся), бросились «кто вперед» вспоминать, как ездили к побратимам в Минск, как гуляли по Крыму на семинаре глав управ, как здорово было в Чехии, где отмечали последние выборы (всё завершалось одинаково – «нажрались там дико и безобразно себя вели»), тормозили Хериберта: ну, как там на новом месте, новое место?!

– Один недостаток – офис в жилом доме. Как только засыпаю после обеда, мальчик со второго этажа так лупит мячиком в пол...

– Я тут проезжал Смородино, – чтобы не молчали, и Эбергард нес свою соломинку в построение «отлично посидели, отдохнули душой», – и объявление: «Эротический массаж. Все виды». И номер мобильного! Даже адреса нету. Хассо, это так твоя управа подерживает малый бизнес? Девушки оздоравливают, а у них даже нету стационарного телефона? И сидят, небось, в цоколе, прячутся от чиновного произвола?

Долго, до обморочного одурения слушали Фрица – никто не хотел «этой темы», распухающей, душной, но удобно: спросил Фрица, бросил монетку, и потечет-заиграет, само продлеваясь и ветвясь, и сам пока можешь передохнуть, и время пройдет.

– Я даже могу сказать: есть рак – нет рака. Взяли соскоб. В одном институте говорят – рак. В другом – чисто. Я – к астрологам. Они – нет. И я забираю больного. Меня два профессора за руки хватили: да вы что, отдайте на операцию, легкое отрезать... – Фриц остроносо впивался по очереди: тебе, тебе и тебе! – Я говорю: вы свои федеральные программы испытывайте на ком-нибудь другом... А сам веду больного к китайцам. Китайцы посмотрели: в легком затемнение есть, но это просто последствия воспаления. Кусок не отвечающей материи, понимаешь, Хассо, – Хассо передернулся, загрузил рот и начал сосредоточенно жрать, обиженно глядя в сторону, – энергию не поглощает и не отдает. Но – не рак. И живет человек! А казалось бы, рак и рак, – теперь Фриц встревоженно вгляделся в Хериберта: тот вытянулся, подсох, но держался, смотрел перед собой, только пальцами под столом нащупал какой-то образец на браслете и судо-

рожно крутил его в пальцах, что-то малозаметно на-шептывая.

– Я не пропаду, – устало вздохнул Хассо, со стоном закрыв-открыв намученные бессонницей, слепнувшие, искорябанные веками глаза, – у меня друзей много, на хрен мне эта госслужба...

– А как у *тебя* с монстром? – спросил вдруг Фриц с выделением «тебя»; с остальными ясно.

– Хорошо, – Эбергарду не хотелось про это, про слабые свои стороны, лучше про сильные, но сильных не знал. – Выполнили личное поручение – написали поэму на трехлетие внука. Бархатный переплет. Бумага ручной выделки. Серебряная закладка.

– Чего к нему не идешь?

Сказать бы: «Вот вы и сходили», да он ответил:

– А зачем? – «Буду работать через Гуляева», но на самом деле «страшно».

– Надеешься пересидеть? И что Гуляев тебя прикроет? Монстр на днях тут где-то кому-то сказал, – Фриц один делал вид, что лифты поднимают его повыше этажом, – сказал: я уйду, уйду. Потому что очень устал. Но не сейчас. Уйти сейчас – значит ослабить мэра. Я помогу мэру, и мы уйдем вместе.

– Стучись к монстру. У тебя должен быть прямой выход на первое лицо, – Хериберту всё равно, не разберешь: всерьез или прикалывается, липкостью речи он походил на крымского таксиста, начинающего за сорок километров до Ялты навязчиво шутить, чтобы в Ялте попросить «добавь немножко». – С ним – сразу включай дурака. И говори только то, что он хочет услышать. Или то, что услышит и поймет, что как раз этого и хотел!

Эбергард не посмел уточнить: как именно «включать дурака»? «Я бы не хотел с ним говорить никогда».

– Ну, а вообще как твои дела? – Хассо уже знал, что «ничего хорошего», но надо же интересоваться друзьями; он, Хериберт, и Фриц относились к Эбергарду, как к младшему или инвалиду, не могущему даже при дополнительных внешних помогающих усилиях – понять всё.

– В суд подам. Найму адвоката. Чтобы встречаться с дочкой по графику. Раз в неделю ночевки у меня, должны хоть немного жить вместе. – Всё привычной бесстыдно заголять свою жизнь.

– Судью надо заряжать по-крупному, – Хассо расхотелось слушать, он знал судей Смородинского суда, но – только для своих дел – каждый сам решает свои вопросы.

– Опекать не поможет, – куда-то в сторону рассуждал Фриц, – опека только констатирует факт. Может быть, уполномоченного по делам ребенка подключить, попробовать как-то на него выйти... Надо, дружище, не только судью заряжать, заряжать надо всех... Хорошо бы твою бывшую с работы уволить, да еще по статье... Справочку подогнать о ее алкоголизме. Показания соседей, что ребенка бьет. И гуляет.

– Так она замужем.

– А что муж наркоман... Будешь всё это проплачивать?

– За Эбергарда, за его сердечное тепло, за его ранимость! – Хериберт всем разлил, советовал про судей: – Тихонова, она четкое определение напишет... А Чередниченко, она и за деньги так напишет, что и туда, и сюда, блин... Тем более когда... У них же – всегда права мать.

Эбергард больше не мог, он объелся, проговорился, не устал, но тяжело даже сидеть, слышать, быть; он ждал общего решения расплачиваться, завершаю-

щих тостов, награждения гардеробщиков и рассматривал картину на противоположной стене «Вечерний Питсбург», шесть на два с половиной метра (официантка пояснила, что картина продается за пять тысяч долларов); от картины тянулся электрический хвостик и утыкался в розетку, поэтому в вечернем Питсбурге с равномерной редкостью по мосту проشمывали огоньки и разъезжались, кто меж домов, кто по набережным. Эбергард подумал: есть люди, что купят эту картину.

Град: ему ударил в затылок ледяной шарик, пролетевший километра два; дома (они сидели с Улрике обнявшись, потом лежали обнявшись) он думал: цени, вот теперь цени, дурак, вот это простое. Что не один. Что есть кому сказать: ты понимаешь... В любую-любую минуту есть кому позвонить. В съемной квартире, в одомашненном из чужого зверя животном – и уже не верится, что уедут; наши окна, понятные, расшифрованные и заученные соседские шорохи... Он обнимал Улрике – спасибо, она – счастье; Улрике с удивительным постоянством была такой, какой нужно именно тогда, когда больше всего необходимо, и даже оказывалась там, где через мгновение будет нужна, такой, как хотел, и еще лучше – вот состав главного элемента любви.

– Я нашла адвоката. Из того же клуба «Право отца». Именно по таким делам. Как только мама Эрны поймет, что ты не отступишь, всё сразу изменится...

Он чувствовал: да, больше чем себе ей верил; сам не переживал ничего, не умел, он сразу чувствовал то, что бывает после переживаний, то есть ничего. А Улрике жила – могла заплакать от жалости, испугаться. Ей бывало жарко. Иногда она не знала, что де-



лать, и думала, думала. А он, Эбергард, всегда оказывался «после» – в серой, спокойной духоте, в неподвижном, нагретом воздухе.

Адвокат, «почетный адвокат» (на форуме «отцов-борцов» писали: «светило»), принимал в переулке у Казанского вокзала, среди помоек и смуглолицей торговли.

– Вы знаете, что консультация платная? – вот всё, что движет, нельзя обижаться: сколько перед ним рычало и плакало отцов; адвокаты, священники, врачи никого не жалеют; затемненные очки, черты провинциальной подозрительности, хронической неудачливости, большой значок на лацкане с незнакомым Эбергарду бородатым лицом – Циолковский? Любого неопознанного косматого бородача хочется называть Циолковский.

В переговорной прогнили панели на потолке после потопа, в углу стояли ведро и швабра; Эбергард отдал три тысячи, адвокат случайно взглянул: сколько там у него денег всего; предварил:

– Ситуация обычная. Когда у бабы появляется новый муж, ее цель – свести общение детей с бывшим до минимума. А потом – устранить совсем. Чтобы новая семья приобрела целостность! Слушаю. – Слушал без интереса, рассматривая последовательно туфли Эбергарда, часы и мобильник, чтобы проверить предварительный расчет, уточнил: – А в какие страны вы выезжали с дочерью в период совместного проживания? Какое количество раз? – Ну, в общем, всё совпадало. – Десять тысяч долларов. Это – только за один суд. А решение по вашему делу, скорее всего, потребует нескольких рассмотрений. Предоплата сто процентов. Деньги внесете завтра, – адвокат, прописанный в Ка-

лужской области, видимо, изучал методики «захват и удержание клиента», не давал подумать. – Пока возьмите справки, что лично водили дочь в бассейн и оплачивали услуги ортодонта. Шансов на совместное проживание нет, будем просить две ночевки в месяц. Выше голову! Лозунг наш: я отец, а не спермодонор! Если дочь расскажет, что мать на нее психологически воздействует, постарайтесь незаметно записать на диктофон. Еще лучше – на камеру. И помним: без родного отца вырастают только педерасты. И проститутки. Такие ж, как их матери. Не пьет жена?

– Да вроде...

– Алкоголизм бытовой доказать трудно, – остудил себя адвокат и мрачно добавил, взглянув на Эбергарда: – Как и педофилию.

– Я так думаю иногда... Может, плюнуть? Пройдет время...

В прозрачном черепе адвоката ударить лоб о лоб, «пообещать скидку?» с «просто провоцирует, стоять на своем!».

– Можно. Устраниться, потерпеть. Потом организм устанет от боли и сработает психическая защита, переключит вас на другие, нетравмирующие заботы, ребенок – дочка у вас? – отдалится куда-то. А годиков через пять ваша бывшая поумнеет, дочь подрастет и сама постучится к вам: я пришла. А уже поздно – вы чужие. Всё, что связывает, – алименты. Нельзя, – он вдруг захрипел, – уступать сучьему яду феминисток-сатанисток! – И поднял над плечом революционный кулак: так!

Адвокат позвонил на следующее утро: как нет? – еще через неделю позвонил: вдруг Эбергард не так его понял, вспылil, да и на самом деле ведь можно

как-то, ну, в общем, он тут прикинул – оптимизировать бюджет. Нет?!

Понедельник – у монстра особый день, кто-нибудь зарыдает. И после правительства – вторник, все виноваты. И в пятницу, после коллегии. И в любой день другой. Все худшее сбывается, только еще хуже; префектурный постовой траурно подкатывал глаза туда, превыше, где зона особого доступа, и пьяно покачивался:

– Трахает Гуляева, – и вздохнул так, словно начали с него, общее же дело; приготовляемых на вынос и только что поступивших монстр топтал каждый день, никто не верил, что садизм, он не играл (багровел, замерялось давление, вызывался врач) или играл, но не останавливался, пока не убедился: всё, человек понял про себя: уничтожен. Эбергарда ноги не понесли на рабочее место – найдут, к нему в буфете, «вы позволите?», подсел лупоглазый безумный – зомби по фамилии Степанов, пил кофе так неловко, хлебал, упустил, задирает локоть, словно прибыл с Марса и только обучается земным привычкам, слабо понимая их смысл.

– Уважаемый Эбергард, я...

– Я помню (твою лупоглазую морду, ты думаешь, здесь всё неизбежно, годами ходят поршни, пожизненно вращаются валы, и на каждой табличка: что может; а мы здесь умираем, подступает огонь, варвары), вы приходили. Я там слежу за вашим кандидатом, ну, там вроде всё в порядке, зарегистрировали его...

– Спасибо огромное!

– Обращайтесь.

Зомби губами, глазами, руками и подсолнечными отклонениями позвоночного столба показывал: «очень довольны», «будем по итогам благодарны», «я вам обязан», и – оба не спешили; зомби кушал овощной салат,

опять же, как новорожденный, инопланетный (откуда они его взяли?), себя поконкретней на всякий случай обозначил:

– Выборы это... так. Друзья попросили. По жизни я занимаюсь лоббистской деятельностью. Многие мои сослуживцы по внутренним войскам откомандированы на ответственные посты, это облегчает доступ. – По лицу его самостоятельно, не отвлекаясь на произносимое, переползали разнообразные гримасы в пределах от «мне жарко, сдохну сейчас» до «так вот он, рай». – Я сам подумываю о государственной службе. Безусловно, это будет пост, где принимаются ответственные решения. Это будет иметь определенное экономическое выражение. Время романтического воровства прошло. К сожалению. Когда запас контактов, набранных на госслужбе, иссякает, его надо пополнять. Следует сохранять баланс между пребыванием в госструктурах и коммерцией...

Секретарша Жанна ворвалась в буфет, словно в задымленную спальню: есть живые?

– Плохо. Ни хе-ра не работаем мы с тобой, Эбергарт, – Гуляев похлопывал ладонью по фотоальбому и скучно вглядывался в застекленные бадминтонные кубки, кочевавшие за ним по должностям и учреждениям. – Столько префект мне высказал. И про тебя лично. Я уж не буду пересказывать.

«Врешь. Ничего про меня не говорил». Но всё равно – не спать теперь ночей.

– Фотографии не понравились?

– Ни одна. То синяки под глазами, то глазки какие-то злые. То рыжий. Кричал: что вы из меня Чубайса делаете?! Ты зачем двух фотографов прислал?

– Чтобы наверняка. Один – Штейнбок из «Семи дней», второй – лауреат конкурсов.

– А получилось – видишь, как у нас с тобой получается?! – что мы выставляем его бюрократом. Два фотографа! А он – скромный. Кричал: я хочу быть, как Путин! А Путин – скромный! И вот – все предложения, что ты дал: по интервью, съемкам, «горячим линиям», общению с населением, – на вот!

На первой странице косо и красно начертали «ПНХ!!!!».

– Понял, куда тебе идти? Но – бумага ему понравилась. Сказал: приятно в руках держать, шершавая, плотная. Лен, да? Вообще не знаю, что делать.

Эбергард вдруг заметил: Гуляев немного волнуется, и вот только теперь переход к «на самом деле»:

– А скажи, кстати, раз уж мы с тобой так говорим, Эбергард... Я вот посмотрел платежки прошлого года, этого... Прилично так идет через пресс-центр... Если совокупно. Как так получилось, что собрал ты всё в свои руки: и социальная реклама, и информирование, Интернет, полиграфия... Даже сувенирка. И всё – один человек. Магнат какой-то!

Магнатом Эбергарда называл только первый заместитель префекта Евгений Кристианович Сидоров.

– Исторически сложилось. Я ведь уже десятый год. Удалось проявить себя. В городе мы трижды – первое место по информированию. У меня две грамоты от городской думы... Благодарности за выборы от мэра. И округ наш...

– Ладно, ладно, это я знаю. А – всё-таки?

– Поддерживали префекты. И Колпаков, и Бабец. Депутаты. Сложилась отношения, видели пользу. Но так – всё выстраивал своими руками, мозгами. – Вот, начались – разговоры по существу.

– Ну, а кто за тобой стоит?

– Никто. Я сам.

– Ну как «я сам». Сейчас никто не «сам», «сам» сейчас не бывает. Столько денег – и он «сам». Нет, я вижу, что ты профи, всё у тебя налажено, высокий уровень, обязательный, честный русский мужик... Слово держишь. Хотя друзья твои и говорят, что личные проблемы как-то тебя сейчас... подкосили. Но – я не вижу оснований для такого вывода. Пока. Ну а всё-таки – кто-то есть? Ты скажи правду. Я ведь всё равно узнаю.

– В том смысле, в котором вы спрашиваете, я один.

– То есть правильно я понимаю... Что на сегодня... На сейчас... У тебя кроме Гуляева Алексея Даниловича никого нет?

– Да, – Эбергард улыбнулся и, давя вздох, взглянул туда, где всё равно настанет лето.

– Если я тебя правильно понял, если завтра префект решит, что такого вот Эбергарда в префектуре Восточно-Южного округа быть не должно, то...

– То меня не будет. – Зачем он добавил: – Но я не пропаду. Я за свое место не держусь. – Ошибка, гордость, откуда-то из СССР; нельзя им поддаваться, не так просто, без крови не выйдет!!!

– Нет. Ну зачем ты так. Я так вопрос не ставлю, – всё заготовленное у Гуляева кончилось, к кому-то он ходит советоваться «а дальше как?»; трудно ему – с министерства на землю, там, видно, отношения «по деньгам» выстраивал другой, а ему просто носили. – Но – мы еще не договорили.

– Что это вы такой бодрый? – Анна Леонардовна что-то вычерпывала из пенопластового корытца, какие-то морковные сопли. – Эбергард!

Он – вот сразу – почему? – спрятавшись за передвижную выставку «Малый бизнес ВЮАО: полет свершений» на первом этаже, позвонил Эрне:

– Почему не звонишь? Куда пропала?

Она отвечала весело, без удивления, напряжения или радости, ей хорошо было там, откуда Эрна разговаривала с ним, голоса и движение:

– У меня украли телефон.

– Не расстраивайся. Давай поедem купим новый. Любой.

– Мне уже Федя купил.

– Встречу тебя завтра после английского.

– Не знаю. Может, я не пойду завтра. Но лучше не надо. Согласовывай с мамой.

– Не знаешь, почему я не могу проводить тебя от английского до дома – шестьсот метров?

– Не знаю.

– Я подаю в суд.

– Зачем? – воскликнула Эрна.

– Вот из-за этого! Из-за того, что не могу тебя проводить!

– Из-за двух минут! Это не нужно.

– Не нужна моя любовь?

– Если бы любил – не судился.

– Это же не с тобой, а с мамой.

– Мама – всё равно что я.

И написал ей следом – одну, вторую эсэмэски «со скучился»; «а ты?», без ответа; кто? – это Сырцова махала ему из окна бухгалтерии: зайди.

– Месяц дорабатываю и... – Все, как хотела сама: пенсия, парники, рассада – но всё-таки заплакала, пробубнив в платок что-то около «со дня основания». – Всё равно всех сменит. Дочистил замов, добьет начальников управлений. Потом – оставшихся глав. Так удивился, что сама заявление написала: что это вы? На вас кто-то давит? А уши покраснели. Спрашивает, а заявление уже подписывает. Чего ждать, когда уже подкусывать начали со всех сторон. И ты – не жди.

Сырцова быстро успокоилась: сделано (больше Эбергард ее не увидит, крест, в «контактах» минус имя, не поздравит с днем рождения, не о чем, не для чего).

– Сказал убираться Овсянникову из управления здравоохранения, тот слег в больницу. Плачет. Я говорю: зачем вы так... Он говорит: не думал я, что префект сможет меня уволить. Я помог его мать соперировать, сестрой сколько занимались, детьми... А уж для самого – круглосуточно... Я говорю: эти люди добра не помнят. Им всем должны. Да этим людям – все по жизни обязаны! Им жизнь, блядь, должна! Монстра увольнять будут, так он и то – сперва последний кусочек выгрызет и успеет разжевать. Им никто не нужен. Он и своих-то назначает, и сразу – наблюдение, прослушка, все, все должны ему нести, чтоб ничего по пути не пропадало...

Пусть, но потом. Потом. Большая Эрна влюбится в какого-нибудь скота, и уже беременная – останется одна, родит свою маленькую девочку и вернется домой в комнатку с партой, где словно ничего не изменилось, когда меняется всё, – будет много и весело разговаривать с дочкой, и не рыдать, чтобы не испугать ее, и стараться справляться: всё сама потому, что сама виновата; и за каждой дверью будет стоять Сигилд с «а я предупреждала», «а я так и знала», «ну, кто был прав», «и что ты думаешь дальше делать?», «я не отказываюсь помогать, но всё-таки я не вечна, и Федя не обязан, ты должна осознавать свою ответственность, если уж родила – на что ты планируешь жить?»; и никого не будет замечать урод – он устает на работе, ему пора отдыхать и время наконец позаботиться о себе (сколько лет он тащил эту ношу! Эрна когда-нибудь вырастет?), а тут нагрузка на бюд-



жет, и нет сна – почему ребенок всё время кричит? Эрна будет беречь деньги и то, что кажется «самым необходимым», с каждым днем будет сохнуть, уменьшаться в те неподвижные времена, когда ночи врасут в дни и лягут бесконечной дорогой из бетонных плит, плита за плитой, от «часов кормления» и до, время тяжелых пробуждений, когда нащупываешь в памяти цифру дня и на каждом дне написано «такой же», «точно такой же»; она будет сидеть на лавочке чуть в стороне от пруда, ближе к детской площадке, покачивая коляску в пустоте, когда колясочные стаи расползлись по режимным клеткам, у школьников каникулы, быдлу рано, а у любителей собак пересменка, на воле – это ее скромная воля; Эрна будет хмуро думать о своем – о чем? думать ей особо не о чем, поэтому будет просто смотреть... Сколько времени потратил сам Эбергард, глядя ей в глаза, в ее глаза, удивлявшиеся ночному небу, устремленные в уголки тьмы, ограниченный провинциальной опасной, костлявой от сосулк крыши, на звезды, так смотрел и смотрел, и казалось: любовь – любовь его течет в Эрну, как клей; вот это – это не может не оставить следа: как плавали в море нос к носу, за ее головой в панамке горбатился спасательный жилет и она шептала: папа, не отпускай меня далеко, и он шептал: я тебя никуда не отпущу, и она шептала свое: и я. Как восхищала, приводила в трепет ее белая, изначальная кожа, не сработанная, крепкая и чистая, гладкая, – вот такой должен быть всегда человек. Его руки, несущие Эрну, их ночное дыхание, бесстрашный ежик ночных сказок... Не оставлял на дневной сон в саду. Дарил всё, что хотела и могла захотеть. Но главное – взгляд, что-то неуловимое, струящееся, ток – вот об этом он заботился в первую и послед-

нюю очередь. Посмотри на меня. Наверное, про глаза он напридумывал лишнего. Если души нет, то и под веками – просто глазное яблоко. Хрусталик какой-то. Управляющие мышцы. В окружении ресниц и бровей. И с сердцем никак не связано. Эрна об этом еще не знает, она будет смотреть и смотреть на свою девочку и не сразу заметит незнакомого человека, идущего без тропинки, кратчайшей линией к ней, а потом выпрямится и замрет, вдруг угадав, кто это, испугавшись (но всё-таки на что-то сразу надеявшись), но ненадолго – потащит оправданием, шитом из коляски свою позевывающую космонавтку: вот, это твой дедушка – и обе замрут: с чем он пришел? – и помолчав, всё-таки расплачется: папа... И он обнимет ее – малознакомый человек малознакомую... Сегодня мы улетаем, у меня есть дом в Испании, там уже всё готово, тебе будет помогать русская няня. И я буду там, с тобой. Мама сможет приехать к тебе погостить. Тебе надо отдохнуть, понять, что ты дальше хочешь. Когда ты решишь, я тебе помогу сделать всё, что захочешь. Что тебя здесь держит? И она торопливо выдохнет: только не передумай, ничего! И они будут там жить на стороне солнца, знакомиться, разговаривать, обсуждать. Он будет рассматривать ее лицо, «ну, пап...», не могу наглядеться, как удивительно сквозь мамины черты проступают мои, «все так говорят!», и будут вспоминать отсюда назад – каждый свое, пока их воспоминания наконец не сольются в общие, где они уже вместе, просто каждый запоминал свое, кто-то больше, а кто-то меньше... И может быть (но не обязательно, он не ради этого), когда-то вечером, уложив свою девочку, Эрна скажет ему, в седой затылок, что, в общем, очень любит его. И всегда любила, про-

сто... Он усмехнется: да? Это... Это, понимаешь, становится ясно не когда человек что-то говорит. Это просто ясно как-то само по себе. Это есть. Или нету, не слышно. Как Бог. Вот Бога нет. А любовь... и за всю жизнь, бывает, не понять, как же с ней, любовью, было на самом деле... Вот я не сразу понял, что люблю тебя и буду любить всегда. «А сейчас?» Что? «Сейчас ты чувствуешь, что я люблю тебя?» Он не бросится отвечать тотчас.

И если, еще потом, ей надо будет, пора уже, улететь пробовать в жизни что-то еще, расти, он не будет цепляться... я буду ждать вот здесь, каждое утро, позванивай, а хочешь – оставь мне свою девочку, и я буду разговаривать с ней, и рассказывать про тебя, никто не знает столько историй про тебя, и какая ты была и есть на самом деле. И с ней мы проживем по дням всё, что не получилось с тобой. Все домашние задания.

Индивидуально, за десятку, «решающий всё» человекотренер А. Шишковский занимался после общих «разборов ситуаций» в общероссийском гражданском правозащитном клубе «Право отца», в нагретом зале, в обозленных стенах.

– Садитесь, пожалуйста, – в первом ряду, это всё, на чем он посмеет настаивать; Шишковский приятельски улыбнулся, опять в белой майке, джинсах и кедах, сегодня обритый, с равномерно загорелой, словно выкрашенной головой, но постарше его (прикинул Эбергард), и постоянно щурится, жжет ему глаза что-то изнутри. Шишковский выпроваживал тупых, недопонявших, желающих дотронуться и запомниться и перейти наконец из пациентов в специалисты, личные знакомцы: «извините, у меня консульта-

ция», «отличный вопрос! с него и начнем следующий разбор! спасибо огромное!», «концентрация и – удар! давайте придерживаться выбранной тактики!» – и вопросительно улыбнулся черноволосой высокой женщине (Эбергард видел ее в прошлый раз, так и думал: встречу опять – и почему-то обрадовался, как любой мечтатель), с ходу, словно завершая давно начатое движение, намереваясь ее обнять в каких-то безгрешных лечебных целях, – женщина ловко отступила и спросила его суховато и кратко, услышав ленивые ответы, кивнула: спасибо, отдала визитку, как пропуск на выход, и быстро пошла к дверям; она узнала Эбергарда и разочарованно улыбнулась: «я так и знала», с насмешливой укоризной, – ей в деталях известен местный производственный процесс, как бы независимо ты ни стоял прошлый раз, как бы ни уходил красиво в самом начале проповеди; опять в строгом костюме для конторских дел, но сегодня неожиданно глубоко открыла грудь, и Эбергард едва взглянул ей в лицо и сразу на – оказавшуюся большой, да просто огромной – грудь: вот это да. Белые мякоти. Красивая девка.

– Наконец-то! – улыбка Шишковского мигнула опять: «насилу выпроводил, да разве это люди, так – материал, слабые, пустые, мы-то понимаем с вами, но приходится – надо и им помогать, кто им поможет, а вот вы – другое дело, вы – интересны мне чрезвычайно и важны, вы – уникальны, вас я ждал»; чуть послушал и сразу вскочил и прохаживался: сиделся на «разборе», либо купил шагомер и калории жжет, либо не может спокойно слушать, на отметке:

– Иногда мне кажется, что Эрна становится похожа на свою мать, просто узнаю...

Шишковский горячо и тесно вклинился:

– Эта проекция – обычное дело! Называется «синдром замещения». Так, а я забрал вашу квитанцию? Давайте, я уберу. Итак! Или – еще не всё? Давайте так: я начну, скажу, что я уже успел увидеть, выложу, как бы – поле, да? Плоскость настоящего. И – как бы – пространство, коридоры решений. Как вижу. А вы потом, если посчитаете нужным, продолжите. Если сохранится ээ... необходимость.

Эбергард подумал: сколько времени человекотренирует отводит на каждый прием? есть ли у него норма, как в поликлинике?

– Вы что хотите?! – вдруг выпалил Шишковский раздраженно и незнакомо, словно ломится кто-то посреди ночи в дверь; остановился наискосок от Эбергарда, оставив одну ногу позади, в упоре, – сейчас разбежится и прыгнет сверху на него, оставляя ему время ответить, но с угрозой «вот только раскрой свою...» – Спокойствия? – и сам ответил: – Да. Конечно. Заплатили же... У вас «синдром замещения»? Я это лечу. Уговаривайте, – Шишковский протянул растопыренную ладонь к его лбу, издевательски гудя, – внушайте себе: ваша дочь – не ваша жена бывшая. В девочке вашей собрано всё самое лучшее от мамы и – что самое важное, так? – всё лучшее от вас! Она-а – так нормально? не быстро едем? не пора сделать санитарную остановку? – заорал Шишковский и смял ладонями щеки, и тихо: – Она – это вы. Только лучше и чище. Говорите себе это постоянно. Потому что это правда. Замечайте – это легко! – черты своего характера в ней и радуйтесь! Чем больше вы будете общаться, тем больше ваша дочка будет похожа на вас. Не сдавайтесь! Не отступайте! Боритесь! Отступите, и вот тогда-то ребенок и усвоит всё, а не только

хорошее, мамино – то, что вы ненавидите. Ну вот. Легче стало? Еще бы! На свежий воздух!

Шишковский оперся задом на сцену, вытянул ноги, сплел крестом, посбивал с джинсов воображаемую пыль – театр, понимал Эбергард, не обращая внимания, но – внимательно слушай:

– Консультация закончена. Тра-та-та-та... – и Шишковский неподдельно зевнул, так, что и Эбергарду захотелось. – Или – всё же нет? Или вас еще что-то волнует?

И он вскочил и прошелся вдоль сцены (всё равно, подумал Эбергард, это я тебе плачу, я тебя нанял, это ты служишь мне, моя квартира больше, моя машина лучше, сверху я, и так будет всегда – ему показалось важным сейчас про это вспомнить), подбросил что-то невидимое на руке – яблоко? – и поймал и сжал!

– Я думаю, вас в первую очередь, попервей всего волнует другое. А именно: есть ли у вас дочь?

Эбергард улыбнулся, чтобы хоть что-то...

Шишковский обрадовался его улыбке – о! – так он и думал.

– Всё-таки надежда! И готовность бороться. Тогда ответьте себе, пожалуйста, на следующие вопросы, быстро! Готов ли я врать? Лжесвидетельствовать? Совершать подлог и подкуп? Подтасовывать факты? Клеветать на других? Ради своего собственного блага и блага немногих близких готов ли я, – Шишковский размеренно читал текст диктанта, не помогая троечникам интонацией и паузами, – отказаться от своего социального статуса, материального положения? Сменить место жительства на другую страну? Другой континент? Если на все вопросы «да», то непонятно, почему дочь еще не с вами. Если ответ «нет», – Шишковский, делаясь хорошим

запахом, нагнулся к отцу с сердечным участием, – у вас нет дочери.

И вернулся к сцене – первый раунд – и:

– Так? А-а, вы как-то не так собирались бороться... Годы, суды, доказательная база, судебно-психологические экспертизы и – время. Вы, как я заметил, очень надеетесь на время. Вернее, на законы природы и голос крови – на всё, что проявляется, должно проявиться со временем. Годы прошли, и вот – она идет к вам, а вы – седой и моложавый, такой загорелый, как вот я сейчас, катаетесь на квадроцикле, подтягиваетесь двадцать раз, особняк под пальмами, квартира в Лондоне и тотчас же – еще одна квартира в Лондоне, уже для нее, – запах денег и власти, и ключики от мира вот они, у вас, но вам для нее не жалко: дочка подрастет, повзрослеет, постучится, и вы – весь мир откроете ей... А если время не оправдает ваших надежд? И не сыграет за вас? А просто пройдет, равнодушно всех сминая, как проходит, – он протяженно произнес, – в абсолютном большинстве случаев, и вы где-то в скромной двушке с небольшой кухней, а может, и – сдали квартиру и перебрались на шесть соток, в домик, туалет за сараем, сильно потрепало вас, очень болит нога, ничего не сделаешь, время настало чему-то всё время болеть – у вас болит нога, да-а... И в спину вступает. Не каждое утро и встанешь... В новой семье тоже всё как-то непросто у вас... Не задалось, да уж ничего не изменишь... Сын, например, новый попивает, либо – очень простой такой получился человек... А всё это – особняки, Средиземноморье, машины марки «мерседес», это всё как раз получилось там, у вашей бывшей супруги, и у вашей дочери есть, а вы – сидите на табуретке, боретесь с мухами, отдыхаете от прополки

картофеля, но опрятный, конечно, следите за чистой рубашек, вот только если зубы немного подзапустили... Так это разве удержишь при ограниченности средств... Звуки раздаются при еде такие... щелкающие... Стесняетесь при посторонних кушать. Яблоко приходится вот так тоненько нарезать. А вы – очень любите яблоки! Зато весь – вот так вот! и вот так! в два слоя!!! – вы обмотаны победными судебными решениями, доказательствами, что вы любили и не отступали, ничего не жалели и всё отдали! А время, то самое ваше время, прошло, а дочь всё равно не возвращается. Ну хорошо – один раз! – заедет. Но так, что лучше бы и не заезжала. Так, что станет ясно: в следующий раз – на ваши похороны. Да и то если не будет в Бразилии в это время, там один перелет... Юные девы, мы с вами это знаем, жестоки. Понимаем почему: короток их день. Они и спешат, пока не стемнеет...

Он рассмотрел лицо Эбергарда с детальным вниманием стрелка, подошедшего к дырявой мишени:

– А развелись потому, что разлюбили, да?

– Ну... Да, фактически.

– Угу. А сначала – очень любили. Потом пожили и как-то разлюбили. Но сперва-то любили... А может, и – нет? Так просто совпало: пора уже с какой-то одной спать. Здорово, когда кто-то вкусно поесть приготовит – аб-еденье-е-е... И стирка. Опора, короче, какая-то рядом. Опора и горячие обеды. Регулярная физическая близость! И родители ее с жильем помогут, подкинут... Не предполагали? Ну, может, подразумевалось как-то. А любви и не было, показалось по молодости, мальчишка, глуп, ошибка, извини. А подрос, огляделся: столько доступного вокруг, многое покупается, да всё! Зарабатывай



и получай! Главное – идти всё время вперед и вверх, двигаться, пошагово! Толкаться, не уступать, достигать поставленных целей! А она, в смысле бывшая супруга, как-то не идет пошагово, стоит, как ни помотришь: лежит себе на диванчике, ей бы «просто жить» или хуже – «быть самой собой», чтоб «любили такую, как есть»... И тело... Куда-то исчезает ее тело. До полного неразличения. Уже вроде и не женщина. А что-то. И опора эта уже не подпирает ничего, осталась далеко позади, бесполезная вещь, загромождает, мешает, ясно: ничего уже с ней не будет – никогда, понимаете, как страшно, – ведь совсем еще не старые люди – а никогда ничего другого, каждый день одно и то же! – да еще раздражает, сука, своей никчемностью, а гордости сколько... Да надо другую выбрать, взять последнюю модель, со всеми наворотами и опциями, и попробовать, причем здесь «разлюбил»? Вам не хватает только уверенности, так я вам ее даю: у вас – всё идет правильно! ничего страшного, что пока побаливает, там, впереди и выше, будет еще одна ступенька, ступнете выше и поймете, что и дочка-то вам не очень подходящая попалась, и откуда в ней только всё это неприятное взялось? Точно, что не от вас! Какие-то тещины гены! С какой стороны ни глянь – не ваше, не подходит вам, совершенно чужеродный человек! И ведь тоже – не изменишь, упрямые все, ничего не хотят слушать. А надо же двигаться, нельзя терять время, упустишь возможность, когда еще... А сколько злости в ответ, гонора непонятного! Уважения должного – ноль, только ей все должны. А почему, спрашивается? В конце концов, у каждого своя жизнь, не хочет человек жить как следует – не заставишь, пусть остается! А вы – дальше. Маму получи-

лось... утилизировать? А с дочерью – да еще легче получится, опыт! Цветущая и растущая ваша жизнь отторгнет чужеродные организмы! Вы что больше всего на свете хотите, что первое в списке? Скорее! Я отсюда прочту: написано (как и у всех): приращения удовольствий – так зачем бороться за дочь из-за того, что сейчас, какое-то небольшое истекаемое время, вам что-то такое там... дискомфортное... кажется? Не отвлекайтесь от движения, неподвижность – отставание и смерть! Вы знаете, что именно для вас – лучшее решение? Возьмите в аренду гектаров сорок сельхозугодий, километров сорок – шестьдесят от кольцевой, занесите в районную администрацию, чтобы изменить предназначение земель, нарежьте и продавайте под коттеджное строительство – земля улетает. Даже без коммуникаций! Или вот парковки сейчас – тоже тема! А самое лучшее – домик начните строить. Из клееного бруса. Правильно цвет подобрать для наличников – сказка, как смотрится... Сауну с купелью. А лучше – русскую баньку, а? – Шишковский взглянул в часы. – Я – всё. Оздоровил. Хотите что-то добавить? Нет, вопросов не надо, на вопросы мы отвечаем на общем разборе ситуаций, приходите, заранее можете купить билет. – И спросил кого-то присутствующего на задних рядах: – Там еще кто-то оплачивал? Так запускайте, мы здесь закончили. А вам – большого счастья!

Движение наружу – мимо туалета с безжалостной табличкой «Служебное помещение» и торговли кошельками, прошел в буфет и попросил чаю, буфетчица после презрительной паузы отсчитала сдачу, потом крикнула:

– А чай?

Эбергард ровно, словно нес внутри тела чашку с живой водой, осторожно выбрался за двери, украдкой вздохнул, плиточной дорожкой двинулся на парковку, увидел: иду за той, красивой черноволосой женщиной, сегодня оказавшейся еще и большегрудой, посмотрел на ее бедра, поспешил и догнал.

– Я так и думал, что у вас маленькая красная машина, – голос дрогнул от неожиданного волнения.

– Не расстраивайтесь, – сказала она. – На первом сеансе Артуру важно клиента придушить, чтобы клиент пришел еще – договорить, поспорить. Он каждый раз вынимает мозги по-новому, но – про одно и то же. Клиенту будет казаться: он больше понимает в себе и сможет изменять свою судьбу, судьбу вообще любого, а на самом деле – человек отучается ходить сам, каждую неделю будет прибегать к Артуру... Очень выгодное дело.

– Не расстраиваюсь. Я вообще никогда ничего не чувствую. Броня. А под ней – ничего. Сейчас последует ужасный вопрос: какой у вас размер груди?

– О-о, а папаша совсем поплыл... За кого боретесь: сын, дочь?

– У меня дочь. Похожа на принцессу.

Эбергард сел к ней в машину, отодвинул сиденье, покосился на открывшиеся колени, на профессиональные чернильные пятнышки на ее пальцах – среднем и указательном, выкрашенные волосы. Присмотрелся: брови были нарисованы, кто-то их равномерно сгустил и выгнул.

– Будете? – Термос с кофе, пирожное из прозрачного ларца.

– Вы одиноки? – Эбергард испугался, потому что готов был продолжить «вам нужен любовник?»; глупо спрашивать, каждой нужен; смотрел, как насмешливо

слизывает она с пирожного крем, вывалив язык. Рыхлый, пожилой язык. – Это я бескорыстно спрашиваю. Я же с вами общаюсь бескорыстно.

– А разве так бывает? Меня зовут Вероника. Вероника, без сокращений. В двадцать пять лет я поняла: Лариса мне не подходит. Я решила: меня будут звать Вероникой.

– Вы похожи на спортсменку.

– В прошлом. Сейчас йога. Увлекаюсь эзотерикой. Если бывает время, пишу философские труды. Философия помогает мне полюбить то, что я не люблю делать. Например, мне не нравилось, как и многим, качать пресс, а сейчас я это люблю! – Теперь она грызла яблоко.

Когда Эбергард слышал «эзотерика», он представлял себе младенца со слоновьей головой, с длинным хоботом и в трусах, напоминающих памперс.

– А что вы здесь, с этим... эзотериком?

– Ищу клиентов. Я адвокат: разводы, споры по детям, раздел имущества. Работаю отдельно, свой кабинет. Талантливому адвокату так выгодней, – она дважды коснулась Эбергарда – плечом и прохладными пальцами; так свежеразведенные и быстро нажравшиеся самостоятельности одинокие матери сразу же, в первые минуты с любым минимально подходящим взрывают, как советуют психологические журналы, «физический барьер», уничтожают дистанцию, сберегая драгоценное время, – количество боевых вылетов ограничено, из таких получаются лучшие жены, если не передержать их на ветру, тогда мясо становится жестким и мстительным; и он почуял это большое, не по-человечьи одетое тело, томяще распухшее, раздавшееся на груди, чуял не как тело, а как сложенный, складной инструмент, как веер, парашют,

уложенную тесно палатку, саблю в чехле, рыбу – не тело, не то, что потеет.

– Вы – талантливый адвокат?

– В Интернете всё про меня есть. Я доктор наук.

– Ну да. Какого-нибудь университета в маленьком американском городе.

– В Брюсселе, – и она, улыбнувшись, отдала ему визитку.

– Буду вашим клиентом.

– Если надумаете, пожалуйста. Лишь бы это не было связано с моим размером груди. А вы кто?

Эбергард хотел сказать «человек», или сказать «чиновник», или «женат», или «отец девочки», или «для вас – никто», но вылез из машины; адвокат лихо развернулась и уехала, не попрощавшись, издали весело посигналив отекшим чернорубашечникам, поднимавшим шлагбаум на выезде пультом с заедавшей, черт, кнопкой.

– Нашел там адвоката, женщина, дешевле того, – разбирая визитные карточки. – Показалась вменяемой.

– Красивая? – почему-то спросила Улрике; напряжение в голосе, или это его напряжение отразилось.

– Да ничего так, следит за собой. Пожилая, – чтоб без напрасных волнений, врал, – внуки.

– Эбергард, – как песенку, и еще, чуть погромче, – Эбергард.

На голос – он пошел: о, господи, ну у тебя-то что?!

– Где ты?

В спальне на краю постели – словно это не их постель, незнакомые цветы на простыне и наволочках, непромятая белизна и гладкость – Улрике ждала его в тонкой прозрачной рубашке до пят, красиво распустив волосы, блестели глаза – она смотрела на свечку

из красного воска – зажгла и поставила на ковер (накапает воском – хозяева не обрадуются при сдаче квартиры, покупайте новый), – Улрике хотела потешить его разнообразием, но так не вовремя, ничего не хотелось, спать, спать одному.

– Красиво? У тебя хорошее настроение сегодня? – спросила слабо, словно напугали ее. – Ты не злишься на меня? У тебя легко на душе? Ответь, как есть. Это очень важно сейчас.

– Всё хорошо.

– Правда? Мне показалось, ты хмурый.

– Тебя увидел и – всё хорошо.

– Ты любишь меня?

– Да.

– И я, – она поднялась, – люблю тебя, – прижала его руку к своему сердцу, к груди, – навсегда. И сейчас, и после, и совсем после – только ты, понимаешь? – и подвела его к полке с иконками и пластиковой бутылкой со святой водой. – Вот, – и прижалась к нему, плечо в плечо. – Вот мы. Вот такие. Прости нас, Господи, и помилуй. И помоги. Давай помолчим и попросим. – Эбергард гладил ее по волосам и ждал, опустив глаза на свечку... клонится пламя... не закрыл окно в кабинете... не написал на завтра план... что хочу попросить, и так ясно.

– Всё, – Улрике вздохнула: счастье! – и промокнула пальцами глаза. – Сегодня тот самый важный день, с него начнется самое важное наше время. Сегодня мы начинаем давать жизнь нашему малышу, – она смущенно зажала ему рот: не говори, но и так бы – ничего не сказал.

После, еще после (ведь спал уже!), он обнаружил себя бодрым и бессонным, хоть вставай и уходи на цыпочках писать план на завтра, и думал, обнимая Ул-

рике: вот это, эти съемные стены, свеча, конец весны, то, что днем шел дождь и грохотало, адвокатша – всё это будет иметь значение для еще одного человека? Мальчика. Или девочки. Вся судьба – зависеть от именно этого «сегодня»? Включая именно такого Эбергарда? Ох, нет, пусть возьмет глаза... или губы. Что-то одно. Походку. Но – Эбергарда всего – пусть не берет, пусть всё у него, у нее будет своим, не одолженным, не хочу потом отвечать, думал Эбергард, я – просто не смогу ответить.

Мне нечем.

Свечка... не оставлять огонь, задул, но все равно краешек спальни озаряло испуганное слабое мерцание – сердцебиение, его телефон.

– Не спишь? – сам-то Гуляев, видимо, успел провалиться на час, да разбудили. – Но время военное. Положение чрезвычайное. Завтра в десять ноль-ноль надо нависнуть на окопы противника. Одно дело... – боится телефона, но не просить же Эбергарда приехать – зачем ему знать, где Гуляев живет: дом, коттедж, шале, особняк, да и хочется поскорее вернуться к подушке, переложив тяжести на вьючное животное, – вот пусть он не спит и боится. – Знаешь угол Институтского проспекта и Руднева?

– Да, – участок меж «генеральскими» домами, что опекал монстр, а потом продал «Добротолению».

– Там – население какое-то... – Гуляев прислушивался, долетают ли его камушки в колодец, на какой секунде раздастся всплеск.

Населению (генералам и маршалам ВОВ) стройка не нравится: снесут детские площадки, кусты сирени, зажиточное обособление, знаки особых заслуг в виде тропинок и рожицы; вызывает у населения ненависть дом для богатых и наглых, без спроса

сажаемый прямо под окна, загораживая вид на Ярцевские холмы и – весь белый свет; еще – Аллея Героев: старики, летчики и танкисты с шестидесятих годов взяли после естественной смерти боевого товарища сажать елочку с памятной табличкой – кто, и – вот уже аллея, за каждым деревом ухаживают остатки семей...

– В курсе.

– В понедельник застройщик попытался приступить, но проявлено недопонимание... А застройщик, серьезная компания, хорошо так стоит в городе...

– Понял.

– А скоро, как ты знаешь, большой праздник. Их позовут, – Гуляев подождал, «понял кого?», – там, – «понял где?», – отметить. И они собрались группой подойти к человеку, что их пригласил, и свое вот это, необоснованное, высказать... В такой святой день.

Дожившие генералы и маршалы, подкласс шаркающих, в наградной чешуе, когда Путин на кремлевском приеме юбилея Победы пойдет чокаться вдоль столов, сговорились захрипеть: товарищ Верховный главнокомандующий, остановите беззаконие, творящееся в Восточно-Южном округе, – там куплено всё и оскверняют память ветеранов...

– Завтра туда выезжает папа. В десять, – замами, главой управы не закроешься, монстр должен понравиться вонючим седобровым, а они в благодарность поглядят Путину рукав, слезливо прошамкав (пусть один процент вероятности!) «нас префект уважает». – Должны быть средства массовой информации.

– Хорошо.

– Но такие... Объективные.

– Будут разные. Но напишут, как надо. И покажут.

Гуляев вздохнул – новое дело, как повернется?



– Успеешь? И сам это – оденься посерьезней, часики какие-нибудь. Префект на часы всегда смотрит. Подстригись с утра. И не улыбайся, Эбергард, я тебя прошу. Хороший ты, ответственный парень, всё правильно понимаешь, но ему всё время кажется, что ты как-то не так улыбаешься, а лучше, чтоб он тебя вообще там не видел. – Но сделай всё. Получится – молодец, Гуляев; нет – я поручал всё Эбергарду.

К без пятнадцати подтянулись все. Собрались не согласные: предпенсионные женщины с папками жалоб, заявлений, почтовых квитанций и формальных отписок, молодые матери, измученные детьми, и нервные, тонконосые мужики, похожие на отчисленных аспирантов, – не выходили из-за женских спин и раздавали с настойчивостью плакаты «За сколько вы продали совесть?!», чтоб не держать самим; стенбитное орудие – пятерых героев СССР в парадной форме – выдерживали и заряжали на детских стульчиках в еловой тени Аллеи Героев; сочувствующие перевешивались с балконов, собаководы кружили по дальним, непересекающимся орбитам; строителей представлял вагончик с выбитым стеклом и напыленным приговором «ПОЗОР!» метровыми буквами на тылу; на повороте на Руднева выставилась ГИБДД, чтобы префект не отвлекался на светофоры.

Завезенные журналисты (Эбергард нанял автобус) фотографировали сирень, друг друга и курили с наслаждением выпускников или железнодорожных узников на долгожданной длительной остановке в Ржаве, где меняют тепловоз, ищут гастарбайтеров в ящиках под вагонами и быстрые (туда-сюда! туда-сюда!) согнутые старушки носят во тьме сигареты, пиво и орешки. СМИ он собрал из травоядных, сосущих

бюджет «Вечерней столицы», «Городской правды», и никому не нужных «Столица и недвижимость», «Город главный», «Златоглавые просторы», и пары интернет-порталов, работающих за «поесть», – прикормленных для внушительности попросили привести родственников и друзей – щебетать, клубиться грозным, готовым жалить вопрошающим роем, по окончании всем обещан обед в ресторане «Восточный» и – автобусом до метро.

Вдоль дороги, загораживая Аллею Героев, построились заместители префекта для приветственного рукопожатия, соблюдая известную им очередность, к ним присоседился и.о. начальник окружного УВД (начальник на больничном пережидал грозу); туда же, вровень, мечтал встать начальник оргуправления Пилюс, но боялся – ногу поместил на желанный уровень, но тушей всё-таки примыкал ко второму (помногочисленной и повыше за счет размещения на бордюре) ряду – руководству управы Верхнее Песчаное, хозяевам территории.

У желтого «школьного» автобуса с зашторенными окнами с ОМОНОм под видом ответственных жителей района стеснительной толпой собрались ДЭЗовские рабы из подрядных организаций на случай, если уместно будет покричать «только о себе думаете!», «а под вашими елками только алкаши срут!», «фитнес-центр нашим детям нужен!». Одинокие посланцы городских департаментов (вдруг префекта жители спросят? префект не может чего-то не знать) бродили неприкаянно по лужайке, мобилизованные телефонограммой, но не выходя за пределы некоего силового поля, обозначенного патрулями ОВД «Верхнее Песчаное»; депутат Иванов-1, режиссер, подъехал последним и, не утруждаясь выяснением, зачем собра-

ли, последовательно перецеловал звать, особенно обрадовавшись Эбергарду, тряс за плечи, называл «Колян» и обещал встретиться наконец с «твоими колясочниками» – приняв его за начальника окружного социального управления Николая Лукьянова, уволенного месяц назад.

Эбергард, зевая, вышагивал от выстроенного войска к Руднева и обратно вдоль тополей, стараясь не замарать начищенных туфель, думал, чтоб не волноваться, не бояться того, что казалось главным, но главным становиться не должно: не ждать больше, начинать с адвокатом, подавать в суд; а потом забился под ближайшую ель.

– Еле нашел! – к нему забрался Хассо. – Прессы набежало...

– А ты что здесь?

– Соседний район. И вообще. Хоть посмотрю, как префект с населением общается. – Зачем спрашиваешь? Хассо неприязненно отвернулся; мечтал попасться на глаза преданным и опрятным, запомниться ласковым и покорным, проявить себя и – отсрочить.

– Да ты на повороте встань и платком маши: сюда! сюда! – прыснул Эбергард: и мне приподняться хоть над кем-то и выпрямиться. – Побеги перед машиной: дозвольте, я испробую, а вдруг мины?!

– Префект! – неприятно выдохнул Хассо и быстрым шагом достиг подравнивающейся и охорашивающейся окружной и районной власти, точно воткнувшись за Пилюсом, но на полшага – впереди.

Жители развернули плакаты и подымали своих героев СССР, с раздражением напоминая, кто приехал и что (ну папа!) договаривались сказать; и изогнулись зазубренным серпом, подковой: вот сюда –

к нам подойдут и встанут, а мы вокруг сомкнемся; чиновная рать стыла в неподвижном шеренгах, ожидая оживляющих рукопожатий, – один Эбергард забыто остался под елью, словно пережидал ливень, как-то незаметно выпав сразу отовсюду: ну это ничего, ничего, так.

Евгений Кристианович Сидоров всё рассчитал: дверь «ауди А8» распахнулась напротив его полупоклона, монстр ловко и молодо выбрался наружу, и тотчас его преобразила ударом молния: замедлившись, раздавшись, нагнув голову, монстр вразвалку, с дополнительным усилием отрывая ступни, пошел на онемевший, докучливый, бессмысленный мир животных и насекомых – жители загоготали и затрепали крылами для ободрения себя, пока не началось, не понимая, что для них всё давно уже – закончилось.

Монстр передвигался, борцовски оттопырив локти и переваливаясь, словно выбирался из воды, – эволюция, недостаток пищи выводит расплодившихся крупнозубых рыбащеров на сушу – и мимо; мимо ожиданий и заготовленных «выражений лиц» и представлений, уже заметно изнемогая, волочил ноги дальше – к жителям, замершим коллективным фото (воспитанные люди дают гостю высказаться первым), нацеленно, словно приметил кого-то знакомого вдруг, дай только дойти! (жители наскоро проводили инвентаризацию своих: к кому?!), служилые люди, не ломая строя, семенили за монстром следом, тесными шажками, какими крадутся в метрополитеновской давке или догоняют «сейчас, сейчас» годовалого малыша (Эбергард затесался в ряды последних, облегчение – и он! и он! свое место! обернулся Гуляев: ты здесь? а журналисты? вижу, порядок!). Войдя в приготовленный ему залив, монстр остановил рабо-

ту нижних конечностей, раз-два! – и все заметили: то, что он видит, то трудноуловимое, от чего позволяет себе отвести глаз, чуть выше и дальше, за спинами, да что же?! – монстр смотрел на Аллею Героев, на генералов и маршалов ВОВ, героев, переставших жить, вместо – начали расти вот эти хвойные, колонной по два, выстроаясь по росту, кто повыше – те пораньше... И монстр погладил плечо ближайшего подрагивающего, позвякивающего металлонаградами старца, и вам предстоит – в вечнозеленый строй: нет, не надо ничего говорить, зачем, вам-то говорить не надо, вы свое исполнили и – низкий поклон, разве он, префект, не видит? – говорить теперь должен и будет – только он:

– Кто? – спросил монстр. – Кто допустил это беззаконие? Кто посмел пойти против памяти нашей? Нашей скорби? – Пожевал еще пару неподошедших слов и повернул голову направо: может, здесь прямо сейчас окажется вот этот самый человек? Но первым по правую руку, понятно, сутулился только верный Евгений Кристианович Сидоров, страдающий в собачьей немоте, что не может тотчас, как он всегда, как только он, Кристианыч, и умеет (а только так и должно для нашего префекта), броситься и первым принести в зубах ответ на этот прозвучавший вопрос. Кристианыч склонил побитую голову под струями незримой, сильно бьющей в затылок гидромассажной воды, выжидая, когда же префект для симметрии и продвижения представления посмотрит наконец-то и налево.

– Первый заместитель префекта, – бесцветно продолжил монстр, уединившись, не замечая уже никого, остался один, он раздумывал вслух, покачиваясь на гамаке в садово-товарищеской будничной тишине, и шептал себе открывающиеся ранящие исти-

ны, поздно ужасаться которым – сделано, – Сидоров, вы спрашивали людей, когда разрешали строительство? Нет. – Жители пустили по рядам волну, но смолчали: дело шло на лад, теперь – не мешать. – Вы встречались с этими людьми? Нет. Вы забыли, кому мы служим? Да. А есть ли у вас за душой что-то кроме личного интереса? – Молчанием префект дал понять, что ответ на этот самый вот вопрос всё-таки имеет для него какой-то смысл, ответ (прозвучи он) может смягчить как-то, ведь во тьме крошечной самых страшных бездн падения нет-нет да и сверкнет какая-то милосердная искра божьего пламени... Большого для спасения он сделать не вправе... – Нет. – И префект вздохнул: вот оно что, только и всего-то. – Уволены. Я даю поручение прокуратуре, – монстр, не оборачиваясь, знал, что окружной прокурор привстал на цыпочки, боеготовно нахмуренным образом кивая, – проверить, почему вот это самое должностное лицо разрешило приступить к осуществлению строительных работ до вынесения судебного решения по иску жителей?! И детальнейше изучить: кто согласовывал этот проект и нужен ли он нашему округу?! Привлечь депутатов. Ветеранские организации. Подняться всем! Нужно – я пойду к мэру! Нужно мое мнение... – монстр дождался, когда к нему поближе протиснутся камеры и прорастут девичьи руки с диктофонами (Эбергард переглянулся с Гуляевым: ничего? всё по-взрослому, как у больших), – пожалуйста: Аллее Героев быть! Вы, ветераны, – наша гордость... Свобода и независимость нашей великой Родины... И я, как префект, назначенный нашим мэром... Очистить земельный участок от строительных конструкций. К четырнадцати ноль-ноль. Восстановить травяное покрытие. И высадить

цветы. – Цветы, свет упал на щеки и глаза монстра, он сморщился, покривился, болезненно раздвинул губы, и все вдруг поняли: префект так улыбается, ему радостно, он вдруг обнаружил, что всё это время он не был один, человек не один: и в мерзости любой всегда найдутся хорошие люди, верить в добро. – А что это мы стоим? Не откажетесь выпить со мной чайку? – Одной рукой подхватил за локоть ответно захрипевшего ветерана и другой рукой за локоть второго (послезавтра эти обломки, этот мох будет в Кремле, а через полгода наконец-то передохнут), третьего подхватил Гуляев, указуя желающим: да вон туда! – туда, где на крыльцо школы с углубленным изучением французского уже выбегали: идут? накрывать? – белогрудые официанты. Все – вдруг сравнялись и перемешались и веселым, шумливым потоком потекли вместе; жалобы, справки, плакаты, ночные заготовки жгучих слов оказались не нужны – братья и сестры! – служивые с особой, выстраданной стремительностью разъезжались, жители радовались: так быстро... а мы-то... журналистов гнали через дорогу на кормление, Эбергарда нашел Хассо и обнял, как после боя: «цел?».

– Ну, наконец-то ты, вижу, расслабился...

– Какой же он человек... – обратилась к Эбергарду седая женщина с малиновым обручем в волосах, уводившая домой слепую маленькую маму – приводила послушать, посидеть на раскладном стульчике под сиренью, – я уже думала, таких не бывает. И надеяться в нашей стране не на что, – ей хотелось сейчас же кому-то это сказать, мама не поймет. – А сейчас слушала и поверила: всё у нас обязательно наладится!

Эбергард пьяно, не он, кто-то, но его голосом спросил:

– А вы правда не понимаете, что через год на этом месте будет стоять дом?

Женщина, казалось, недослышала, и ранила ее только интонация, она на мгновение закрыла глаза и отстранилась, словно ветер бросил в лицо обрывок паутины, а руки заняты, нечем смахнуть, отвернулась и повела маму свою подальше от скверных слов, только запоминаясь обернулась, по облику Эбергарда пытаясь понять: так? зло шутит? может ли такой – знать правду? и зачем, зная, что сделает больно, человек делает больно? уже не радовалась, а как-то неуверенно оглядывалась вокруг, на расходящихся других: а что увидели и поняли они? – словно и сама наследственно начала слепнуть.

Эбергард попытался стереть, всё выправить тяжелым вздохом и за утешением взглянул на Хассо – но глава управы Смородино пропал, почему-то напрямую, по траве добежал до машины и погрузился, в ярости хлопнувшись дверью.

– Даже не попрощались, – позвонил Эбергард. – Что ты так подорвался? Что-то в районе?

– На хрена ей так сказал?

Ошибся номером? Эбергард не понимал:

– Кому? Хассо, ты понял, кто тебе звонит?

– Той бабе – ты на хрена ей так сказал?! – Хассо не хотел, чтобы водитель вникал в детали.

– Вот той... Не знаю. Просто сказал... Да что ты так?

– А если бы она побежала к нему и сказала: а вот ваши, из префектуры, такой-то и такой-то... – Вторым «таким-то» Хассо называл себя, он же стоял рядом и не протестовал, получается, соглашаясь! – Сказали так и так. И что бы тогда?! – И возмутились бы заново ветераны, и для верности заплакали бы всё-таки перед Путиным – так накручивал Хассо.



– Слушай, да кому это...

– Мне!!! У меня есть обязательства. У меня есть семья. И свое будущее я – буду защищать! А ты последнее время... Короче – как хочешь. Я тебе давно говорил. Но ты меня не услышал! Всё, понял?!

Понял он, понял, Хассо теперь имеет право говорить так. Эбергард больше не шепчется с префектом в комнате отдыха, не «решает вопросы», теперь не ясно, что же он на самом деле может, то есть не ясно, кто он.

Эбергард диктовал пожелания, адвокат записывала: совместное проживание – два раза в месяц по двое суток, с пятницы до вечера воскресенья; совместный отдых: зимние каникулы – неделя, летние – месяц; сопровождение дочери на внешкольные занятия – три раза в неделю; организация и проведение дня рождения с одноклассниками – каждый второй год; празднование Нового года вместе – каждый второй год; совместное участие в крестном ходе на Пасху – каждый год (Сигилд вообще некрещеная!); в случае болезни – беспрепятственные посещения на дому; походы на родительские собрания в школе – через раз; выезд к бабушке – ежеквартально, на выходные (не вместо, а плюс к тем, что два раза в месяц).

– В случае согласия той стороны с моим графиком обязуюсь дополнительно к ежемесячным выплатам оплачивать все медицинские процедуры, кружки, репетиторов и покупку дочери одежды. Карманные расходы Эрны – тоже за мной.

Адвокат (Эбергард путался – Вероника? Лариса? – забыл, не обращался никак) дописывала:

– Могут сказать: совместное проживание нарушит учебный процесс...

– У Эрны будет своя комната, компьютер, отдельный комплект учебников, если потребуется, репетиторы.

– Готовлю исковое. Мой гонорар полторы тысячи долларов. Предоплата. – Адвокат подготовилась: что-то засеребрилось на висках, гуще выгнулись брови, прозрачная блузка открывала огромные, переполненные бюстгальтерные чашки, ярко-красные туфли, красная сумка, губы, серьезно увеличенные помадой; на дневном свете (встретились в кофейне «Чашка-другая») он познакомился с возрастом: лицо пятнистое, с какими-то впадинами и разрыхлениями, много работает, ее некому кормить, Эбергарду и хотелось, чтобы его адвокат был голодным. – Многое зависит от силы характера вашей бывшей супруги. И очень важна позиция опеки, – она не сказала про «мнение дочери», а Эбергард побоялся спросить, но отважился на:

– Это клиенту. Что скажете не клиенту?

– Если дойдете до суда, а до суда доходят самые стойкие, суд разрешает конфликт между бывшими супругами. Это обязательно! Но юридические реалии лишают обе стороны иллюзий. Часто главное в таких спорах не ребенок, а желание наказать бывшего, бывшую... В нашем случае (вы же меня наняли, теперь «мы») решение суда – это большие такие ворота. Ворота могут открыться пошире. А могут – почти сомкнуться. Узкая останется щель. Но в любом случае, – Вероника-Лариса подгрехала отсчитанные им деньги и взялась пересчитывать, – никто не останется прежним после суда. – Пересчитала. – ...Четырнадцать... Пятнадцать! Всё точно. Вот мой мейл. Люблю отвечать на письма. Если напишете, обязательно отвечу. Даже ночью. Я очень поздно ложусь. В два, в три...

Если вы напишете – могу и позже! С вами так легко. Но, я вижу, постоянно гнетет что-то вас...

– Дочь.

Адвокат не поверила и протяжно выдохнула:

– Не-ет. У вас – затравленные глаза. А жизнь так прекрасна! Вот я научилась жить в мире и покое с собой. А раньше не умела и через многое прошла. А теперь – радость и покой. – Сколько раз он слышал более ранние версии этой песни «необыкновенной, сильной, умной, самостоятельной, красивой, удивительно чувственной, успешной и застарело одинокой девушки». – Как-нибудь встретимся, я постараюсь выкроить время для вас и научу быть счастливым.

– Но вы, наверное, очень заняты...

– Не отвечайте за меня. Я как раз завтра утром могу. Если неудобно утром, могу вечером. Или послезавтра. Я приношу удачу. Признайтесь, – вот опять она тронула его руку, – Господи, какие у вас холодные... Признайтесь: с моим появлением в вашей жизни многое изменилось в лучшую сторону.

Хотел промолчать или кивнуть «да», ему не жалко, но почему надо всё время неправду? – неужели не хватит денег?! – а нельзя «только деньги»?!!

– Нет. И если у меня появится свободное время, я... лучше... – что он сделает с Улрике – пойдет в кино? погуляет... где теперь гуляют? что он с Улрике? – Побуду один, – и добавил, вздрогнув от неловкости, как вздрагивал в детстве, когда у героя телевизионного фильма не хватало денег заплатить за еду. – Не обижайтесь.

– Я не обижаюсь. Я обижаюсь только тогда, когда сама решаю обидеться. Меня невозможно обидеть потому, что у меня есть только одно правило –

без всяких правил. Я покладистая. Из меня можно сложить любой кораблик, и он поплывет. Но всё равно...

– Никому не нужны, – последнее время ему всех хотелось унижать; отмщение – кому?

– Да нет, – вот и споткнулась она, и поискала что-то рукой вокруг губ. – Или – да. Я уже привыкла жить одна. Это... особое состояние, – ей хватит, ухажу. – Возьмите справку из психдиспансера, что не стоите на учете. Характеристику с места работы. Свидетельство о рождении дочери. Узнайте, как ее дела в школе. Надеюсь, учителя вами очарованы. Как и все. Вспомню что еще – напишу.

Поехал в будущую квартиру отдать деньги хохлам – долго не открывали, грохот и сверление в дальних комнатах; не пригласили «походить» полюбоваться: безупречные углы и швы междуплиточные; Эбергарда не знали, знали «хозяйку» – Улрике; лишь минуту постоял за порогом, смотря в чрево своего будущего, на возникшие плавно загибающиеся стены, проступающие черты комнат, – и чуял твердое обещание: всё скоро изменится, – и набирал, набирал, звонил Эрне – и с разгона набрал Сигилд:

– Почему Эрне не берет трубку? Я уже час звоню.

– Если бы ты интересовался жизнью дочери, ты бы знал: она в бассейне. До пяти.

– Я отвезу ее домой.

– Я не разрешаю. Она прекрасно доберется сама на троллейбусе.

– С мокрой головой? Слушай, какая необходимость, чтобы девочка в двенадцать лет одна...

– Не ори на меня! Ее заберет мой муж.

– Скоро суд тебе...

Не услышала, отключилась – он же отключался, делал больно – теперь ее черед!

Господи, господи, как он мог выбрать ее, столько прожить?!

Здравствуй, Эрна, я... Успеваем: у стены, где над лавочками прибиты, привинчены, развешены фены – мимо – еще пятнадцать минут, дрогнули напуганные стрелки; сквозь стекло, там, за «лягушатником» с беременными и матерями грудных ихтиандров, ближние, дальние дорожки – одни шапочки, вот эта? Нет? Слишком далеко. Хрипят старцы тренеры и заламывают руки: вот так, вот так загребать: и раз! раз! раз!.. Сразу забрать у нее номерок гардероба, чтоб не успела подумать «не надо», обнять, поцеловать, и – давай номерок; посушим волосы; мужчин осмотрел, проверил в буфете: нет, и этот – нет, а тот вообще чей-то дед (урода не запомнил, туповатая такая морда, вперед брюшко); закрепился возле дежурной (проверяла абонементы, зазывая: «Покупаем бахилы!»), на выходе из раздевалок, первым, по справедливости занял очередь – так давно не видел Эрну, и затрясло: а теперь увижу – моя дочь сейчас выбежит, как вон та девчонка, не выдерживал и всё-таки оглядывался; да нет никого, работает же где-то урод, зачем срывать ему ради мелочной этой... уже всё, всё, успел – первый! – ну, еще дернулись стрелки, почти!..

Урода он узнал сразу, сорвался, лопнул трос, и двинулся навстречу, не успевая думать; урод осматривал одевающихся, обувающихся, равнодушно и щекасто посматривая вокруг, такие ребята любят прижимать к пузу барсетки и сосредоточенно чистить фисташки и ходят так, словно им натирают трусы. Не груби. Как бы ни хотелось, как бы давно к этому ни шло... Что бы ни случилось, решается не здесь. По-

беждают терпение, настойчивость. И ресурс. Вы Федор? Я отвезу Эрну сам.

– ...Ты – Федя? – ушел звук, сам весь растворился в нетерпеливом редчайшем счастье застать зло в человеческом, уязвимом для боли облике.

Урод вытянул свою конечность – пожми, подержал невстреченной и убрал.

– Я отвезу Эрну домой.

– Не, – это сказал урод, – я сам ее отвезу.

Эбергард схватил его за горло, толкнул, потащил вон мимо вскочивших мамаш, охнувшей буфетчицы, срывая и отбрасывая упирающиеся руки, вытесняя за двери, по ступенькам...

– Ты че? – отпрыгнул урод и строил из себя что-то серьезное, выставив кулаки. – Че ты?

– Это моя дочь!

– Ты бросил ее. – Вот она, подлая дрессировка, готовность поиграть в «нового папу», воспитала Сигилд животное; они потолкались, по-пацанячьи жмурясь, и наконец Эбергард как следует попал кулаком – в морду! – Да я тебя посажу!!! – отскочил урод и начал щупать скулу. – Иду сейчас в травмпункт. Получаю справку. Заявляю в милицию. Я тебя посажу.

– Ты хоть раз в жизни видел – живого милиционера? – Эбергард не смотрел на него, от парковки неслась, огибая лужи, Сигилд, распахнув пасть, изготавливаясь к утробному визгу, – результат должен быть гарантирован удвоенными усилиями, гардеробный номерок получают они... Руки воняли чужими лосьонами, кремами, мазями, сколько надо втереть, вылить на себя с утра, чтобы до сих пор так... убрав руки подальше от лица, на еще подрагивающих ногах он побрел к машине – Павел Валентинович высился у машины нем и недвижим – видел.

– Есть влажные салфетки? Давайте в префектуру, – Эбергард оттирал руки – всё равно воняло, охренеть; так, Леха Савичев, вот кто в районе Николо-Ямское заведует социалкой. – Леха, твой спорткомплекс на Союзной? Позвони, есть там видеонаблюдение на входе? Пусть сбой какой-нибудь на последние полчаса, всё случайно сотрется... Потом заеду, поблагодарю... Да, еду на совещание по детским, твою мать, садикам... Павел Валентинович, больше нет салфеток?

Убить? Да, мог бы. Всё это огромное время ждал – именно этого. Теперь порассказывают Эрне. А может, Сигилд наконец что-то поймет...

– Дурак, – прошептал Эбергард.

Мыл руки, намыливал, мыл и сушил, мыл еще, Жанна принесла флакон посудомоечной химии и вязкое, дрящея, зеленое нацедила ему в ладонь...

– Уволили новую девочку-секретаря.

– Ту, что хитрая?

– Как начинал орать: пропустите каждое мое поручение через сердце! – в обморок падала.

– А сегодня?

– Велел в комнате, где население принимают, стеклянную стену поставить. Чтобы зараза от посетителей в префектуру не шла. И четыре кварцевые лампы для обеззараживания, – и протянула полотенце. – Отмылось?

Украдкой прочел (сообщение от Фрица: «Говорят, папу после майских вынесут») и мобильник убил – в префектуре уже уволили за звуковые сигналы Антонову из социалки, а главспеца из управления землепользования – за кашель на коллегии. Совещание обыденное, еженедельное вел Гаврилов – зам вице-премьера Левкина, монстр брезгливо оглядывал строительный сброд. Строители (хозяева их решали

вопросы напрямую с мэром или Лидой, монстру их не сожрать) подтягивались долго, шумно оправдывали опоздания (обнаруживая насморк, не снимая кожанок, попахивая табаком, а то и спиртным); кто покруче, присылали профессиональных «присутствующих», заседателей-сидельцев – гнусавых, очкариков в несерьезных вязаных кофтах, привычных занудно спорить; кто слабей – присутствовали пузато и самолично или направляли «представлять компанию» позолоченных сынков старшекласного лондонского вида; там и сям высывались кавказские горбоносости и поседевшие базарные кудри, не утихали перешептывания и междоусобная грызня, заливались запоздало погашаемые телефонные пиликанья, и перстни посверкивали со всех сторон – монстр еле сдерживался, багровел, пух, но уволить здесь мог только понурых своих.

Гаврилов (каждый день, в каждом округе, годами) любую свою мысль «доносил», используя шесть фраз: «Ну, давайте», «Надо усиливаться», «Усиливайтесь там», «Круглосуточно организуйте работу», и – предназначенное для пробития толстых, бывалых, зажавшихся и обнаглевших кож: «Что? Я что-то ничего не понял» и «Это другой разговор, это я понял».

Указательный палец Гаврилова полз по «срокам» в еженедельной сводке, строители замогильно «подтверждали», некоторые – даже слегка приподнимая зад:

– Будет. Обеспечим. Тридцать первого декабря, в двадцать четыре ноль-ноль сдадим, – и все знали: невыполнимо.

Гаврилов – бу-бу-бу:

– Сколько каменщиков работает? Да у тебя там за неделю ничего не сдвинулось, торчат четыре штыря



арматуры, и всё! Вы мне физически покажите свое рвение. Когда тепло дашь? Организуй круглосуточную работу! А если не успеете, мы вас под мэра поставим!

– Подтверждаю.

– Это другой разговор, это я понял. Вопросы? Заканчиваем.

Строители уже на «вопросы?» вскочили, как от пожара или наводнения, нашествия крыс, отпихивая стулья (не жалея затребованный монстром художественный паркет), давясь в дверях, влезая в не доверенные гардеробу куртки, делясь сигаретами, прихватывая со стола бутылки с водой; монстр согнул к себе микрофонную вздыбленную змейку:

– Сотрудникам префектуры – задержаться.

Эбергард уставился на Евгения Кристиановича Сидорова – первый заместитель написал положенные два заявления (по собственному и на отпуск), но совещания отбывал на привычном месте – по правую руку, хоть усох до костей, пожелтел, не разговаривал даже с секретарем (а больше не с кем – приемная вымерла), да еще казалось – у него парализовало шею: Кристианыч не поворачивался и не разглядывал монстра с любовью, как прежде, взглядом не лизал, а сидел очень прямо и глядел точно в какую-то трубу, повисшую на уровне глаз, в далекий светлый кружочек, чуть только отклоняя голову вбок – от монстра, сам, видимо, этого не замечая, – организм боролся за выживание.

Гуляев невозмутимо приготовил в рабочей тетради свежую страницу, всё, что говорил префект, записывал (вдруг нахмурится Эбергарду: а ты что здесь? ну-ка, вон отсюда, это не для тебя! давай-давай, побыстрому! нет? нет!), спокоен, словно знает «о чем».

Больше всего на свете сейчас Эбергард хотел, чтобы через весь зал наискосок неторопливо пробежала жирная крыса.

– Ситуация в городе непростая, – так монстр начинал любое выступление, всё пройдет быстро, почувял Эбергард; вдруг – монстр поднялся и вдруг – пошел за спины, свысока и всесторонне оглядеть всех, если кто надеется спрятаться – остановись, дальше не ходи! – Выборы. Активизируются провокаторы, – сказать нечего, просто для успокоения нервов сожрать, попить крови. – Хотел бы... – все непрерывно записывали, и Хассо катал – что? – и не оборачивались, будто монстр сидит, где сидел, и вещает оттуда, из-под городского герба, из-под лучистого улыбающегося мэра, уложившего подбородок в крепежную лунку меж указательным и большим в опоре типа «праворучный кулак»; дойдет до Эбергарда? не буду записывать, а что, просто внимательно слушаю, – предупредить вас, – монстр добавил два матерных слова, чтоб знали, кто они есть и больше никто. – Я знаю всё. Любой саботаж, попытки за моей спиной... жестоко пресекаться, – и похлопал рукой по плечу довольно свободно обернувшегося помощника – морду: – Ничего, ничего, Борис, прорвемся... – Следующим сидел Хассо, и, играясь в «я и тебя похлопаю, следующим же – ты», – монстр с размаха – ударил по спине кулаком! Хассо качнулся вперед, но тут же, хоть и помедленней, но откачнулся в исходное, под следующий удар и еще что-то дописал – закончил строчку.

Этот – этот – этот кусочек времени, напоминающий распухающий пузырь, – рос, но не кончался и мог лопнуть, лишь получив какой-то ответ, звук, движение, вылиться, протечь – рухнуть... Эбергард рассматривал свою левую руку, сдвигающиеся сами по себе

и раздвигающиеся пальцы, рассыпавшись в пыль и развеявшись, его не хватало даже для: вот этого хватит на сегодня? Всё? Если следующего меня?

Кресельная кожа вздохнула – монстр вернулся.

– Заканчиваем, – судя по голосу, довольно улыбался. – У заместителей префекта, глав управ, приглашенных, у кого-то есть возражения по методам подведения итогов совещания? Ни у кого нет? Всего доброго.

Ну, что, что, что Эбергард мог бы сказать? Что бы он сказал после «возражения есть?». Всё же понятно. Что дело не в этом. Но почему-то показалось: я должен был что-то сказать. Вот что пугало.

Ничего теперь не могло сбить, он начал главную работу: с утра в наркологический диспансер, обшарпанный, нищий, неопрятные старухи в регистратуре, одноглазые врачи, – облако какого-то другого времени, другой этаж, родные места, то, что теперь могло лишь испачкать, я здесь ни за что не останусь! – старался говорить отчетливо, резко не взмахивать руками, ходить уверенно по линолеумным лохмотьям, не повышать голос – как, оказалось, трудно выглядеть нормальным – он нормальный, кому показать вены? Но серую туалетную «бумагу» со штампом выдали без всяких – за восемьдесят один рубль.

За свидетельством о рождении Эрны и свидетельством о разводе Эбергард отправился в загс; в ожидании администратора разглядывал лоток с тисненными папками «С днем свадьбы!», «С днем рождения!», фотоальбомы «Мама, папа, я родился!», про разводы – ничего, расценки на лимузины и кафе, сборники «Как провести свадьбу» (в двух томах), одну главу прочел целиком – «О правильной организации выку-

па невесты», – мимо по коридору направо пропархивали самые дружные парочки на свете по стрелочке «Регистрация браков».

– Пройдите.

Девушка – розовые щеки, нежные губы – просмотрела его заявление, поднялась и заглянула в железный шкаф – открылись полки, забитые папками «Рождения», забитые папками «Смерти» и папками «Браки».

– Заполняйте квитанцию по образцу «Госпошлина за развод».

Страшным оказалось делом – Эбергард возюкал специально переломанной для сохранности пополам и сращенной изолентой ручкой – 4100000657, ОНКО 37906858 (не уместилось, заперлось в «наименование организации»), р/с 54900000004396847365, подсчитывая нули, а куда писать этот распаскудный КБК, двадцать цифр?! – взял новый бланк, поукладывал цифры тесней, но вдруг задумался: не вбухал ли он «корсчет» в «расчетный»? И где тогда «расчетный»? В образце «расчетного» нету. А в квитанции есть! К нему за стол, как двоечник к отличнику, присоседился мужик в светлых брючках, привел жену на развод – и с тем же напряжением пыхтел меж квитанцией и образцом, а еще жена его – загорелая, закрывшись огромными черными очками, тоже в белом, – ожидала отстраненно: хочешь, решил – пожалуйста, но всё сам, вот он и вглядывался в нули; и Эбергард рядом, как разведчик в шифровку, втискивал в крохотные окопы граф как бы ничего не значащие цифры, уже заранее зная, что и третий бланк губит за дарма.

– В сбербанке за десять рублей есть заполненные бланки, – и охранник поднялся размяться.

Эбергард подскочил, смятая квитанцию, вслед за мужиком к зеленой вывеске через сквер; заполненные бланки давали 'бесплатно, но за десятку нужно было взять лотерейный билет.

– Вам «авиационную» или фонда «Дикая природа»?

Мужчина в светлых брючках умело стер оставленной на стойке ничего не стоящей монеткой пять серебристых кружочков в боках кабанов, на крылах лебедей, если откроются три одинаковые цифры – выиграл.

– Выигрыш: двадцать рублей! – сказал он. – Еще два билета на эти деньги! – и заново схватил монетку стирать.

Эбергард протянул руку над его подрагивающими плечами, отдал десятку, схватил квитанцию, расписался, оплатил и помчался по траве через сквер назад, мужчина выиграл еще один лотерейный билет, коротко рассмеялся и заново «стирал» кабанов и лебедей с улыбкой ожидания, а жена его сидела в углу приемной загса среди счастливых молодоженов и двух сумасшедших, пришедших менять имена и фамилии.

Закончив, сдав, получив, Эбергард длинным коридором поспешил делать свою главную работу дальше, к другой жизни, и увидел еще раз тех, двоих: их «пригласили», мужчина в светлых брючках и его жена расположились друг напротив друга, разделенные еще и приставным столом, глядя друг другу за спину; жена, становившаяся бывшей, выбрала место лицом к окну, хоть куда-то глядеть, – за окном птицы сидели прищепками на проводах – и молчала всё время, не снимала очки; свежая прическа типа «ничего страшного», типа «да всё у меня хорошо», типа «еще во-

прос, кто пожалеет»; всё, всё делал сам он: «подавал» документы из файла, показывал квитанцию, дописывал, где забыл, «за себя и за вашу э-э...», разборчиво, не прибегая к ее помощи, крутил головой, ослепшим рывком преодолевая сектор обзора в сорок пять градусов, чтобы не видеть своей оторванной и измятой жизни, которую он ждал когда-то на углу, хмелея от счастья, – а теперь ледяная сосулька двадцати одного года, не прошедшая на очное, листала их прошлое, с затаенной улыбкой оглядываясь на смех, доносившийся из соседнего кабинета.

Шло лето, стрекозы, дрожа крыльями... Почти каждый день, когда можно (в определенные дни Улрике предупреждала: сегодня особенно надо), они были вместе; ночью в половине четвертого он встал в туалет и удивился: как светло – приятная в небе южная серость, густота ожидания, безветренная зелень – самые короткие ночи, светлые, взывающие к тебе, дополнительные площади к обычной жизни, верхние над ней этажи, утерянные возможности жить дольше, иметь право не спать посреди спящего мира и владеть спящим миром, еще время – получить.

Утром вышел из подъезда, сказал, прежде чем понял:

– Пошел дождь, – и что-то бесследно и щекотно тронуло запястье, играючи клюнуло в макушку, в лужах, тушами протянувшихся вдоль бордюров, начали расплываться мишени, тарелки, подносы, хороводы, оглаживая воду; зарядил дождь, сперва неторопливо, без надежды на скорое истощение неба, но вот уже на асфальте заклокотало серое колючее пламя, за стеклянными стенами его жизни клокотал водяной пожар, пламя, что всю разгорается осенью, вода вски-

пала в лужах снежной белизной – дождь, запомнить ко всему, что в году: два снегопада, затруднивших движение, салюты, новогодние распродажи, обезьянничавшие с голливудских «рождественских», – всё. Никаких радуг.

– Девочке из общего отдела в управделами мэрии сказали: убирают нашего. В июле в отпуск, и уже не выйдет, – Жанна подала листок «кто звонил», как всегда, первым «Гуляев» в окружении красных восклицаний.

– Ох, присаживайся, – Гуляев переплел пальцы. – Опять, опять у нас по твоей линии ЧП!

Здесь опускают глаза, но Эбергард сегодня устоял: на столе Гуляева лежал листок с нарисованной волейбольной площадкой, заполненной кружками с фамилиями – от них стрелки, по субботам Алексей Данилович играл в волейбол с молодыми сыновьями старых друзей, его команда проигрывала, и он, видно, прикидывал: как расставить – со времен Андропова волейбол полюбили в КГБ, волейболисты становились генералами быстрее шахматистов.

– Вызвал меня в восемь и вот это – на пол! – Гуляев показал богато переплетенный обзор новостей «внимание префекта». – Видишь, говорит, какая бумага?! Толстая, плотная, да еще цветная печать... Вот на что деньги уходят, а мы на капремонт жилого фонда наскрести не можем!

– Ему же нравилась именно эта бумага.

– Думаешь, он помнит? Бумага должна быть другой, понимаешь? Простой, тонкой, дешевой! Опять получаю за тебя. – Гуляев вздохнул: «Да будет же когда-нибудь этому конец?» – Эбергард, а тебе заместитель не нужен?

– Раз вы спрашиваете – нужен.

– Ну, зачем ты так. Ну вот опять... – поморщился Гуляев, есть же законы приличия. – Попрошу тебя, подъедет к тебе такой Василий Георгиевич Жаворонков... Он выпускник Высшей школы КГБ, ну а когда всё это началось, как и все ребята, начал искать себя, работал в госструктурах, в коммерции, ищет как-то свое место в жизни... Повстречайся с ним.

– Алексей Данилович, так у нас зарплаты небольшие, – всё, что оставалось Эбергарду, – скалиться, что еще, – и должности такой в штате нету...

– Ну, не знаю, ты сначала переговори с ним, – Гуляев уже всё неловкое выполнил, и поскорей закруглить, – он тебе позвонит. Резюме его, – Гуляев заметался, вспомнив о требованиях достоверности, – тебе нужно?

– Ну что вы, ваши слова – лучшая рекомендация.

Сразу не уходить, не показывать, что он, как зубастый потравщик кур с перебитыми капканом задними конечностями, пополз сразу с кем-то шушукаться и скулить; выпросил у Анны Леонардовны чаю, хохотал, целовал морщинистые руки и грустил, когда для душевного сближения «делился»: дочь, адвокаты; к Гуляеву попросился взъерошенный Хассо, с Эбергардом едва поздоровался, в префектуре, в стенах, теперь ни у кого не осталось друзей – прятали отношения, чтобы не вызывать подозрений и несчастьем (если случилось неизбежное) не заразиться.

– Собираетесь в отпуск? А Алексей Данилович? Я, наверное, до выборов не пойду... Сложные ожидаются выборы, не могу подвести...

– Хассо-то разволновался, – Анна Леонардовна открыла круглую жестянку с печеньем. Эбергард жевал, вкусное печенье, он не интересуется, не ждет продолжения, просто жует и запивает. – Получил



предложение от... – Анна Леонардовна закатила глаза, – первым замом. Вместо Кристианыча, а Кристианыч – советником префекта. – В первые-то замы, она уверена была (и все), должен был шагнуть Гуляев, а потом и – префектом, когда монстра наконец-то уберут (что такое «зампрефект» для генерала?! – от огорчения разговорилась). Эбергард взял еще печенья, хвалил цветы на подоконнике и в напольных вазах, что там, наверху, его не касается, он монтер, руки в мозолях («Вам бы еще фонтанчик... Я поищу!»); он не спешил, отсчитывая неприметно «непринятые» от Жанны: третий, пятый; человек Гуляева не будет ждать, его не развернешь «давайте созвонимся на следующей неделе», в таких играх «у меня эта неделя расписана» не проходит... кнопку нажали, теперь быстро: всё, за работу – и простился неторопливо, и уходил, проследив, чтоб мягко закрылась дверь, пусть удивятся у Гуляева, итожа день: «Такой веселый от вас вышел, я подумала – вы ему ничего не сказали...»; по лестнице Эбергард побежал, вниз ко входу в бомбоубежище, где покуривали и раздавали доминошные кости водители в прежние времена, в кабинет нельзя – там уже могли ожидать. С кем советоваться? Фриц.

– Надо попробовать работать с «комиссаром», Эбергард. Он может оказаться нормальным. И сам будет носить наверх.

– А если послать их?

Фриц вздохнул: всё ли понимал Эбергард из того, что происходило и продолжает происходить: эпоха!

– Они так просто тебя не отпустят. Ты – хрен вам, до свиданья и – тобой сразу займутся плотно. Ты сможешь уйти только на их условиях.

Еще? Хериберт.

– Ты вот что, дай ему сразу понять, что доходов у тебя немного, а ответственности – до хрена. Упирай на выборы, что всё держится на личных твоих связях, и нарисуй ему какой-нибудь невыполнимый, но очень красивый план годика на два, чтобы он ухнул туда с головой! – Хериберт рокотал быстро и сильно, как говорят люди, которым ничего не грозит, которым не отвечать за сказанное. – Они же не с земли, им ковыряться, как ты, ежедневно, не захочется, копеечки выжимать, а ты аккуратно пока подготовишься сдать дела... Ты тяни время – монстра всё равно уволят, еще до выборов или сразу после...

Хассо не позвонил – новорожденный Хассо только прокричал, когда резали пуповину, ему еще предстоит заново познакомиться с людьми, не станет ли Эбергард для Хассо – безымянным и прозрачным, неприятным напоминанием о позоре прежних воплощений.

Много не думай, никогда не переживай, отгоняй он от себя «вот и началось», «это только начало», мы – бронтозавры, броненосцы, государевы люди, что ни скажешь нам – всё равно поползем вперед, не заметим, раздавим; не уходил он от бомбоубежища, словно там, на поверхности, за какое-то выжданное время всё могло поменяться само, пройти, как явление погоды, будто есть кому позвонить, кто может позвонить другому, и другой может позвонить и всё отбить, отыграть, – и боялся (вот здесь же, самому себе, ведь можно?!), но ничего, повидал всяких, не одного пересиживал, разводил отличавшихся большим пальцегнутием, встречал и гасил окружные и городские наезды... – спокойно улыбался встречным, всё же не бывает сразу, всё постепенно, даже последний путь состоит из последовательно соединенных процедур,

этапов, имеющих собственную длительность, водоем и лесной массив, и на каждой ступени вниз – еще проживешь; не думай, не чувствуй, думай про Улрике, Эрну... Странно, вдруг именно сейчас, при наклоне земли, при первой угрозе он почувал (нет, это же не так), что совершенно не любит Улрике – во всяком случае, жить с ней не хочет.

– Звонил какой-то Жаворонок, Василий Георгиевич, – Жанна сверилась с записью, – от Гуляева. Сказал: придет завтра к десяти ноль-ноль.

Эбергарду показалось: Жанна никогда раньше не добавляла вот это «ноль-ноль», уже кого-то другого послушалась? она – против Эбергарда? добывает? – не выходил из кабинета, словно все могли уже знать: до десяти утра – жить. «Что делаете?» – зачем-то написал адвокату; не сразу: «Отмокаю в ванной»; еще зачем-то: «Хотелось бы посмотреть», представил ее; «Я походила на спорт. Загорела. Теперь чувствую себя нимфой. Я не стесняюсь своего тела». – «Покажете?» – «Покажу, покажу»; он находил и бешено жал кнопки: «Потом не говорите, что не это имели в виду», и после жаркого ожидания загорался телефон – получено, конверт! – «После процесса. Адвокатская этика не допускает отношений с клиентом» – он волновался, словно дотрагивался, но не живьем, без запахов, морщин, без проясняющих и портящих всё деталей, прикосновений и неточных слов, когда она (он опять натянул «Что ждать от суда?») только такая, как хочешь. «В суде правды нет». – «А что же мне...» – «Отречься от дочери как от собственности и просто заботиться о ней». Вдруг омерзение и стыд: кому писал он всё это? – видно, что у Вероники-Ларисы нет детей, видно, что у тебя (он подбирал слово большее) нету детей, так ответить? Да на хрен ему тогда такой адво-

кат, за свои-то деньги, – она, как почувствовала, вовремя (вылезла, наверное, из ванной, вытерла тяжело качающиеся, наследственные груди. «Это у меня от бабушки, у нее и в семьдесят лет стояли торчком» – так они, такие, говорят): «Суд мы выиграем. График получим. Но подумайте, как его реализовать. Встречалась в опеке с вашей б. супругой. Позиция той стороны категорична. На суде будет напирать, что дочь не хочет видаться с вами. Но – ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» – и через час (он уже закрылся «Хорошо. До свидания») добавила: «Эбергард! Не обижайтесь на Сигилд. В ней говорит обида».

В ней говорит безжалостность к ребенку и мстительность твари!

И сразу же отправил Эрне: «У меня отпуск в июле. Куда поедем?» – перечислить страны? добавить «и к бабушке»? – нет, не давить, все же советуют: не пилить, не давить.

Нельзя сидеть, шевелиться; Павлу Валентиновичу:  
– В гимназию!

В гимназии сдавали, пересдавали, поступали, пришли узнать – духота, из туалетов несло мочой, к учителям собирались очереди. Эбергард враждебно рассматривал мамаш с вынесенными первой же беременностью мозгами: их на самом деле ничего не интересовало, дома скучно, пришли поболтать с учителями – растопыривая по столешницам первых парт морщинистые пальцы с золотыми присосавшимися жуками перстней, с наращенными бордовыми когтями, говорили, говорили, не замечая покашливаний, приоткрывание дверей и злобных: «Имеет смысл ждать?», «Вы сегодня освободитесь?!» Химичка Эрну не вспомнила, географичка – что-то восторженное про океаны, материки; математичка: «Мнение свое

Эрна высказывает очень охотно» – как мама! – «история искусств» (большая, активная женщина с желанием быть яркой): «Может учиться блестяще, но – учиться хорошо».

И замкнул очередь к классной под фотоотчетом о весенних каникулах типа «Кения. Г. Найроби. Фото ученика 5 “б” класса А. Арониса» и со вздохами поглядывал на витрину поделок, на что-то сооруженное-склеенное из резаных открыток, белых ниток и ваты с подписью «Максим Воробьев с родителями. Снежная карусель»; в очереди подкачанный и подкормленный аминокислотами отец (с ним или с таким же, может, дружит Сигилд и ее урод?!), из тех, что про еду говорит «кушать», изнурял троих матерей шестиклассниц:

– Я всегда ношу термобелье. – В представлении Эбергарда термобелье – это трусы из фольги, за которыми волочится, как хвостик, электрический провод с вилкой на конце. – А сверху надеваю что-то трикотажное, – качок обращался преимущественно к самой цветущей, с почти нетронутой упаковкой – та молчала, понуро глядя перед собой, у остальных с наступлением лета косметика облезла и по-птичььи выперли старушечьи носы. – Ведь охлаждение от чего? От испарения! А если испарения нет, то и температура в норме. Три года назад купил термобелье и до сих пор ношу. Финны хорошее выпускают. Чувствую себя как огурчик. На рыбалку можно, когда весь день сидишь. И на лошади, – он добавил, – ничего себе не отморозишь.

Через две минуты обнаружил, что молчит, и возобновил:

– Еще селедка помогает холод переносить. Очень калорийная, а жиры в ней без холестерина. Вот поче-

му шведы и финны так много селедки едят! Вы не знаете, в сале есть холестерин? – он требовательно взглянул на каждую мать и отдельно – на Эбергарда. – А то говорят – нет.

– Я отец несчастной Эрны, – криво, ненужно сказал он классной, хотя хватало времени подготовиться.

– А почему это она несчастная? – Равнодушная, давно умершая, измученная бедностью до того, что не оставалось уже сил даже мстить окружающим.

– Потому что давно ее не видел.

– А... что вас интересует? – Ваши дела, не занималась, своего хватает, каменистое лицо огородника, где глаза не важнее бровей – так, небольшие участки открытой слизи с четко очерченными краями, мускул, что ли, зрительный такой, для фиксации вспышек света. – Всё у Эрны хорошо. В классе ее любят. Сидит с Олесей. Всё хорошо. В ведении дневника иногда небрежность. Вот ее парта, учебники, книги – посмотрите?

Дневник открылся на «дне свадьбы», украшенном чернильными голубками, цветками и шашлычно проткнутым сердцем, расписывался за родителей урод, не Сигилд, троек побольше, по крошкам между страниц учебника легко определить, что ела Эрна, выполняя каждое «задано на дом», вот – осколки кедровой скорлупы, песчинки печения.

Тетради полистал, в «признаках сказки» Эрна указала «тройкратный повтор» и сочинила сказку свою. Эбергард почитал. Жили брат и сестра, старшеклассник и студентка. Папа их бросил еще до рождения дочери. А мама познакомилась с американцем и уехала жить в Лос-Анджелес. Вечерами дети не могли уснуть от грусти и от того, что им было то тесно, то жарко в кровати.

– Вы решили, что Эрна пойдет в математический класс? Но Эрна явный гуманитарий! Постоянно болтает с мальчиками. Без конца делаю замечания. Такая модненькая, – классная неприятно усмехнулась. – В классе просто гормональный взрыв. Записочки! – выгребла ворох из стола мертвых бабочек. – В том числе и Эрны. – Ответила резко, хотя он и не подумал спрашивать: – Я их не читаю! Просто собираю, чтобы вручить на отпуском. Да еще пишет карандашиком легонько на парте: привет, я из шестого, а ты? Любит быть в центре внимания. Я часто прошу ее подвести итог урока.

Эбергард упрасивал себя: не смотри, но взгляд уходил за спину классной, на фото учеников, настенно выложенные тремя волнами, – где? или по алфавиту? – вон та похожа, но волосы длинные, или вот эта – он выбрал: эта, не улыбается... Изменилась, конечно. Не она? Или вот? Но всё накрыла качающаяся соленая вода – расплылось, он быстро проморгал: вот как встречается с дочерью!

– Начала ходить на факультатив по литературе. Садимся в круг и обсуждаем.

– Купить вам самовар? – силло у него получилось.

Нет, ничего не надо, лучшее, что можешь, – уйди поскорей.

– Ты идешь?

– Я еще посижу. Спи, – он убил в телевизоре звук и жал кнопку на пульте, задерживаясь на девушках, танцующих и поющих.

Улрике хотела всё же сказать что-то про особый день, особо особый даже среди особых, он тяжело ждал, зачем-то озлобясь, готовясь «как твой дела?» встретить «занимайся квартирой», «всё, что ты хоте-

ла, я тебе дал», «я не могу больше говорить об одном и том же», «чем ты можешь мне помочь?», но она сама нашла объяснение – и заснула, прошептав ему в спину «я тебя люблю», выполнив свою часть их предсонного ритуала; впервые Эбергард не ответил, а потом думал, опять не словами, а чем-то таким, без слов, смысл чего можно было бы передать такими словами: не обижай ту, что с тобой, сбереги хоть ее, терпи.

Не готовился, никаких «а если, то я...» – всё равно будет как-то по-другому, и еще хуже; отключил телефон и на пятнадцать минут опоздал, чтобы хоть дернуть за рукав, сбить им немного равновесие, заставить покрутить головой, тупо перегружая навигаторы: должен же быть где-то здесь, вот же крестиком обозначено; а было еще хуже: не тот, а те – пришли вдвоем.

– Приехали на ярком таком голубом «мерседесе», – успела шепнуть Жанна, – я слезила в Интернет, такой сто двадцать восемь тысяч евро стоит.

Они попивали кофе, безошибочно заняв хозяйские места за столиком для посетителей.

– Да у вас часики точнее кремлевских, – всегда говорят одно и то же, и, конечно же, взгляд на наручное золото, – на шестнадцать минут. – Для «устного общения» у них тощий наборчик, без улыбок, со сдержанным хрипловатым гневом, без визитных карточек и представлений; они походили на иностранцев, они и были иностранцами; Эбергард преданно и заискивающе впился в Жаворонка – того, кто «вел беседу», – армейски остриженного, со скуласто-мелкоглазым лицом поволжской малой народности, о чем-то непрерывно тяжело размышлявшего, словно каждое его движение могло вызвать трещины зем-



ной коры или солнечную сверхплановую активность – убийцу рабов сердечно-сосудистой; под кожей его лица отсутствовали мышцы, производящие улыбательные движения. Второй – повыше, с неясными глазами за прямоугольной продвинутой оптикой и кудрявыми излишками в чернявой прическе – умел гнетуще даже молчать, вздыхал всё время от осязаемой только им жары, брезгливо выпячивал губы на возрастные изменения и потеки пресс-центровской штукатурной нищеты, ковролиновые кучерявые прорехи, бывалые подошвы Эбергардовых туфель, он как бы не слушал, не вникал... Они просто не ходят по одному во избежание соблазнов и провокаций.

– Я десять лет возглавляю пресс-центр... За прошлый год через меня прошло девятнадцать миллионов рублей, – Эбергард двинул вперед чудовищную папку с договорами и неторопливо, добавляя непонятные слова, с неизвестно откуда возникшей и нарастающей уверенностью запустил нужный звуковой файл, рисуя сеть из прямоугольников и стрелок с подписанным «информирование», «электронные СМИ», «уличные стенды», «разнос листовок», «ТВ», «взаимодейств. с городскими и федеральн. СМИ», «сувенирная продукция», «полиграф. прод.», а изнутри себя, помалкивая, следил, как лениво чужие щепоти листают договоры, незаметно, как им казалось, задерживаясь только на одной строке – «стоимость договора составляет...»

– Так это...

– Шестьдесят две организации, по каждой теме проводим конкурс. Если у вас есть партнеры, способные выполнять заказы в сфере информирования, дайте их подтягивать...

– Так это, – наморщился Жаворонок и обернулся к товарищу, взявшемуся мрачно пощипывать подбородок, – они глядели друг на друга, шлепали губами и никак не могли разделить.

– Около трехсот тысяч на каждый договор в среднем. Контрольно-счетная палата нас проверяет, и контрольно-ревизионное управление, прокуратура... – Мелочь, мушиная скукота, не статьи федерального бюджета пилить, не поставки горюче-смазочных в отдаленные районы, не тысячи гектаров Подмосковья, не завоз щебня на трассу «Москва – Дон». – Но основные финансовые потоки, – гости одинаковым поворотом головы сосредоточили внимание на источнике звука, натаскивают, видимо, спаниелей на эту фразу, – идут на жилищно-коммунальное хозяйство и поступают через потребительский рынок... А нам еще... – застеснялся, – урезают каждый год! Но под выборы я надеялся... С приходом Алексея Даниловича, благодаря его особым отношениям с префектом, расширить финансирование. Выборы трудные предстоят, активизируются экстремистские... Довести бы финансирование хотя бы к уровню других округов...

– А там, у других? – только что они поняли: город делится на округа, но как?

– Двадцать пять. Тридцать. У лучших – под шестьдесят миллионов. Не всё успеваю, завал, конечно... – жаловался Эбергард, они же друзья. – Штата нет, один фактически. Белый пиар, черный пиар. Всё деликатно: где заметочку нужную разместить, а где, наоборот, ненужную выкупить. А цены? От десятки зеленых. Журналистов подкармливать – а средств-то не предусмотрено. Вы хоть теперь будете помогать. Хочу префекта поздравить с днем рождения в «Ком-

мерсанте» – девятьсот долларов, говорят. Как решать? Скинемся по три соточки? Всё полегче. Вот сейчас отрабатываю связи депутата Иванова-2 в среде геев, ах, непростая публика, трудно идут на контакт! Очень рассчитываю, что подключитесь, я адресочки дам... Со всякими мелочами даже не лезу к Алексею Даниловичу, вот, – Эбергард шевельнул какой-то исчерканный факс и убыстрял, убыстрял, – третий канал снял в поликлинике в районе Озерское бегущих по второму этажу мышей. Завтра эфир! Вас провожу – поеду отбивать. Три штуки, не меньше! У нас там главврач, между прочим, руководитель отделения «Единой России»! Мэр, знаете, как жестко спросит? А затопление фекальными водами подвалов ведомственного жилого фонда – жителям! – жителям разве объяснишь, что это не к нам, – простонал Эбергард, – вопрос! Это не наши дома! Говоришь, а в них понимания нету, у них фекалийные пары в квартире, вызывают санэпидстанцию, опять телевидение... – Эбергард поймал закипевший лоб ладонью и словно бредил. – Трудных подростков надо в лагеря отдыха... Малолетний криминал... Спонсоров, хотя бы на горячее питание, по десяточке на нос, их не так много – двести сорок человек, реквизиты дам, может, подкинете... По туберкулезникам проблема... Может, прямо сейчас и проедем по туберкулезникам?.. А кто видит это, никто не видит, грамот за это не дают, хотя грамот у меня от гордумы и мэра... Надо нам встречаться хотя бы через день, я – список вопросов, распределим кто за что, будем продвигать потихоньку...

Товарищ Жаворонка внезапно привстал, сел и как-то недоуменно огляделся, словно проснулся в чудовищно непотребном месте.

– Ну-у, если я тебя правильно понял, э-э, – Жаворонок сам на вспотевшее мгновение внезапно забыл, какая педаль «газ», и для опоры схватился за понятное – папку с договорами, – это мы заберем, посмотрим со старшими... Э-э, если правильно понял тебя, ты видишь себя дальше на этом месте?

– Да, – кивнул Эбергард, да, мимоходом, как о малозначащем, это незыблемо, как календарь, вращение земли, союз мэра и Лиды, что тут может измениться, продолжая серьезно думать о задачах, стоящих перед префектурой на приближающихся выборах президента и депутатов гордумы, Россия подымается с колен. – Я профессионал. Всё самое ответственное держится на моих личных связях и авторитете. Я Алексея Даниловича не оставляю в трудную минуту, мужик он вроде надежный, поэтому решил: помогу, но и я, в свою очередь, – теперь помедленней, – в свою очередь, заинтересован в расширении финансирования моих тем и создании рабочих отношений с префектом и – готов соответствовать.

– Я понял доведенную тобой информацию, – также медленно сказал Жаворонок: банкомат после кашляний и выплевываний наконец-то распознал купюру, втянул, замигал: принято. – Посоветуемся со старшими товарищами и выйдем на связь. Скоро. Мы привыкли быстро работать, – переглянулись и без рукопожатий удалились, значительно застегнув все пуговицы, тяжелою, соблюдая порядок: первым Жаворонок; пять минут они шли до дверей, улыбка Эбергарда уже болела и без всяких внешних изменений загустела в пыточную гримасу; они, переставляя ноги с трудом, уносили свои задницы, что-то там, где их делают, закачивают в задницы жидкое и тяжелое, типа никогда не застывающего свинца.

Эбергард остался. Он сидел умытый, с вычищенными зубами, пристегнутый к электрическому стулу, не шевельнешься. В пустой утренней комнате. Думал: взять, развинтить ручку «Монблан», подаренную префектом Бабцом, и нарисовать на бумаге корабль, дым, но не мог двинуться. Жанна прокралась и унесла посуду. Он смотрел в телефонное окошко и считал про себя до ста. Еще до ста, помедленней, не годится так быстро, как считал первый раз. И вслушивался, словно и правда долетали звуки работы хорошо известной ему машины, и уже думал о чем-то неопределенном, что складывается в «ни о чем», когда телефон вспыхнул и, скрежеща и разворачиваясь, безного пополз по столу, мигая вызовом с неопределившегося номера.

– Э-э... Вот мы... Что проводили встречу, – они не помнили имени-отчества, сколько у них таких встреч на дню. – Можете выйти из здания?

Жаворонок погрузился или уехал, у «мерседеса», павлиньим пером переливавшегося посреди утренних черных и серых автомобильных спин префектурной парковки – места, где чаще всего «благодарили» и брали тех, кто не договорился и не «благодарил», очкастый товарищ Жаворонка стоял один, отворачиваясь от ветерка, – как он, такое, может стоять на открытом каком-то воздухе, и здесь?! не унижаясь до самообозначений поднятой рукой: найдет и встанет рядом.

– Предложение такое. Половину дохода от старых проектов. И половину дохода от новых, которые появятся с нашей помощью... – Им всегда важно, чтобы «предложения» выглядели справедливыми, не паразиты, они тоже будут работать, чуть позже, когда-то потом.

– Замучаетесь мою бухгалтерию проверять и считать доходы. Проще: процент от поступившего. Раньше в этих краях было десять. Предлагается для закрепления отношений – двадцать. За май готов внести в ближайшее время.

Тот, товарищ Жаворонка, заметно обрадовался. Но всё же попробовал:

– А за предыдущий период нельзя получить?

– Предыдущий период здесь работали другие люди, свои обязательства я перед ними закрыл. – За март и апрель всё останется Эбергарду, не проверят.

Тот покивал: дельно; и теперь-то, как после любви, внезапного взаимообнажения незнакомых существ, демонстрации гениталий, имеющей в основе надежду на согласованное колебание душ, выпустил из себя нагретое:

– А на какой ресурс здесь еще можно сесть? Какой жирный кусок можно взять, чтобы много и сразу?!

Эбергард поколебался: говорить? побережь? да что же я за человек-то такой, святое дело, а я жмусь! – и:

– Есть недострой, – и таинственно показал в сторону беззаконной панельной коробки в два этажа за кинотеатром «Комсомолец» с рябиновой рощицей на крыше – межрайонная овощная база; ее десятый год попеременно пытались оформить в собственность центр культурных инициатив народов Кавказа, питерский генерал-налоговик и федерация русского боя на кулаках, продвигаемая, как считалось, тещей брата жены министра здравоохранения, – мэр еще не принял решения: отдать достойнейшим или всё-таки подождать, пока у ООО «Добротолубие» освободится хоть какое-то хватательное приспособление, чтобы вцепиться и в это: трудно отказываться, когда можешь забрать всё. – Завис, понимаешь... Есть план: регист-

рируем ГУП, какой-нибудь там «Центр содействия инноваций в сфере отдыха при префектуре Востоко-Юга», перебрасываем недострой на баланс ГУП, берем беспроцентную матпомощь на возвратной основе для достройки, еще приводим своего инвестора – надстраиваем двенадцать этажей, бизнес-центр и жилые, там в цоколе – клуб, сауны, подземные гаражи; матпомощь списываем, ГУП акционируем на коллектив и – привет, дорогая редакция, – отсюда в два года, – Эбергард горячечно оглянулся, – пятьдесят лимонов зеленых можно вынуть по минимуму, понимаешь, по минимуму, братуха, а с вашим ресурсом – сотка!

– Годится, – партнер от растерянности расщедрился на суховатое пожимание руки и остался там, за спиной Эбергарда, изумленно рассматривать облицованные облетающим советским кафелем стены овощебазы, расписанные подростками, увлеченными возможностью крупно вывести на белом «ЖОПА»; он явно желал приступить не откладывая, кому-то позвонить, с кем-то «провести беседу» в ресторане (всё, что он, они умели), но голова кружилась: а кому? с кем?

Эбергард не оборачивался, возвращался в замок, ступени поднимали его, вновь телесного, тяжелого, и стражники приветствовали, словно все уже знали; вот если бы еще Эрн...

– Как прошло? – Фриц всё помнил и позвонил – друг! – Значит, первыми пришли дети, шакалята. Не расслабляйся, они еще придут. Тебе нужно пересидеть монстра. Полгода. Самое большее – год.

В неотвеченных Улрике – квартира, ремонт:

– Да. Да.

– Ты можешь сейчас говорить? У тебя хорошее сейчас настроение?

Как Эбергарда раздражала ее уверенность, что она способна сообщить ему что-то радостное, – да что ты можешь сказать?

– К чему эти вопросы?

– Прости, – смешалась Улрике, – давай я потом позвоню.

– Всё в порядке. Говори!

– В общем, – ему показалось: заплакала, но она так смеялась, – я беременна!!! Во мне есть... Диаметр один и два миллиметра!!! Я видела: такая головастенькая запятая!!! – И кричала в тьму: – Ты рад?!!

– Очень. Очень. Я очень рад. Это здорово. Я тебя люблю. Я с тобой, – началась и пошла другая жизнь, он завел еще одни часики, машинку, производящую тепло и холод, машину будущего; Эбергард огляделся: вот я, теперь он отличается от всех, у него побольше уязвимых, незащищенных мест. Он слишком живой.

Не хотелось никуда; Эбергард погрузился и поехал куда-то, с волнением всматриваясь в придорожные тополя с прибитыми на высоте человеческого плачущего роста венками, словно души остались здесь, где горели кузов и тело; отпустил машину и гулял (когда еще вот так, без забот...), дожидаясь темноты, мимо дымящихся урн, просительно изгибался к солнечному свету, улавливал нужное и чихал; в подземном переходе кружили по занырнувшему сквозняку листы аккуратно распотрошенного телефонного справочника, в «Азбуке вкуса» посеребренные ломти мяса лежали, как минералы в застекленных гробах, горкой высились по-старообрядчески двупалые свиные ноги; прошелся по книжному, замер напротив глянца огромной обложки «Лучшие бюсты мира» и рассматривал так долго, что подошла худенькая усатенькая про-



давщица с позорной табличкой «стажер» и тихо предложила:

– Могу я вам чем-нибудь помочь?

Вы – нет; бульваром он вышел в парк, населенный молодыми матерями и нянями-украинками и детьми; матери, разморенные постоянным напряженным бездействием и начинающейся жарой, наклонялись к песочнице собирать совки и ведерки, открывая длинные, бесстыдно оголенные груди; семенили, словно катились по траве, ошалевшие бесхвостые птенцы, гусеницы раскачивались на угадываемых нитях поперек тропинок, бегали муравьи наперегонки по свежeweыбеленным бордюрам, кошки мягко проникали в кусты, и оттуда россыпью брызгали птицы; на скамейке отдыхала еще не оформившая юридически свои отношения пара: она тянула пиво из бутылки, он из банки, доставали по очереди чипсы из пакетика – пакетик она аккуратно, как на будущей кухне, поставила посреди, открыла и подворачивала по мере опустошения края, сумки с покупками поставили слева и справа на равном расстоянии – семья; на следующей лавочке (из оврага кричали: «Я просто уважаю его как нормального пацана!») человек с прожившим лицом (седые, растрепанные брови, джинсовый костюм из мечтаний тех лет, когда джинсовые костюмы носили только дети непонятно откуда богатых или выезжающих, у Эбергарда не было таких родителей) гладил и чесал свою колли: «Где ты бегал, разбойник ты мой? Почему лапы такие грязные?» – поцеловал нос, брови псу и, уткнувшись в загривок, замычал какую-то ласку.

Эбергард ходил, шел, размахивая руками, ругаясь, разговаривая, и под ноги ему осыпались облака голубей, ошибочно решив, что он разбрасывает крош-

ки, – мимо богатого особняка под вывеской «Охранно-детективная корпорация “Орландо”» (напротив на дереве колыхалась скромная бумажка «Ясновидящая» – все лепестки с телефонами вырваны с мясом), поближе к главным улицам, дальше от панельных окраин, туда, где музыка, где полыхает, вращается, рассыпается и раскладывается реклама, останавливался напротив безглазых женских манекенов, пока не появилась звезда, и вокруг нее – еще звезды, купил полтора килограмма безвкусной клубники, шесть огромных подгнивших слив и два килограмма груш, скатанных из ваты; доехал, поднялся, открыл, зашел – Улрике не обернулась, но, когда Эбергард остановился у нее за спиной, высоко поднялись на вдохе ее плечи, словно затвор плотины, пытающейся удержать, не выпустить накопившуюся весеннюю воду; но – уже не одна, она теперь его сильнее и, смягчая улыбкой, как неважное, случайное, не имеющее того значения, которое железно имеет и гранитно, зубасто и решетчато будет – отсюда и навсегда – иметь, Улрике впервые спросила:

– Где ты был? – потом, через дни, она еще спросила впервые: как твои дела? – не представляя «его дела»; он ответил: нормально, «хорошо» говорить не полагалось, «хорошо» – это порядок вещей, завоеванный и отстаиваемый, пройденный и стершийся до «нормально»; если небо темнело, говорили: «по мне есть вопросы».

– В июле я поеду отдыхать с Эрной, – лучше было не злить Сигилд и сказать «хотел бы» и уточнить «на Крит».

– Она едет в лагерь в Крым. Давно оплатили, – голос Сигилд свинтила из «счастье мщения» и «наслаж-

дение», аэромоделью он кружил на пронизанном стальными проволочками шнурке. – А в августе она отдыхает со своей семьей. С нами! Постой, ты же говорил, что больше никуда не возьмешь ее. Или я ошибаюсь, подскажи мне, Эбергард. Я что-то не слышу ответа. Думаешь запугать меня своим адвокатом? Этой коровой?

– Мы каждое лето ездили с Эрной.

– А теперь она не хочет. Это ее выбор.

– Какая необходимость отправлять ребенка в лагерь на Украину, когда она со мной сможет отдохнуть в человеческих условиях, в нормальном месте...

– Тебе там дома поговорить не с кем? Скучно стало со своей проституткой модельной внешности? Всего доброго!

Нет, этот долгожданный, плодоносящий разговор она первой не закончит.

– Если Эрна не поедет со мной, я не дам согласия на выезд за границу!

Улрике: завтра расскажу, спи!! – и кому-то писал в голове (маме своей?): скоро – год без Эрны, не было ночи, чтобы, засыпая, он не думал о дочери, не болел, ни одного дня, и без надежды (Эрна не станет другой)... без надежды – только ползти к БЖ и выпрашивать – сама Эрна не захочет, а тогда выпрашивать зачем? Позвонила сама – 0. Прислала сообщений – 0. Писем – 0. Встреч – 0. Не нужен, все его возможности – никак, часами переписывается с одноклассниками и оставляет на парте безответные сообщения карандашом – но не отцу. Он поболит еще, но выздоровеет. Была какая-то девочка. Теперь ее нет. Почему же ему не выздороветь? Пусть живет. Сейчас (а, скоро забудет, заснет) он даже в отместку не верил, даже в – что кто-то (кроме мамы его и Улрике) заметит Эбер-

гарда правоту, в то, что Эрна, поумнев, вырастив своих малышей, сама что-то запоздало поймет; или в то, что потом ее, другую, отведет кто-то в сторону, посадит за чистый стол и всё непоправимое уже разложит: вот была ты, вот был твой отец, вот так он, и вот так ты – и что не показав виду или не сразу, но на какое-то последующее ночное мгновение она вдруг всё – поймет, и закроет глаза руками, – да ни во что он больше не верил.

– Дайте телеграмму с заверенной копией: категорически возражаю против вывоза дочери за пределы РФ без моего согласия, обращусь в правоохранительные органы для возврата на место постоянного пребывания. Если Эрну увезут, заявим в милицию, отличный факт – для суда, – ногти адвоката Вероники Ларисы удлиннились малиновыми лепестками, она отпустила чуть волосы и поменяла, показалось ему, даже цвет глаз – на ярчайше-зеленый; она не отрываясь смотрела на него с каким-то веселым нетерпением, случайно трогая свою грудь, словно хранила что-то там, за пуговицами, в тесноте за кружевами, и ему захотелось попросить: покажите. – Можно я дам вам один совет? – Когда Эбергард слышал «можно я дам вам совет?», в продолжение ожидал что-то вроде «научитесь пользоваться носовым платком», «воспользуйтесь жевательной резинкой для очистки дыхания»... – Не надо так волноваться, мне больно вас видеть таким. Я вам очень сочувствую... И не только в рамках нашего договора. Хотя вам это и не нужно... В суде вы получите график встреч. Для нас важно, какой это будет график. А это зависит только от судьбы. Она примет решение исходя из своего внутреннего убеждения. Надо успокоиться, не цепляться на суде

за ребенка. Нельзя демонстрировать в суде неприязненные отношения с бывшей супругой, а Сигилд будет вас провоцировать. Придется ей улыбаться, судья не будет разбираться, кто прав, она просто откажет отцу на том основании, что у него конфликтная ситуация с бывшей супругой. Вот всё, что от вас потребуется. И – красивый костюм и ваше потрясающее обаяние. Мне так нравится, как вы улыбаетесь. Что с вами происходит? Расскажите о себе.

– О себе? Не знаю. На рассуждения о себе я не зарабатываю.

О себе. Его поражают люди, живущие обдуманно. На внезапное событие-вопрос у них обдуманное действие-ответ. Или жизнь неспособна их, всех этих людей, ошеломить как следует? В жизни Эбергарда неожиданно и подавляюще всё. Произнеси он это, Вероника-Лариса скажет: вы – ребенок, вы не выросли.

Улыбнулась его молчанию и погладила его недрогнувшую ладонь:

– Вообще-то я еще не решила, что с вами делать.

Эбергард громко прочитал названия «летних напитков» в меню (они встретились на Никольской), адвокат быстро заметила:

– Ну вот, не о чем стало говорить, да? Я помогу: пока не подаю исковое, надеюсь, что удастся всё как-то решить без суда. Сигилд собирается нанять адвоката. Адвокату с адвокатом легче договориться.

Почему ему так неловко рядом с Вероникой-Ларисой, грудь, думал он, подавляюще красивая грудь: как она моет ее, спит с ней. Трогает. Как трогает эту грудь кто-то другой, желая сделать ей приятно.

– Ну, всё обсудили? Вы собираетесь еще раз жениться?

– Ох, нет. Такие, как я, второй раз женятся за шесть лет до первого развода. И уже никогда больше.

Вероника-Лариса отвернулась и посмотрела в сторону, без улыбки.

На прощание у перехода Эбергард попытался поцеловать ее руку, бледную, с синими подкожными ручьями, нет, вырвалась рука:

– Я люблю, когда в щеку.

Он ткнулся в неявно, как бы невольно подставленную щеку, словно погрузился. Ткнулся еще, еще, как примагниченный, пока Вероника-Лариса не повернулась и не поцеловала его в губы, и сразу:

– Возьмете меня в жены? Я-то беру вас в мужья, – обнявшись, волны качали, сближая и разводя их, соударя. – Зачем это вам? Так трогательно в вас желание, чтобы все-все-все вас любили.

Выждав (пусть уважают его обстоятельства, работает он), но в меру (чтоб не злить), он понес Гуляеву пакет «май» – бумажками помельче, опыт: более толстые пакеты греют теплее и веселят дольше, чем тонкие при равенстве сумм.

– Алексей Данилович, я отчет по работе принес за май.

Гуляев смущенно вскочил и увлек его в комнату отдыха, достал какую-то клетчатую тетрадь прямо из 1975 года, «Союз» – «Аполлон», со старательными примерами на сложение, пойми: ты не один, у нас строго, бухгалтерия, отчетность, не на карман же – для дела!

– Деньги партии, – вздохнул Гуляев. – Никуда, понимаешь, с пустыми руками не придешь, – стесняясь при Эбергарде взять пакет в руки, – Россия!

Эбергард басил:

– Алексей Данилович, я подготовил предложения по дополнительному финансированию информационного обеспечения выборов, – не слышал, не вникает, во избежание провокаций, ему бы только «работа». – Два варианта. Минимум и максимум на тридцать шесть миллионов.

– Оставляй максимум, дорогой ты мой человек, пойду к префекту, буду биться. Ну, получу, как водится, спустит собак на меня, но – выборы, понимаешь, выборы, дорогой Эбергард, обеспечить жителям возможность... Подожди, и куда ты всё время убегаешь? Посиди. Хочу тебе подсказать, – настало время поделиться, взаимность же. – Никогда – не говори – ни о ком – персонально. Человек ты заметный, все тебя любят, там посмеешься, здесь повеселишь. Вроде хаха, а впечатление создается... Заметь: отзывался я хоть когда-нибудь о ком персонально? Никогда. И вот что: перестань сторониться префекта.

– Так он не вызывает. Вопросов к моей работе нет.

– Пилюса он тоже не вызывает. А он постоянно в приемной. То с охраной покурит, то с помощником... Префект такие вещи замечает.

– Я надеюсь: префекта скоро повысят. Перейдет на федеральный уровень. Округ разве его масштаб? А вы будете префектом.

– Ну вот ты опять! – крикнул Гуляев и спрятал довольно сверкнувшие глаза.

Вот (только посчитал и...) – первый раз сама звонит Эрна, и он еще успел ощутить торжествующее ожесточение: ага, дошла телеграмма «категорически возражаю», забегали, научатся просить, ласкаться... Но с ним заговорило устройство, воспроизводящее звуки:

– Почему ты хочешь лишить меня отдыха? Это шантаж. Это угрозы.

– Эрна, летом ты всегда отдыхала со мной. Мы давно не виделись, ты не ездила к бабушке. Мы могли бы провести вместе хотя бы две недели...

– Мне нужно море, чтобы лечить носоглотку. Ты же сам говорил, что больше не хочешь со мной никуда ехать. Дашь согласие на выезд?

– Нет.

– Я поняла твою позицию. Ты перестал со мной общаться, как только я начала высказывать свое мнение.

– Какое?

Ответа на этот вопрос не было в записанных звуках, и Эбергард начал говорить сам, перечислять, доказывать, напоминать, обещать, иногда употребляя слово «любовь» и слово «заботиться», слова «отец и дочь», «всегда быть вместе». Эрна молчала, только, кажется, чуть не заплакала, когда он произносил слово «суд», и спросила, словно его звуковое письмо дошло, но не открылось, не зная, что Эбергард ей посылал:

– Дашь согласие?

– Нет. Ты говоришь со мной, как с чужим человеком.

– Ты тоже.

Вечером – что может быть срочного? вскочил, спрятался почему-то в спальне – позвонила адвокат:

– Я не обидела вас тогда? Той своей фразой.

– Нет, – какой фразой? – нет.

– Ну, что еще не решила, как близко вас допустить. Осень была у меня тяжелой очень. Помните, взорвали два самолета? В одном из них летел человек, который был мне не просто близок... Я долгое время вооб-



ще на людей смотреть не могла. Особенно на мужчин. Мужчины все казались такими... противными.

– И вот подползает как-то после заседания клуба «Право отца» особенно такое омерзительное...

– Неправда. Вы мне сразу показались... необычным. Не обижайтесь.

– Не переживай, Вероника...

Она пошуршала чем-то возле телефона, устраиваясь удобней.

– Так волнующе, когда говоришь «ты». Скажи еще.

– Потом обсудим, – Улрике уже дважды заглядывала в спальню в неторопливых поисках необходимых предметов.

– Не можешь больше говорить. Вот, чтобы облегчить тебе жизнь: женщина, твой адвокат, звонила тебе по делу. Она забыла тебе сказать. Вернее, не смогла. Рассмотрение дела может затянуться. Твоя бывшая жена беременна. Не знаю срока, но уже заметно.

Когда Улрике раздраженно и не объясняя причин плохого настроения уснула без обычного «я люблю тебя»-поцелуй-пожатие руки, он понял, что не уснет, вышел на кухню; за стеклом – слева направо – летел самолет, пять-шесть закрепленных по отношению друг к другу огоньков, один мигает; сходил бесшумно в маленькую комнату (называли ее кабинетом, а у хозяев квартиры в ней делала уроки и спала дочь) за биноклем – подарком Фрица на тридцать пять – и успел: самолет оказался так близко, что заболели глаза, летел, посверкивая железным блеском, неправильно и чужеродно в небе.

Перевел бинокль на «чуть ниже» – кухонные окна, много кухонных окон. Эбергард вдруг увидел мужчину, курящего на балконе, и чуть не опустил бинокль

от жаркого смущения – показалось: мужчина немедленно его подглядывание обнаружит.

В немногих окнах горел еще свет, но их плотно занавешивали шторы. Лишь несколько кусочков открытой, цветной жизни. Когда Эбергард увидел первого человека за окном, сердце его почему-то слышно забилося. Это была пожилая женщина в очках, волосы заколоты на затылке. Сидела она лицом к окну и что-то делала руками. Например, писала. Долго. Потом сняла очки, обернулась в угол, и кухня вдруг осветилась, добавилось яркости в цветных деталях – это она включила телевизор. И теперь смотрела в тот угол, долго, Эбергард устал уже за ней наблюдать. Не отворачиваясь от телевизора, она вслепую достала дряблой рукой с плиты большой чайник с обгоревшим донцем и налила себя кипятка в огромную кружку.

Точно под ней, на этаж вниз, не спал еще человек. Мужчина в пижаме сосредоточенно ел. Вычищал зубами что-то похожее на арбуз, хотя арбузам еще не сезон. Доел и встал готовить себе следующую еду на плите. Эбергард понял: у мужчины большие планы.

На еще одной кухне Эбергард обнаружил голую женщину. Он не понимал, что она голая, пока, выходя из кухни, женщина не повернулась спиной и он не увидел худую бледную спину и обнаженное раздвоенное ягодиц.

Остальные спали. Нет, на последнем этаже, под крышей вышла на свет – в зале – женщина: длинные темные волосы, розовый халат. Походила вперед и назад, словно чтобы заснуть, ей требовалась именно такая подготовка, подошла к подоконнику и в кулаке ее заметался огонек – курить? Нет, зажгла свечку, присела и начала молиться. Крестилась подолгу, по-

том в каждой комнате, постояв, прижав руки к груди, над теми, кто в комнатах этих спал, – погасила нагло-хо свет.

Монстр на полторы недели засел на дачу, в непла-новы́й отпуск, оставив и.о. Гуляева, а не свежеутверж-денного Хассо, – Гуляев копил почту, не подписывал, на всякий случай, ничего и готовился в трудную мину-ту в реанимобиле укатить на больничны́й; старушка из протокольного отдела мэрии и о. Георгий (Кудряв-ко), помощник депутата Иванова-1, независимо друг от дружки утверждали, что держали в руках распоря-жение об увольнении монстра, подписанное мэром, но монстр вернулся с дачи и в среду созвал «общее со-вещание», на него бежали спотыкаясь: прощаться? (Эбергард спрятался на городском семинаре по раз-мещению политической рекламы), но монстр заслу-шал по-быстрому «организацию отдыха на водоемах» и «дислокацию бахчевой торговли», с ненавистью по-сматривая на Гуляева, похвалил Хассо: «стремитель-но осваивает фронт работ», и раздавил начальницу управления потребительского рынка, но тоже опера-тивно, – та умно повалилась в обморок, а с утра по-просила неделю за свой счет к умирающему отцу и много раз повторяла потом: повезло, что отец в эту неделю и умер, монстра не обманула – он бы не про-стил!

Секретаршу Хассо привел свою, стареющую и бе-зумную Зинаиду; когда Эбергард звонил: можно со-единиться с Хассо? – она который год уточняла: «По телефону?» Теперь (сегодня) она сидела в ужасе и без-молвии, равномерно моргая, как глазок сигнализа-ции, и не знала: узнавать ей Эбергарда или лучше нет,

спросить: «А вы договаривались?» – или еще хуже: «Вы как частное лицо или организация? Прием у нас по средам. Запись на следующий месяц в сто двадцать втором кабинете». Заведующая приемной первого заместителя префекта – фигура; времена тортиков, зеленых стольников на день рождения и дружеского поглаживания бедра прошли, вернее, забыты, но – нет, что-то человекообразное, свое, из собственных, тающих от глобального возвышения душевных ресурсов, песчинкой, пипеточной каплей перевесило тарелочку аптекарских весов.

– Зайду спрошу, – страхуясь и смягчая возможный удар, – кажется, к нему кто-то заходил.

И не возвращалась долго, Эбергард уже выкатил и закрепил на лице декорацию: «А ничего и страшно-го! Я на следующей недельке загляну» – но Зинаида, вынося пустые чашки и ощерившуюся папку с распечатанной почтой, показала:

– Проходите, – но с таким видом, что принимают Эбергарда только благодаря ее просьбе и она, дура, простая душа, уже наказана, посему – в последний раз.

Эбергард почувал такую... тоску! – уж лучше бы Хассо его не принял!

Хассо сидел в новом, затейливо посверкивающем легоньком костюме, в бывшем кабинете Кристианыча чем-то благородно и уместно пахло – ожидалось явление монстра на «новоселье». Хассо подчеркнуто вышел из-за стола и сел напротив за приставной столик – ведь ничего не изменилось? А что могло измениться?

Эбергард сиял и читал соответствующие разделы «Азбуки отношений»: потери – Хассо не обнял, не предложил чаю, не повел в комнату отдыха, достиже-

ния – но они же не договаривались, первый заместитель префекта очень занят, Эбергард должен понимать, он же свой, Хассо ведь не остался за столом (помахать мог весело рукой: привет! развалиться свободней в кресле в знак высокого доверия – да и остаться как-то вот поближе к важным бумагам и телефонам), не начал ведь с «что там у тебя?» в режиме «буквально одна минута!».

– Давит, – пожаловался Хассо на огромный портрет мэра, схватившегося за подбородок над его рабочим столом, – а вынести не могу. Не поймут. И поменьше попросить не могу – тоже не поймут.

– Будешь надувать щеки? – Пусть и Хассо заглянет в «Азбуку отношений»: Эбергард зашел просто так, главное говорится именно в такие визиты. – Думаешь, надолго?

– Знаешь, у меня голова кругом не идет, – Хассо с затруднением, может, последний раз в жизни, сдулся до естественных размеров, почернел, вытянул руку через стол и включил радио (ага, пещерные люди забивают камнями мамонта, провалившегося в ловчую яму, – каменный век!). – Его же кадры умеют только, – Хассо щипнул воздух пальцами, – и... – двинул в пустоту кулаком. – Всё провалено, еще одну морду мэр ему просто не утвердит. Поэтому – я. Системная биография, из семьи, в городе меня знают, – Хассо как-то потеплел, обнажив некие таящиеся чаяния. – Я не подведу. Работать буду честно. Вытащу, разгребу. Мой интерес – через полгода-год мэр всё равно слетит, и префекты слетят, и начнется какой-то новый раздел, и новым людям потребуются исполнители, рабочие лошади – и лучше я это непонятное время встречу первым замом префекта, чем главой управы, одиннадцатилетним сидевшим на одном месте!

– А вытерпишь?

– Знаешь, он, конечно, немного уже пообтерся на хрен, но дело знает не до руды, если ему, блин, лепить горбатого, а не выделявать дюймовочку по гипотенузе навyleт, типа космические корабли бороздят просторы океана, то с ним работать можно, – ответил Хассо на языке, который Эбергард не понимал, и ему казалось: не понимал только он.

– Мужики звонили, говорят: давно не виделись...

– А что, – Хассо, закрыв один глаз, прицелился в календарь, – вот, после коллегии по сносу и реконструкции... И когда-нибудь... В четверг, что ли, часиков около половины восьмого, – время выбирал теперь он, так полагалось, остальные подстроятся.

Хассо не призвал: «Заходи!», не спросил: «Ну, как там у тебя с Гуляевым?», не подарил возвышающих тайных знаний, завтрашних новостей, и Эбергарду показалось: больше они не увидятся один на один, а вчетвером еще раз встретятся, последний (так всегда бывает), и – тоже никогда: другой уровень, меняются телефонные номера, расчищаются «контакты», освобождая места новым, верховным из высшего мира (где свой лунный календарь, правила посевов и опылений), готовя грядки для отборных имензерен, что не умирают, а только дают-дают-дают всходы. И плоды.

Дома – покой и размеренность, ясность, когда кого целует и что кому нравится. Улрике стремительно располнела и с удовольствием показывала разбухшую грудь и горестно ощупывала распухающие бока и бедра, страшилась: в Интернете сидела на форумах будущих мамочек, впитывала ужасающие подробности гибели плодов, рожениц и младенцев и непрерыв-

но сдавала анализы; здесь, дома, всё затопили уреоплазмы, хламидиозы, папилломы; они почти не разговаривали, времени и сил оставалось только на обсуждение образцов штукатурки и цвета кафеля для второй туалетной комнаты (сантехника добиралась из Италии, фура на месяц притормозилась на таможене), Улрике обзванивала подруг, намолчавшись за годы внешнего одиночества, за безнадежность: есть «любимый», но про него нельзя рассказать и нельзя показать; Улрике торжествовала: терпела и ждала она не впустую – ее любовь, оказалось, не обманула, судьба жестоко разделяла влюбленных, но – выстояли и преодолели; кричала в телефон: уже два сантиметра, пять сантиметров! – уже бьется сердце! – каждой: «ориентировочный срок родов – четвертое марта, весна, на новоселье!» – и мечтала: три раза в неделю ты будешь приходить пораньше, чтобы посидеть с малышом, пока я сбегая на фитнес, – не подозревая, как часто (несколько раз в день) Эбергарду хотелось выпрыгнуть с балкона, сорваться и унести, брэнча цепью, без сожаления «всё это» прекратить. Или продолжать всю жизнь. Его охватывал ужас: Улрике не может стать его семьей, семья у него уже есть, а она, эта бывшая красавица, добрая и преданная и чужая ему девушка – нет... И никогда не станет родной, частью его... Они не были вместе юными и молодыми, не были первыми друг у друга, Эбергард не знакомил ее с мамой, как невесту...

Три дня (адвокат научила: фиксируйте свои действия) он набирал Эрне – вне доступа, Сигилд сбрасывала его звонки: нет нужды! Позвонил в муниципалитет Бородкиной:

– Виктория Васильевна, установить бы местонахождение. Телефоны молчат. Боюсь, вывезли без мо-

его согласия за пределы страны. Обращусь, конечно, в милицию, но, может, как-то по-доброму? Возвращать в Москву, конечно, не буду, но съездить хотя б навестить – а куда?

Бородкина ахала: ах, ах, не годится, мы ж договаривались – никаких односторонних действий (только адрес, «куда», твердил Эбергард, собирались в Крым, а куда в Крым?), да мы ее вызовем, хотя она, конечно, в положении; сейчас звоню, и перезвонила быстро, и уже другой:

– Всё в порядке, девочка в лагере в Крыму, надо ее оздоравливать.

Он потерпел (слова-глыбы покатались внутри, сбивая жалкие заросли и ломая защищающиеся руки, раскалывая черепа, и – ничего, в конечном счете останется только он, он сильней, просто сейчас еще не конечный счет, Сигилд дождется – свое получит и еще повоет), а потом дружелюбно спросил у руководителя муниципалитета района Смородино:

– А куда?

– Не хочет говорить. Боится, что вы ее заберете.

– Как я могу забрать двенадцатилетнюю девочку против ее воли? – Но кому он это говорил, где здесь люди?

Адвокат уточнила:

– У тебя на руках заверенные копии телеграмм? Поезжай в милицию, к инспектору по делам несовершеннолетних, пиши заявление о похищении в двух экземплярах, после регистрации второй экземпляр нам, для суда. Хочешь, я с тобой поеду?

– Ты же знаешь.

Вперед! – по окружной катили самосвалы, Эбергард смотрел, как из кузовов летело зерно и, отталкиваясь от бешено вращающихся колес, ударяло им



в лобовое стекло, туда, куда еще утром тюкнул полузабытый, толстый, словно откормленный шмель; стояли в пробке напротив барханов последней черешни со свежebelыми бумажными квадратиками с чернильным извещением «Проба 5 рублей».

У ОВД «Смородино» решил: успокоиться – и подождать спокойствия над текучей, живой, многоногой муравьиной тропой; всякую упорядоченную, безмятежную жизнь хочется раздавить – нет, ждать не мог, словно Эрнэ еще ехала в поезде, летела – первый раз в жизни без папы и мамы – в чумазый Крым, на помоечное море, в страну гакающих гривен и – и еще можно остановить. Понастойчивей. И спокойней (твердил себе), решай здесь, сам, на месте (давно он не ходил к «исполнителям» без звонка, не стучался «с улицы»), звонить некому, добивайся сам, настройся: что бы ты ни увидел сейчас за дверью «инспектор по делам несовершеннолетних», будь готов ко всему – не отступай, всё сможешь; постучал и вошел.

Дверь поддалась не до конца, Эбергард всё-таки попрутискивался в щель, но – ступить некуда, кабинет оказался крохотным, как поездное купе; наметил рассказывать сидя, но стула для посетителей не находилось.

– Я в отпуске, вы случайно меня застали, – беременная инспекторша держала на коленях трехлетнего косоглазого сына в морской фуражке, сидела в вязаной кофте и спортивных штанах, девка из тех, кто спускается в магазин в домашнем халате поверх ночной рубашки и пиво называет «ноль пять»; две поразному некрасивые подруги в форме помогали ей то ли переезжать, то ли въезжать, перекладывая «дела» в серых папках в картонные коробки, колонны таких коробок и не давали открыться двери; опорная нога

Эбергарда заняла единственное оставшееся свободным место, куда намечали поставить следующую коробку, их работа замерла, все неприязненно смотрели на Эбергарда: мешаешь, уйди.

– У нас неприемный день.

Он вздохнул, готовясь к: а что вы хотели? Никто не спрашивал, и он протиснулся назад, но благоразумно, без обид, остался за дверью. Выйдут: а что вы хотели? – или проходящее начальство накинется: к кому? а что это вы здесь ходите? – но ничего не происходило. Эбергард качал, взвешивал на ладони телефон – ничего не поделать с рефлексами! Крались по коридорам и скреблись в двери кавказцы, азиаты – черные, они знали, как заходить; веселой развалкой спешили по делам краснолицые господа в погонах, они знали, кого принимать; только для него жизнь оставалась непроницаемой: один звонок бы и... Некому звонить.

– Я тут, – Вероника-Лариса бежала по коридору в белом платье, спешили тонкие каблуки, качалась грудь, и, увидев ее счастливое, прекрасное, словно новое, впервые надетое лицо, крепкое тело, не стесняющееся своего роста, он почувствовал волны тепла, волны радости и веры: всё сможет – и с благодарностью сжал ответно стиснувшую его руку – всё понемала, как ему здесь.

– Раз так – к инспектору бесполезно ходить. Надо пробиваться к начальнику ОВД.

В прохладной приемной, стиснутой мебелью времен НИИ, КБ и РК ВЛКСМ, гербами и портретами задумчивого Путина, властвовала худая пожилая девушка, то поправлявшая рыжие кудри, то поглаживавшая ногу – от коленки до значительно открытых, до резинки, черных чулок, взгляд ее застывал и пры-

гал, опять застывал и – прыгал, словно следила она за перемещениями кузнечика, способного посидеть на стекле, прилипнуть к потолку и даже довольно надолго зависнуть в воздухе; кузнечик прыгал довольно хаотично и разносторонне, совершенно обходя почему-то Эбергарда и адвоката; Эбергард, как зеркальце, выставил перед лицом девушки раскрытое удостоверение префектуры, но она рассказывала в телефон далекой близкой:

– И хомячок не воняет, если за ним убирать. Самого не купайте, вода для него – стресс! И умирают так безобидно, лег поспать и не проснулся, детям не страшно. Мой-то – слушаешь? – перевязал хомяку ноги нитками – игрался так! – ножки затекли. Уж я их спиртом терла, терла, а хомяк их потом облизал и захмеле-ел... Ха-роший такой, – простонала от смеха, – сутки проспал! И как же его потом мучила жажда! – С трудом (как же ей не хотелось, вторая половина дня!) выполнила разгибание руки: вон, снаружи стеклянной двери часы приема – раз в месяц, а вот кнопка – вызывать дежурного? – или это всё сейчас куда-нибудь денется само?

Терпение, помнить, ради чего; дважды начинал, но бросал набирать Хассо. Нельзя. Потом, может быть, настанет «можно», после условных знаков, но так сразу... это не крайний случай. Гуляев? Не будет вникать, всё личное и бесплатное его раздражает. Лене Монголу уже не позвонишь, пресс-секретарь окружного УВД Денисов – отключен телефон, да и сколько раз Денисов представлялся, и никогда Эбергард не запоминал лица и имени, решая свои вопросы над облачностью, с «первыми лицами»; выйти и подумать, уехать и подумать, признать всё, как есть, обновить свою стоимость, но, понимая «не

надо», он звонил уже в оргуправление Пилюсу, первый раз – сам.

– А-а, Эбергард. Докладывай. Спокойно всё?

«Докладывай» придется перетерпеть.

– Ситуацию я тебе завтра доложу, в девять утра. Можешь позвонить, чтобы меня принял начальник ОВД «Смородино»?

– По поводу?

Вероника-Лариса взглянула на Эбергарда с участием: он перегрыз зубами какой-то звук боли?

– Это касается моей дочери.

– Смородино... Но там же новый кто-то.

– Панасенко, Петр Иванович, – читал Эбергард табличку. – Я у него в приемной.

– И замов там поменяли... Заваливает в приемную, а потом звонит, – Пилюс ковырялся в помятых бумажках, справочных материалах, визиточном гербарии и бормотал как бы исключительно себе: – В своем округе вопрос не могут порешать... Колхозники... – «колхозниками» называл Евгений Кристианович Сидоров людей, выпавших из жизненной системы. – Не обещаю.

Они вышли, вот сюда, за двери, показалось – долго, пока рыжая «приемная» не высунулась с равнодушным:

– Абергардов! Есть? – искренне, она впервые увидела его; важно, что, как, что сказал Пилюс, как распределил содержание по интонации и звукам: «помогите решить» или «прими и выслушай».

Панасенко, подполковник (приветствовать не поднялся, много текущей работы, недавно заступил, надо пахать, пусть люди из префектуры это отметят и доложат там своему префекту), мрачный, с рыжими пятнами на лысине; в кабинет так тихонько, словно

разулся в приемной, вступил усатый зам с челкой, поднятой и укрепленной до состояния «ветераны харьковского таксомотора», дружат, наверное, с первого класса – будет свидетелем.

– Я адвокат господина Эбергарда, вот мое удостоверение...

– Когда будет надо, я вас спрошу, – раз уж невозможно удушить, оборвал ее начальник ОВД. – Ну?

Эбергард рассказал «что» и «как», как самому показалось – без лишнего.

– И что же... вы хотите?

– Объяснить матери моей дочери противоправность ее действий... Перспективу возбуждения дела.

– Хотите, чтоб припугнули. Все хотят, чтобы милиция пугала... – подполковник уморился, это какая-то Голгофа, пойдет застрелится, одиночество страшной ноши. – А надо было не разводиться, а думать! – и вмазал ладонью по столу, первый раз. – Какое похищение?! Мать не может похитить свою дочь! Где ваша дочь?

– Я не знаю. Где-то в Крыму.

– Информацию не хотите давать? – Удар «два»! и, подобравшись, жабы набрякнув, он такой же человек и, может быть, давно устал плющить, отжимать, прессовать и давить. – Хотите, скажу вам по-мужски, зачем вам это надо? Просто, по-милицейски скажу, – нечасто ему вот так приходилось, без поставленной задачи, он действительно спрашивал!

Не скажешь «да на хрен ты мне...»?!

– Пожалуйста. Скажите.

– Вы не занимались воспитанием дочери. Когда разводились – о ней не подумали! А вот теперь зачем-то вам дочь понадобилась. Чтобы алименты не платить, а? Или квартиру делите? Угадал? Для карьеры

нужно? – Накатывало и накатывало, Эбергард наизусть знал маневр «сперва нагони холоду», сам исполнять мастер, знал: надо просто подождать «действия второго, последнего», до «по делу», нельзя подводить Пилюса, он же звонил, и всё-таки – больше не мог, задохнувшись от ярости и желания вмазать по этой желтой пасти, дряблой служилой шее, избитой хомутом и золотыми цепями, дернулся «встать-уйти!», и за мгновение – Вероника-Лариса больно вцепилась в его колено – когтями!

– Фотография дочери есть, последнего времени? – также недобро, но уже опасливо взглядывая «не слишком я... этого, что может быть связан с кем угодно?». – Я так понимаю задачу, – Панасенко взглянул на с десятикратным усилием проживающего каждое сказанное зама. – Установить где и вернуть домой.

– Не надо домой, это травма для ребенка. Только установить адрес, чтобы я смог слетать навестить.

– Принято. Пишите заявление. Завтра выедет на дознание наш сотрудник. Только, уважаемый, не могли бы нам, с транспортом как-то... А то у нас, сами знаете...

– Машину я дам.

– Не обижайтесь на прямоту, так уже устал от всего, – Панасенко товарищески улыбнулся: кому мне еще пожаловаться? – Делить детей – дело тяжкое. Не дай Бог кому-то из нас, – и испытал строгим взглядом «не вздумай!» замершего от ужаса зама. – Не обижайтесь.

В приемной, пока Эбергард разборчиво писал заявление и копию, зам пытался удаляться по делам службы, но какая-то пожизненная резиночка, прикрепленная к брючному ремню, растягиваясь до известного предела, отбрасывала его назад:

– А визитки можете сделать? Начальнику – буквы выпуклым золотом. И мне. – И возвращался. – У сына день рождения, нельзя ли фотоальбомчик отпечатать, формата... Как такой называется?

– А-три.

– Такого, для памяти, гостям. Штучки тридцать две, как книжечку... А обложку можно, чтоб не как клеенка, а ткань? А кожу? – И возвращался. – Нам бы еще начальнику аквариум в кабинет. Его рыбки успокаивают. Литров на двести. А во всю стену? Я вот в кино видел – во всю стену! Если что вспомню, я еще позвоню.

В машине – Вероника-Лариса не понимала: нельзя при Павле Валентиновиче, жизнь Эбергарда не доступна пониманию купленного человека – дура даже не пыталась понизить голос, что-то сокращать, заменять знаками:

– Дай я позвоню в муниципалитет сама, – и билась, за него (и водитель слышал!): – Виктория Васильевна! Да что значит: он сам оставил семью?! Он же отец! – пока он читал сообщение от Эрны.

«На меня никто не давит. Я сама не хочу встречаться с тобой раз в неделю», Вероника хотела еще обсуждать, общаться еще, разделять эмоции, успокаивать и быть вместе, но Эбергард высадил ее у метро и дальше ехал, скособочившись на заднем сиденье, словно покусываемый внутрикишечной болью, от стыда заголения своего попросив:

– Радио погромче, – спрятавшись за песенки, и когда полез наружу, Павел Валентинович (теперь уже не удержится! добавит неуместное «от души») вдруг прочувственно сказал:

– Спасибо большое вам.

С заготовленной неприязнью, сейчас я его припаркую:

– За что?

– Что премию мне дали. Вчера, на шестьдесят пять лет. Жанна от вас конверт передала.

– Поздравляю, – вот о чем Павел Валентинович думал всё это время; отпустил машину на углу Ватутина и завернул в стеклянную коробку, где пекли картошку, ноги подгибались, заломило скулы от постоянного стискивания зубов, еще пекарь (картофелепечник? или как ее?) не успела его заметить, как Улрике (отключить, не соединяться, не брать):

– Что случилось? Что случилось у тебя?! Что?!!

Прислушался: Улрике плакала, далеко, но отчетливо:

– Родной, у тебя много работы? Ты не мог бы сейчас приехать? Ничего не случилось. Но мне почему-то вдруг так стало грустно. Ты же понимаешь – я совсем одна. Всё на мне – готовка, стирка... Ты этого не видишь. А мне сейчас надо много отдыхать, надо, – она стала плакать погромче, – чтобы все меня берегли, обо мне заботились... Выполняли капризы... Я должна чувствовать любовь... То, что я делаю, вынашиваю, это очень тяжело, тебе этого не понять, а ты почитай, что про это пишут... Беременность должна быть праздником! Меня надо радовать... Делать сюрпризы... Маленькие подарки... Я – больше не могу, – и разрыдалась до кашля, выронив, но не отключив телефон.

– Спи, – перед сном поцеловал ее машинально, как выключают не глядя, как это делает рука, свет, – точным, ленивым, до последнего рассчитанным, скудным движением, и полчаса мыл посуду, тер – удивительно, как в небольшой кухне помещается столько грязных сковородок и кастрюль, задыхался: Эрна уе-



хала, он остался, может, не навсегда, пока Эрна не может идти против матери, подыгрывает, и ее хвалят за мелкий садизм (но внутри – остается его дочерью и ждет, когда отец ее вызволит); и Сигилд на глазах подруг загнала себя в кирпичный угол, неповоротливое место, суд поможет ей сдаться без стыда (теперь уж ничего не подделаешь!), успокоится, отпустит Эрну, родит себе ребеночка, и будет не до Эбергарда, не до «куда еще побольней уколоть», а Эрна запомнит – отец боролся за нее, то есть – не бросил и любил.

С утра ждал: милиция обзвонится, но милиция не звонила день и другой, сам отыскал сонный голос женщины-дознателя.

– Мы ее опросили. Вам по почте будет направлен отказ в возбуждении... Ребенок отправлен на отдых...

– А место? Куда, выяснили?

– Мы не знаем, – дознаватель, видимо, всегда употребляла «мы».

– А для чего еще вы ездили к ней на моей машине? Я же просил только это.

– Ну, я позвоню.

Голос дознавателя перезвонил:

– Не хочет говорить.

– Что мне делать?

– Ну, подавайте заявление об установке местонахождения. Опять через начальника.

– Все хотят денег, – сказал он адвокату.

– Пойми: приезжает женщина-дознатель, видит плачущую беременную мамашу, которую мучает подонок, бывший муж, бросил ее ради секретарши с длинными ногами. Остановись. У нас есть заявление в милицию – факт для суда расчудесный.

Эбергард еще попросил маму: может, Сигилд скажет тебе...

– Сынок, Сигилд сказала: ты должен позвонить лично, искренне извиниться, а потом она спросит у Эрны, хочет ли она тебя видеть.

И еще через три дня получил эсэмэс от его взрослеющей дочери: «Ты совершаешь большую ошибку, обращаясь в милицию. И подвергаешь беременную маму таким мучениям по жару. Думаешь, это мама не дает нам видеться? Нет, это мое решение».

– Это не Эрна, – вздохнула Улрике, – за нее кто-то пишет.

В августе – после второго напоминания Хассо всё-таки «выкроил», не без недовольства «вырвался» – отмечали в «Пивнушке»; два пенсионера в тирольских шляпах исполняли на аккордеоне и на чем-то струнном мелодии «Крестного отца», Эбергард наворачивал нежную стерлядь значительных размеров, обложенную вареными картошинами и увенчанную шляпками грибов.

Хассо опоздал, конечно, на час и вел себя с такой повелительной важностью, что администратор перехватил у туалетных дверей самого простодушного – Эбергарда и заманил в гардеробный угол, чтобы спросить, не указывая руками, про Хассо:

– Мы все его знаем, конечно. Но всё-таки – как его зовут?

– Его имя лучше не называть.

– Понимаем. А всё-таки?

– Скажу просто: серьезный человек.

– Заместитель министра внутренних дел?

– Нет. Он, скажем так, советник.

– А чей он советник?

– Это неважно.

– Патрушева?

– И других людей.

Администратор хлопал белесыми ресницами в сторону ослепляющего его сияния, чей жар так сладостно терпеть.

Хериберт и Фриц весь вечер ласково разглядывали Хассо:

– Как похудел, – заметил Хериберт. – Смотрел почти – у тебя даже подпись изменилась...

– Стала дороже, – добавил Эбергард.

Хассо подумал, но всё-таки – рассмеялся, и все подхватили – юмор! – и, расслабившись, помрачнев, друзья объявили Хассо: двигают его «на передний край борьбы»; еще более помрачнев, поклялись: Хассо всегда может на них положиться, они рядом; Хассо, набив рот, не позволяя лишних слов, кивал: так; горячо намечали, да хоть в ближайшие выходные, походы на боулинг, катание на лыжах с гор, погружение на затонувшие германские сухогрузы, и посреди второго графинчика водки уже казалось: не расстанутся никогда, жизнь всю, вместе до березки, хотя каждый понимал – не увидятся больше, всё.

– Как там в округе выборы? – тосковал об отчете крае Фриц.

– Трудно, но обеспечим, – подмигивал Хассо, принимал звонки, выходил на воздух для переговоров с уже незнакомыми остальным именами из городских департаментов, возвращался, указывал на Эбергарда: – Про выборы у него спрашивай.

Эбергард подымал брови: ох, да-а... И не успокаивался:

– А скажи, Хассо. А вот если бы никто не узнал, за кого бы ты проголосовал?

– Да все они уроды!

И дождались, заказав сладкое, в стеснившейся, братской тишине, нарушаемой только жадным и благодарным течением крови по внутренним трубкам: Хассо не из соображений «и я не с пустыми руками», а скорее из понятного желания похвастать, показал мобильник, замкнув лбом квадрат сомкнутых голов:

– Подарил ему и охранникам путевку на выходные в Турцию в спа-отель. Видали, какую эсэмэс прислал? «Долетел хорошо. Условия отличные. Целую».

– Так он и Кристианычу, и Сырцовой писал «целую», – подсказал Эбергард.

Хассо чуть было не свернул от внезапной обиды свои обновки, заметив в ближайшем окружении свиные рыла, но Фриц и Хериберт схватили его с двух сторон: да что ты, Эбергарда, что ли, не знаешь? – ну, продолжай, еще, еще, дай нам почувствовать это!

– Говорит: я принимаю вас в свою стаю. Мы – хищники! Того, кто мешает нашему движению, надо загрызть! Вы не представляете. Вчера позвал: выпьем, дорогой Хассо, по рюмочке... Только вам я верю, предатели кругом. Третью ночь, говорит, не сплю. Встаю в пять утра и хожу, хожу, хожу... Не вижу потому что врага. Не могу так. Вот когда вижу, – Хассо выхватил воображаемый клинок, – рублю!!! Только так чувствую себя человеком, – и уехал рано – расписывать почту, осмысливать задачи, поставленные префектом на коллегии по сносу и реконструкции ветхого жилого фонда; провожать отправили Эбергарда – ему нужней.

– Не уволят его? – спросил при объятии Эбергард.

– Никогда. Господи, ну кто может его сковырнуть? Скажи мне, кому по силам?! – и трудно и как-то неумело полез в машину.

Фриц и Хериберт, трезвые и грустные, кофе пригубливали и ковыряли ложками десерт с боков.

– Зря я у него про политику?

– Хассо просто не захотел с тобой говорить об этом.

– Да он просто не думает, за кого бы голосовал. Зачем думать про то, что не имеет значения? А ты, Фриц, тоже не знаешь, за кого бы голосовал?

– Знаю! Но это не значит, что скажу.

Вероника-Лариса объясняла: не люблю телефон; и вызывала его «пересечься и всё обсудить, заодно и пообедать» по каждому, ничтожному даже... но он радовался ее звонкам и ждал встречи; Эбергарда волновала близость ее тела, кажущаяся доступность и чистота его, жизнь Вероники-Ларисы ничего не просила у него (все остальные ждали, когда Эбергард купит им лекарств и счастье), адвокат обещала победу и всегда улыбалась; всё в Эбергарде восхищало ее: улыбка, любовь к дочери, умение устроить жизнь; когда они встречались, Эбергард словно возвращался в юное, начинающее всё прошлое; и, обсудив дела, они немного болтали «просто так», и Вероника-Лариса всегда оставляла Эбергарду время сказать ей что-то еще дополнительное, особенное или даже сделать – он ничего не говорил и не делал и знал: никогда не дотронется до нее и ничего не скажет – уже хватит.

– Адвоката у Сигилд еще нет. Мы встречались в опеке. Вот ее вариант графика.

Эбергард прочел подчеркнутое: «Встречи один раз в месяц с 15 до 19» – всё, что ему предлагалось, и оглох, и не понимал, что говорит Вероника-Лариса, что-то «ее властность, ее властность...».

– Мне кажется, она до сих пор тебя любит.

Он удивился, как мало это недоказуемое тронуло, подкормило его самолюбие.

– Это я к тому, что есть вариант упасть Сигилд в ноги, повиниться, – адвоката беспокоило его молчание, – и подкрепить это какой-то суммой. Но, конечно, она, с ее характером, денег может не взять, оттопчется на тебе, докажет Эрне: победила отца, сам приполз и всё признал, а твой график всё равно не подпишет. Ну что? Идем в суд?

– Да.

– Хочу, чтобы ты понимал: учитывая положение Сигилд, в суде ее раньше ноября мы можем не увидеть.

– Судьи встают на сторону беременных и кормящих?

– Я же говорила: на решение влияет судебная практика, личный настрой и позиция опеки.

Душить судью и органы опеки и попечительства муниципалитета «Смородино»!

– А мнение ребенка?

– После десяти лет учитывают. Почему ты так этого боишься? Неужели ты думаешь, Эрна не захочет с тобой встречаться?

Эбергард думал именно так.

– В конце разговора Сигилд предложила еще одну встречу в опеке: ты, она и Эрна. Она скажет при девочке, что поддерживает твой график, и предложит ей самой выбрать...

– Как ей не жалко Эрну. Я тебе больше ничего не должен?

– В смысле? А. Нет, всё пока в рамках оговоренного гонорара, – закрыла блокнот. – Я с тобой часто разговариваю по вечерам, слышишь?

– Я даже тебе отвечаю, сам что-то спрашиваю.

Вероника-Лариса легко потянулась к нему и поцеловала: спасибо, вот это то малое, что потребуется, не бойся.

– А что ты думаешь про меня?

– Я про тебя еще не думал.

Думал, неправда; девушки одинокие и «не» устроены так: каждого взглянувшего на них, остановившегося рядом превращают, обряжают в «единственную, ту самую любовь», любого – убийцу, садовника, соседа в авиационном кресле, брата мужа, незабытого одноклассника, мрачноватого посетителя питейного заведения, даже (и особенно) парня, при знакомстве сказавшего: ты мне не нужна, вообще не нравишься, я никогда тебя не коснусь – девушка сидя или «не», начиная с «а если...», двигаясь с неутомимостью вороватой птицы через «а вдруг...», через «может быть...» к «наверное...» до – «он и только он!» – еще один блестящий металлический предмет в свое гнездо, поиграть, заиграться и порезаться до крови, насыщая и распалая себя несуществующими подтверждениями и поощрениями (гадания и сны всегда на стороне девушек), они хотят – услышать наконец правду, они стремятся к окончательной ясности, потому, что если уж этот «не он», так, значит, следующий «он» уже обязательно! Все девушки одиноки. Все девушки в семье несчастны. Все девушки недооценены. Недолюблены или любимы не так. Неудовлетворенны. Непоняты. И никому не нужны. Они всегда верят в парней с афиши и в то, что производит такие афиши, до дома престарелых, и дальше еще.

– Знаешь, – жар благодарности, она же – за Эбергарда, не за деньги, – если бы у меня была еще жизнь, я бы на тебе женился.

В ответ – ничего, вечером только прислала «вспоминаю и – мурашки по коже», когда Эбергард уже забыл; а вспомнил и – ничего такого не почувствовал, смотрел на спящую Улрике, притих: как она дышит? – как привык: как дышит Эрн? – такое малозаметное ночью существо, вокруг которого поворачивается мир, – посапывает, катит свое колесико, подымается ракетой в свою единственную высь и взлетит – выше его.

На следующей неделе тяжелой оказалась среда; на восемь тридцать монстр вызвал Гуляева и уничтожил за то, что в подвале сверлили, когда он проводил коллегию, мешал сосредоточиться этот кем-то допущенный звук (сверлили на улице, устанавливая доску почета к Дню города, – так повелел мэр), потом выдернул с городского семинара по инвестициям Хассо и полтора часа с разных сторон, используя выражения «недоносок» и «вонючий лимитчик», орал: как Хассо мог за его спиной назначить совещание по сносу незаконно возведенных строений (хотя сам распорядился его срочно провести)?!! Хассо сдуру отвечал и получил (охранники рассказали водителям): «Ты меня не запутаешь! С кем сговорился за моей спиной?! Да я тебя уничтожу!! Ты думаешь о своих детях?» – Хассо вышел спокойным, смог равномерно дойти до кабинета, час никого не принимал, первый посетитель спросил на выходе у Зинаиды в приемной: «А что, у вас первый зам бухает? Чой-то он с утра такой?»; после обеда монстр проверил чистоту в туалетах на четвертом этаже и уволил завхоза, сорок минут орал по видеосвязи на вице-преьера Ходырева: «Я знаю о каждом твоём шаге! Я знаю, что ты делаешь в комнате отдыха и с кем! Я знаю, сколько ты



в округе квартир нахапал!» – и опять позвал Гуляева и душил так просто, чтобы как-то с пользой провести время до выезда на межотраслевой совет по межрегиональному сотрудничеству; как терпит Гуляев, удивлялся Эбергард, генерал! – на старости лет! да, получил квартиру, да, пообещали еще одну, но ведь это не всё; когда бежал наверх по вызову Гуляева исправляться, «реализовывать», «получать», Анне Леонардовне уже открывал душу еще более раздавленный, словно обожравшийся Пилюс (чаем его здесь не пили) – вот моя смерть, понимал Эбергард, такая: жирная, лыбящаяся свинья.

– Приехал в воскресенье, посидеть в тишине над планом-графиком обеспечения выборных мероприятий... И крадусь так тихонько вдоль стеночки в своей кожаной курточке, и брюки на мне почти спортивные, и вдруг – префект навстречу! – Пилюс вытаращился на Анну Леонардовну, изобразив ужас, она отвернулась включить чайник. – Я вот так вот, в сторонку, в сторонку, крабиком таким, бочком, за мешок мусора и – стою так, не шевелюсь в своей кожаной курточке и брюках, а он меня так – ма-анит... Думаю: всё. Пропал. Вставит сейчас, за внешний вид, а он: Сергей Васильевич, а пойдем-ка выпьем коньячку. – И солидно поднялся, Гуляев позвал его первым.

Эбергард спросил Анну Леонардовну:

– Опять?

– Сегодня вообще, – Анна Леонардовна подала ему чай, – Алексей Данилович мне, конечно, ничего не рассказывает, но... Пришел такой... Я боялась: инфаркт, – Анна Леонардовна давно уже перестала хихикать, показывать незнакомцам коленки и научилась шептать, – мэр проводил селектор по выборам. Что к двадцати трем в день выборов руководители

бюджетных учреждений должны отчитаться, сколько человек из числа сотрудников проголосовали и за кого. А префект Востоко-Севера Орлинков...

– Западо-Юга.

– Наверное. Говорит: а если кто заболает? Вот тут не мэр... Кто штаб «Единой России» возглавляет...

– Ходырев.

– Пояснил: единственное оправдание – бюллетени. Пусть заранее готовят бюллетени. А наш, он и так Ходырева ненавидит, не разобрал, какие бюллетени, и включился: бюллетени мы, конечно, заранее приготовим, но зачем об этом говорить вслух на селекторе? Ходырев мэру всё заострил и преподнес, мэр вчера нашего поманил и вставил. А виноват кто? Правильно: Гуляев! Идите, Алексей Данилович зовет.

– Ну, думаю, пропал ты, Сергей Васильевич, – не спеша рассказывал Гуляеву Пилюс. – Встал я так тихонько за мешки с мусором, крабиком, затаился, присел даже, не дышу, глядь – а префект-то меня – ма-анит. Всё ведь видит! Ты что это, говорит, там, Сергей Васильевич, ну-ка, хватит работать по воскресеньям, – и издавая шипяще-свистящие звуки, Пилюс безмятежно захохотал.

– Вот это – что? – швырнул Гуляев Эбергарду под нос квадрат бумаги.

Вот как, оказывается, с тобой разговаривают в зоне особого доступа, не удержался ты, зрелый человек, понес дальше отравленную пыльцу; Эбергард смотрел в глаза Гуляева: ты же знаешь что это, открытка с поздравлением префекта первоклассникам от «Единой России», подписанная тобой в печать и расхваленная.

Гуляев глаза опустил, но продолжил:

– Никуда не годится! Так не работают.

Кто оплатит тираж?

– Буквы слишком крупные.

Мелкие буквы дети не разберут.

– И должно быть персональное обращение! По имени!

Никто не успеет добыть, проверить и напечатать семь тысяч имен!

– И главное: фразы должны быть короткими. Ясными. Префект приказал найти поздравления первоклассникам от Брежнева, а еще лучше – от Андропова, их и напечатать. За подписью префекта!

– Всё сделаем, Алексей Данилович. Моментально, – и Эбергард крупно вздрогнул, как вздрагивают только дети, – так Пилюс закричал:

– Чему ты улыбаешься?! Ты работать когда начнешь?! – вылетало с ревом, под давлением из Пилюса, словно проткнутого встречным кустарником и лопнувшего по шву. – Ты еще префекту доказать должен! Сколько можно Алексея Даниловича подставлять?!!

Эбергард, презирая себя за хлынувший в лицо жар, за испарину внезапного страха, за расчетливость – бить нельзя, тебя провоцируют, не поддайся, – не сводил глаз с Гуляева: хозяин кабинета должен остановить, так полагалось, свести к «излишне эмоциональному обсуждению», добавить «но»; Гуляев неприязненно взмаргивал, стыковал пальцы, ноготь к ногтю, но – не вступался.

– Скоро получишь в лоб! – Столько лет Пилюс ждал! – Тебя никто не прикроет... – длилась, редела нестерпимая сирена, переход на новый уровень в игре, «новое» в разделе «правила», что означает, если из пяти звездочек «жизней» четыре уже перечеркнуты, – но никто не заставляет, вдруг вспомнил Эбергард, его никто не заставляет, ему, в отличие от мно-

гих, важнее другое – важнее Эрна, он сам – поднялся и направился к двери, убрав звуки с такой резкостью, словно оборвался какой-то провод, в такой тишине, словно шел по крыше и третий шаг – в сорокаэтажный высоты воздух; и чуть попозже, на третьем шаге, не зная, почувствовал: уйдет, закроется дверью и вот этого невыносимого больше не будет, не только сейчас – вообще по-прежнему никогда не будет, не будет вот этого «будет» с «не» и без.

– Отставить! – всё, что успел сообразить Гуляев. – Эбергард, немедленно...

Дверные проемы, два, он преодолел ровно, не задев, и вышел (не погонятся же), не заметив: Анна Леонардовна в приемной? говорила ему что? – сразу в долгую ночь, и сидел над открытыми «контактами» в телефоне: позвонить некому и сообщения никто не пришлет. Девушка, писавшая ему по ночам, располнела, собирается рожать, обиженно засыпает и мигает откуда-то из глубины жировых отложений двумя злыми глазками. Болит колено. Нервная почва. Хотелось есть. Некого услышать. Некому сказать. Эрна спит. Ее отняли, отвели подальше, и она спит; завтра первое сентября, первый раз за последние годы этот день для Эбергарда не значит ничего. Эрна пойдет в школу без бабушкиных астр. Бабушка пыталась дозвониться, но Эрна не перезвонила и не ответила. Эбергард ответил.

– Оставь ее, сынок. Просто держи двери открытыми.

Улрике привычно плакала на кухне, потише, когда он приближался, погромче, когда отходил, и в голос, когда поняла – Эбергард не собирается завтракать.

– Что? Что случилось? – он обнимал ее и заученно, уже не вспоминая, что за чем следует, делал искусст-

венное дыхание, включая «губами в губы», для возврата ее к счастливой жизни.

– Просто я подумала, – затрясла головой: да она и сейчас так думает, с этим не поспоришь, – что ты будешь меньше любить нашего малыша, чем Эрну... – и обхватила его: рассказывай подробно, почему это не так?

Мэр приехал на закладку бассейна в Заутрене и, утопив в бетоне капсулу с посланием потомкам, с живостью увечного попрошайки, хозяина костылей враскоряку вскарабкался по деревянной лесенке на трибуну, прижался плечом к режиссеру Иванову-1 – выборы! – ряженные русские бросили плясать, и невидимый радиоратор долил в уши мед и доплевал в федералов, ворующих деньги города.

Мэр (омерзительный, такой всегда, сегодня особо?) поцеловал Иванова-1 в губы и оглядел толпу согнанных старшеклассников и оранжевые жилеты и каски на десяти хмурых трезвых мужчинах, изображавших строителей (настоящие строители – смуглые, в синих и черных куртках – переминались в отдалении, за милицейскими спинами, словно боялись приблизиться), и Эбергарда, стоявшего в установленном ему тридцать шестом ряду.

– Что самое главное в жизни, ребята? Надо держать... что-о? – мэру нравилось, когда ему отвечали хором. – Не слышу! Что же вы не знаете? Надо держать слово!

– Я не понял твоего поведения! – Разъехались; зачехлялся оркестр, фальшивые рабочие расходились, ворча «при царе бочку водки выкатили бы», Гуляев подозвал Эбергарда коротким окриком и взмахом руки, как в период обучения подросткового щенка. – Это

что за провокационные выходки?! Когда захотел – встал? Когда захотел – пошел?!!

– Прошу прощения, – и побежавший по низу экрана текст, и сурдоперевод, и руду, загрохотавшую на транспортере, Эбергард пропускал, делал вид «слушаю», но всё же улыбался, если замечал в окружающем и мимошедшем забавное что-то, и озирался, чтобы забавное это подметить.

– Договоримся! – Гуляев добрался наконец до... – На всех коллегиях присутствовать – лично! На всех выездах префекта – лично! Свои вопросы докладывать – лично! Он должен видеть Эбергарда. Твою, так твою мать, работу. Иначе дорогой Эбергард быстро кончится. Желающих на твое место – до хера! – Гуляев с надоевшим страданием перемялся, словно пришлось отвлечься на муки неразношенных тувель или каменную такую крошку под правой пяткой. – Как понимаешь, мне ты симпатичней Пилюса, но – Ему... – Ему, как Богу.

И руководителя окружного пресс-центра до поры оставили; руководитель прошелся, пока не остановила розовая стена с надписью «Если ты не голубой», закрыл ухо телефоном: Фриц кричал, кричал, не расходуя души, как кричат на полуглухих пожилых, роженниц, малолетних правонарушителей и справедливо подозревающих жен:

– Ты не должен показывать им, что тебя есть за что зацепить... Что не всё терпишь! Что ты готов свое отдать! Да ни копейки! Хрен им!!! Зубами держи! Ногтями! Да они побоятся в угол загнать! Ты столько лет... Ты строил свое, сколько сил... Годы! У тебя дочь! Квартира! И теперь, когда им осталось полгода, вот так всё – отдать?! Они уйдут кормиться на другое поле, а мы – мы останемся, это наше!!! –

И ныл, дребезжал трамвайным отзвуком в стеклянной посуде: – Сходи к нему...

– Я не смогу.

– Раньше мог, и решал, и носил...

– И носил. И презирал. Их это не устраивает. Им ведь надо что-то кроме денег.

– В смысле? Недвижимость?

– Мои дни, ночи. Душа. Существо!

– Душа. Какая на хрен душа? Кивай, да и всё!

– Я не могу. Вопрос в том, есть ли в тебе выключатель. И обеспечиваешь ли доступ.

– Эбергард, – Фриц понял; или и прежде понимал «о чем», но жалел времени и себя и вот по доброте собрался всё же «последний раз объяснить», – сейчас главное слово – система. Надо быть, – сообщил как червячье страшное, – внутри. Всё, вся там херня – личное, неличное, правда, неправда, борьба какая-то, ты сам со своим именем-фамилией, будущее, дети – только там могут быть. Внутри. Если ты не пролез или выпал – тебя нет. Надо встроиться. Встроился – держись. Держишься, ходи с прутиком, ищи, где тут под землей финансовые потоки... Но – только в системе. Система!

– А система, чтобы победить сепаратизм... Модернизация экономики... Подготовить граждан для полного осознания своей ответственности на свободных выборах... В условиях плюрализма...

– Как хочешь. Но помнишь, как говорили наши учителя при советской власти? Партийный рубль длиннее, чем рубль. Такой же, как обыкновенный рубль. Но длиннее.

– У вас там... – Жанна не успела досказать, он постеснялся вернуться с трусливым «кто-кто?» и шагнул в собственный кабинет с «не бойся!».

Человек за его столом – а, это Дима – Дима Кириллович, Эбергард уже привык, что – опять новый: Дима серьезно оброс, поседел, нарядился в синий пиджак, напоминающий форменный швейцарско-таможенно-авиационный, но без фуражки, светлая водолазка добавила ему мягкости и несуеты; Дима, не шевелясь, думал о чем-то неприсутствующем, Эбергард налег спиной на стену, насижусь, коллегия по выполнению наказов избирателей, – холодное наконец-то утро, идешь, и листики бегут за тобою следом – оба смотрели в окно, как уборщица прометает крыльцо. От человека, что долго с тобой – сидит, заходит, звонит «с днем рождения», кормит, всегда ждешь ножа в шею. Должна ведь быть какая-то цель у него. Он же не «просто так».

– Всё маешься, – Дима погладил рукой стол, чтобы показать на запястье браслет с черными камешками. – Ты можешь увидеть, что внутри меня? Ну, другого человека?

– Кровь?

– Да нет! Вот так: можешь почувствовать себя этим, другим человеком? Представить, что он чувствует? – Дима присматривался к Эбергарду и, как о чем-то географическом, уточнил: – Ты ведь не за правду, да? Русский. Но не за правду. У тебя это – поскромнее. Пусть живут и жрут, как хотят, но тебе желательно, чтобы они правду знали.

– Тебя и оттуда уволили?

Дима вздохнул из-за облаков, с вершин неких необозначенных пока достижений: ничего-то ты не понял и вопрос твой только подтверждает мои...

– Не об этом. Я наконец-то в порядке. Я дома. Сам вдруг очнулся: зачем мне это мелкое ворье? Там всё занято. Под каждой струйкой – рот. С запасным ртом. На землю нам – ни капли. Я вдруг догадался: надо си-



деть на раздаче. Там, где нарезаются большие порции. В правящих кругах. Ты не знаешь, почему правящие – именно круги?

– Ты в семинарию поступил?

Дима теперь вздохнул с укоризной и потерял указательным и средним, как огнестрельную почетную отметину, золотой значок на лацкане:

– Слон, видишь? Клуб «Слоны». Слыхал?

– Что-то... Это те, что при департаменте внешнеэкономической деятельности пасутся?

– И там, – тягуче, смолисто, Дима цедил теперь с насмешкой: всего теперь не скажешь, угадывай, – и при Белом доме. И при том Белом доме. Старейший бизнес-клуб мира. Отделения в восьмидесяти двух странах. Это только официально. С виду: просто место, хорошее такое... Место, где собираются и разговаривают разные люди... Даже не представляешь, кого я там... Не скажу. Клятва первого уровня. Никогда бы не подумал... Даже самые непримиримые... А в этом месте – пересекаются... Управление отсюда. Мы-то с тобой живем-барахтаемся, боремся... Надеемся... Кого куда назначат, кто что даст – а это видимость. Мэры там, депутаты... Президенты. Совсем другие люди, на самом деле – рулят...

– Угу. Несколько уровней посвящения. Члены клуба выходят из подземных ходов в любой точке земного шара. И сауна в цоколе с тайскими массажистками украинской национальности... Нашел наконец-то ты место, где решаются все вопросы!

– Нет, Эбергард, оказывается, все вопросы давно решены. И когда это понимаешь... Приходит такой покой... Любое твоё желание...

– И трешку могут в монолите? И шунтирование по квоте? И в детский садик?

Дима Кириллович серьезно молчал, перебирая камушек за камушком в браслете.

– Тебя-то как туда взяли? Визитки им рисуешь? Золотых слоников?

– Это здесь – только деньги, – художник нахмурился. – И там деньги. Страшно большие. Но сперва – идеи, образы. Это раньше – кошелек и паспорт. А теперь – портфолио. Чуть что: а портфолио у тебя есть? Им нужны мои идеи – и я поделюсь. Очень за дорого. Не сразу. Закреплюсь, а уж потом... У них проблема: Россию привести в отведенное место. Как? Они-то думали: подманиванием. Не-ет. Не знают русских. И я не знаю. Вот пришел на тебя посмотреть. Народ-то наш как-то ухнул и застрял внизу, криво... – Дима неожиданно и неуместно захихикал, сам, кажется, испугался своего смеха, останавливался, но прыскал опять, разлепляя губы. – Когда солнце точно вон над этой самой точкой, народ наш внизу там видать – вроде живы... Но что там с ними? – Дима признал, – скользко и темно. Что же там с народом? Не слышно.

– Небось, и молитесь там... чему-нибудь?

– Богу? – рассмеялся Дима уже законно. – Богу!!! – такой забавной показалась ему давняя шутка, любимая, не уступающая годам, – всё равно смешно! – Богу! – смеялся, сипел и осушал пальцем глаз.

– Как твоя гениальная дочка? Танцы, языки, астрономия?

Дима поднялся: пора.

– Дать тебе машину до метро?

– Зачем? Я теперь не спешу. По совету тибетских врачей передвигаюсь только пешком. Приседаю по утрам, на пресс, на косые мышцы... Пятьдесят раз. Хотя могу и сто. А то уходят – здо-ро-вые ребята! При-

шел с работы, стало плохо, до второго этажа донесли – инфаркт! Слушай, дай-ка мне займы, – голос раскачался, мостиком на канатах, по которому пробежали ноги, – тысячу долларов.

Эбергард, не успев подумать, с небольшой жалостью, что быстро высохнет, оставив белесый соляной след, отсчитал: десять.

– И хочу узнать твое мнение, – Дима не прятал деньги, боялся выпустить из рук. – Если гореть одним, все силы свои, всю душу свою отдать одному, ни о чем другом... Каждую минуту. Ради одного, и – делать, делать, делать, – брызнула слюна и он смущенно осекся, – ведь не может это – не дать ничего? Чтоб: совсем ничего? Если всё делать, делать, делать по-настоящему, как главное, всю душу свою отдать! Душу! Не шутка. Ведь человек, когда хочет и делает, ведь пробьет, добьется, спасется, достигнет – дадут же ему? Даже если потом? Или совсем потом? Нет, не потом. А всё-таки – ему. Скажи. Да?

Эбергард ни хрена не понял, но согласился:

– Да. Пошел я, короче, на коллегию.

– Вот и я так думаю. Да! – Дима встрепенулся, словно услышал долгожданный оклик, и выбежал из кабинета.

Поздно, Эбергард остался так, что ни рука протянутая, ни взгляд ничей не могли его... в темнеющем небе увязли костлявые березовые кроны, и ночь расчертила город электрическими кляксами, минута, когда на бахчевые развалы к смуглым друзьям приходят арбузные девушки, всегда – по две, и всегда – одна блондинка.

– Какой вам арбуз? Средний?

– Сладкий.

Продавец в синем фартуке встал на табуретку и надавал пощечин ближайшим арбузным бокам – все отозвались одинаковым сырым звуком; он вытащил ближайший, подержал в ладони и определил:

– Двести восемьдесят пять рублей.

Эбергард прижал арбуз к себе, не понадеявшись на серый пакет, и понес, озираясь: мы проехали дальше, и рельеф времени изменился, куда-то пропали Первое мая. Седьмое ноября. Палки транспарантов. Красные банты. Да и дни рождения и Новые года заметно сгладились, хотя еще можно определить, где они примерно находились...

Некуда.

Он опустился на освободившуюся лавку у ресторана «Под белыми березами» и разглядывал девушек – входивших и выходивших (зад плосковат, а вон та, такая полногрудая, что должны на ней расти мох и водоросли) – как расколупать мир? – заглядывал в ближайшие автомобильные пещеры, под запыленные стекла, даже телефон достал, набрать номер, выведенный извилисто и толсто, словно зубной пастой по стеклу рухляди после «продается», – хоть с кем-то поговорить; всегда успокаивался, когда поливал деревья, вырывал сорняки, а особенно – оплачивая квитанции за квартиру, телефон – подтверждение: верно живешь, а самое лучшее подтверждение – ходить и ездить с охраной; вот кому – позвонил адвокату: ты мне сегодня приснилась.

– А что мы там делали? – жадно ухватилась она, вот и появился первый кусочек их общей жизни, Вероника-Лариса пыталась угадать: что же с ним, и давила на общеукрепляющее, универсальное. – Выиграем суд, весной полетишь с дочерью в Египет, и, может быть, в соседнем номере случайно окажусь я. Будешь ко мне приходить по ночам?

– Конечно, – кому ж не захочется такого: ночь, тьма, чистота тел, горячих от душевых струй, три тысячи километров от реальности, места прописки и совести. И ненадолго.

– Плохое настроение? Приезжай в гости!

– У меня не бывает плохого настроения. Бывает: переел, голодный или не выспался.

– Не хочешь говорить.

Сказал бы, но в чужой душе надо вести себя, как в чужой квартире: не следить, вымыть за собой чашки. Заплатить за проживание. Не оставлять неустрашимых последствий, если не оформил прав собственности. Или не собираешься это сделать в ближайшее время.

Эбергард замерз, и теперь, еще не причалив к микромиру одеял, повторяющихся движений, зубной щетки и жевания разной пищи, когда сердце едва слышно, а внутри стучит что-то другое, он признал: боюсь; почувал беспредельный ужас животного перед «не жить!!!», «не быть!!!» – а если потянет на коллегию его, если – и его! – будут спрашивать, гвоздить... И он – не сможет промолчать, а не промолчать – это гибель. Или можно и сказать что-то, и уцелеть; не понимал: как? Как живут все, кроме него?! Страшно. Так страшно, что захотелось серьезно заболеть, спрятаться за мебель, завтра уехать, забиться в мусор и выжить, подставить кого-то вместо... Страшно. И вот в этом, это – вся его жизнь, неожиданно с ужасом признавал Эбергард, другой нет, и деться отсюда некуда – резко поднялся, схватил арбуз и уговаривал себя: просто замерз, толком не пообедал, просто – скопилось всё, и вот вдруг – показалось; нет, будет бояться, но не так, не так страшно. Можно еще, ничего. Как твои дела, спрашивает Улрике. Нормально.

Часто он встречался с Эрной – в нескольких повторяющихся местах: у школы, на Институтском проспекте – ей не дают пройти пьяные уроды, и Эбергард выскакивает из машины; в Испании – в доме, где они живут вместе, завтракают вместе, на балкон деревья протягивают розовые цветы; еще – в больнице – Эрне предстоит не опасная, но сложная операция, совсем не опасная, но сложнейшая, из тех, где всё упирается в руки хирурга и уход, то есть в цену, – и Эбергард всё «решает» в больнице... и потом, когда он ждет Эрну возле школы, она смеется с подружками, не сразу увидела его, и вот: увидела и – бежит... и потом, когда Эрна поступает в институт, и потом, когда размышляет с женихом, куда отправиться после свадьбы, когда выбирает работу, когда мечтает о небольшой такой машине смешной расцветки, – всё «решает» он; когда Эрна ссорится с мамой – мирит, это потом, после «много лет», а в серии «В больнице» Эрна попросит: «Посиди еще. Хоть немного», – а за его спиной уже аккуратно закатывают вторую кровать и причаливают к стене: «Я никуда не собираюсь. Остаюсь здесь»... В этих встречах он обжился, предвидел каждое слово, встречи соединялись переходами сквозь годы, хотя каждую встречу Эбергард продумывал, как предпоследнюю; Эрна почти не менялась – так, если только подрастала немного и больше походила на отца, да и Эбергард не менялся – так, мудрел, подсыхал, побольше подкапливал денег, ездил в мэрию – там кабинет, играл в бадминтон с депутатами Мосгордумы в Одинцово и вложил в английский инвестиционный фонд; и даже в последней больнице, в больнице его (тоже в – предпоследнюю встречу, в последней – этого не менял: Эрна приезжала на кладбище поговорить), когда он полулежал, еще

не поехав, ускоряясь и лысея от химиотерапий, по крутой пластмассовой горке, поливаемый болью, на больничной клеенке, но уже поднявшись на нее и оглянувшись на всё, что оставалось, – он не менялся, такой же, такой же увидит свою скуластую девочку, и опять ее рука схватит исколотую руку его – удерживать; навстречу – двинет ей распечатанные письма, распечатанные сообщения, всё накопленное и недошедшее, их общие фотографии (вот всё, что я, что главное было во мне), и деньги, много денег – кажется, всё? ты, наверное, спешишь? больше не приходи, не хочу, чтобы ты меня видела другим, – она скажет: «Я никуда не уйду. Я буду здесь», – и заплачет: «Папа, папа, как всё могло быть по-другому.. Как я виновата...»; не надо, он сделает так: накроет ладонью ей лоб и поднимет челку, чтобы только лицо, смятое рыданиями: вот ты моя (всегда так делал, забирая из сада) – ему бы хватило; не плачь – спасибо, что вернулась, этих лет не было; мы не расставались; так встречались они с Эрной в первые уже знакомые часы ночи, всё плохо, и будет всё плохо, и ничего, никак...

Утром без звонка нагрянули «органы опеки» – две басовитые, до срока отжившие, оплавившиеся, смылившиеся женщины из обозленной бедноты с проводочно-седыми завитками на головах, серые и опухшие дворницкие лица.

– Не разувайтесь.

– А мы и не собирались! – обыском, каждую дверцу – открыть! – шли за Улрике, одна записывала, вторая уточняла:

– Какое конкретно у ребенка будет место для приема пищи? Как будет обеспечен доступ свежего воздуха в спальное помещение? – И перестали торопиться,

как только Улрике предложила «выпить чаю», ели долго, с удовольствием, разборчиво и не благодаря. Улрике заглядывала с шепотком:

– Сказали, что они будут писать заключение, дай им денег! – Еще заглядывала: – Хотя бы поговори, пошути с ними, как ты умеешь. Им же важно, чтобы ты лично попросил!

Он не оборачивался, смотрел, как дождь идет в густой теплой тьме, похожей на весеннюю, и черные сгребают листья к ногам деревьев и охалками сносят в железные корыта – в таком корыте его купали, такое корыто ставили под водосток – собрать дождевой воды; в префектуре он еще издали увидел Кристианыча – Кристианыча, сухонькое, шаркающее существо, уже не обходили, не торопились опередить с пожеланием здоровья, бросили бояться и не начали жалеть – Кристианыч больше не ходил страшно, поднявшись на задние лапы, ползал, глазами в пол, не уменьшился – он исчез, забылся, умер – как и не было великого первого зама, паука тайных нитей, лисы. Монстр почему-то разрешил пожить Кристианычу «советником» в комнате без окон возле бомбоубежища, машину Кристианычу оплачивал Стасик Запорожский из «Стройметресурса», за что-то расплачиваясь или на что-то надеясь; монстр «советника» не принимал, и поэтому рабочий день Кристианыч отсиживал в приемной Хассо, «буду жить для тебя», поручи: расписывал почту, набрасывал проекты распоряжения, гонял в мэрию отмучиться «представителем» на каторжном «О внесении изменений в межотраслевую программу о повышении эффективности профессионально-технического образования в период до 2020 года»; дождавшись минуты покоя Хассо и его стыдливой благодарности, просил одно: когда монстр станет мэром,



а Хассо префектом (а это будет, пока он не может Хассо открыть всё, но «источники» надежны, решение есть, и Путин одобряет), пусть Хассо сделает его, Евгения Кристиановича Сидорова, всего лишь руководителем своего аппарата, и – достаточно! Хассо посмеивался, отмахивался, краснел, но слушал, наслаждаясь и привыкая.

– Эбергард, – просипел Кристианыч и подарил сухонькое монашеское рукопожатие, – спасибо, что помнишь. Но не заходишь. Попьем чаю? – он говорил в сторону предполагаемого нахождения Эбергарда, как слепец, мимо лица, отвернувшись, но точно схватив за локоть – страшной цепкостью сказки или сонного кошмара.

На столе Кристианыча увидел толстую методичку с животноводческой фотографией на обложке.

– Не читал? Хочешь, дам? На рынке появились племенные вьетнамские свиньи. Переворот в животноводстве! Едят очень мало, а растут очень быстро. Чистоплотны и разумны. В четыре месяца уже спариваются! – Эбергард смущенно вздыхал: Кристианыч своими руками наливает ему чай! – Как с судом думаешь решать?

Лишь бы помучить. Не уйти, пока не допьешь из чашки. Жизнь хищного пресмыкающегося давно окончена, сожрешь только то, что само подползет, что подманишь изображением сдохшего состояния на длину языка. Эбергард медлил, но – неожиданная нужда беззаконных покоев и даже признательность: один, кто не забыл его беды, Кристианыч! – поэтому сказал как есть:

– Когда узнаю фамилию судьи, попрошу Гуляева позвонить Макаренковой, председателю Смородиновского суда.

– Позвонит? – Нет, Кристианыч имеет сочувствие к живому, он просто и сам не знает, живет на хуторе, таежной заимке, на полярную льдину ему парашютами доставляют сгущенное молоко, «Интернет... а что это такое?» – как там? на Большой земле? подумалось так просто вслух, рептилия прогладила глаза складчатыми веками – раз и раз, в зрачках не отражалось ничего, состояние пустоты и покоя. – Даже если позвонит, а не скажет «позвонил!»... Макаренкова с ним не соединится – это не ее уровень, да и Гуляев человек новый, кто его знает? Да и потом, – сердечно сказал Кристианыч, – тебе же надо не просто переговорить, а порешать свой вопрос... И в сумму не улететь. – Ты не один, вот и я уже с тобой, всё равно нечем заняться: Кристианыч закрыл ладонью глаза, нащупывая узлы на веревках, – Хассо сейчас плотно контактирует с Макаренковой по стройке на Институтском... Возникли какие-то... отношения, – то есть Макаренкова уже получила квартиру, гараж, себе, дочери и ожидала новых поступлений. – Но личный вопрос, – у Кристианыча потаял голос до водопроводного сипения, – Хассо может задать только с разрешения, – и губами одними, – префекта.

«Тем более – вопрос не свой»; не сказано, но понятно.

– Твой вопрос – это не вопрос, раньше бы ты... Одним звонком, – Кристианыч изогнул на бумаге крохотный чернильный вопросик червячком и кольнул ручкой, нанося под – точку, а рядом размалевал распакнутую пасть – еще вопрос, громадный, пожирающий всё. – Вот вопрос. То, что у тебя не сложилось. С ним. Вот что надо решать. Тогда и остальное решится. А то что получается – выстраивал, подгробал,

отрабатывал отношения, соответствовал и теперь – всё отдай?

– Я с Гуляевым...

– То, что вы там с Гуляевым уточнили, это... – Кристианыч как-то стеснительно употребил грубое слово, – его эти копейки не интересуют. Ему – любой будет носить на твоём месте, и не... – Кристианыч нарисовал «%», – а всё. Потому, что работа ему твоя не нужна. Интервью, узнаваемость там, опросы, пиар-миар, любовь населения – ничего. Даже выборы. Провалит – Лида его всё равно не отпустит. Ему, им перед уходом нужно только одно. Как можно больше. Не потом, а сейчас. Ну и еще – чтобы все боялись. Такая личная особенность. Но это сейчас распространено, – Кристианыч взглянул над собой: вон оттуда идет. – А ты, Эбергард, ему не понятен.

Кому-то, человеку теплой соседней крови, Эбергард сказал бы: я не смогу; самому себе: я не знаю как! – но Кристианычу от потери сил не знал, что ответить, Кристианыч не нажимал, отвечать необязательно, оставалось – долгое безмолвие, непривычное обоим.

– Тебе надо... выйти с ним на разговор о деньгах.

– Он не будет со мной говорить.

– Напрямую не будет. А через Хассо, например, – в глазах рептилии вспыхнули и заплясали гаденькие спичечные огоньки, – очень даже. – Математика не сложная; попробуй; не сможешь – подскажу.

Эбергард потер с силой лоб, от переносицы к корням волос, вариант «в» – «не знаю».

– Бюджет забрал в свои руки, – в глазах Кристианыча из огоньков выросло желтое пламя, – а освоить не может. Потому что делиться не хочет, всё себе. А ротик-то, – Кристианыч слепил из пальцев какую-то

мелкую пасть, – всего не заглотишь. Год кончается, а полмиллиарда на счету... С этим годом я помог – двести миллионов через аукцион кинули фирме его сына, двести – зятю... Так что – я себе проезд оплатил, – Кристианыч накрыл ладонью настольный календарь, – но будет и следующий год... Особый. Нервный. Вдруг он у всех будет последним? – дал Эбергарду поплавать, подергаться и опять потянул леску. – Округ взял на себя организацию горячего питания в учреждениях управления культуры, – Кристианыч поискал документы, но остановил руку: а, не надо, и так помню, – семьдесят восемь миллионов. Ну?

Господи, ну почему нельзя сразу сказать всё, без этих пригоршней унижающей грязи в морду? – что значит?!!

– Подтянешь своих коммерсов по этой теме, – Кристианыч никогда не работал сам, на «земле», только «решал», но в целом представлял цикл изготовления изделия, что сложного? – Аукционом будет заниматься твой друг Пилюс. Если на аукцион из города кто-нибудь залетный на дуру, понимаешь, подкатит, Пилюс его снимет... Если окружные какие – с ними сам решай, что тебя учить. Мимо тебя муха без пропуска не пролетит. И когда мы получаем на аукционе одного участника – твоего, – Кристианыч нарисовал четыре квадратика, но три зачеркнул, а четвертый обвел двумя кружками – вот он, – то снижать цену контракта победителю не потребуется. Ему, – Кристианыч зыркнул: понял кому? – на закрепление отношений, – Кристианыч карандашиком накрутил «30%», – посоответствуешь. Со всего остального сам, если хочешь, можешь что-то себе...

– Спасибо, не надо. Мне – решить по суду, и отношения.

– Давай. Октябрь. Аукцион объявляем в декабре. От тебя – название фирмы: кто.

Эбергард не мог представить: кто? супы, пюре. Мясо. Подумаю кто. Сбегутся, только шепни: бюджет.

– Какой у тебя другой путь? Или отдашь им всё, – Кристианыч повеселел, наблюдая издали забавы молодых хищников по каналу «Мир дикой природы», антилопа не убежит, и зная, чем всё кончится еще потом и совсем потом, когда обожравшиеся уснут и слетятся плечистые птицы. – Вот, Эбергард, дожили мы до времен, да?

Эбергард посчитал:

– Получается, – и нарисовал «30% = 23 400 000».

– Давай-ка, – Кристианыч переправил на «24 000 000», – покруглее.

– Понял. Спасибо, Евгений Кристианович, – впервые ничего не изображая.

Советник префекта сварливо проворчал:

– Спасибо, спасибо... Увел самую красивую девушку в округе, а теперь: спасибо, Евгений Кристианович. Иди работай, семью кормить надо! Когда рожать-то?

– Март.

– Привет, – он поцеловал Веронику-Ларису, и постояли, с усилием прижимаясь в поисках идеального совпадения, когда изгиб принимает впадину, а плоть пружинисто и возбуждающе уступает до нужного горячего предела, – адвокат оделась строго, но взгляды вала на Эбергарда блестящими, счастливыми глазами, играла губами, трогая его плечи, поглаживая шею, словно «а дальше?», «вот и наступило»; разве думает о его суде?

– Судья Чередниченко. Вставай, когда войдет. И когда захочешь что-нибудь сказать. «Ваша честь» обра-

щайся – так полагается. Не волнуйся, предварительное слушание – ничего не будет...

Первыми – в списке на двери – они забрались в комнату по имени «зал», на лучшие места – лицом ко входу, за спиной окно, на лавках уже ожидали человек шесть (судья, рассматривая дела, вела еще и прием населения); незаметно появились судья в мантии с заранее отсутствующим лицом и бледная отечная секретарша, их мгновенно скрыли согбенные спины пришедших подавать иски; Эбергард быстро поднялся, такая новая игра, не успел (да и боялся) взглянуть на судью (что-то коротко стриженное, пожизненно несчастное, как сирота), смотрел в стену, выкрашенную в неземной, в нерастительный цвет, ужасно билось сердце и задрожал внутри голос, смотрел на часы – сидят уже десять минут; хотелось, чтобы «те» не пришли, чтобы их не существовало, у них не хватило денег, начать побеждать прямо сейчас, – но кто-то шумно вошел (двое, бабы), заняли (подвигания, стуки) стулья напротив.

– Так, – судья Чередниченко осмысленно заглянула в часы, словно носила на запястье компас и постоянно двигалась по неизвестным местам. – По иску Эбергарда... Сюда подойдите. Не хотите по-хорошему договориться?

– Мы-то хотим! – громко откликнулась Вероника-Лариса.

Из «тех» поднялась тетка в браслетах, серьгах, цепочках повсюду, включая тестообразную талию и щиколотку, крашенные «перья» на голове, белая рубашка оттеняет загар, и пробубнила:

– Ваша честь, мы не готовы, только приступили к ознакомлению с материалами дела... Только вчера

подписали договор на представление интересов ответчика...

Судья покусала ноготь на большом и сквозь зевок спросила:

– Ну, а ходатайства какие будете заявлять? Встречные иски? Запросы?

– Не готовы, ваша честь...

– Давайте тогда согласуем дату рассмотрения. Какие предложения? Я выхожу из отпуска и... Ну, вот двадцатое ноября, семнадцать пятнадцать – все могут? Все, дело назначается к слушанию. В протоколичке все расписались? Кому повестки нужны – свидетелям или на свое имя...

– А двадцатого будет заседание или ознакомление? – бессмысленно уколола Вероника-Лариса.

– Ознакомление, – скучала судья.

– А сегодня тогда что?

– И сегодня ознакомление.

– Так ознакомление может быть только одно!

Судья отвернулась и крикнула в коридор (дверь волшебным образом отворилась сама собой, руками опытных, знающих когда):

– Есть новые иски?

В комнату повалила накопившаяся толпа, растеряв любовно шлифовавшуюся и согласованную очередь, из списка под номером 2 – занимали места веселые и говорливые участники следующего рассмотрения, переключаясь:

– А это вы наши ответчики?

И судью заново загрозила очередь несчастных, не имевших денег на адвокатов, – судья живо их отбраковывала и прогоняла, старушки отходили с растерянными, словно расквашенными лицами, роняя листы, мучительно исписанные вручную, на затоп-

танный пол, но «те», «та» сторона – Эбергард увидел и второго адвоката (несчастливая и худющая, волосы барашком) – к судье оказались ближними, по-приятельски впритык к столу, и шу-шу-шу, только и доносилось: «А вы до какого в отпуске?» и «Мы тогда подойдем», «Сейчас оформляется собственность», и – вон, вниз, сквозь игольное ушко металлоискателя, мимо дежурного, поселяющего в расчерченные стойла в журнале паспортные номера желающих пройти, на воздух, мимо тротуара... Вероника-Лариса схватила его за руку с тревогой: посмотри на меня! – словно на лбу его мигал датчик резкого повышения черепного давления, а под кожей заметными буграми катили волны крови – черней, всё черней.

– Всё! До свидания!

– Ну, куда ты идешь?! – переступая какие-то покрывки поблескивающими сталью каблуками, открывая колени, лезла за ним меж склонившихся веток, над собачьим дерьмом, а он перпендикулярно направлению тротуара – куда-нибудь, пока впереди не открылась наквашенная конными армиями, ордами гастарбайтаров грязь; попросила уже с какой-то догадливой злостью: – Ну, скажи, скажи мне всё, что хочешь, не держи в себе!

– Да какой в этом... Почему так долго?! На конец ноября!

– Судья идет в отпуск.

– Значит, менять судью! Почему ты молчала?! Ты же видишь – они договорились, вон как терлись у ее стола!

– Послушай, – вот это у нее ублюдочный такой заход – всё начинать с засахаренного «послушай»... – Это обычная манера адвокатов... Возможно, они судье примелькались, судиться хотят именно у нее.



– Значит, они уже всё решили!

– Послушай, судье наплевать на договоренности, ей главное, чтобы решение ее не отменили. Поменяем судью – новая поставит твое дело последним – еще позже! Послушай, адвокаты только вступили в процесс, дело знают только со слов твоей бывшей, я pošлю им проект соглашения, мы же оставляем им пути к отступлению... Послушай, тебе сейчас надо работать с опекой, заключение опеки должно быть благоприятным для нас.

Надо другое – другое... он представлял, какой будет судья, когда ей позвонят и скажут, как сразу всё изменится – да солнце поменяет цвет!

– Послушай, нельзя так реагировать, – не могла сдерживаться, сжимала его ладони, проверяя, нет ли еще кольца, хотя знала про Улрике всё, почти, но всё же – есть кольцо? Первый раз они целовались всерьез, в подзаборных зарослях, в окрестностях строительных раскопок, она помогала его трясущимся пальцам расстегнуть пуговицу на блузке, и даже вторую! – третью!!! – и сразу прижавшись (пусть никто не видит, только твое!), знакомя с родинками на груди и тем, как всё у нее там огромно и будоражаще плотно; а сама, жмурясь от собственной храбрости, трогала у него то, что трогать полагалось, – настойчиво, но так, что было видно: ей это неважно, самое важное не это, важное вот:

– Я с такой нежностью к тебе... Но тебе всё это не надо, да? А ты, наверное, думаешь: во попал?

Думал другое: не могу ничего не делать, надо что-то делать, подключать, на нужных выходить, обеспечивать, заинтересовывать или душить судью Чередниченко; адвокату Веронике-Ларисе так не хотелось выныривать из его прикосновений, из собственной

нужности, востребованности тела – к оплаченному перечню услуг, к тому, что может быть выполнено, перевернуто, отложено, окончено и забыто, но:

– Не надо никому звонить. Председатели судов обещают «поможем», но судьям инструкций не передают. Занимайся опекой. Если опека напишет «дочь категорически против встреч с отцом», никакой судья не поможет. В опеке ограниченные женщины, жестокие к мужчинам. Послушай, из опыта моего: успокойся, – и целовала всё так же жадно, стремясь, «успокойся» означало то, что наоборот, – отойди в сторону, пройдут годы, и дочь поймет, что за мать у нее, если лишила отца... И сама прибежит к тебе. Не волнуйся, присудят нормальный график.

Думай (ступеньки под ногами начали двигаться), кто посерьезней; Эбергард позвонил зомби – дерганому, пучеглазому господину, что верховодил в избирательном штабе силовика, переживавшего ненастье, – зомби одевался чисто и не бычил, и знаться должен с такими же, но не вышло: как всякий русский, услышав «освоить бюджет», зомби выпалил:

– Не надо никого искать. Исполнитель уже есть. Это я.

– Но там же горячее питание детям.

– В любой сфере. Опыт и необходимые лицензии. Не менее десяти лет на рынке. Назначайте время.

А может, и... Но не спешить, посмотрим. Каждое утро он вычеркивал из главного своего списка «сделанное» и добавлял «сделанное не», вот: муниципалитет, Бородкина...

Виктория Васильевна после «как вы там?» и «а вы как?» в тональности «нечеловечески занята, но с ма-

териальной пользой для себя могу говорить сколько угодно»:

– Подготовили мои девчонки заключение по вам для суда. Я так, по диагонали... Да всё там хорошо, – и чуть лукаво, подсказывая «куда» – вот сюда: – Хорошо, сказали, живет Эбергард. Видно, человек состоятельный.

– Дорогая Виктория Васильевна...

– Да-а? – мурлыкало в трубку и урчало бородавчатое существо.

– Хотел попросить красивую женщину о невозможном...

– Мр-р... Пробуйте.

– Из соображений христианского милосердия... До суда... Одним глазом! Ни слова не попрошу поправить... Но чтобы быть готовым, – сверяясь по часам, семь минут сорок две секунды он упрасивал, и камень отвалился только по чудотворному «подъехать и отблагодарить». Эбергард вышел в приемную и над головой окаменевшей Жанны смотрел, как ожил факс, дрогнул, зажужжал и выпустил язык, ползучим гадом полезла бумага, свисая и заворачиваясь в свиток, – обрыв! – и первое же, что (остальное уже не читать): «со слов бывшей супруги, отец больше года не желает видеться с дочерью, не отвечает на ее звонки, не интересуется ее жизнью, демонстрирует крайне неприязненное отношение» и «девочка не видит смысла в регулярных встречах с отцом» – это прочтут в суде... ничего, дальше в списке? управление культуры, Оля Гревцева (пускай, Хассо эти строчки уберет, не всё ж выкупать!). В машине (уже потребность) выстукивал, нажимал Веронике-Ларисе и получал нужное: «Не печалься. Супруга твоя не железная. Судья не безнадежная», и сообщения сти-

рал, как стирал когда-то сообщения Улрике, навык пригодился; не оставлял телефон без присмотра, брал с собой в душ и туалет (Вероника-Лариса любила написать за полночь или прислать свое красиво полураздетое тело, но не снимала трусов), но всё ему казалось, что Улрике тайком... как Сигилд когда-то; и разговаривал-разговаривал с судьей – судья Чередниченко внимательнейше слушала, хоть он и возвращал себя сюда, в машину, одергивал: не будет так слушать, не станет вникать, пройдет всё унижительно, быстро и безжалостно, даже время ноябрьское назначенное это подтверждает – 17:15, а в 18:00 уже войдут следующие или – конец рабочего дня; а Павел Валентинович с температурной равномерностью электрокамина грел его своим прошлым великого администратора:

– Помните такого, Юрия Беднякова?

– Любимый певец моей мамы. Но песен не помню.

– А я помню его нищим студентом! Харьковской консерватории! Пел в ресторане и там же вставлял раком буфетчице Гале старше его на восемь лет. Галя предложила: вложу в тебя нажитые средства, взамен свадьба и контроль за доходной частью. Деньги трать сколько хочешь, но лежат пусть – на моей сберкнижке. И к тому времени, когда Юра заделался обладателем сдвоенной квартиры на Ялтинской набережной и персональной ставки – сто пятьдесят рэ! – за концерт, получил «Волгу» с водителем и любовь Щербицкого – такого помните? – у Гали на каждом пальце, включая большой, сверкало колечко с бриллиантами!

В окружном управлении культуры, ограждаясь от террора и гриппа, выставили охрану, и два синерубашечных заспанных парня, прописанных в Республи-

ке Чувашия, задушевно объясняли лицам без пропуска, не догадавшимся или жалевшим дать сто рублей:

– Нельзя! Как же вы не понимаете? Вы ж несете бактерии!

Приемную Оли Гревцевой загромождали цветочные корзины, как покойницкая; Эбергард замер: неужели? Жанна забыла предупредить? Убью!

– У Ольги Петровны сегодня день рождения?

Суетливая старушка, распорядившаяся в Олиной приемной, прославленная феноменальной памятью на голоса в телефоне, объяснила, прицеливаясь указательным в каждый букет:

– При чем здесь день рождения? Благодарят. Это – поступление в музыкальную школу, это – подрядная организация, это – ремонт центра творчества, это за экзамены, за концерт на юбилее начальника ФСБ окружного, за стипендии одаренным детям, это – просто один видный такой господин – на будущее...

– Бо-оже! – как-то увеличившая губы Оля сбросила пиджак, открыв голые плечи. – Сижу и гадаю: что, что, ну что могло... Чтобы – сам! Эбергард!!!

– Да ладно, Оль.

– Слушай, у тебя такой классный костюм, – она встала и теребила Эбергарда, – и галстук такой классный. И ремень. И запах такой классный. Ты весь такой классный. А глаза – грустные опять, ну что это такое? – Она шлепнула Эбергарда по заду и соединила губы для производства некоего посасывающего движения. – Эй, ты где? – И пошла к гостевому дивану, начав покачивать бедрами на третьем шаге, словно для производства этого движения надо сперва начать перемещение по прямой основным ходом, а потом уже автоматически включается дополнительный двигатель поперечного размаха.

– Оль.

– Видишь, что ношу? – устроившись как-то неудобно, боком на диване, она потянула вверх юбку осторожным движением, словно боясь упустить из-под нее какого-то приобретенного, но еще не прирученного зверька, и показала кружевной верх чулок, прихваченный застёжкой. – А никто этого не видит. – Особенной мукой, просто опасностью в правление Бабуца было поздравлять подвыпившую Олю с днем рождения – Эбергарда однажды спасла только старушка из приемной, вовремя вступившая в кабинет.

– Не интересно тебе со мной, – подлавливала Оля движения его глаз, – улыбаешься через силу. Скучашь. Ты здесь?

– Да всё нормально.

– Ну что ты там сел как чужой, – две руки протянулись навстречу, – иди сюда.

Эбергард пересел:

– Оль.

– Да, – руководитель управления культуры поцеловала его в губы. – Очень внимательно слушаю, – поцеловала еще разок. – Я потом всё сотру.

– Там, может, вспомнишь, какой-то аукцион зимой, по горячему питанию...

Оля из вежливости и ради продолжения поцелует постаралась остаться в рамках, но – нет: искренне захохотала, прикрыв рот пожилой ладонью:

– Я не могу... Из мэрии звонят – идем на аукцион, департамент две фирмы засылает... Юрий Петрович наш Еременко в погонах приезжал – тоже хочу... От отца Георгия звонили бойцы! Да еще «солнцевские» интересовались... А тут подъезжает после всех, – она закатывалась со злостью и жестяным позвякиванием, морща нос и перехватывая слезы, – такой чистень-

кий – я не могу! – и весь классный такой наш Эбергард! – и говорит: о-о-ох... Ольга Петровна, может, помните... Там какой-то аукцион... Ох, всё, всё, – обиделась: вот, значит, зачем, нету чистоты, к зрелым женщинам нету чувств – вернулась за стол к зеркалу, к плану-графику работы, салфеткам, таблеткам и расписанию прикладывания пиявок для поддержания вечности красоты.

– Может быть, один мой знакомый...

– Мне всё равно, – Оля уже собралась кому-то звонить; закончим, своих, знаешь, дел... – Я стараюсь аукционов не касаться, всё – там, и там, с ними, у них, – мэрию, префектуру показывала она, Кремль, где взрослые, серьезные и большие. – Я слышала, ты опять будешь папой? Ба-атюшки, как наш Эбергард краснеет! Не уходи, дай я еще посмотрю!

– Домой, – и от усталости не мог ничего, даже смотреть. Пожарный дядя Юра Еременко и бойцы отца Георгия... подумать утром, и: надо бы повести Улрике ужинать или хотя бы – цветы; цветы – любовь; когда-то Сигилд попросила: «Останови здесь» – и вышла купить букет матери, он запоздало подергался «давай я!», но «ты опять выберешь самое дорогое» и «ты же не знаешь, что моя мама любит». Эбергард гладил отсыревшими ладонями руль и судорожно: что скажу, если...

«Оказывается, я очень счастливая». – «Да?» – «Продавщица сказала: вы очень счастливая». – «Почему?» – «Сказала: ваш муж так часто покупает цветы. Видно, очень вас любит». Сигилд улыбалась и смотрела сквозь слезы вперед. «Надо же, как запомнила... Ты же знаешь, в префектуре постоянно дни рождения». – «Знаю. Я знаю, всё понимаю, Эбергард...» Слова женщины, которую обманываешь, заселяешь своей инто-

нацией; и обманутая женщина говорит с тобой так, как заслужил, а сердце твое запекается в неподвижности – не вздохнуть, хотя возбужден заботой о своей лжи так, что спокойно не сидится (у Еременко все фирмы оформлены на жену и брата), огненное, чрезмерное желание оспорить: нет, он не врёт... «Моя бывшая жена» – звучит так странно, упала где-то позади, умерла, но от нее отрываются теперь и всплывают куски в виде «приснилась ночью» и «а вот я вспомнил»; вечера с Улке превратились в то, что преодолевают, близость (Улке следила за регулярностью, регулярность входила в рецепт его верности, равной ее счастью) стала пропуском в «поспать»; она готовила ему вопросы по квартире, расклеивая цветные метки по страницам мебельных каталогов, показывала в компьютере: нравится? – Эбергард стеснялся признаться: «Всё равно»; перед сном он говорил с малышом, шептал бессмысленные ласковые... поглаживая кожаный купол живота, начиная с «это я, папа», и представлял маленькую Эрну, и знал – каждую минуту! – одно: больше никогда не разведется, всегда найдет в себе силы обнимать и любить то, во что превратилось то, что любил; хотя – неужели всё это всерьез, до смерти, и эта женщина родит ему ребенка?..

– Ты не грустишь? – оборачивалась Улке, не отпускала его руку (вот бы встретился знакомый!) – вон она! – идет беременная, и муж ведет по платному отделению института акушерства и гинекологии, и не просто за талончиком и в очередь – профессор ждет, окружное управление здравоохранения вызвонило, департамент направил письмо, в конверте готовы деньги. – Ты не сердись на меня ни за что? – остановила его: обнимай! у нас же праздник, главная – я!



отправить бы ее одну, но не осмелился. Улрике не понимает, какое у него сейчас время.

– Кто там у вас? – верблюдолицый профессор с равномерным присутствием золота во всех уместных местах не интересовался Улрике, пришедшей посмеяться с кем-нибудь над своими страхами, он улыбался Эбергарду, тому, кто решит «сколько», и знал, как запускается машинка, ссыпаящая монеты.

– Девочка, говорят, – пожаловался Эбергард.

– Что-о? – Да кто это там говорит? Профессор вскочил, чтобы тут же исправить это порожденное чьим-то невежеством обстоятельство, не вполне удовлетворяющее пожеланиям вот этого вот важного, самого важного (на предстоящие десять минут) господина. – А ну-ка пошли! – Шутливо, но с напором, вы уж позволите мне тут немного покомандовать?

Мимо охраны, разрывая очереди, в лучший кабинет, выпроводив вон пузатую – подождите пока, заберите халат, свергнув заахавшего врача: вы? Да как можно? Сами?

– Ложитесь! – и Эбергарду: – А вы идите сюда. А то – «девочка» ему говорят... – сам увидишь; профессор водил датчиком по животу Улрике, она, еще растолстев и расплывшись, смотрела счастливыми глазами то в потолок, то на Эбергарда – держи меня за руку; профессор разочарованно причмокнул, покосился на Эбергарда: как он? выдержит? – взгляделся зорче, еще, и вздохнул: всё возможное и даже больше, но... Но, но:

– Да. Девочка. – последняя возможность заработать: – Хотите послушать, как бьется ее сердце?

– Давай погуляем еще?

Эбергард еле сдержался, чтобы не выкатить оказавшиеся готовыми злые слова.

Держась за руки, замедляя шаг, они прошли вокруг дома, где жили, – дважды: ну, всё?

Улрике прижалась к нему:

– Какие тебе нравятся имена для девочек? Мы же будем венчаться? Скажи: ты рад?

– Ты же знаешь.

Придется (многое теперь неважно, всё почти) позвонить Хассо, не ответил, но – счастье! – мигнуло эсэмэс «перезвоню», не перезвонил до пяти минут вечера, и Эбергард (внутри нахлестывало «делай! делай!») набрал сам.

– Да, – домашним, прежнем голосом ответил Хассо, но уже не извиняясь, почему не «отзвонил». – Что?

– Две минуты. Надо посоветоваться.

– Жди моего звонка завтра в девять.

Эбергард не уснул: лежал, говорил с пожарным Еременко; всё росло, этажи поднимались, квартира расправилась и развернулась во вселенную, не стесненную стенами, но где-то были вселенные еще, в них текла вода с ударяющимся в уже набравшуюся глубину бурлением – что-то заполнялось в другой вселенной, – за окнами шумел ветер и что-то неравномерно часто клевало подоконник, в пустыне – ничего живого, от оленей остались рога, от чаек – крики. Еще вот ветер остался. Пошел городской снег, но и снег не хочет, ему не сюда, только решает не он. Сверчков вообще нет, тишины нет, а звуки: течение трубное, строительные забивания, ночные салюты, мотоциклетные разгоны и что-то непонятное, но не страшное, вроде упавшего тремя этажами выше пустотелого непокатившегося предмета, – Эбергард уже не мог больше говорить с пожарным, а затем с отцом

Георгием; отодвинул штору и смотрел, как с дальней стройки улетают ключья мешков из-под цемента, как сброшенные фартуки борцов за равноправие на кухне.

Девять... Хассо не позвонил. Эбергард вышел из дому заранее, чтобы помчаться, не поддаться на известное «есть пять минут, но ты, наверное, уже не успеешь», – стоял в тяжелом, сыром воздухе, сжимая факсовый свиток с заключением опеки; под деревьями, похожими на черные трещины на мире, над подмерзшей грязью порхали воробьи; осени нет – есть холода, полянки выбеленной изморозью утренней травы – а вот на солнце трава потемнела густой зеленью, покрытой острыми крапинами росы, а потом нахмарило – шаткое, неустойчивое, переходное время – и снег повалил так, словно навсегда, подсвечивая день. Зябко. Ощущение неправдивости и сна – Эбергард так долго ждал звонка (словно без звонка не имел права занять место в машине), что ему показалось: вот он сядет в машину и поедет в тепле, но сам-то он так и останется под козырьком подъезда – прирос, это правильно, ничего уже не изменится в этой сонной оторопи.

– Давай, в общем, – Хассо позвонил в десять, – в десять двадцать пять у пятого подъезда мэрии.

Некогда разворачиваться, остановите здесь – Эбергард выскочил на четной стороне Калининской и подземным переходом на ледяном ветру помчался к мэрии. Хассо, в общепринятой заместителями префекта короткой черной куртке с меховым воротником, уже двигался к пятому подъезду, никого не высматривая; первые заместители префектов не топчутся в ожидании возле подъездов...

– Погодка-то, – хорохорился Эбергард, – по всей России метет. На дорогах заносы! И в коридорах – заносы. И в кабинетах! По всем этажам!

Хассо не подал руки, протянутый факс с омерзением взял, но читать не собирался.

– Что подчеркнуто, надо убрать. И если судья спросит: опека, а ваше мнение, пусть они скажут: ваша честь, на усмотрение суда.

Хассо поморщился – слишком! последний, короче, раз! Он предупреждал! Мозгов нет, чтобы понять... Уровень ли это первого зама!!! – в телефон:

– Виктория Васильевна, что хочу попросить. Надо убрать из заключения ваших из опеки по Эбергарду вот это: про неприязненное отношение, про отец не видится и что дочка там не желает – моя просьба, – Хассо выговаривал с отчетливым мучением, «как вы понимаете, этот больной стоит рядом», размахивая бумажкой, как прилипшим и не отлипающим... громко, Эбергард испугался: а слушает ли Бородкина, не в молчаний ли телефон? – Не надо мне про ошибки его рассказывать – это наш с вами вопрос? И чтобы на суде мнений не высказывать. Пусть суд решает. Да что толку, что обещали. Вы же знаете, обещают, а на суде твякают... Объясните: иначе лично им будет очень плохо. От меня! – спрятал телефон, скомкал и выбросил в урну факс и помахал Эбергарду: – Побежал.

Эбергард выкрикнул «спасибо!» захлопнувшейся двери, побрел, но очнулся и – тоже побежал, ведь и ему есть куда спешить – не останавливаться! (мимо бомжихи, спящей напротив мэрии головой в телефонную будку, сонно почесывающей смуглый живот под задранном свитером, рядом лежали запасливо положенные пачка сигарет и зажигалка), не стыдясь своей малости (сравнишь разве заботы Хассо и его!), вглядываясь в окрестные лица – не

пропустить бы важное какое лицо, откуда он? – из мэрии, дела у него!

В китайском ресторане (над Алешкинским шоссе, уходящим под Суворовский проспект) Эбергард не знал, что бы: ну вот, чай – обыкновенный чай, – зомби Степанов (с усилием, заржавленно мигая, уже переступал к его столику своими ходулями, вспышками включая улыбку во все зубы) вел за собой какого-то, с пачкающей свойскостью объявившего:

– Роман!

Зомби лыбился и облизывал толстые губы – так радуются только рыбаки, покупатели автомобилей и проведенные за двадцать долларов мимо двухчасовой очереди.

Эбергард взглянул на Романа: какого хрена? – невысокий, немолодой, одетый в «я менеджер по продажам в автосалоне, обучен павлиньей походке», не вымытые утром или напотевшие днем темные жидковатые волосы липко легли по-рабоче-крестьянски – набок, меж губ иногда застревал боком вставший в верхней челюсти зуб, человек всё время морщился мелкой мордочкой узника зверофермы – на стол выложил три телефона, как карточные колоды, картонную папку с названием «Основание и выбор параметров землеройной машины с бесковшовым роторным рабочим органом нижней разгрузки», в ухо пиявкой впивался наушник, вокруг шеи легли какие-то провода, – руки, словно пораженные каким-то кожным позором, Роман прятал под стол либо цеплял одну за другую – вагонная сцепка; оставшись без присмотра, руки мелко тряслись с такой привычностью, что становилось ясно – трясутся навсегда.

– Вроде договаривались, что вы в единственном числе, – и Эбергард отодвинулся и сел свободней: допьет чай и – желаю здравствовать.

– Роман – исполнитель, директор, это... – зомби Степанов захлопал крыльями и, подымая пыль, припустил за птичницей: моя, моя вина, должен был согласовать заранее, извинения, мольба, – мой человек... Я – это он.

Роман перекошенно усмехнулся.

– Возможно. Но уважаемого господина я не знаю. Вас знаю. Ответственность ваша?

– Целиком! – Зомби горчичником приклеил ладонь к груди.

– Эт-т самое. Надо ж видеть с кем, пощупать, – Роман заговорил с ленивым превосходством, хоть и русские слова, но на языке, чужом и для Эбергарда, и для зомби; Степанов вращениями глазниц успокаивал: не очень-то его всерьез... не наш уровень... – С кем отношения. Я, например, всё про вас узнал. Что по вторникам и четвергам до обеда всегда на работе. Где прописаны. Какая машина. Жизненный путь – по ступенькам, – с гадливым значением кивнул Эбергарду. – Я тоже, кстати, из бедных – бегал, искал, где рубль заработать. Теперь, – он показал на что-то, окружившее их столик, – серьезный бизнес. Общепит – это так... Часть. В Красногорске в школах работаем, в Видном... Благодарности правительства имеем. В департаменте землепользования – бывали? – моя столовая. Производство. Доставка. Полный цикл. Вам что надо? Чтоб контракт был исполнен. Чтобы вас потом не дергали за яйца и не вызывали разбираться, кто две крутки не докрутил. Со мной легко. Я человек прямой. Хотя, как любит говорить наш мэр... – Роман вырос, сто пятьдесят

миллионов раз вставляли перед Эбергардом на каблучки «мэра я вижу не только в телевизоре», – прямым бывает только телеграфный столб, и то – пока на него как следует не наедут.

– Я высылал аукционную документацию.

– Да всё там понятно... И техзадание, и, – осторожно тронул Роман, – цена... И многие прибегут.

– Желающих много. И в городе. И здесь. И на территории. Будем решать. На аукцион допустят вас одних. Какое название юрлица?

– ООО «Тепло и заботу каждому», длинно так... А кто с территории, – прищурился Роман, – кто же это мог? Сережка? Щеки вот так вот висят? На белом «мерседесе»? Или лысоватый такой?

Зомби, ничего не понимая, на всякий случай помрачнев, словно речь шла о гибели члена семьи – собачки под проезжающими колесами, молчал; пасет свой процент, подумал Эбергард – еще и он!

– По условиям. После заключения госконтракта, – на углу салфетки Эбергард собирался написать «24», но без всякого раздумья, взвешиваний и решений четко изобразил «26» (плюс два себе на «поменять машину»), показал зомби, показал Роману и замалевал до дырки.

– А-а, а можно мне в плане как-то сближения позиций свое видение вот там же, рядышком? – плаксиво заулыбался, защерился Роман, хотя зомби принимал позы «не надо», «прекратить!», «мы так не договаривались!».

– Я не решаю. Это не я, – Эбергард убрал салфетку, – я никто. Мне поручили организовать. Без обсуждения. Условия принимаются или нет.

– Что значит «никто»? Никто. А чья ответственность?

– Отвечаю я. Но моего здесь, – Эбергард соединил большой и указательный палец в «ноль». – Цифра не обсуждается.

– Но то, что вы... неподъемно, чес-стно... На такой объем... И там же детей кормить, тоже геморрой... СЭС-мэс... Проверки прокуратуры... Пожарных обли-зывай. Че-то я уверен: никто не вытянет на таких условиях, чес-стно, – Роман разбирал и заново укладывал обеими подрагивающими руками, поджимал и пробовал: да нет, и так не помещается.

– Посидите еще? Мне надо ехать, – и Эбергард кивнул косящемуся и влево, и вправо зомби. – Следующий раз плачу я.

Выворачивая с Суворовского на Октябрьский проезд:

– Возле остановки.

Няня Эрны Ирина Васильевна – посреди очереди, ждущей автобус.

– Вас подвезти?

Взмах руки понимай как знаешь: мне не туда, я не одна. Или: лучше не надо. Обижается за милицию, за суд? дорожит местом? Но – хоть что-то про Эрну, два-три разных слова, вот – няня показала: два низкорослых мальчика, что-то яростно обсуждая, топали вдоль бесконечной ограды индонезийского посольства.

– Эрну провожали.

Эбергард смотрел, вглядывался с волнением в единственное доступное ему материальное свидетельство существования его дочери. Мальчики. Вот не лень им топтать сюда после школы.

– Эбергард, – автобус уже подошел, но няня, словно вспомнив, для чего они встречались, – самое-то главное: – У нас мальчик родился.



Изображение радости, прищур. Непривычно: у Сигилд может быть не его ребенок, мальчик, не его, но всё равно, кажется, что его – какое-то отношение.

– Да, – всё уже ясно.

– Алло, это Роман, мы вот сегодня... Алло? Меня слышно?!

– Говорите.

– В общем, мы готовы. В тех рамках.

– Я понял.

– Единственное, нельзя всё-таки, – Роман горячился, они, видимо, еще сидели там, в заведении, в окружении китайских официантов, родившихся в Бурятии и Киргизии, – внести не разово, а двумя частями. При заключении контракта, а еще лучше – после получения аванса. И – по исполнению контракта. Например, тридцать процентов и семьдесят. Процент обсуждается.

– Роман, будем работать по схеме, которую я озвучил.

– Да? – ненависть, выдох. – Ну хорошо, ладно. – Сам пожалеешь. – Мои действия?

– Готовьте документы на аукцион. Звонить мне не надо. Текущие вопросы я решу со Степановым.

– Финансовый вопрос – только со мной.

– Пожалуйста, – Эбергард занес номер входящего в «контакты» – «Быдло-2», «Быдло» – это Пилюс; ждал еще (надо признать) весточек от Эрны, душа или что-то там такое, типа «настроения», ныла ощущимо, как коленка, ударившаяся о лед, после суда уже боялся звонить сам – вдруг Эрна скажет невыносимое, такое, что он захочет внезапно умереть прыжком с высоты. Для кого невозможна его смерть? Для мамы. А что Улрике, что девочке, которая будет...

Нет, не надо умирать. Жить надо. Надо только в подробностях затвердить «для чего?» и держать в верхнем ящике прикроватной тумбы, чтобы, даже не включая свет, легко находилось.

Жить, чтобы...

Чтобы купить дом – в поднебесно-голубом и околоморском там – и уехать (как, отпахав положенное на надбавочных Северах, переселялись доживать на Черное море), выучить язык и еще раз прожить, но уже не кланяясь участковым.

И вот еще, чтобы... Пожить одному. Есть, когда хочешь. Приходить спать в любое время. Просыпаться от касания солнца. Не прятать телефон. Заглядывать в круглое чрево стиральной машины, вынимать из почтового ящика бумажные ворохи и нести к мусорке осенней кипой листы всё ненужное – кроме квитанций. Читать книги. Ломать хлеб. Что-то обдумывать и проверять: плиту выключил?

Вот только нерешенное, непроходимое – Эрна; воспоминания, самая живучая часть прошлого, начали высыхать, высыхает плоть, выпирают кости, тупеет боль, да, но душа отзывается на нее по-прежнему – заученным, запомнившимся движением, эта боль, как вкус: время идет, но вкус остается прежним. Держится на языке.

Еще нет зимы, просто лежит снег, похожий на остатки снега. Как разновидность грязи. Дни качались от потепления к похолоданию, скрепляя воду ледком. Появлялся сырой ветер. Откуда-то набежали собаки с зимней пышной шкурой и с удовольствием лежали на промерзших газонах, выбирая места, где подземное тепло выдыхали трубы коммуникаций. Облака, похожие на тяжелый дым. Дворники расклеивали

плакаты «Единой России» и обрывали все остальные. Люди покупали автомобили в кредит. Город вставал в пробках вечером, утром, днем.

Полковник Юра Еременко, окружное пожарное руководство (теперь оно называлось ГО и ЧС), приехал только на вторую ноябрьскую двухвопросную коллегию («О межведомственном совете по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Восточно-Южного административного округа» и «Об утверждении регламента предоставляемых государственных услуг, связанных с выдачей запрашиваемых документов по принципу “одно окно”») – Эбергард еле дождался, случайной должна быть встреча.

Еременко – его прозвали Сгорим К Херам – добивал шестой десяток, сидел в округе шестнадцатый год и каждый месяц стучался к префекту с нигде не находящим утешения лицом агента ГУП «Ритуал» или героя американского кино – он один знает: завтра в семнадцать сорок пять западное побережье спалит извержение вулкана или проутюжит километровой волной – послушайте!!! – никто не слушает! Опустив одержимое лицо с двумя нерасправлявшимися зарубками-морщинами над переносицей, Юра признавался: недостаточное финансирование... равнодушие и беспечность... и уже завтра или почти завтра в огне погибнут школьники – сотни обгоревших детей, роженицы, посетители торговых центров, престарелые, инвалиды, многодетные и собственники квартир с двенадцатых этажей и выше – прыгая, взявшись за руки, с крыш – сгорим к херам! Юра (его семья и три зама) кормился подаванием префектуры (не считая собственного бюджета, поступлений от подчиненных, непосредственных заносов за

деликатные согласования и закрытие наездов и доли от прибыли дружественных фирм, торгующих пожарной сигнализацией – единственного приемлемого для Восточно-Южного округа качества) – Еременко никогда не веселел, уже префект Д. Колпаков, здороваясь с «приглашенными» на окружных мероприятиях («здравствуйте, здравствуйте...», протягивая руку Юре, вместо «здравствуйте!» говорил «денег нет», и дальше «здравствуйте, здравствуйте...»), монстр не принял Еременко ни разу и на всех клянчивших бумажках пожарных писал «дерьмо!» или «полное дерьмо!».

Только коллегия закончилась и монстра скрыли двери, все повскакивали, Эбергард быстро, но не бегом спустился со своего ряда (двинет Еременко с бумагами по этажам или в гардероб за курткой?) и спрятался за подошедшим Пилюсом.

– Мне поручено провести аукцион. И обеспечить. По горячему питанию, – Пилюс говорил значительно, как пароль; начальник оргуправления рос, серьезные люди на джипах теперь забирали его в обеденный перерыв покушать и всё обсудить. – Зарабатываете... Один я шестой год езжу на «ниссане». Хотя волос на голове осталось на один сезон. И цветы покупаю ветеранам за свой счет, – отпили и для меня миллион.

Эбергард отвернулся: там и моего ничего нет.

Пошел! – Еременко, неторопливый, беспшей, пингвинистый, выбрался из зала и – поплыл налево к туалетам и почтовым ячейкам общего отдела, не к кому на прием, раз «дерьмо», Эбергард (раз, два, три, четыре, пять) и – направо, бегом (последние новости на нашем сайте, пресс-центр, срочно) и – вывернул из-за угла уже прогулочным шагом – навстречу.

– Эбергард! – Еременко подтянул так близко полезного прыгучего человечка-кузнечика, знающего, о чем шепчут, что цеплял нагрудными значками.

– О, Юрий Петрович. С коллегии?

– Да сидел, как баобаб. Ни-че-го не понимая!

Эбергард исполнил губами-глазами «сам мучился», поймал пожарного на обманное движение «тороплюсь и ухожу», тот и второй рукой его зафиксировал, раздумывая и включая доля за долей мозги, разогревая полушария, чтобы набрать мощность, достаточную для соображения первой темы прощупывающей беседы. На помощь!

– Забываю спросить... Как сын-то? Поступил?

– Чудо! Чудо, удивляюсь сам, – заголосил Сгорим К Херам, встряхивая Эбергарда, – не верю, хожу как бухой! Откуда у него такие мозги?! Мое образование – кинотеатр в райцентре, мной выдавили витрину, когда давали билеты на «Фантомас разбушевался»... Деревня! На одном конце курицу варят, а на другом – дух идет! А он сдал, – Еременко растопырил пальцы и сунул, заклиная, под нос Эбергарду, – на пятерки! Один – из четырех факультетов. На собрании первокурсников выводили на сцену – единственный случай за двадцать лет! А я отговаривал! На коленях: только не на юридический!

– Сколько сейчас там? Полтинник?

– Мне выкатили сотку евро. Мы еще, так совпало, с Леней Монголом – вот спасибо ему! – приехали к ректору после пожара; в общежитии, помнишь, два трупа... Серьезно. Уголовные дела надо возбуждать. Университет закрывать. Или не закрывать. Короче, как напишу. Он, так, ректор – знаешь, такой круглый стол у него, чай: по-человечески, не хотелось бы крайностей, типа, мы всё исправим, давай-

те как отдельные недостатки, рад знакомству... И так – внимательный! – а что грустный, Юрий Петрович? Я говорю: а-а, из-за сына. Собрался, дурак, к вам на юридический, вот отговариваем с матерью... А ректор: понимаю, трудно. Федеральный уровень решает, то племянник генерального прокурора, то сын министра... То долбаная «Единая Россия». Но всё равно; и так, с душой: а вот не отговаривайте. Как его зовут? Пусть Костя Еременко попробует. Константин Юрьевич. Пусть замахнется и будет знать, что испытал силы, а дали ему эту возможность папа и мама, что однажды взяли его за руку и повели по жизни, а вдруг – ну вдруг повезет? И – поступил!!! – отрадовался, восемьдесят пятым исполнением отшлифованное допел и переключил на «прием»: – Ну че, уйдет мэр после выборов, он же обещал – последний срок?

– Да куда его Лида отпустит, он и сдохнет, а рук всё равно не разожмет.

– А если... товарищи попросят?

– Я думаю, его чемоданы в администрации президента в двери не пролазят, сколько заносит.

– Сирота, – с пониманием вздохнул пожарный, – ни отца, ни матери. Ни стыда, ни совести. Ну, а у вас что?

– Террор, – Эбергард посмурнел: не о чем здесь... оперся на подоконник левой рукой (зевнуть? естественно не получится). – Звереет к выборам, – слова вытекли все, насочилось и хлюпало уже сонное молчание всепонимающих людей... еще необязательное капнуло... – Жрет управление культуры... Ладно, Юрий Петрович. Будем здоровы!

– Ну! – Еременко впился. – Про культуру. Душит? Скажи!

– До конца года, – Эбергард оглянулся: одни? – есть решение: всех, кто выходит на аукционы по управлению Оли Гревцевой, снимать, пробивать учредителей, реальных собственников и класть под УБЭП! Монстр ближним: у меня есть информация! А какая на хрен может быть информация? Забирай всё себе, зачем всех без разбора валить? Увольте Гревцеву, зачем всех без разбора валить? Я так понимаю, дело не в Оле...

– А в чем? – Еременко от точного попадания в живое поджал губы и тоже оглянулся. – А в чем, Эбергард?

– Я думаю, он хочет нарисовать себе полную картину: кто в округе с чего кормится, и сперва: долю, а затем – всё.

Лицо пожарного посветлело и разгладилось: Сгорим К Херам думал – мелкими рывками двигались шестерни, одна слепцом подталкивала другую, проворачивалась ось, и – загорелась лампочка, от бледного пушистого мерцания до – в полную мощность.

– Спасибо, – прощающимся голоском, последнее причастие. – А если бы я тебя не встретил... – Еременко обнял друга. – Ты не представляешь, кто ты... Вроде ходишь несерьезный из себя, там что услышишь, здесь... А нам – великое спасение. Обращайся. Обращайся ко мне! Ну почему ты никогда не обращаешься?!

Подумал: очередь отца Георгия, и, словно по лабиринту, провел указательным пальцем по столбикам календаря: когда у батюшки банный день?

Прошел день, вечером сообщил он тому, с кем привык разговаривать вечерами или днями, когда глаза переставали видеть, через две недели, четыр-

надцать дней, исполнится тридцать восемь лет; немало постою в не нащупываемой в пространстве местности и начну стариться. Я развелся с женщиной, прожив с ней неопределенное количество лет, больше двенадцати (Эрне двенадцать), – так и не запомнил день свадьбы. С дочерью говорил последний раз в июне, пять месяцев назад. Живу с любимой, она плачет сейчас в спальне. Утром, я так предполагаю, проверила мой телефон и обнаружила смс-переписку с адвокатом и двумя сотрудницами исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. Весь день любимая готовилась к моему приходу, чтобы мне стало так же плохо, как и ей. Она беременна. Через четыре месяца у меня родится дочь. Моя мама в Орловской области завтра ложится в больницу, третий раз за осень. Теперь у нее сильнейший отит. Семь дней она плачет от боли, сидя в кровати, по ночам. Квартира моя – большая, еще не готова. Кухню заказали. Диваны едут и плывут. Новая девочка Эбергарда не поедет из роддома на съемную квартиру – поедет к себе домой. Я могу стать никем, потому что с префектом не сложилось. Кем я смогу стать еще? Не знаю. Любимая считает, что – всё могу. Сейчас она плачет. Больше о жизни мне сказать нечего. Иногда мне хочется пропасть. У меня почти не осталось часов, когда я могу делать только то, что хочу. Да, хочу еще упомянуть, пока жив, что очень люблю Эрну. Мне плохо без нее. Я редко теперь улыбаюсь. И мало кого веселю...

– Я не сплю, – Улрике на каблуках, незнакомое длинное платье, скрывающее живот, обнажившее руки, праздник в волосах, на кухне поблескивали фужеры, фужер, один (Улрике не пила), и горела свечка – день, когда познакомились? Разве в ноябре?



– Давай просто посидим. Побудем вдвоем. И поговорим. Мы совсем перестали разговаривать.

Он просто плывет через реку – поперек сильного течения, будто земля накренилась и вода несется, сходит по склону, сметая животные усилия, так тяжело, что не может говорить; всю силу, что есть, в – грести, грести, грести, понимаешь, всё решит какая-то из минут, в эту неизвестную минуту он должен оказаться сильным, поэтому – в каждую минуту он должен быть сильным; вот когда ноги почувствуют холодное, податливое дно – вязкое, что-то сгнившее, накрывающее твердь, тогда остановится и пойдет, наконец-то выбираясь – там, на той стороне, они смогут много разговаривать, и поездят по глобусу, и где выберут, там и проживут под черепицей, – только не здесь... Всё ж для этого.

– Ты сам не замечаешь, каким бываешь грубым со мной последнее время...

– Прости.

– Что-то происходит? В префектуре? Так переживаешь из-за Эрны? Из-за суда?

– Да нет. Ты же знаешь: я никогда не из-за чего не переживаю. Нормально.

– Я с тобой. Ты знай, пожалуйста, что я за тебя и всегда-всегда буду рядом.

Эбергард взял протянутые руки, как ненужный подарок на день рождения, пластмассовую ушастую дребедень с российским гербом, татарскую тубетейку – такую неожиданно удобную в две пятизвездочные недели, но уже нелепую в первую же минуту в русском аэропорту, как элемент познавательной экспозиции краеведческого музея – не поверите, но с помощью вот этого наши предки добывали огонь, вы тоже можете попробовать, пробуйте, пробуйте, смелее – чув-

ствуете? тепло?— руки женщины, вынашивавшей его вторую дочь; знал, как сделать счастливой ее, всегда под рукою выигранные билеты, подсказал ей — «о чем», и Улрике заговорила, ей казалось — мужчина слушает ее, понимает, отвечает что-то ей, а не просто смотрит и покачивает головой: да, так, еще говори, пора-дуйся; она радовалась: вечернее купание малышки только вместе, Эбергард будет девочку укладывать — с папой дети засыпают быстрее, а по утрам (до работы) он ведь сможет поиграть с дочкой, давая Улрике выспаться после ночных кормлений, очень важно, чтобы мамочка высыпалась; а два раза в неделю будет отпрашиваться у начальников пораньше, чтобы побыть с ребеночком, пока Улрике сходит в бассейн, — она должна поскорее стать опять красивой; по выходным будем принимать гостей (мы скоро переедем в большую квартиру!), за годы, предшествовавшие счастью, она как-то подрастеряла подруг — семьи и дети у всех, она отдалилась в своем одиночестве — наверстает теперь. Еще по выходным — они будут гулять в парке. Всей семьей.

— Ты же пойдешь со мной на роды? Пожалуйста. Я без тебя боюсь, — она говорила много и неуверенно, как с господином, знакомым только по переписке, — первая встреча; пробковый пол в спальне и в комнате Эрны (не называю, не злись, я больше не называю ее детской, хотя почему?) смягчит падение ребенка — все дети падают, когда учатся ходить, розетки закроем, дизайнер продумала — никаких острых углов, никаких кроваток-качалок, четыре прочные опоры; и квартиру сразу освятить; комната Эрны (он должен понять — здесь Улрике — ничего! — не жалко, всё лучшее, сверх!) получается комнатой настоящей принцессы, во всю стену художник нарисует Нью-Йорк,

вид с моря или реки (двести сорок евро за метр квадратный), зеркало туалетного столика заказано, разместим в квартире фотографии, ты не против? – фотографии нас маленьких, детьми, когда все были... – Эбергард подумал: мы не переедем, но отогнал; так кажется всегда ночью, кажется всегда, когда ждешь чего-то хорошего, но оно приближается медленно и ветшает по пути... Каждую ситуацию надо испытывать на зло. Может она кого-то уничтожить?

В постели (Улрике еще ходила, проверяла замки, выключатели, розетки, шепчуще замирала напротив иконы) он почувствовал, что хочет пить, и вспомнил забытую детскую сладость – попросить принести кружку воды и пить лежа; не болея, а просто потому (это признают, когда ты мал), что сонная тяжесть, успевшая заполнить руки, ноги, важна, с ней не шутят, грех разгонять ее подъемом и прогулкой к кухонному крану – в детстве за маленькими признают право на удовольствие «за так», без заслуг, даже если удовольствие – это просто холодная вода; Эбергард думал об этом, не засыпая, и еще думал, наверное, о чем-то прежнем; попрошу Улрике принести воды; подняв голову, он (почему? что в нем?) позвал вдруг:

– Сигилд.

Но Улрике не расслышала.

Кристианыча выследил возле буфета – тот прополз уже мимо, но обернулся на близко гудящее напряжением тело: вы что-то хотели? Эбергард показал на бумажном клочке: ООО «Тепло и забота каждому» – победитель, аукцион – всё в силе?

– Запомню, – и Кристианыч проследил, чтобы бумажка порвалась; разве еще что-то?

– Завтра суд.

– Чередниченко судья, – Кристианыч с проглатываемым, насмешливым весельем взглянул куда-то мимо, ниже и дальше, а было время, когда и он ползал поживее в камышах и пробежаться мог и плюхнуться не только за живым мясом, и вот так же, помнится, страдал из-за каких-то несущественностей. – Всё будет хорошо.

И Эбергард остался один на каменной, застекленной от холода площади между лестницами, буфетом и гардеробом, держа шепотью бумажные хлопья, словно посреди опустевшей рыночной площади с непроданными семенами в руке, – что-то вырвало его из календаря, вытащило за парниковую пленку, всё потеряло значение и никуда не нужно было идти... И вдруг в углу глаза обнаружился угрожающе другой, отличный от входящего-выходящего шестивия темп движения – на него шел монстр мелкими, переваливающимися шажками, словно крутя маленькие, невидимые педальки, хмурясь и прикрывая от жжения глаза, посреди и в глубине изогнутой шеренги из помощников, охраны и нездешних морд, – монстр шел к Эбергарду, Эбергард не шевелился, только опустил руки по швам (сломался лифт, видимо, сломался лифт в подземный гараж; Эбергард всё делал правильно, здесь стоять не опасно, но сломался лифт).

Не дойдя, к таким не приближался ближе трех метров (иначе бактерии начнут перепрыгивать), монстр остановился, чтобы совсем скоро дальше пойти, и лениво и округляя проговорил:

– А как вы отнесетесь к тому, что я вас... прямо сейчас... – и от удовольствия сжал губы, заметив в постороннем, невольном движении лица Эбергарда что-то удовлетворяющее его, отметив добавление влаги

в его глазах, отвернулся и покатил дальше: есть дела поважнее, чем ворошить падаль.

Эбергард постоял, словно обдумывая; мир, закрепленный вниманием префекта, не должен какое-то время меняться, дальним наблюдателям должно показаться: поприветствовались и кратко переговорили по делу; потом незаметно и с болью вздохнул и пошел в туалет умыться и посушить руки горячим воздухом – нажимаешь кнопку, подставляешь руки, и тебе дают доброе, то, что ты хочешь.

Встали, сели, Вероника-Лариса протараторила положенное, он услышал «истец желает пояснить?» и без промедления встал:

– Ваша честь, с прошлой осени меня лишили возможности видеться с дочерью. Бывшая супруга в категорической форме заявила: если я не выпишусь из квартиры, с дочерью могу попрощаться. Все согласованные встречи отменялись в последнюю минуту. Меня лишили возможности приходить к Эрне домой. Дочь не отвечает на мои сообщения и звонки. Не поздравила меня с днем рождения. Прекращено общение с бабушкой, которая тяжело больна. Летом без моего согласия Эрну вывезли в Крым без сопровождения матери, и моя бывшая супруга отказалась предоставить сведения о местоположении ребенка. Мы пытались согласовать график встреч в опеке, но Сигилд отказалась его подписать, объясняя это тем, что дочь не желает меня видеть. Эрна находится под сильнейшим психологическим давлением матери, травмирующим ее психику. Дочери сообщаются ложные сведения обо мне, мои действия объясняются исключительно негативно, – гладко и уверенно, сладость выученного, школьное «без запинки». –

Когда я имел возможность говорить с дочерью по телефону, было заметно, что Эрна начинает относиться ко мне пренебрежительно и потребительски, грубит. Я прошу суд установить график моего общения с дочерью, обеспечив мне совместное проживание с ребенком в приемлемом объеме. Встречи раз в месяц на один-два часа будут сведены лишь к развлечениям и покупкам и не дадут мне возможности участвовать в воспитании дочери. Я снял квартиру в районе, где проживает Эрна, имею автомобиль с водителем... Мой главный и единственный интерес состоит в том, что ребенка должны воспитывать родные отец и мать. Я и моя бывшая супруга – семья, пока наша дочка не выросла, и должны нести равную ответственность. Отсутствие одного из родителей приводит к тяжелым последствиям, детьми часто не осознаваемым. Многого могу дать Эрне в материальном плане, образовании и медицинском обслуживании. Восстановить отношения важно именно сейчас потому, что у ребенка начинается переходный возраст... Решение суда улучшит наши отношения с уважаемой Сигилд, внесет спокойствие и предсказуемость в жизнь Эрны, наш ребенок поймет: нас привела в суд только любовь и желание сделать ей лучше. У меня всё.

– Содержание! – подстегнула Вероника-Лариса.

– Да. Несмотря на ситуацию, я продолжаю вносить на счет своей бывшей супруге тысячу пятьсот долларов ежемесячно на содержание дочери.

– Так, опека здесь?

– Да, ваша честь, мы обследовали жилищно-бытовые условия... В данный момент Эбергард проживает с гражданской женой в квартире по договору найма. Трехкомнатная, на одиннадцатом этаже... Капиталь-

ный ремонт. Чисто. Одна комната оборудована специально для девочки... Там всё необходимое для проживания, отдыха и полноценного развития. Органы опеки считают, что жилищно-бытовые условия хорошие...

– А по условиям матери... С девочкой говорили?

– Там тоже уютно. Кухонный гарнитур. На окнах шторы. Взаимоотношения доброжелательные. Проживает еще муж и ребенок, новорожденный, Михаил. С несовершеннолетней Эрной провели беседу. В ходе беседы установлено: учится на хорошо и отлично. Дополнительно посещает французский язык, английский язык, понедельник, вторник, четверг, пятница – компьютерная графика, пятница и воскресенье – танцы...

– Видите, как она загружена! – крикнула адвокат из «тех».

– Дочь хочет видеться с Эбергардом?

Тетка из опеки (она пришла в длинной пушистой кофте и не сняла круглой меховой шапки с головы) переступила на месте и немного свалила голову набок, показывая, как трудно ей на вот это:

– Говорили с ней. Развитая девочка. Но замкнутая. Не на всё отвечает. Мать глазами просто пожирает. Говорит одно и то же, что мать. Теми же словами. Встречаться с отцом, говорит, не против. Но когда будет свободное время. А проживать не хочет.

– Причина? – неприятным, застоявшимся голосом спросила Вероника-Лариса, забыв про Эбергарда, оставив одного; он писал на листке «планировать время», «позволит планировать время», «время», «ВРЕМЯ»...

– Не сказала. Но я спросила: папу любишь? – опека помолчала, чтобы точно припомнить и воспроизвести. – Сказала: люблю. Очень.

Эбергард быстро-быстро сморгнул, удержал в глазах, не прячась за ладонь, и продышался: ничего не значит.

Судья переложила голову с ладони на ладонь:

– Вопросы к истцу.

Пружиной – выскочила и нависла та, что побольше, в побрякушках, серебре и золоте, ее трясло – ненавижу! – вот так каждый день, такая работа, а как жить без денег:

– Что вы знаете о своей дочери?? Сколько ей лет?! Что? Он даже не знает, сколько ей лет! А вы знаете, что Эрна болела? Почему вы дочью не интересуетесь?

В нем заворчалось движение, жаждущее расправиться, выпрямиться, дотянуться и задушить!

– Вы часто общались с дочерью, когда жили в семье?! – вопросы вылетали, вылетали.

– Всё свободное время.

– У вас его не было! И занимались вы – только развлечениями! Девочка по болезни не смогла поехать куда-то по опасной дороге на ваш семейный праздник – и вы лишили ее за это заграничных поездок?!

– Я не обязан ее катать по курортам, если она не уважает бабушку...

– Катать? Он сказал «катать». Катать! Какие у вас отношения с дочерью?

– Нормальные.

Вторая, понесчастней, всё время смеялась: когда подруга спрашивала – издевательски улыбалась, когда пытался ответить Эбергард – хохотала в голос.

– Почему вы пытаетесь общаться с Сигилд через свою мать?

– Да я хоть через Гитлера готов...

– Почему вы не учитываете интересы девочки, у нее столько кружков?!



Судья расчистила ногтем давно, видимо, отвлекавшую ее стиснутость в межзубном пространстве и:

– Вопросы еще есть? Переходим к опросу ответчика: признаете иск?

– Мой доверитель, – та, что кричала, как-то делилась у них «там» задачи и роли, – не признает искового требования. Никто не препятствует истцу общаться с дочерью. Просто нет желания у человека, одни требования. В семье, в квартире не может быть двух отцов. Отчим заботится об Эрне, разрывается, ходит на две работы...

– Так мы и хотим его разгрузить, – подсказала Вероника-Лариса, смеяться – ее очередь. – Он, кстати, перестал страдать, что не может прописаться по новому адресу? Мечтал, наверное: пропишусь, приватизируем, долю мне, долю сыну... А ведь жил-то в дальнем Подмосковье!

– А вот этот господин, – указывалось на Эбергарда, – сам ушел из семьи!

– Какое это имеет значение?!

– Вот у вас, милочка, нет детей, – и «те» готовились, подобрали, – вам не понять! Он отказывается отвезти собственную дочь на занятия спортом!

– Приведите один пример, – Эбергард уже понял: не имеет значения – она сказала, он ответил, правда, неправда, на самом деле – судья не слушала, погасили Веронику-Ларису, «нет детей» – и сникла; это он мог молчать, адвокат – должна отрабатывать!

– Установление графика встреч невозможно, девочка очень занята, она общительная, каждые выходные – встречи с одноклассниками, поездки с родителями к друзьям семьи. Как можно втискивать общение в жесткие рамки? Вы что, – рука ее удлинилась к Эбергарду, – приставов будете вызывать, если

девочка не захочет вас видеть? На девочку никто не давит, она уже большая, рано повзрослела – благодаря вам! Дома спокойная атмосфера... Но ведь невозможно, – повернулась к насторожившейся опеке, – невозможно встречаться по графику, по приказу, по принуждению: так? ведь невозможно? Да? Скажите: да?

Опека пожала плечами, скрипнула лавкой и придавленно сказала:

– Да.

И – неожиданно смолкло.

– А где сама мама? – вяло поинтересовалась судья Чередниченко.

– Она кормит грудью малыша!

– Отец может посещать девочку на дому?

На «той» стороне замешкались (платили опеке? две сотни хватит; занесли судье или только обещали «соответствовать»), пошло не туда:

– Ну. Наверное. Надо спросить у доверительницы.

– Когда ребенок болел, – судья придавила пальцем, как проползающее мимо мирное насекомое, какую-то строчку в своих пометках, – мать извещала отца? Просила помочь? С транспортом? Лекарствами? Предлагала посидеть с ребенком?

«Те» послушали друг друга, попереглядывались: ну...

– Она считает... Считает, наверное, что должна справляться сама.

Судье (да и адвокатам) всё равно; всё, что говорилось (слышат ежедневно, годами), – лишь тени на дальней стене, Эбергард даже не поворачивался к служивой женщине – она пуста, в ней, в непроницаемом футляре весы – две чашечки: сперва раскладывают законы, практику, настроения, а потом, устанавли-

ливая результат, досыпают денег, приказы старших и личный интерес.

– Суд, посоветовавшись на месте, определил: слушание дела отложить, вызвать в суд для опроса несовершеннолетнюю Эрну Эбергард... года рождения, – и судья вскочила: бежать! – Эбергард толкнул запорошено помалкивающую Веронику-Ларису: ты слышала?!

Адвокат приоткрыла глаза:

– Мы не можем отказаться.

– Ваша честь, – в спину, – это слишком тяжело для ребенка! Она любит отца, любит мать... А ей придется говорить при всех то, что она не думает! – жалко он потряс рукой: я здесь! сюда! – Это на всю жизнь!

Судья закрыла дверь за собой и заперлась – «те» бодро сметали в сумки хлам со стола и насмешливо поглядывали на Эбергарда. Уйти из-под их глаз («Не говори со мной в машине!»), накатывало и било в сердце (до суда не умолкнет, только ночью чуть тише), и бил, бил; хотел? вот и увидишь Эрну, они, «те», опять побеждают непредусмотренным путем – у него средства, власть и партия, на их стороне – Эрна, безжалостное (ей напишут, отрепетируют и объяснят, почему именно так) слово ребенка, никто не сможет возразить, он сам не сможет возразить, что бы ни сказала, – против дочери он не может «против»; война, что он вел, не должна была затронуть ребенка – так, что-то грохочущее вдали, о чем страшные вещи рассказывает мама, а потом всё по-другому, когда наладится, объяснит папа – и забудется бесследно. Эрна не должна увидеть – как; как взрослые бьют; а теперь ее приведут и она скажет всего лишь правду, во что сейчас вот, в единственной его жизни, верит, во что поверить помогли, во что она как бы верит, кажется, верит, во что и дальше придется верить ей, если ска-

жет отцу на суде, в уязвимое, мнущееся лицо; и даже если потом (обязательно!) Эбергард доломает, додавит всех, победа – после нескольких сказанных вслух слов его девочкой – не будет иметь значения, победы не будет, бумага «суд решил...» – и только.

– Здесь. – Никогда еще он не подвозил адвоката домой, открыл дверцу, подал руку и прошел за Вероникой-Ларисой, за сильным, торопящимся, приподнятым каблуками шагом за пятиэтажный угол из серых кирпичей – она не прощалась почему-то, вела – во двор и остановилась лицом к лицу, каждый приготовил свое – напротив подъезда.

– Я не пойду на суд.

– Ты можешь только забрать иск. Не пойти ты не можешь. Скажут: вот, девочка, папа всё заварил, а сам сбежал и спрятался.

– Считаешь, судья поймет, что Эрна говорит не свое?

– На судью не надейся. Чередниченко не тот человек. Копаться в движениях души, вскрывать внутренние противоречия не станет. Возьмет для решения то, что на поверхности.

Адвокат холодно помолчала: что-то еще? Больше ничего? Тогда:

– Ребенок на суде – ужасно, ужасно. Нельзя спрашивать мнение Эрны, она давно не видела тебя, отвыкла...

– Но ты же не возражала!!!

Она вздрогнула, хотела заорать в ответ, но – нет, терпение, логика, уточнение с клиентом, внесшим предоплату:

– Послушай, какой был у нас выход? Если ребенок старше десяти лет, суд обязан учесть его мнение. Пусть бы опека представила в письменном виде от-

дельное суждение, что хочет девочка, пусть даже отрицательное! – но всё лучше, чем тащить ребенка в суд и мучить! Опекун – ты же обещал решить! – заняла трусливую позицию. Они по закону обязаны представить свое заключение о графике, который ты просишь. Где оно? Его нет. Значит, выскажутся на последнем заседании и – против! – Вероника-Лариса замерзла, подрагивала, красиво одета, словно собиралась после суда ехать на день рождения или свадьбу. – Главная тайна – что на самом деле думает твоя дочь. Подростки – они все сумасшедшие и несчастные. Их надо в сумасшедший дом. – Больше не могла ждать, разозлившись, словно давно договаривались, что именно сегодня Эбергард принесет ей нужное что-то, а он молчит, а ей неудобно напомнить. Вероника-Лариса быстро, но не окончательно пошла к подъезду и, уже перешагнув порог, толкнув уже вторую дверь, но еще придерживая первую, спросила голосом человека, перенесшего болезнь горла, – трудно говорить:

– Угостить тебя чаем?

И Эбергард стронулся и с нарастающей скоростью пошел в тепло, хотя честно собирался повернуться и уехать; Эрну приведут на суд, не знал, что же делать, его затошнило от «чая» – как-то по-другому могла сказать никчемный его адвокат, ведь не старуха, а выходит – стеснительная старуха и в этом бездарна; в лифте Эбергард ее целовал, расстегивал куртку, Вероника-Лариса показывала сбившееся дыхание:

– Мне даже страшно теперь тебя запускать в квартиру... Мы... Без всяких глупостей, ладно?

В прихожей он обнял адвоката еще, и она впивалась губами, постанывая, и (она ведь сдерживает себя, борьба) отступала:

– Пьем чай. И – ты сразу уходишь. Обещаешь? Ты уходишь, а я – сразу в ванну... Вот до чего меня довел. И вот, – показывая на проклюнувшие блузку соски.

Готовила чай, хлопали дверцы, находила нужное вытянутая рука, быстрый шаг, и всё посматривала на Эбергарда счастливыми, сверкающими глазами, подносила и ставила вазочки: что еще? Это? Лучше то? Он гладил цветы на скатерти, подымал глаза на люстру.

– Вспоминала. Каждый день тебя вспоминала, – сказала так, словно воспоминание было действием, словно воспоминания не всегда были с ней рядом, словно она ходила за ними куда-то, как на рынок, и сама не знала, попадутся ли на этот раз, – ее тревожило отсутствие ответов и молчание, проступающее на стыках, молчание – то, к чему она слишком привыкла, – постылая тишина.

– Давай еще? – сделает больно, если откажется.

Унялась дрожь, Эбергард рассматривал ее тело в квартирных сумерках – да, просто огромная грудь не рожавшей и не кормившей, уже поизношенная кожа, хороший рост, бедра, ноги – хотелось бы увидеть всё, понятно, что то же самое, что у всех, но – еще раз; «сейчас поеду»; она, будто услышав, резко отвернулась и потеряла лоб, скрывая закричавшие глаза. Они сидели, словно чужие и незнакомые в чужой квартире, зайдя одновременно и ненадолго согреться, не допуская лишних движений, «кто первый что-то скажет, проиграл», хотя бы... вот – как тебе мой ремонт? Да. Есть еще картины. Посмотри. Вышли в коридор, одна из дверей оказалась открытой – в спальню, вот картины – русские поля, спальню заполняла могучая, как могильная плита, кровать, многослойно кондитерски застеленная какими-то... ад-

вокат обошла кровать поискать что-то за окном, Эбергард остался у двери – что про картины, кроме «красиво». Попытался сбить ее, встряхнуть тем, чем остужаются все: про детей – моя Эрна, про Улрике – ей так непросто; адвокат усмехнулась: непросто? да, она плачет вечерами, когда тебя нет, но зато ты будешь стоять с ней на родах и держать за руку, заберешь из роддома на белой машине, будешь вставать к ребенку по ночам, чтобы она набиралась сил; ей будет не надо (вспоминала что-то свое) думать, где жить, чем оплачивать квартиру, на что купить телевизор, всё, что ей нужно, у нее просто откуда-то «будет»; вот так, тряхнула она головой, о чем тут, не о чем; ей не хотелось про это, про суд, суд, про суд надо думать; не волнуйся, есть время, занимайся органами опеки, твоя задача, а я всё продумаю, будем действовать смело и неожиданно для противника, Эрна ничего не заметит и не поймет, ты сможешь молчать, я всё сделаю сама, потом скажу, что придумала; ну? – вопросительный взгляд, соединила руки, подняла к груди, расцепила, поправила волосы, погладила правое, задравшееся зябко плечо: ну? – выглядело: «вы покупаете эту квартиру? я же отпросилась с работы на полчаса, чтобы вам показать».

– Сейчас поеду, – всё, что нашлось в пункте выдачи готовых слов, несколько ледяных смерзшихся кубиков вывалилось в короб и льдогенератор вхолостую загудел.

Не допустив ничего похожего на «давай», «ну, пока», сосредоточенно опустив голову, выставляя стопы на узкую досточку, Вероника-Лариса дошла до него и дружески толкнула ладонью в грудь – он шатнулся и присел на болотистое кроватное покрытие, напряженно улыбнувшись, она очень серьезно раз-

местилась у него на коленях, обхватив шею, и произвела тесный, проникающий, старательный поцелуй, следующий академическим правилам «начало прелюдии, оральный контакт с участием губ и языка», чуть отстранилась: есть нужная отметка на датчике? добавить? и целовала еще, запустила руку ему под рубашку, нашла и щипала там больно сосок; Эбергард замер под душной тяжестью, боясь потерять равновесие и завалиться с грузом, тоже поглаживал очертания и формы, припоминая этот танец, но без музыки, чмокал что-то там, а потом умаялся от жара, жары, неподвижности и сдался:

– Я пойду в ванну.

Мгновенно, как и мечтал, без лишнего, снялась с колен – Вероника-Лариса: да; не поворачиваясь, стыдясь, туда, рукой:

– Синее полотенце, там...

Он скрытно вздохнул, сбрасывая пиджак, и слышал, как за спиной она, порождая ветер, сметает ненужные покровы с постели, с пластмассовым шорохом запахивает шторы и сильно щелкает кнопками, делая – новый свет.

Потом, когда, ему показалось, стемнело, на улице кончилось утро и прошел день – она жадно рассматривала его успокоившееся лицо, расстающееся с излишками крови, и поглаживала его тело, всё, что доставала рука, – про запас, на потом, чтобы оставить хоть на немного запах, память кожи его и волос на ладонях.

– Ненавидишь меня?

– Ты что?

– Такое у тебя выражение лица.

– Мне было очень хорошо. Такая красивая ты...



– Говоришь для того, чтобы что-то говорить? Скажи серьезно: зачем тебе это надо? Зачем это нужно мне, в общем, ясно. А зачем тебе?

Он попытался приподняться и поцеловать, но Вероника-Лариса отстранилась и с помощью дополнительного маневренного двигателя перевела себя на орбиту повыше, закрыв одеялом груди.

– Тебе просто захотелось сделать мне очень-очень хорошо, да?

– Слушай, ты этого хотела, я этого хотел. Взрослые люди... Зачем еще что-то говорить?

– Да. Незачем. Конечно, – она обиделась, совсем другая, неприятная, не видел ее такой. – И теперь ты больше ко мне никогда не придешь...

– Приду.

Он лежал, глядя в серый угол, не пуская в себя мысли об Улрике, Эрне – помнил как, научился, не пуская в себя мысли о Сигилд... Когда безопасней встать? Начать с «мне пора», с «ого, сколько уже времени?» или «а где же чай?». Лишь бы не начала плакать.

В тот вечер Улрике почувствовала себя плохо, ездила ругаться в мастерскую, где шили шторы, – долгая дорога, заболел живот, боялась остаться одна, не выпускала его руки:

– С нами, со мной, с маленьким ничего же страшного сегодня не случится? Ты помнишь, куда звонить? Обещай, что не уйдешь. Так тяжело почему-то на душе весь день...

Эбергард не выпускал ее руку, целовал и долго сидел рядом после того, как уснула, разглядывая, как незнакомую, – вернется ли девушка, которую он хотел? – или оттуда, из времени, возраста, не возвращаются?

Если не спал, то брал бинокль и подсаживался к кухонному подоконнику – рассматривать дом, уже многих узнавая, находя дорогу к прикормленным местам по застекленным лоджиям, по-разному заставленным старыми холодильниками, ящиками, тазами и наглухо заклеенными фольгой; в июне началась и длилась всё лето эра мужиков в длинных трусах, куривших вечерами на балконе, потом сквозь тополиный пух проявились старухи, бесцельно налегавшие на подоконники – что хотели увидеть со своей высоты? – сами пыльно-седые и легкие, как нацеплявшийся за подоконник и свалывшийся пух; в полночных окнах спален маячили мощные пожилые спины гладильщиц, стянутые бюстгалтерными креплениями, – они размеренно двигали невидимыми утюгами; затем за туманными тюлевыми занавесками падали на диваны и накренились над столами голоплечие абитуриентки, ходили, размахивая руками, заучивая наизусть; в августе наступила страшная жара и ночью все распахивали окна; осенью люди стали другими, поменялись, кроме одного окна – за ним собирались полусогнутые старики и подолгу сидели, грея протянутые ноги у телевизионного пламени.

Шел покой от чужих окон, люди никуда не спешили накануне неподвижности, сна. Им некуда было деться. Безмятежность домашних дел баюкала их. Разбирали постели, взмахивая покрывалами. Обнимали подушки. Разливали чай. Слушали друг друга, подперев подбородки кулаками. И гасили свет.

Бывали дни, когда в каждом, каждом кухонном окне пугалом торчала хозяйка в сгорбленном халате. Одна. Отходя от плиты, возвращаясь к двум кастрюлям, приседая передохнуть. Вязаные черные штаны под халатом. Так и Эрна, думал Эбергард, может

быть, если он не оставит Эрне денег, если выйдет замуж за парня без «возможностей», будет вставать каждый день в шесть утра и готовить то, что без остатка сожретя за день. Одного жителя окна Эбергард недолюбливал. Он с женой долго не ложился. Каждую ночь, в половине первого Эбергард заставлял их на кухне. Жена – пышная, широкая, с распущенными черными волосами, в коротенькой красной штучке с кружевным подолом и раздевающим до пояса вырезом на груди, приходила к мужу на кухню прямо из ванны. Они вместе курили у открытой форточки. Выпивали по чашке кофе или чая. По очереди ходили отлить. Затем свет на кухне гас и зажигался в зале – муж и жена раскладывали диван и долго расправляли простыни. Он садился на диван и включал телевизор. Она садилась рядом и вместе с ним смотрела на экран. Потом прилегал на бок. Потом засыпала. Он ни разу не коснулся ее.

В декабре монстр, собравшись за час, внезапно отчалил в отпуск на неопределенное «долго» и в непросвечиваемое «куда-то», оставив забурлившие слухи: не вернется; комендант видела в субботу водителей и охрану, выносящих коробки, в коридорах мэрии кивали, «решено», заместитель Шведов аккуратно известил ближних: да (но недобитые ветераны префектуры не верили: гэбэшные штучки, запустить и следить, где вынырнет и кто что); Эбергард не радовался прежде времени и порой обнаруживал сожаление в себе: аукцион, для кого тогда аукцион, хотя с кем делить отпиленное – найдется; но только начало что-то складываться, предсказуемость, со стороны может прийти «много хуже»; из своих – Кристианыч матер, но стар, Гуляева в мэрии знают как мастера целовать

в щеку чиновниц, повторяя: «Всё, что могу» – и только, Шведов неловок и глуп – на правительстве даже по бумажке выступить не может, в присутствии мэра теряется. Выходит – Хассо? Хассо в пятницу, пообедав, вдруг сорвался и умчался в мэрию без объяснений и вернулся непроницаем; с понедельника префектурные бабы бегали к окнам на Тимирязевский: не заворачивает ли кортеж вице-мэра представлять нового префекта, но к среде выяснилось: Хассо ездил на координационный совет по молодежной политике – чуть не забыл – стихло, шумело только вечное: оставит ли Путин мэра после выборов, договорился мэр или не договорился; на обочинах ярмаркой встали автомобили, обшитые предвыборной броней: «Мы – первые! КПРФ», «Дать 5! Народная воля», «Единая Россия – №8!» – «Единая Россия» всюду; Гуляев попросил: «Загляни» – звонил сам, если совсем срочное, но спросил несрочное:

– Что у нас по выборам, Эбергард?

– Да ничего так, пока. «Родину» снимут. Двойника Иванову-2 мы подобрали. Тоже Иванов-2. Только Петр. За двое суток до выборов снимется и призовет избирателей отдать голоса Иванову-1.

– Да? Зайди-ка... – зачем-то в комнату отдыха, вот сюда – никого же там неожиданного не может... Анна Леонардовна, показывая из-под длинной, обтянувшей бедра юбки пятнистые сапожки, быстро и молча приземлила на стол поднос: кофе, печенье; и, не спросясь, включила телевизор – по их, значит, уговору телевизор должен бормотать, пока они будут... О чем?

– Волейбол, – разглядел Гуляев трансляцию, смущенно потер руки, топтался: куда? откуда предстоящее будет удобней? – Все знают, что я люблю волей-

бол. Смотрел я бюджет на будущий год... А вот если забрать у тебя бюджет? А, Эбергард?

Следовало сказать: «Мы уже говорили про это в сто тридцать второй серии», с мая только и продержался, кровосос, на дозе... Семь месяцев. Потом привыкание и – повышение дозы. Еще Эбергарду захотелось сказать: «Когда вы нажрётесь?!», «Вы не боитесь, кому-нибудь расскажу?» – да рассказать некому.

– Ты один. И я один, – говорил Гуляев с обидой: как это прежде Эбергард этого не замечал? – А я генерал. Пятьдесят девять лет. А уйду на пенсию, за квартиру будет нечем платить. Ну, не буквально, конечно... Давай вместе? И тогда почему, – Гуляев нарисовал «20%» (и бумагу заготовили), – а не, – «30», – или, – «40»? Мне нужно такое дело, чтобы кормило, когда ни меня, ни префекта, ни мэра уже не будет... Чтобы внуков моих кормило! Бери что-нибудь в аренду, торгуй, давай строй что-нибудь... А я буду с тобой. Я не щипач, мелочь не нужна!

– Я не подведу, Алексей Данилович, – тепло (спасибо за открытость и доверие щедрой души) пообещал Эбергард, – и дам предложения.

– Не затягивай!

Донеся до дверей прямую спину и благодушно развернутые плечи, он почувал, что перестал шевелиться-слушаться язык, постоял над отчужденной Анной Леонардовной, развесившей синюшные мешки под глазами, с нажитым и непреодолимым машинописным ожесточением бьющей пальцами по клавиатуре, следя, чтобы в мониторе буква исправно цеплялась к букве, образуя «План работы префектуры ВЮАО» на следующую..., но сказать ничего не смог; она бросила печатать и смотрела вслед: нет ли затемнения в легких, скрытой, непокорной еще ин-

фекции? – по коридору мясницкой походкой «убивать быка» ступал Пилюс:

– Аукцион объявлен. Смотри на сайте... И вообще – смотри!

Голова Эбергарда сопровождала поворотом движущийся поблизости объект, но не получилось выбрать нужное из запаса слов – один, будто посреди ночи, не встретив живых, не беспокоя собак, он оделся и вышел туда, где слепил глаза и щекотал веки мелкий снег, дорожкой наискось сквера прогулялся в сторону метро, а перед Тимирязевским повернул налево, на тропу собаководов, вдоль бетона, охранявшего рельсы, и непрерывно вглядывался в телефон, словно попросил у кого-то спасения и пообещали «отзвонить» – «смс»! – но это адвокат писала: «Я никому про тебя не говорю. Но, может быть, у меня на лице написано? ВСЕ ВИДЯТ!!! Пахну тобой. Дышу тобой»; остановился и сосредоточенно (будто всё зависит именно от этого!) он нащелкал: «Спасибо, Вероника, так хочется еще раз поласкать твою грудь!», «отправить» – предложил телефон, он занес большой палец над «отправить» и обмяк от дурноты: в адресе, в «кому» – машинально выбрал «Удрик», безголово, пальцы сами... Вот бы... Беременной. Любимой.

И посмотрел на пальцы правой руки, чуть было не изменившие его жизнь навсегда.

Нет.

Теперь, избежав, жизнь его казалась всё-таки покрепче.

Эбергард пытался понять, мимо чего пролетел, от чего увернулся, – но не мог, и после «быть повнимательней» забыл до несуществования – что-то сильнее разума, что-то ведет его другое.

– Эбергард! – первый заместитель Хассо весело выкрикивал из молодецки остановившейся поперек движения машины: монстр исчез, большие надежды, самое время бросить корочку бродячим и раздавать мелочь – а вдруг Бог есть? – Что это ты здесь лазишь? – постояли под липами, Хассо мигом потух: опять проблемы, опять «посоветоваться», подразумевающее «оборони!». – Если Гуляев пошел в открытую, ты не можешь отказаться. Пиши трудновыполнимые планы. Подними процент. Но себе что-то оставь. Скажи: могу столько. Больше не могу. Гуляев подергается и успокоится. Влезай в ситуацию и темни, надо их пересидеть. Ну сколько там осталось... Два месяца? Три? Самое большое – до лета. Пойдут большие передвижки, всех вынесут, – «а я останусь» повеселел Хассо. – Ну... Давай, друг!

– Я еще думаю, – вцепился утопающе Эбергард в прощающуюся руку, – если пройдет аукцион нормально, если отрегулируется у меня с монстром, монстр не будет так давить на Гуляева, а тот на меня...

Хассо дернул плечом: «а кто его знает, может...», но, когда оловцем вырвал из-под неглубокой земли руку, сказал:

– Монстр будет давить всегда. Они не наедаются.

– Ноги вытерли? – окликнула его мрачно вахтерша, отходившая выпить чай. – Или так пронесся, раз нет собаки на входе?

Сонная, с многослойно бордовыми губами, выбеленная затворничеством администраторша «Русской бани» опознала Эбергарда через видеоглазок:

– Давненько не было вас видно... – и крикнула напарнице, гладившей в задней комнате простыни: – Вер, только вспоминали, что-то пресс-центр не ходит...

В предбанник его впустил вежливый и опрятный знакомый мужик с плаксивыми бровями похоронного распорядителя – его так подкачали телесным насосом, что плечи поглотили шею и уже пожирали затылок, грудь подпирала подбородок, распухшие бицепсы теснились в рукавах, манжеты готовы были брызнуть пуговицами, – он ходил как-то без участия собственных мускульных сил, словно его шевелил ветер, один край отрывал от тверди, другой, а еще мгновение и – весь полетит по косо́й наверх и прилипнет к потолку, как сбжавшая гроздь свадебных надувных торжеств, – он даже никогда не присаживался, как невольник геморроя, только проминался, прохаживался, прислушивался, разглядывая источники света и запорные устройства. В угловом кресле, крепко поставив ноги в зашнурованных ботинках, отдыхал омовенец с коротким автоматом на коленях – Эбергард его опознал по шраму на скуле – знакомая личность; но сегодня на противоположной лавке с расписанной под хохлому спинкой ожидали еще двое черных озябше худого вида, курточки и спортивные штаны, коротко переговаривались и много улыбались друг другу (как всегда казалось – смеялись именно над Эбергардом), поудобнее укладывая и переукладывая в карманах заросшие шерстью руки.

– У батюшки переговоры? – спросил Эбергард, теперь не зная, оставлять ли в предбаннике портфель.

Голова распорядителя потянулась вверх, подержалась в верхней точке и села на место; дождавшись, когда Эбергард бесповоротно и наглядно разделенется, распорядитель проделал в двери, за которой закусывали, небольшую щель и туда, внутрь, сделал нечленораздельный доклад, и:

– Проходите. Отдыхайте!



За низким столом в четыре лакированные доски пили и ели разномастные пастухи своих интересов, незнакомые, кроме Сашки Добычина, вице-президента межрегиональной ассоциации ветеранов правоохранительных органов на речном транспорте, помогавшего решать вопросы на Нижне-Песчаном таможенном терминале, одной рукой нагнетая эти вопросы, другой – решая; но здороваться полагалось со всеми – пивные руки, водочные, потные руки, руки, не вполне освободившиеся от квашеной капусты, руки, отложившие вареную картошину, руки, на мгновение разлучившиеся с корюшкой, запястья рук, не смогших расстаться с сочившимся раком, – по кругу всех...

– Пойду ополоснусь и погреюсь, – и, разорвав беседу на «отскок от ментов без регистрации, батюшка, стоит пятьсот рублей!», Эбергард шагнул в парную и замер – следовало уstrateиться пара и дать себя опознать.

– Это ж... Да это ж... Большой это человек! – Шацких, мелкую седую гнусь, приставленную «территорией» к батюшке, дедка с провисшим пузом, с седыми кустиками, торчащими из носа, пришлось целовать.

Отец Георгий, в белой шапочке с загнутыми полями, радостно протянул Эбергарду узкую ладонь:

– Приветствую деятеля местной государевой власти!

– Крупного деятеля.

– Крупными, Эбергард, бывают только яйца.

Отец Георгий всегда улыбался, одни зубы, одни только зубы; восьмой год молодежавый и улыбчивый, и кланяющийся, как японец, батюшка числился советником при депутате Иванове-1 и возглавлял Фонд

православного развития, возрождения и общенародных инициатив, собиравший деньги на воссоздание избышки патриарха Иова на Мало-Сетуньском всхолмии и имевший какое-то внешне неразличимое, но сущностное отношение к торговле шаурмой возле станций метрополитена в Восточно-Южном и Западно-Южном округах.

– Дорогой человек к нам пришел, – Шацких схватил Эбергарда за плечи и посадил на лучшее место – в дальнем углу от камней – и взялся за ковшик. – Все вопросы в округе решает. Никогда ни на кого не бычит. Какие ж нервы теперь-то надо ему иметь...

Батюшка как-то смущенно улыбался и потирал загорелые колени; сам по себе отец Георгий уже не существовал, его подхватило и несло, и говорило, что делать, где подписывать, кормило, утоляло любовь батюшки к полноприводным автомобилям и спуску с гор на лыжах – привык, и не выскочишь. Эбергард ни разу не видел батюшку в профессиональном облачении, служение свое отец Георгий обнаруживал лишь на юбилеях уважаемых людей: поздравлял многословно, с женственными причитаниями, дарил иконы и к общему страданию затягивал «Многие лета» неприятным, подрагивающим голоском.

В парной еще пара местных слепли от пота под толчком, еще один, плешивый, черный, с толстыми губами любителя разнообразных жизненных сладостей, томился от всех отдельно, не имел уже силы терпеть пар, спустился и сел на пол, поближе к дверям, но и там предобморочно вздыхал и трагически ронял черно-щетинистое лицо меж колен.

– Старые времена вспоминаем, Эбергард, – устыдившись детскости таких занятий, хихикнул Шацких, поглядел на парильщиков – двое с верхней пол-

ки с ловкостью древесных жителей спустились, сняли шапки и ушли нырять и фыркать в бассейне. – Почеловечески было. Помню, зампрефекта Кравцова пришел поздравить с днем рождения. Вот такая вот коробочка. Пятнадцать тысяч долларов. И он поначалу даже с гневом, помнишь, батюшка: заберите! А Бабцу принесли – сто. Но один раз. И всё!

– А Д. Колпаков так и вообще не брал, – подсказал Эбергард.

– Да. Да! Точно, – зачерпывал и из ковшика лил, поддавал жару Шацких и поглядывал на черного: сидит? не ушел, – не брал. С квартирами просил помочь: племяннику, сыну... С землей в области. И, знаешь, дороже, чем деньгами-то, получалось...

Черный не выдержал, выматерился, поднялся и, не разогнувшись до конца, выбежал вон!

– А ваши, Эбергард, а нынешние, – быстро зашептал Шацких, – всё уже высосали... Что слышно-то? – еще тише, сипом: – Выйдет из отпуска? Нет?

– Говорят, болеет. Пейте за бессилие медицины. Если Хассо будет...

– Как похудеть? – вдруг запел Шацких. – Слушай свой организм! Он тебе скажет сам, сколько есть, – потому что дверь впустила охлажденного душем черного и он сразу насупленно уселся на пол, чтобы не повторять ошибок и беречь силы. – Хочешь, научу, как температуру в бане точно замерить? Смотришь, сколько градусов, умножаешь на выпитое и – делишь на десять! – Что-то в Шацких отсоединилось от перегрева, и он сказал глуховатым, уставшим голосом черному в плешь: – Слышь, друг, иди за стол, и мы сейчас следом придем.

Черный, не поднимая головы, покачал ею: нет – и вытирал нос и каждый глаз отдельно.

– Дай с человеком поговорить! Товарищ навесить нас приехал. Не по бизнесу.

– Мне сказали, его, – черный показал на виновато улыбнувшегося отца Георгия, – одного не оставлять. Все разговоры при мне должны быть.

Шацких закатил глаза к потолочным досточкам – смертная мука, видит кто? – взбодрил рукой жидкий чубчик:

– Ситуация у нас, Эбергард. С партнерами фонд не поделим. Уж и с автоматами приезжали. И с адвокатами. И матерями клялись. А доверия нету, – показал глазами: ни о чем вслух серьезном, ни-ни. – Слушай, вчера ехал, что там у вас за иллюминация на Вознесенском – сияет всё!

– Монстр позвонил Хассо: сделай посветлее на проезд Вознесенского, тринадцать, корпус два. Попросил кто-то большой. Хассо прибалдел: корпуса два там нету. Есть Вознесенского, тринадцать, дом-башня, и есть Вознесенского, тринадцать, корпус один, круглый дом... Обследовали дворы и вокруг, и есть там в одном месте – довольно темный уголок...

Батюшка улыбался и улыбался – лампа беспричинного счастья то разгоралась поярче в нем, то убавлялась, но не гасла уже никогда, он походил на старика, пожираемого Альцгеймером, но еще помнящего: главное – не доставлять лишних хлопот, или на русского сироту, усыновленного в Америку, еще не выучил язык, но помнит наказ: излучай довольство.

– Подогнули Мосгорсвет, своих кинули триста пятьдесят тысяч по аварийной линии – натыкали плафонов, залили светом! Месяц прошел – опять монстр орет: почему до сих пор темно?! Я же приказывал! Оказалось, Иван Василев просил, из эфэсбэшных...

– Что зам по кадрам в администрации президента, – опознал Шацких: слушал он напряженно, стараясь не пропустить тайного сообщения или намека.

– И никакой не проезд Вознесенского, а соседняя Веригина, тридцать, племянница двоюродная там Василева ходит от остановки, и ей вечером страшно. А с какой остановки? По какой тропинке? Договорились: в семь она выйдет к шлагбауму. Подъехали: Гуляев, Хассо, депутат Иванов-1, глава управы, участковый, муниципалитет, Мосгорсвет, подрядные организации, коммунальщики, ДЭЗ, ГИБДД... Выходит вот такая девочка с рюкзачком, – Эбергард показал мизинец, – лет двадцать. Махнула рукой – направление, вон туда, и – ушла. И теперь там через каждые десять метров фонарь. А Гуляев сказал: а давайте проведем это как выполнение наказов избирателей. Девочка же житель округа.

Шацких захохотал, и Эбергард умело поддержал, в один тон (важно, чтобы смеялись двое, друг другом любуясь), радуясь, что слушают, что удовольствие рассказами он доставлять не разучился – и вдруг на победной волне выбрал, на чем можно поплыть, если грести сразу и сильно:

– А теперь монстр велел: дадим этой девочке вектор развития, пусть идет своей фирмой на конкурсы к Оле Гревцевой и управлению физкультуры...

– И это правильно! – Шацких сел и заново встал, прислушался к переменному нытью внутри организма, опять сел и как-то недоуменно взгляделся в свои стопы – точно мои? не обратил внимания, когда утром надевал, посторонние, но с нагревающимся интересом спросил: – А какие ж это конкурсы по культуре-физкультуре? Это ж городских департаментов.

– Да там город обязал помочь по линии плоскостных сооружений в дворовых территориях и питание в учреждениях культуры. Небольшой кусочек, миллионов на полтора. Но девочке хватит. Построит домик себе...

– На тысячу двести, блин, квадратов, – протянул Шацких и с тоской рассматривал улыбающегося отца Георгия. – Вот так, батюшка, с конкурсом по жратве... А мы-то уже думали, вот он! – и шлепнул по бедру тому, где в одетом месте располагался карман. – И получили, и поделились, – кивнул на черного, – и потратили... А хрена. Спасибо Эбергарду, а то приперлись бы... – и искал выхода выпитому и болезненно качающемуся внутри огорчению. – Может, девчонкам позвоним?

– Долго будут ехать, – черный утирал пот и стряхивал с ладони в сторонку.

– Пусть с администраторами поговорят. Сегодня хорошая смена, – слабо сказал отец Георгий. – Мне, наверное, уже и хватит...

Черный тотчас поднялся и облегченно толкнул запотевшую стеклянную дверь, выпуская батюшку охладиться.

– Ну, а Хассо, ты говорил, – висок к виску нагнулся Шацких к Эбергарду, – имеет, значит, шанс? – но прислушался и вскочил: – Батюшка, батюшка, обожди, договаривались – без меня не ходить, я должен быть рядом, – и выбежал, еле попав в тапки, махнув рукой мимо простыней на вешалке, и, чтобы не терять время, прикрыл срам рукой и на носочках засеменял к бассейну – батюшка спускался по ступеням, с чувством перекрестившись, трудно, как в адское кипение, ступал в тяжелые кафельные воды, а черный уже плавал, погружал лицо, но не нырял.

Эбергард посидел на остывающих досках, закрылся и полежал немного, пока в парную не потянулись прочие на «еще заходик»; чувствовал себя неподвижным, прибитым, не мог сдвинуться. Что ответить Гуляеву? Придут ли бабушка и Сгорим К Херам на аукцион? А кто-нибудь из города? Что будет, когда он выигрывает суд?

Отпросился у отца Георгия – жена беременная! – возле пустой будки администраторов топтался подкачаный распорядитель, о чем-то арифметически размышляя.

– По полторы тысячи, – проверил он на Эбергарде, – в резине. Нормально?

– Да нормально, мне кажется. Столько это и стоит.

За неделю до Нового года (три недели до аукциона, месяц до выборов президента России и депутатов гордумы) Гуляеву из небытия позвонил монстр (этот разговор в префектуре слышали все): там какие-то слухи про меня, сказал монстр, а я в Хлопоткинской больнице, перенес тяжелейшую операцию (убрали желчный), а сегодня, между прочим, сейчас, вот только что, от меня уехал мэр.

Либо врал, либо старшие монстра договорились с мэром и всё заново срослось, если рвалось, конечно.

– Что будешь делать завтра?

– С утра – к Гуляеву.

Улрике, начав однажды опрашивать «планы на день», теперь уже ни дня не пропускала.

– Ты ничего подробно не рассказываешь.

– А зачем?

– У меня каждый день одно и то же: ремонт, стирка, готовка, глажка – ничего нового... Мне важно

знать, как у тебя, – Улрике откинулась на диванную спинку и растирала бок, она ждала чего-то такого. – А зачем раньше рассказывал?

– Рассказывал, – иногда ему казалось (хотя знал – несправедливо, подлость, не так, но...), что всё плохое в его жизнь пришло вместе с Улрике, она сама ничего в руках не принесла, просто двери за собой оставила открытыми, – теперь не рассказываю, потому что машинка твоя сломалась.

– Машинка? Какая машинка?

– Механизм. Когда мне было тяжело, я тебе что-то рассказывал, приезжал к тебе, был с тобой, ты мне что-то говорила, и всё плохое уходило, я чувствовал, что всё могу. У тебя была скатерть-самобранка, сапоги-скороходы. Шапка-невидимка. И я всем этим пользовался. Больше эта машинка не работает. Сломалась. Или и раньше не работала, а мне просто казалось.

Эбергард не знал, что происходит у Улрике с лицом, не решался полюбопытствовать, но именно в мгновение, когда не выдержал и посмотрел, Улрике кивнула, что-то вроде «понятно»; он ушел мыться и спать, она осталась сидеть, погребенная тяжестью своего живота, – живот потяжелел так, что ей никогда не подняться.

Эбергард ждал ее в постели, придумывая, что сказать (для прощения, в утешение, но на самом деле, чтобы резануть еще раз, но уже другим инструментом, чтобы не возникло привыкания и боль не теряла остроты), ему слышался плач, садился в постели и прислушивался: вроде тихо; но не идет.

В зале. В зале горел свет, в телевизоре сбивала не причастных и искрила боками по отбойникам погоня на джипах, Улрике спала на диване – прислушивающаяся, измученное лицо, – укрывшись кресельным



пледом, прилегла полежать и уснула, оберегая рукой свой живот, – всё, что у нее было по-настоящему и бесповоротно своим, это у Эбергарда ничего не осталось – пускай поспит... Гаснет свет, затыкается телевизор, дверь остается открытой, чтобы, проснувшись, не испугалась: где? – он вдруг чувствует, что один, совершенно один в пустыне, под ногами потрепавшаяся от зноя грязь.

Гуляев встретил его помятым, жеваным и не улыбочивым:

– Почему не показываешься?

– Алексей Данилович, вот по тому вопросу... – улыбайся, ты рад и радуй его, затруднения преодолены. – По этому году у нас получалось, – нарисовал «20%», – в следующем, если мне удастся как-то поджать подрядчиков, перенести полиграфию в регионы, то выйдет, я думаю, – двуслойный волнистый математический знак «приблизительно» «30», – но это уже предел. Тут уже мне ничего не остается, перейду на подкожные жировые накопления.

Гуляев нюхал, трогал губищами наживку, что-то свое соображая:

– Но это же пока... А придет новый мэр...

– На перспективу: заканчиваю бизнес-план сети киосков для торговли цветами в местах наибольшей проходимости и... Согласуем, оформим аренду – на пять лет и дальше продлевать... Двадцать киосков...

– Так это же надо...

– Средства я изыщу! Могут дать до, – рисовал «70 000» и отдельно со сладострастием «\$», – в месяц! Следующий этап, – сглатывая подступающую алчную пену, удивительно: сам верил, пока несло, – строительство быстровозводимого торгового павильона у ме-

тро «Площадь Блюмкина» для последующей сдачи в аренду... Зарегистрируем компанию для поставки и обслуживания компьютерной техники в бюджетных организациях округа... Моя цель, Алексей Данилович, моя цель, чтобы у вас выходило в пределах, – «100 000 – 120 000», а теперь, чтобы обострить впечатление, – «€», и с восторгом: – За месяц. Помимо бюджета!

– Только мне? – булькала сонная безмозглая рыбина и до хруста разинула пасть.

– Да.

– А тебе сколько?

– Ну, хотя бы десять процентов от вашего, – глотни и успокойся, глотни. – В середине января представлю законченные бизнес-планы и план-график исполнения и выхода на контрольные цифры, мне осталось только...

Гуляев вдруг сказал:

– Всё-таки, – и показался Эбергарду другим, незнакомым, сползла с лица кожа, отживший и наобманывавшийся своею слою, – надо тебе взять главным бухгалтером моего человека.

Эбергард пригладил правой рукою правую бровь: как я здесь очутился?.. вышел из дома, сел в свою машину, утро как всегда... Купить вечером елку.

– Нет, он не будет сидеть каждый день, – Гуляеву казалось: вот что может обеспокоить, – ты ему просто передашь право подписи всех финансовых документов, чтобы он смог контролировать финансовые потоки, – последние три слова куратор, заместитель префекта, выговорил с наслаждением, он, видно, часто слышал, как их произносят другие, и мечтал когда-то сказать сам.

И Эбергард стал незнакомым, разогнулся (обнаружив: всё это время... рыбацки, ищуще, заманивая,

горбатился над столом) и взглянул в дрогнувшие глаза Гуляева:

– Вы мне не верите?

После небольшого молчания Гуляев нетвердо протянул:

– Я-то верю. А вот Он... Если Он не будет знать, что у тебя работает мой человек, он нас сомнет. Вернее, тебя сомнет. Меня-то нет. Сколько раз уже хотел вынести вопрос по тебе на коллегия...

– Вы хотите сразу после выборов, – он, Эбергард, теперь рыба, и бился, хлестал траву...

– Давай не будем откладывать. Выборы не выборы, наше дело...

Эбергард порвал, выбросил бумажки, пожал протянутую руку и вышел, испросив разрешения уйти исполнять утвержденный префектом недельный план работы пресс-центра, – всё, что полагалось, когда держишь удар.

Он набрал номер Эрны и слушал гудки, пока спулся с четвертого этажа до первого, одевался, перекладывая телефон из руки в руку, пересекал префектурный двор, открывал машину: не хочет, нет, написал «позвони мне»; молча, только с самим собой Эбергард сейчас не мог.

– Павел Валентинович, как ваша жизнь? – спросил покрытый седыми зарослями загривок.

Водитель оглянулся: то, что он слышал, прозвучало? Никакой ошибки? Эбергард так спросил?

– Заметили? – с горечью. – Годовщина скоро, как матушка умерла. Три года мы с братом за ней ходили... Первые четыре месяца – через день. Потом сиделку нашли. Две реанимации, больница... Потом нашли врача немку, именно немку! – она выбросила все лекарства: это же яд! Ввела правильное питание, рефлекс-

терапию. И матери стало лучше, целыми днями смотрела любимую «Культуру». Немка сказала: уйдет, как батарейка. Просто кончится заряд. Так и вышло.

– И вы... Три года? – Эбергард не замечал.

– Когда они прошли, понял – не бесполезно. Во-первых, мы помирились. Раньше-то воспитывала меня, я от злости трубки бросал, а потом догадался: мамушке хочется быть нужной, и начал звонить ей каждый день, рассказывал свои мелочи. И она перестала ворчать. Ее мучила астма. А мне попалась книжка женщины – у нее вылечился рак, написала: все заболевания связаны с психикой. Прямо схемы: что от чего. Я увидел: астма – одиночество. И последние четыре месяца астма маму не мучила. Нет, не напрасно. Всё, конечно, пришлось отложить, но когда ухаживал, подмывал, думал: вот так и она ухаживала за мной. А теперь я за ней. Было чувство: всё справедливо. Нужно. Что-то совершается. Отдежурю, выхожу на улицу и такая радость на душе. Или не радость. Чувство: хорошо, всё правильно. Оказалось, я и готовить умею, такие супы... Жена прибегает с работы: супчику не осталось?

– То есть... в самый Новый год?

– Дня за три стала гаснуть, села и осталась сидеть. Но еще улыбалась нам. Всю жизнь плохо спала, а на Новый год дали ей снотворное, а я еще съездил на рынок на Западо-Юг, купил мед такой хороший, дал с чаем, и ей понравилось, заснула и так хорошо спала, что не проснулась, даже когда начали бить салюты. Я засмеялся: ну, мать, видишь, как хорошо тебе спится. И поехал домой. Доехал: сиделка позвонила – всё. И я поехал назад.

Эрна?! Нет. Звонила – почему? – Оля Гревцева из управления культуры, прочел кто-то его заячьи пет-

ли?! Опять не просчитал, не предвидел, вслепую тыкнулся:

– Да.

– Эбергард, – Оля запыхалась, что-то равномерно громыхала, словно беговая дорожка, – я решила: давай мы сделаем это. И поскорее. В какой-нибудь гостинице. Только не в нашем округе.

– Хорошо.

– Мое условие: чтобы никто не узнал. У тебя семья, у меня семья...

– Конечно. Я ужасно рад, что ты позвонила...

– Звони. Я для тебя времечко всегда найду, – оборвала на полуслове, это же он хочет, ему надо, она только уступает надоедливому и жадному напору.

Хериберту он не дозвонился: с паломниками на Валааме; Фриц не хотел на работе, в ресторане «Два корабля» попросил только чаю, обозначив: полчаса, неинтересно.

– Это конец, Эбергард. Создадут атмосферу психоза. Ты будешь работать – они зарабатывать. Всё правильно. Зачем им доля, когда можно забирать все.

– Если откажусь?

– Либо начнут торговаться. Либо озлобятся, у тебя всё налажено, уйдешь – им остается голое поле и надо работать самим, а сами они не умеют, – Фриц быстро допивал чай, редко видятся, не осталось пересечений, взаимообогащающей пользы. – Из того, что я знаю, Гуляев не из тех, кто будет брать за горло. Тебе надо скорее выстраивать отношения с монстром, успеть.

– Всё делаю, Фриц.

– Я скину тебе астрологический прогноз на первый квартал, – и Фриц рассмеялся. – Что-то ты постарел... А тебе еще нянчить!

Эбергард подумал: новая жизнь новой девочки. Не нужен, исчез для одной родной, исчезнет для другой.

Пустые праздничные дни он заживляюще проспал, сны – это подвалы, обитые войлоком, и заново чувствовал: любит Улрике. Получается, его любовь видна лишь на черной ткани, в безднах (и не телесна), но это настоящая любовь: дом, семья, будет дочь, а пока весит шестьсот граммов и спит – рука зажата меж изнанкой маминога пуза и головкой, – вот что должно делать его непобедимым... А не другое. Не хотел, но вспоминал адвоката, обмирая: зачем? Никогда.

Каждый вечер они с Улрике про Эрну и суд; сейчас, на каникулах, Эбергарду казалось: всерьез только это пугает.

– Почему не звонишь адвокату? Ты должен поговорить с ней про Эрну! Кто будет расспрашивать Эрну на суде? Кто будет ей отвечать? Объяснять? Ты – не в состоянии, это – это для тебя самая-самая... тяжесть! С тобой на суд должен пойти подростковый психолог, – Улрике искала и нашла среди учреждений государства психолого-коррекционный центр и читала с монитора, – именно по детско-родительским отношениям! В первый же рабочий день – поезжай.

Директору центра Эбергард дал доллары – двести, на лице своем она покрасила всё, тихо говорить не умела: женщина-руководитель, бюджет-исполнение; и она, как и все:

– Сама двенадцать лет в разводе. И просила своего бывшего с сыном встречаться – ни в какую. Какое вам заключение написать? Может, что дочь ваша покончит с собой, если не будет с вами видеться? Мы мо-

жем. Нужен только запрос из суда. Наш юрист уже идет, но медленно, ногу сломала.

Он взял в руки разговор и поддерживал, не выпуская: так сын в Латвии, внуки? Как там относятся к русским?

Юристку, донесшую наконец гипс, Эбергард встретил аханьем, она, огромная, как сугроб, без приязни (никто в жизни ей, кажется, не помогал, и она, похоже, считала, так и должно: никто и никому, и одиночество перед смертью, и эта новая жизнь, и люди новой жизни, из которых ей ни один не нравился) сама себе пояснила баском:

– Надо зарабатывать, надо ходить.

Расстегнув пальто, юристка подседа боком к столу, зацепив клюку за спинку стула, возраст колебался и замирал между отметками «60» и «70»; когда-то... но теперь деревенская неопрятность... с потерями в зубах – разрушающая пенсия... ветеран юридических органов Советского Союза – с ней бесполезно, понял Эбергард, вода прозрачная, удачное освещение – все детали хорошо различимы – она из обломков, желающих дожить по прежним правилам, на месте этих сгоревших и забытых правил, двигаясь внутри не существующих давно коридоров, справлять нужду в несуществующей уборной, и ни разу не пройти напрямую, коротко – сквозь несуществующие стены, и не замечать явлений погоды, она же под крышей, которая для нее существует. Начал что-то, но слова кончились быстро.

– В суд обращаются только больные, – прогудела юристка (у нас госучреждение, маленькие ставки, большие нагрузки, лизать не будут). – Люди здоровые все вопросы решают вне суда. Раз вы в суде, значит – война. Психологи нашего центра вам не помогут.

Психолог может быть или свидетелем, то есть наблюдать ребенка продолжительное время до суда. Либо экспертом. Но у вас нет судебного решения по экспертизе! Вы что хотите?

Эбергард с растерянным ужасом пометался в ослепивших его лучах и сделал обеими руками одновременное бессмысленное движение, словно хотел показать: они чистые, но сразу же передумал: наружу! внутрь!

– Я не хочу, чтобы моя дочь приходила на суд.

– Не надо бояться, – безучастно басила юристка, – судья – опытный человек, перед ее глазами прошли тысячи таких дел...

– Просто... Адвокаты моей бывшей супруги могут...

– Судья не слушает адвокатов. Адвокаты отрабатывают свои деньги. Все вопросы адвокаты зададут судье, а она сама решит, что именно спросить у ребенка. Перекрестным допросом судья быстро выяснит, – судья, понял Эбергард, юристка – бывший судья, – что на самом деле на душе у ребенка. Где личная позиция вашей дочери, а где позиция ее матери. И вынесет решение. Основываясь только на мнении ребенка. А вам надо смириться. Вы должны быть уверены в себе. Вы думаете, дочь вас не любит? Почему?

В ответ он мог только показать еще что-то руками, не знал: что.

– Приготовьтесь услышать в суде горькую правду о себе. Принять ее. И жить с этой правдой дальше, – и зачем-то сказала: – Детский умок – что вешний ледок.

Заболела нога или что-то еще ее оскорбило: зачем тащилась? – и выдала на прощанье:



– Так, как вы хотите, уже не будет!

– Но совсем недавно...

– Недавно! Говорит: недавно. Совсем недавно вы были ребенком, верно? И не пытаетесь это вернуть. Недавно родители ваши были молоды и здоровы, верно? Вы согласны со мной? Скажите сейчас. С этим ничего не поделаешь, понимаете?

– Я хочу что-то делать. Это моя дочь.

– Не дочь, хотите вы сказать, вы думаете – это вы сами. А это – не вы! Там ничего вашего уже нет.

И укувыляла; Эбергард вслепую вытянул из кармана две тысячных и подвинул директору центра: для юристки.

– Купим ей что-нибудь на юбилей, – не трогая пальцами, директор локтем сгребла и сбросила бумажки в стол, в верхний ящик, и встрепенулась: – Так, как вы себя чувствуете? – пересела напротив, припоминая первое образование с присутствием «невро» в оцененных в дипломе дисциплинах. – Я вам поясню, что сейчас происходит!

Эбергард опустил на исходные – вытерпеть, три минуты – свои доллары она хочет отработать.

– Вы – мужчина! Умный и сильный. Вы привыкли всё контролировать! – И коротко оглянулась: включить музыку? есть там диск? – А на суде вас ждет встреча с неизвестностью. Что делать? Смириться и расслабиться, – накрыла и разгладила его ладони, – как младенец в чреве матери претерпевает испытания, сходные с жизненным путем. Сначала ему хорошо, плескается там в теплышке. Затем начинаются схватки и – ему ужасно! Он сражается, борется! А потом – устает сражаться... Расслабляется... Опускает голову... И, не видя света перед собой, не имея надежды, безвольно, смирившись – выталкивается наружу! В но-

вый мир! Так и вы. А ну-ка! – вскочила, взмах руками: и ты – вставай! Можешь! – Шире шаг! Разверните плечи! Всё хорошо! Вперед!

Улрике кивнула консьержке, высунувшейся из дупла, «а это – мой муж!», спросила:

– Для тебя это важно?

– Конечно.

– А почему?

– Мой дом. Наш дом, – а думал тогда еще, с Сигилд, «на стадии котлована» – вложение средств, старую квартиру будем сдавать; теперь ему казалось – переедут, и всё болящее заживет, Эрна увидит свою комнату и – не сможет сдержать радости – ребенок!

– Давно сама не была, всё по телефону... – Лифт пустили вот только, по лестнице Улрике уже не могла подняться на этаж. – Осталось – по мелочам, видеонаблюдение, холодильник... Закрывай глаза! – Лифт встал, она вывела ослепшего Эбергарда на этаж, обняла и направляла: сюда, вот сюда. – Не открывай пока! – надежно и многоповоротно откашливались замки. – Смотри!

Он открыл глаза, и включился свет: высокие, ровные стены, но еще раньше – запах, незнакомый запах новой квартиры, что поживет еще две недели, по привычнеет и забудется. И только в первые дни после отпуска...

– Смотри, – вела, ковыляла тяжелой уточкой и обращивалась – как? – ее тянуло покружиться, полететь, не выдерживала и смеялась: да? – из-под арок прихожей, из-под светильников, похожих на молочные колокола... потолок в гостиной, показавшейся Эбергарду огромной, подпирали каменные столбы, тугие красные подушки лежали на белой коже диванов

и кресел, Улрике гладила детали, плавники своей земли, всплывшей из воды. – А это красное дерево, между прочим! – На потолке выгибались белые волны, оттуда – свет, поярче, слабее и еще – до полуночного мерцанья. – Сядь, не бойся! Видишь, как удобно? – Еще пустые полки (раздвигались шкафы), всё вымыто, всё чисто – всё новое. – Вот здесь и здесь – природный камень! Растратчица я? – Принимать гостей, Эбергард видел: как рассаживаются... За каждой дверью – непривычный простор: дыши, без мебельной тесноты, протискивания и огибания углов... Как отличается от того, где он... Первые его – человеческие условия, каталожная картинка...

– Такая большая столовая, – он расставил руки меж барной стойкой и овалом столешницы – не достать; раз, два... Шесть стульев.

– Стол раскладывается! Десять человек могут обедать! И вот здесь еще на диванчике – двое! Как тебе фотография? – Какие-то ветки... – Это из галереи, таких отпечатков всего десять в мире! И у тебя, нас!

Он побрел по плавно загнутым коридорам, толкая двери (вторая ванная, гардеробная... что здесь?), трогая раздвигающиеся стены.

– Слушай, я заблудился.

Улрике топала разутой ногой:

– Чувствуешь? Теплые полы! Вот – твой кабинет. Совсем в другом стиле, да? Светлый паркет, много света – так ты хотел? А я буду к тебе... – она устроилась на диване, – прокрадываться... И смотреть, как ты... – она замолчала, посмотрев туда, где он словно бы уже опустился за стол, левой щекой к деревьям, уличному воздуху. – Здесь будут еще фотографии: нас в детстве, наших детей... наших близких. Пойдем в спальню. Пробуй матрас. Из морской травы! Кро-

вать дорогушая, сразу предупреждаю. Не темные шторы? Здесь – запоминай – поставишь детскую кроватку, когда всё пройдет хорошо... Здесь будут ее вещи... Здесь буду пеленать...

– Ты такая молодец!

– Я всё здесь придумала сама, я давала дизайнеру идеи, – Ульрике прижалась к нему – теперь вся жизнь Эбергарда будет заключена в ее собственноручно созданный мир, где всё – от касания дверной ручки до... будет ждать его благодарности. – Ну... Комната принцессы! Ты должен посмотреть один. Я остаюсь.

За вращающейся дверью: посреди толстый белый ковер, из зимы, – никогда не сможет наступить, белая кровать с высокой спинкой из детских картинок, пятнистое покрывало, справа стол – компьютер, полки для учебников с медвежонком в красной безрукавке, прямо – между белых шкафчиков, между маленьких комодов – ящички, ящички – зеркало, столик и круглое мягкое сиденье без спинки – как называется? На шторах вышито «Э»...

– Здесь всегда будет беспорядок, – подсказала Ульрике из-за двери. – Потолок видел?

Он поднял голову – со стены убегают на потолок сердечки, мечты, облака и предметы... Вот здесь повесит сумочки, много сумочек... Даже тапочки выглядывают из-под кровати. Корзинки для мелочей.

– Шторы открывал?

Окно, оказывается, начиналось от потолка и кончалось почти у пола; он сел за стол Эрны, на кресло на колесиках, вот что останется в ее глазах, «у папы дома» – немного деревьев, нищей зимы... и много неба, город насквозь – до Казанкинской телебашни... Надо будет рассказать ей про некоторые дома – вон они. На противоположной стене – Эбергард оглянул

ся – в американской победоносной ночи подымались этажи, пылающие изнутри, как прямоугольные поляны. Всё не запомнить. Он нашел в телефоне камеру, автоспуск, поставил телефон боком на полку для учебников и сфотографировал себя – на фоне пылающей нарисованным американским электричеством стены, не продумав выражения лица, – просто я.

– Не хочется уходить, да? – уже потушив свет, они присели на лавке в прихожей, Улрике говорила про люстры, потолки, кухонные приспособления, делающие жизнь хозяйки намного легче, он чувствовал: жизнь, что с жизнью его (что бы ни...) уже ничего не случится страшного, главное – есть, на сейчас, на старость и детям – на потом. Он всё сделает, как хочет, никто не заставит и не изменит его...

– Запомню на всю жизнь, – шепнула Улрике. – Я увидела тебя счастливым. У тебя такое лицо... Как у маленького мальчика. Оказывается, я еще не видела тебя счастливым. Понравилась тебе мозаика вокруг джакузи? – Всё знала про эту квартиру, про швы, соединения и оттенки, своею рукой, всё одна, его только деньги. – Через две недели можно переезжать... Сам реши, когда у тебя будет время. Главное – до весны. Рожать я хочу поехать из своего дома.

Он не решил ничего, кроме «переждать», «а вдруг», «как-то само», зыбь, а твердость в одном: советовать больше не с кем; он надеялся: аукцион, двадцать четыре миллиона корни всосут и стебель потянет вверх, пчелы заберут, напряжение ослабнет; и еще надежда: потом, когда-то потом, вот потом всё будет обязательно нормально, сложится, он честно работает и слово держит; и – вдруг мэра уволят уже завтра... Три дня он продержался на больничном – суставы,

последствия тренажерных рывков, пока не позвонил врач:

– На меня вышли из департамента здравоохранения... Интересовались вашим диагнозом, – врач не боялся, а обижался: «просто так» и «не просто так» стоило совсем существенно денег; он понес свою голову, дыхание притаилось само: чуть-чуть, ничего внутри, но должно что-то, хотя бы первые слова «от себя», по делу, «его позиция» – придумать не мог, сидел до обеда в пресс-центре, расписывая, дописывая про выборы, и слышал наяву сигнальные звонки, злыми змеями огня переползающие с номера на номер, как только он переступил порог: пришел, попался, начинаем – и на первый же шорох:

– К Гуляеву?

Жанна проглотила заготовленное и показала: точно!

Может, что-нибудь другое, есть же (может) и другое у них (не только же это!!!); за пару шагов до двери Эбергард натянул «деловитость и бодрость», «а какие, собственно, вопросы ко мне» и «рад видеть», взялся за дверную ручку и до завершения отпирающего поворота трижды, как просила Улрике, предвидя «трудную минуту», прочел молитву царя Давида; Гуляев, измятый и бессонный, сдержал какое-то гневное движение, накопившееся в шейных мышцах, выпарил из заготовленных звуков мат:

– Почему не появляешься? Почему дела не передаешь?! – С дивана поднялся и подсел к столу мокрогубый человечек бухгалтерского, въедливого вида – ему не хватало воздуха, облизывался и шумно вдыхал, кислорода! – ни резюме, ни визитки – Эбергард смотрел, как диван за его спиной еще расправляется и кряхтит, еще живет небольшое время его,

мокрогубого, вздохами, тяжестями и поворотами. – Вот, Игорь Владиславович, оформи его – приказом! – сегодня же! Чтобы рабочее место, пропуск, право подписи ему и передавай документы – список готов... И живо! Затянули, затянули мы, понимаешь!!! – и, родственно обмякнув, повернулся к мокрогубому, раздвинувшему улыбку шириной в автоматный приклад. – Игорь, вот Эбергард, руководитель нашего пресс-центра, давно работает, один всем занимался, но, – Гуляев уже подобрел: сделано! – и подчеркнул, усмехнувшись, и Эбергарду: – Но – время жестоко! – Сказал правду, неумело, но сладострастно кого-то «старшего» повторяя, не утруждаясь принарядить приличиями, довольно произнес «сдох», «в мусор!» над онемевшим телом, еще не утратившим слух; время жестоко, сказал он при Эбергарде, сильном, не увечном мужчине, в уверенности, что скот двинется по звонку расщелиной меж изгородей на бойню, на сочащийся кровью кафель; раса господ выходила к сероштанному миллионному быдлу без палки и в меньшинстве – никто не осмелится даже поднять глаза, все вывернут карманы, подставляя один бок, другой для удобства; время жестоко – мы никогда не будем равны, и наши дети не будут равны, мы скажем, где и когда тебе жить, что и когда ты будешь делать, тебя нет; время жестоко – вот что проткнуло и уперлось во что-то, сохранившее способность закричать, – мокрогубый приподнялся «на выход», «к исполнению», Гуляев уже заглядывал в ежедневник и взялся за телефон распорядиться «чайку»...

– А кем вы собираетесь у меня работать? – спросил Эбергард, прыгнув в пустое, но почувствовал, что не падает, еще висит. – Вот придете к девяти и?..

В голове Гуляева взорвался какой-то двигательный элемент, и стало слышно жужжание и холостой шелест жестяных лопастей, ударяющих о что-то непредуманное через равные отрезки времени:

– Эбергард, Эбергард, мы же...

– Алексей Данилович, я ведь должен понять, зачем мне ваш товарищ.

Мокрогубый долго нажимал глазами на умолкшего Гуляева, потом чуть сжал руками кожано-коричневый портфель, очутившийся на коленях:

– Я, конечно, не планировал э-э... участвовать в оперативном управлении... Это же надо погружаться, – мокрогубый потягивал время, ожидая, когда под Эбергардом провалится пол или его снесет запасенный на этот случай порыв ураганного ветра. – Моя цель – увеличить поступление бюджетных денег, идущих э-э... через вашу структуру... Значительно увеличить! Конкретней что-то я смогу сказать, когда увижу э-э... документы.

– Ага, я прекрасно знаю, что происходило с теми, кто верил таким обещаниям. Алексей Данилович, думаю, не надо тратить время, а сразу назначить вот этого уважаемого... руководителем пресс-центра.

– Эбергард, Эбергард, у меня не было такой цели, – ныл Гуляев.

– Это ж надо специфику понимать, – бормотал мокрогубый.

– Готов сдать дела в двадцать четыре часа. Алексей Данилович, с вашего позволения... Пойду, макеты плакатов для остановок общественного транспорта надо утверждать срочно. Если что – я на месте. – Эбергард обрадовался на ходу Анне Леонардовне: – Опять новая прическа! – и после обеда послал Жанну поулыбаться к милиционерам на вахте.



– Сказали: человек, которому Анна Леонардовна заказывала пропуск, вышел из префектуры минут через пять после того, как вы спустились от Гуляева.

Не знают пока, что делать; минуты и часы раскалились, вспыхивая пламенем, – его решают, и казалось: непрерывно, он переехал в ад; Эбергард вцепился в главное, чтобы заклокотавшая под ногами, быстро поднимающаяся грязная вода, не дающая разглядеть знакомый, исхоженный мир, течение наступившей великой неопределенности, его не снесла: «Твоя комната готова. Приезжай» – он отправил свою фотографию Эрне и сразу же – ответ: «Спасибо», хотя бы еще слово! – не хватило. Позвонить? – пальцы разжались, его сорвало уже и понесло; в эти дни в слепом январе он берег силы, не болтая ногами попусту, терпел, ничего не зависит теперь от него, кто знает – вдруг вода быстро отступит, вернется чувствительность к отмороженным рукам и окажется: он в системе, удержался, расчета и везения его хватило; Эбергард озирался: всё пугало теперь, встречные смотрели особо, разговаривали странно, не замечали его среди живых – словно знали то, что обреченные и обманутые узнают последними, будто прошла какая-то команда, – жаль, жаль, когда что-то неведомое шевелится (или нет), под покровами нельзя понажимать клавиши, перейти по ссылке, набрать: господи, есть что-то про меня? – и получить ответ на почту от круглосуточной службы поддержки, не спящей никогда где-то там: не, ерунда, ничего там по вас нет.

Вызвал Пилюс, заставил ждать в пустом кабинете, Эбергард смотрел на крыши за Тимирязевским проспектом – наискосок, правее высоты «Орхидея» –

вон там живет его дочь, выходит погулять вечерами с мамой, коляской и уродом, лепит снежки, смеется, и какой-то недавний знакомый «семьи» ахает: «Как похожа на папу!» – и урод удовлетворенно хрюкает, учит Эрну: запомни – жить надо... А учить должен Эбергард, спасать, идти рядом. Дочь его не любит. Но хотел бы он осмотреть то место... Побывать в тех местах... В том небольшом месте, что он занимает в жизни Эрны.

Пилус вяло порасспрашивал, поворошил предвыборное (Эбергард презирал до озноба молчание, дыхание, передвижение, любую форму присутствия Пилуса в собственной жизни, почерк, а теперь каждое утро выслушивал матерные указания, записывал «план на день», приносил объяснительные «по поводу отсутствия...», пытался попасть в настроение, тон и не уходил без позволения) и, тяжело поерзав в кресле:

– Завтра аукцион... По той теме... Тяжело. Шесть заявок. Кроме ООО «Тепло и заботу каждому».

Эбергард не отвечал: свое выполнил, зачем это лишнее.

– А вот скажи, Эбергард, кто-нибудь сейчас в префектуре делает для тебя больше, чем я? А? – зацедил Пилус каждодневное «одно и то же». – Перед префектом постоянно прикрываю... Перед Гуляевым... Перед департаментами... Ты про всё и не знаешь. А то ведь вокруг доброжелателей – ой как много, – Пилус желал взгляда в глаза, но в глаза Эбергард не мог, лицо начинало подергиваться от ненависти и омерзения. – Мне вот тут один говорит... Не буду: кто; но ты его знаешь. Говорит: небось, Эбергард столько тебе заносит... Это мы-то с тобой понимаем, что отношения – выше всего... – Пилус не мог смириться, что на

аукционе не зарабатывает, он искал в себе слово пообидней, точнее и больней выражающее долгожданное превосходство над убожеством, поперебил, но – всё слабо. – Свободен.

Случайно (но выходит – думал, посеялось и выросло внутри), жадно оглянувшись в коридоре на новую девчонку, принятую в общий отдел, – совершенно прозрачная блузка, грудь наружу, он позвонил Веронике-Ларисе, та что-то отчитывающееся начала, но оборвалась на его заикнувшемся:

– Ты дома?

И торопливо, побежав на свет, захлеставший в пролом, боясь обжечься ошибкой:

– Да. То есть могу быть через тридцать минут. Даже раньше, – ну, ну, дыхание – это?

– Я заеду?

Кристианыч оценил, что Эбергард не приходил раньше, в его старое, высыхающее лицо Эбергард смотрел напряженно – единственно доступное ему отверстие в тот этаж, отдел неба, где решается всё про него сейчас – так, на вид вроде страшного ничего, покой, прежнее, не без лукавого «наслышан я».

– Пилюс сказал: шесть заявок...

– На, – Кристианыч посмотрел в часовое стеклышко, – семнадцать ноль восемь только одна – ООО «Тепло и заботу каждому». Профи! – и протянул пожать ладошку: мастерство признаю; странно видеть, как, усмехаясь, Кристианыч молодеет, как что-то радует его – вот что радует его. – Проведем аукцион, и у тебя здесь, – он обозначил направления вокруг себя, все, кроме «вертикально вниз», – останутся только рабочие моменты, и всё вот это, – он показал, как сгребают и выбрасывают со стола подсолнечную ше-

луху, при скоплении предрасположенную к самовозгоранию...

– Мне главное – суд.

– Мы же договаривались, – серьезно сказал Кристианых. – Я. И Хассо. И префект. С судом мы тебе поможем! Судья Чередниченко. Когда суд?

– Перенесли на начало марта. Тянут те адвокаты. Моя же, бывшая, родила... Кормящая мать и всё такое. То судья на больничном...

– Суд выиграешь. Думай, что потом. Завтра в пятнадцать ноль-ноль результаты аукциона будут на сайте.

В машине Эбергард думал: постеснялся спросить, вернется ли префект из больницы, что слышно: утвердят ли мэра... О «после суда» – всё больное...

Вернется Эрна – сможет ли с ней? Вытерпит ее непослушание, непохожесть на то обязательное, что ему надо? Нужна она ему? Что ему остается другого? Жить и потихоньку забывать. Так редко слышал он «папа!». Готов, чтобы росла Эрна без него? Росла какое-то время с ним. А потом без него. А он продолжит жить без этой девочки, начнет растить новую дочь, хотя не имеет права ее любить, – с исчезновением Эрны в нем пропадут железы, клетки, телесные нити, отведенные для любви... Или сможет полюбить Эрну вновь... Ведь они еще совсем недалеко и – может быть, может быть всё, может быть!!! Долго смотрел на взывающий неопределившийся, но – взял, теперь не мог не отвечать.

– Приветствую! – Чужой, грязный голос заполнил его слух, переползая в... и заполняя жизнь, спрошу «кто это?». – Это Роман. Что со Степановым. У нас как там погода на завтра? Ситуация контролируется?

– Роман, мы договорились держать связь через Степанова. Завтра в три результаты вывешат в Интернете. Больше не звоните мне.

– Я должен знать, я вкладываю...

Эбергард отключился; Вероника-Лариса отступала от него по квартире, потерянно дотрагиваясь до столешниц, мебельных ручек.

– Ты, наверное, хочешь поужинать? У меня, правда... – Неловко заглянуть в холодильник. – Но если у тебя есть время, я сбегаяю... Хотя бы чай? Печенье. Чай с печеньем. Чай? Не надо? Спешешь? Нет? Ничего... не надо?

Он в лифте еще решил: последний раз, не пропустить возможность, до суда, и раз так – уж попользоваться полностью, и просил Веронику-Ларису о некоторых вещах, позволяющих лучше рассмотреть и запомнить, и делал то, что называлось бы «ласкать», дольше обычного, не стесняясь возвращаться к уже просмотренным частям и расположениям, если вспоминался упущенный угол зрения или способ удовольствия, не смотрел только в лицо – она всё исполняла, и, прежде чем покинуть, закончить с этим, он остановился и проверил себя: всё? ничего он не забыл? Чего-то такого, чего вдруг захочется потом опять? Всё? Всё. В «корзину»? Да.

Она пошептала о счастье, волшебстве, подбираясь к «любви», чтоб та следом позвала взаимность, но встрепенулась:

– Тебе не пора идти? Не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня, – уже почитала рыболовецкие журналы: подгаскивая рыбу, нельзя всё время тянуть, леске нужно давать слаbinу, проявлять понимание его трудностей и подчеркнуто уважать тех, кого совместно обманывают, – обманутые не должны стра-

дать, есть же гуманные способы умерщвления! После душа уже не обнимал Веронику-Ларису, чтобы не забрать запахи и волосы недомашней длины и расцветки; не поговорили про суд, он и так знал, что осталось, – органы опеки; посмотрел, и часы сказали ему: «уложился».

Эбергард шел к машине, как легкораненый, морщась и трогая рукой себя: в каком месте задело?

Улрике не встречала, не выключила телевизор – на лежанке своей, боком, живот рядом, – ясно, ясно, как будто он не с работы, не для нее он допоздна каждый день... Эбергард посмотрел в зеркало, чтобы собрать нужное лицо, закрепить и запомнить и таким держать весь период использования.

Вот она – та, что тогда... А теперь лицо распухло в среднюю мордочку, губки поизносились, кожа измялась. Хотя и он... Улрике тихая, и он не подошел «что случилось», словно знали оба, что случилось; Эбергард бесился: не знает жизни, не умеет ничего сама, единственное достижение – разрушение его семьи, вычти из ее жизни Эбергарда с его возможностями – что останется? Пудра, рваные колготки?

– Я что, не буду ужинать сегодня? – пустой кухонный стол, неизменность позы.

– Извини. Сейчас. – Плакала только что? – Неважно себя чувствовала. Болел живот, – Улрике частями поднималась. – Думала, ты ел где-нибудь.

– Где? Где я мог поесть? – Что за бред!

Она вздохнула:

– Где-нибудь. Бывает, ты поздно приезжаешь и говоришь: был на встрече, поужинал...

Эбергард старался держаться подальше, скрывая забинтованный бок, бинты с распускающейся кровью, сожженную йодом кожу; она не может ничего

знать, а словно – всё знает! – не может знать, и поэтому должна! – нажать! Отодвинуть!

– Я понимаю, тебе трудно. И когда родится малыш – будет трудней, но ты – дома, в покое... А у меня сейчас – ад, каждый день... Самые страшные дни в моей жизни. – Кому еще скажешь? – Решается наша судьба... Я не сплю... Я должен выдержать всё – спасти нас! Не знаю, получится или нет! Всё может кончиться хоть завтра...

Улрике застыла, защищаясь схватившись за живот, захныкала (не знает! чист!):

– Зачем ты меня пугаешь? Зачем так страшно говоришь? Что случилось?

– Меня могут уволить, – сам впервые назвал вслух, окликнул возможное, и его пробила дрожь.

– Из-за выборов? – Улрике обняла его. – Если округ не наберет процент?

– Из-за всего.

– Всё равно. Ты не должен расстраиваться так. Мы же вместе.

– Ну и что?

– Пока все живы, пока живы наши мамы, здоровы детки – ничего страшного не происходит...

Дура, подумал он, я буду жить с дурой, зажавшейся, заспавшейся, забалованной дурой.

– Ты не поняла. Что всё сразу изменится. У нас не будет ничего!

– Да что значит не будет ничего? Ты будешь? Я буду? Эрна будет? У нас родится дочка. Что тебе нужно еще? Ты меня любишь?

– При чем здесь это? – Эбергард отстранился, встал и, раскопав на подоконнике нужное, швырял на пол. – Вот этого не будет, – каталоги отделочных материалов! – падали! – проекты квартирных комнат –

в полный цвет! – Вот этого!! – «Загородная недвижность» – еще! – «Дома на Кипре – лучшие предложения», «Квартиры в Великобритании», «VIP-отдых с маленькими детьми» – ишь ты, готовится уже!!! – Вот этого! – срывал с запястья часы, дернул пиджачный ворот, распахнул холодильник. – Вот этого всего... И таких врачей! Таких машин! Всего, что у тебя есть, к чему привыкла! – не перечислять же, что покупал ей раньше и что с радостью и без счета себе и своей маме купила за последнее время сама – за его деньги! – должна понимать!

– Ты устал... Перемены, может, и к лучшему... У всех бывают трудности. Мы справимся. Выберешь другую работу, еще лучше...

Он цапнул чашку – разбить!!! – но увидел, как почернели от страха глаза Улрике, и унял себя – не понимает, живет как гусеница...

– Ты знаешь, как я работаю? Ты знаешь, откуда у нас деньги? Не знаешь. А тратить нравится! Я двенадцать лет – вот с такого, – показал на пол, – и цеплялся сюда, сюда, сюда, выстраивал отношения, пробивал... Это такая игра, в которой нельзя начать еще раз: или ты идешь дальше и только вверх, или – тебя больше нет. Мне скоро сорок лет, если ты забыла! И я уже привык жить со всем этим, уже привык к своему будущему – я не представляю, как мы будем без всего этого!!! Меня никто больше не возьмет, за мной никого нет! И за тобой никого нет! Сдавать квартиру, самим ехать за кольцевую... Сейчас окончательно делится народ – кто встроился, пойдёт навсегда наверх, остальные навсегда вниз. Понимаешь?! Такого времени больше не будет!

– Почему так грубо со мной?.. Может быть, я не понимаю – я ничего не понимаю! Но почему так со



мной – я же беременная, мне нельзя волноваться... – Улрике повалилась на диван, и он внимательно наблюдал и слушал, словно добивался именно этого, как плачет она в сомкнутые ладони, в свою темноту. – Ты же не один... Скольких уже монстр уволил... И Фриц, и Хериберт...

– И они трупы! И они без будущего! И ты даже не представляешь, сколько они заплатили, чтобы их взяли хоть куда-то...

– Но ведь не обязательно нам... Нам немного нужно. Просто жить. Как живут люди...

– Со мной ты жила по-другому. И тебе нравилось. Ты привыкла. И рассчитывала на это. Ты не знаешь, как это: «просто жить». Поедешь с младенцем на метро? На санках в районную поликлинику? Ты хоть раз там была? Ты видела тех врачей?! Чем? Чем мы будем жить? Изучать тайны мебельных царапин? Куда шурупы укатились? – жал и жал на курок, бесясь, что мишень не падает. – Смотреть, как собачки играют во дворе? Ругаться с продавщицами? Скидки ловить? Откладывать на отдых? В Крым, в частный сектор? Бегать с места на место за «достойным вознаграждением» – да вся Россия молится: «Достойного вознаграждения!» А если у тебя заболит мать и потребуются операция... А мне?! А-а, что с тобой говорить...

– Я тоже пойду работать.

– Вертеть задницей в коридорах? Ты уже наработала, спасибо! Ты не понимаешь, как сейчас мне, – показалось: побегал вокруг нее и сам впервые вдруг понял по-настоящему: да, умрет посреди жизни, – мне нечем жить!

– Ты любишь меня? – спросила Улрике с бессмысленным упорством, словно «веруешь в Бога?», «да»

надо говорить вслух, чтобы голосом показать его слабость. – Это главное. Что ты не один. Никогда не останешься один. И я не одна. И наша маленькая – не будет одна. Мы что-нибудь придумаем.

И долго сидели на кухне обнявшись, просил прощения, осматривал показавшееся огромным тело Улрике: это мой груз, моя опухоль, обуза, никогда уже не бросить – заложник; сжал ее локоть, кожу на локте, прежде нащупав пальцами: не ошибся ли, не одежная ткань, и щепотью сжал – Улрике грустно-притихшие качнула головой, дрогнув губами.

– Больно? – спросил он внимательно, Улрике виновато моргнула, словно за чем-то таким он ее застал, и Эбергард убежденно повторил: – Больно.

Как пишут: «ночью того же дня»; ночью того же дня: Эбергард пытался вбить себя в точку во времени, гвоздем в серую доску, но она, точка, ускользала, вспоминал день и – нет, ему не становилось больно, а просто непонятно – прожил день и всё это делал какой-то другой человек. Зачем он так?

Хотелось: я, я... Но некому, он (как и всякий) мог жалеть деревья. Рубашки. Любимая рубашка! пляжные тапки. Животных. Мясо нельзя кушать! Но не людей – и никого не жалко, только предметы, но не другие жизни других людей.

– Меня грызут красноухие псы.

Улрике спала, не слышала, он пытался объяснить, кто гонится за ним, почему нельзя останавливаться, не остановиться уже никогда.

Не волновался, но часа ждал; в какое-то слабое, невыспавшееся, обреченное мгновение ему показалось «неважно», но когда Пилюс позвонил: «Зайди», Эбергарду показалось: посветлело, на улице посветлело,

а потом (еще веселей почувствовал он) будет весна. Скорее!

– Отзаседались, – щурился Пилюс (вернулся с ярмарки!) и дразнил, но ясно уже – всё. – Заявился всё-таки второй участник. В последнюю минуту! ООО какое-то «Добрые сердца – XXI век», но ди-и-икие: название фирмы написали прямо на конверте! – Пилюс захихикал. – Ну мы их и исключили из состава участников за нарушение правил представления аукционной документации. Визжали: мы вернемся, вы пожалуйста! Но у нас юристы, у нас аудиозапись... Так что, Эбергард, – один допущенный участник. Он же победитель, «Тепло и заботу каждому», – Пилюсу хотелось долго про это: преодоленные препятствия, превратности, тяжесть борьбы – он весь еще там, еще напряжены мышцы. – Выиграли! А знаешь, почему выиграли? Потому, что мы вместе. Когда мы вместе – можем всё! Слушай, у нас завтра делегация деловых кругов, сделай обед, шестнадцать человек плюс восемь вип, – и еще долго и липко; в кармане у Эбергарда пойманно-насекомо настаивал телефон – раз-раз-раз-раз-раз-раз, – Эбергард внимал, соглашался, помалкивал, уточнял, восхищался, благодарил и – вырвался наконец – все звонки от «Быдло-2» – от Романа; набрал зомби-Степанова:

– Всё в порядке. Пусть ваш партнер мне не звонит.

– Прошу простить. Просто волнение... Несанкционированно.

– Подписывайте контракт и подавайте в «одно окно» префектуры на подпись. Позвоню по дальнейшему.

– Мы готовы.

И остановился – всё. Можно не бежать. Рассмотреть, заметить зиму. Но – также вдруг останавлива-

лись и замирали у окон коридорные прохожие, еще открывались двери и на зов выбегали люди, елочными гирляндами вытаскивая за собой других, – что видят они? И Эбергард опустил глаза в префектурный двор – черная «ауди-восемь» вползала в распахнутые ворота и мимо почему-то гаражных дверей, затухающим полукругом – до полного замирания у крыльца; выскочивший охранник открыл заднюю дверь, замер, замерли все, застыли и долго, долго, долго не происходило ничего, не шевелилось, не звучало, только кричала застрявшая в лифте (Эбергард думал: запомню навсегда) Зябкина из управления экономики, страдавшая боязнью тесных пространств, – все ждали, глядя в темное нутро машины, пока там что-то не ожило, сдвинулось и полезло наружу – из больницы вернулся монстр, на выборы! Все бросились прочь, по кабинетам, успеть до его взгляда по окнам, Эбергард, прыгая через две ступеньки, неся по пожарной лестнице в пресс-центр – на место работы!

Поднявшись, монстр вызвал повариху (у нее заранее тряслись колени и текли слезы), теряя пуговицы, монстр расстегивал рубаху и рвал бандаж, чтобы показать швы, и орал: «Гляди, до чего довела твоя кормежка!» – повариху уволили, а следом секретаршу Шведова – та просто попала на глаза; секретарша до ночи сидела в гардеробе и плакала и боялась подняться на свой четвертый этаж за шубой и сумкой, чтобы не встретить монстра еще раз.

К выборам всё шедшее и так слабо ослабело еще и померло: снятая «Родина» не призвала к бойкоту, хищению бюллетеней, к «против всех!», а отползла и сидела, не звуча, испаряясь и ожидая дальнейших

команд, «Партия жизни» заткнулась, а коммунисты с первого дня не покидали отведенного загона; депутат Иванов-2 на последние деньги напечатал газету, где его хвалила теща, первая учительница и два пенсионера, – тираж перехватили и вывалили в овраг природоохранной зоны «Долина реки Жлобень»; ночь накануне голосования дворники и сантехники под присмотром милиции разносили по подъездам листовки «Единой России», с утра психовавший мэр (продлят полномочия? нет?) решил выступить с прямым «придите и отдайте голоса достоинству, ответственности и единству России!», но к обеду пришел «отбой!»; размеренный, ясный день, без происшествий; Эбергард послал Хассо улыбающуюся эсмэску: «Много думал о последнем нашем споре. Всё-таки ты неправ. Поступай, как знаешь, а я всё равно ОТДАМ СВОЙ ГОЛОС “ЕДИНОЙ РОССИИ”!!! И я по-прежнему считаю, третий срок Путина – спасение для России» – без ответа; голосовал Эбергард в заплеванной школе, по месту прежнего жительства, всё привычно: бредущие старики, милиционеры с белыми воротниками, торчащими из-под великоватых бушлатов, роспись вверх ногами в ведомости, коробки шоколадных конфет, скучная медсестра, сниженные цены в столовой, на сцене ряженые русичи, с плюющим звуком выстреливаются ленты тускло переливающейся фольги; вдруг – давно собираюсь, всё никак, почему не сейчас? – Эбергард попросил остановиться возле церкви и разборчиво написал «за здоровье», «за упокой» под страшными рукописными просьбами помочь беременным матерям семилетних мальчиков, больных раком мозга, и оказать содействие в прогуливании и переодевании безногого – расклеено на бревенчатых стенах; посмотрел расценки:

за сотню предлагали вечное поминовение в каком-то знаменито отдаленном монастыре одного имени – подходяще.

– Эрна, – оказался рядом, вспомнилось, не удержался, – я в церкви, у рынка. Куда мы ходили с тобой на крестный ход. Думал, вдруг встречу тебя.

– Я в гостях, – поторопилась она и добавила для верности: – На даче.

– Подаю записки за всех наших. Твои прадедушки, прабабушки, мамины папа и мама. Никого не забыл?

– Напиши Машу.

Вспомнила давнюю кошку, и не откажешь; Эбергард дописал «Мария» и только вздохнул, когда кассир уточнила:

– Все православные?

Свернув и просунув записки в щель ящика, поставленного под иконами, он вдруг понял: за день голосует второй раз.

В восемь избирательные участки закрывались; Эбергард подъехал к половине десятого в ДК «Высотник», где в избирательной комиссии председательствовала Виктория Васильевна Бородкина. Как и всякая служивая женщина, «выбравшая» не первый раз, Виктория Васильевна в период от «начало подсчета» до «сдачи» не могла сидеть, не могла неподвижно стоять, не могла не кричать и казалась пьяной.

– О, Эбергард, – и обняла, хотя прежде не дружили. – Так хочется к кому-то прижаться.

– Пожалуйста. Но осторожней. А то получится надолго.

– А как бы хотелось надолго... – Виктория Васильевна сделала вид, что слабеет в его руках, они выбрались из фойе, где лысые и полуседые разнополые лю-

ди укладывали в мешок стопки подсчитанных бюллетеней, и свернули в комнату с табличкой «Детский фольклорный коллектив “Радуга счастья”» – там усатый управский системный администратор в углу, очищенном от нарядов красных девиц, молодцев и хлопцев, избавившись от пиджака, подолгу, боясь сморгнуть, смотрел в монитор, будто карауля проплывание чего-то малоизученного и подводного, а потом, не сразу решившись, всё-таки шлепал указательным по единственной клавише с такою мукой, словно она была раскалена, – в угол монитора была воткнута квадратная бумажка с красно-маркерными «68» и «89» – за «Единую Россию», за Медведева – меньше получиться не могло.

– Получается? – Бородкина махнула Эбергарду: да разгреби что-нибудь и садись!

– Сошлось, – не очень уверенно сказал системный администратор, – всё бьется. Вводить?

– Виктория Васильна...

– Да, дорогой Эбергард!

– Скоро суд. Нельзя как-то активизировать, что ли, позицию опеки?

– Опять! Да мы и так уже нагнули... Против всяких правил. Без обид, Эбергард!

– Виктория Васильевна, – постучался и всунул голову гуманитарный и тайно в чем-то ущемленный природой мужик из тех, что крутятся возле ветеранских организаций и носят на пиджаках не угадываемые никем награды, – «яблочница» протокол не подписывает.

– Приведи. Дорогой Эбергард, мы, муниципалитет, органы опеки, – должны быть на стороне ребенка! Не амбиции родителей, не... Пришла? – администратор подусох, и за монитором его не стало видно,

Эбергард почему-то отодвинулся от стола; едва вступившую с уже начатым словом полуслепую (Эбергард увидел только огромные выпученные очки и защищающе взметнувшуюся руку в вязаном рукаве) женщину уборщицкого вида Бородкина пихнула за шкаф. – Ты че? – сквозь какие-то отбивающиеся мяукающие звуки, не складывавшиеся в человечьи слова: – Ты бюллетени считала? Ты видела? Ты здесь жрала? Ты здесь сколько сожрала? Ты сколько домой брала? Знаешь, что участковый видел тебя пьяной? Ты протокол видела? У тебя ребенка в сад взяли? По очереди – да? Рванина! Ты вообще почему живешь? Ты в округе живешь? Ты чего? Протокол видела? Иди – подписывай! – Выволокла, пихнула в коридор и заперлась на ключ.

– Виктория Васильевна, может, не стоило... прямо так, – тихо (переживаю за вас) спросил Эбергард.

– А что мне сделают? Все знают, я бывший завуч! Так... Во главу угла – интересы ребенка, девочки, а они требуют домашнего тепла...

В дверь по-милицейски постучали, властно и громко: откройте немедленно, мы знаем, что вы здесь!

Системный администратор почему-то по-быстро-му влез в пиджак и застегнулся, шепотом спросил:

– Может, не вводить?

Бородкина поглядела на дверь, на Эбергарда, на него – системный администратор удивленно пощипывал усы: откуда у него на лице вот такое вот появилось?

– Это почему?

– А вдруг прокуратура?

– Какая прокуратура? – Бородкина от души рассмеялась: «кто тебе рассказывал?», «и ты веришь?», «такое бывает только в сказках!» и показала Эбергарду,



на всякий случай – молча: нет, с опекой больше она не сможет, что могли – делали, оказывали уважение, но есть предел, закон превыше земных сил...

Страшно постучали опять – без оклика, от этого страшнее. Виктория Васильевна недоуменно взглянула на телефон: свои бы позвонили; встала, оправила нарядную блузку и отперла – ввалился глава управы «Смородино», сменивший Хассо Ваня Троицкий, племянник какого-то древнего монстрова друга, прозванный в районе Поляроид за привычку при объезде территории всех увольнять: «Снять с должности!», «Снять!», «Снять!»

– Не вводите! – гаркнул Ваня. – Нужно семьдесят один по «Единой России», а по Медведеву – девяносто четыре! Префект позвонил – округ должен быть лучшим! Что делать? Что делать, Виктория Васильевна? Спасайте – я денег привез! Еще привезу! Надо решать! – и хватал за плечи системного администратора, пытавшегося что-то показать на мониторе: – Отставить! – дергал компьютерные шнуры.

– Не истери! – наперекор кричала Бородкина и сильно схватила вспотевшего Ваню за локоть. – Пошел вон, сопляк, не мешай! Я всё поняла, езжай в управу и жди. Не показывай никому деньги!!!

– Семьдесят...

– Запомнила – семьдесят один и девяносто четыре! Вали! Нет на тебя времени! – вытолкала Ваню Поляроида, растерла щеки, лоб, хлопнула ладонью о ладонь. – Видите, с кем работаем?! Орет, а сам – даже не представляет, как делается. Что за люди они, а? Откуда они к нам? Собрал председателей участковых комиссий: за каждый сверхплановый процент я заплачу по три тысячи долларов. Вы представляете? Не могут по-другому решать. А если еще мэра уберут...

Эбергард соглашался; напрасно приехал, Бородкина уже не слышит, забыла, она бормотала:

– ДК заминирован, членов комиссии выводим... Приезжает милиция... Я остаюсь с опечатанным мешком с бюллетенями... Девочек спрячу под лестницей – они помогут... Два часа – пока милиция со спаниелем всё не спеша так... И успеем, – и неожиданно: – Эбергард, позвонишь в ОВД? Ты же на улице, я не могу своих посылать, пусть уж лучше у меня на глазах, позвонишь? Миша! – Заглянул милицейский лейтенант. – Проводи до таксофона... Знаешь, где остановка? Эбергард, спасибо, дорогой!

Кончался день, под снегом, аукцион выигран, выборы проведены, не трогает пока Гуляев, смирился, через месяц он выиграет суд, сегодня говорил с Эрной... Лейтенант довел до таксофона, сам набрал номер ОВД «Смородино» (Эбергард никогда не пользовался таксофонами, оказывается, оплата карточкой) и передал трубку, убедившись: есть ответ!

– Говорите.

– В ДК «Высотник» заложено взрывное устройство.

Следующий день – до обеда округ отсыпался; вице-премьер Ходырев накручивал мэра: выборы проведены нормально, только на Востоко-Юге префект самоустранился, пустил на самотек, надеялся на угрозы; на понедельничной планерке мэр поблагодарил «всех», но повторил: «Востоко-Югом я недоволен!»; во вторник правительство отменили, в среду монстр с тяжелыми предчувствиями (так надеялись все) отправился на возложение венков в ознаменование годовщины окончания Сталинградской битвы, но вернулся, как показалось, веселым. Мэр, покляв-

шийся весной «доработает до Нового года и – хорош!», заявил «окружившим его после возложения школьникам», что «еще не знает», останется ли, а высунувшийся из-за мэрского плеча лысый председатель гордумы самодовольно жмурился: «Это решит победившая партия!»; все замерли: что Путин?

Гуляев разговаривал с Эбергардом добро (за январь Эбергард внес на пару дней раньше срока, пожалуйста – увеличенный процент!), но как-то отстраненно, отрезанно (казалось от страха?), заезжал «поздравить» зомби Степанов, обрадованный, что Эбергард понял его вопрос: скоро подпишут контракт?

– Узнаю в общем отделе. Как там в законе? «В течение семи-десяти дней»? Пока юристы, замы завизируют... Сами понимаете: сейчас никому ни до чего. Пока не решится главное. – Еще они обсудили слухи, что монстра повышают, уходит в губернаторы или со своими миллиардами (уже точно на этот раз) вливается в империю Вексельберга; наступила и пошла страшная неделя, уволили начальника отдела кадров (отработал полгода), монстр кричал замам: «Вы – стадо баранов! Вы не видите, что волки вокруг! Слабых будут резать!»; приносимые на подпись документы префект швырял теперь на пол поближе к выходу и заставлял докладчиков подбирать: «Так вы запомните! А то всё, что я говорю, – люди не запоминают»; испуганным крался по коридорам даже Кристианыч, встретив возле туалетов Эбергарда, тихонько пояснил: мэру про выборы стукнул председатель гордумы, избравшийся от Востоко-Юга.

– Он по состоянию на девятнадцать сорок проигрывал три процента. Испугался, что не успеем, – Кристианыч отчетливо произнес, – нивелировать.

Напряжение есть, – посерел, занавесил глаза, слился со стенами. – Ты когда планируешь завершать по аукциону?

– Как договаривались. Получат контракт на руки и...

– Еще не получили? – не отпуская Эбергарда, не добавляя ничего, обозначая, сгущая какую-то вину... стояли так долго, пока Кристианых наконец-то не... – У префекта день рождения завтра. Было бы красиво завтра внести. Он бы оценил.

В общем отделе девушка Лена, что Эбергарду нравилась, посмотрела, краснея, в компьютере «Контракт на обеспечение бесплатного горячего питания в учреждении управления культуры...»:

– Так... Вот – Хассо согласовал, Шведов... Юристы, социалка, управление делами, Гревцева – всё согласовано. Вот – с пятницы в почте у префекта... Пока не отдал, ждем каждый день.

Надо внести завтра. Не надо. Оставить, как договаривались, после выдачи контракта. Если завтра утром почту отдаст... Шел и останавливался. Возвращался, шел. Пусть идет как идет? А вдруг – те самые секунды, время толщиной в волос, когда решится про него? Эбергард не может подчиняться уставшему телу, сдохшей душе и ослаблять руки – непрерывно решать свой вопрос, останавливаться посреди течения, упираться – давить, разворачивать, куда надо. Уже звонил, но сам не верил, не понимал, что делает это:

– Роман. Это Эбергард, – лениво и поддерживаясь незавоеванной позиции «свысока». – Аукцион состоялся. Поздравляю. Контракт согласовали, на подписи у префекта. Префект подпишет, зарегистрируем, отдаем, и подавайте документы на аванс.

– Понято, – у Романа шумел какой-то ветер и трубно отзвучивало эхо, он понимает, что не ради «поболтать» позвонил Эбергард, что главное «дальше». Что?

– Только, Роман. Небольшие изменения. Вопрос, который мы договаривались закрыть при получении контракта, надо закрыть завтра. До двенадцати.

Роман переспросил, повторил, для атмосферы выматерился куда-то в сторону и:

– Не имею такой возможности. Чисто технически. В указанное время по сумме полный объем. И вообще.

– Степанов в день аукциона сказал: у вас всё готово. Это он так шутит?

– По-другому договаривались, – очень тихо говорил Роман. – Получаем контракт и – закрываем вопрос...

– Вы – единственный участник аукциона. Мы исключили из числа участников восемь юрлиц, – приврал Эбергард, – компания «Тепло и заботу каждому» – победитель. Протокол утвержден. Результаты аукциона на портале правительства города. Какая тут, на хрен, подстава?! Контракт подписан, но префект третий день не отдает почту! Там нет вопросов! Если завтра не решим – вопросы могут появиться.

– Я не могу так. Сначала одно. Всегда вообще внесли с аванса!

– Сейчас всюду так, это такое время!

– Если только – половину.

– Всё, благодарю.

Звонить Степанову – слабость, зомби должен заботиться и позвонить сам; Улрике – опять! – плохо чувствовала себя вечером, мучила его: «Что случилось? Ничего не случилось? Посиди со мной. Положи руку сюда, выше. Ты же пойдешь со мной на роды? Пого-

вори с нашей девочкой...»; только очень поздно, подтверждая его расчеты, – Степанов позвонил.

– Трудимся, подводим выборные итоги, ждем стратегических решений... По вашему вопросу – осложнений нет. Есть только маленькое пожелание, к которому вашему человеку лучше прислушаться... Знаете, делаем первый шаг... Будут и еще аукционы... Чего бояться? Вы работаете со мной. Я никуда не денусь.

Зомби стонал, побряхтывал, ныл, обращался с Эбергардом бережно, замолкал, но заканчивать разговор не смел: вдруг возникшее вот это самое всё само по себе уляжется и вывернет и как-то по-другому успокоится удобным для всех способом.

– Спокойной ночи, – пожестче обозначил Эбергард пределы времени. – Мне добавить нечего. Товарищей лучше не раздражать. А то знаете, как бывает: то контракт потеряется, то аванс зависнет, то контрольно-ревизионное управление заедет проверить, готово ли ООО «Тепло и заботу каждому» осваивать средства – кому это надо?

И отключил телефон, чтобы не обнаруживать своего ожидания и поспать, но стоило задремать – Улрике разбудила:

– Так страшно... Я ведь сегодня не рожу? Не отпущай мою руку! – Ей хотелось сесть, и Эбергард поднял ее в постели, подпирал подушками, она успокаивалась, согревалась и просила. – Спи, спи... – Но стоило – и: – Не спишь? Поговори со мной... Давай помечтаем... Как переедем... – Какая нужна коляска, ванночка... постельно-упаковочная принадлежность для перевозки ребенка из роддома на место проживания называется, оказывается, «конверт», конверт перевязывается лентой определенного цвета – почему раньше этого не знал? Утром, в шесть, Эбергард

включил телефон, подождал, но не клевало и не поймалось, только почистив зубы, обнаружил в сетях дошедшую, посланную среди ночи эсэмэску от «Быдло-2»: «В 11-30» – сделано! теперь казалось: не сомневался, и перестал спешить; позавтракали вместе и много смеялись в то утро над страхами ночи, перебирали девичьи имена – «как мою бабушку», «как твою маму», Соня, Маргарита, и всё, как и прежде, казалось прозрачным, постижимым и подвластным ему: вот даже Урике почувствовала, что срослось у него, наладилось, выправилось, и счастлива – он может всё, что захочет, достиг и – получает.

– Господи, как же я тебя люблю...

С утра в день рождения монстра инвесторы и гонцы из «города» с коробками, пакетами, баулами и тщательно запеленутыми продолговатыми тяжелыми предметами, похожими на гробы (похоронно тасили в три обхвата), невысыхающей насекомой тропой потянулись через двор – поздравлять; в приемной скопился жутковатый сумрак из букетов роз; даже не попытавшись спросить места в очереди или записаться для истории (монстр внимательнейше просматривал записи, кто за кем и вообще: кто), Эбергард оставил «от пресс-центра» лукошко: банки марийского меда и кедровые шишки – мед монстр любил, может, оценит; в девять тридцать вошли поздравлять начальники управлений (женщины пели самодеятельно сочиненное на русский народный мотив, монстр страдал), в десять тридцать – все двенадцать глав управ (никто не брал отпуск в начале февраля, поздравлять лично!) внесли напольные часы (помощник префекта Борис собрал по штуке евро), в одиннадцать поздравляли замы – золотой ко-

локольчик; на три объявили благодарственное ответное чаепитие для «членов коллегии», обещали: приедет Кобзон; монстр отсылал полученные букеты избранным дамам, сопровождая собственноручными записочками «в ознаменование моего дня рождения», – все боялись высунуться в коридор, одна пьяная Зябкина из управления экономики, наряженная по случаю праздника в немыслимую кофту (в этот день постарались: кто надел кожаные штаны, кто навернул мохнатый шарфик на шею, кто поднял и закрепил дыбом волосы), получив букет, гуляла из кабинета в кабинет просить «таблеточку» от болящей головы или рюмку коньяка.

В половине двенадцатого Эбергард не вышел из префектуры, дождался звонка: на месте; но еще десять минут просматривал цены на греческую недвижимость (бассейн и две спальни, не далее километра от моря) – это им надо! их надобность! он – выше, они при нем, у него есть Дела, а это – всего лишь ежедневный малозначимый технический момент, – на воздухе в зиме он не застегнул пальто – нет времени, даю минуту! – кошачье и змеино улыбался встречным: машина сменяла машину – такой день, день рождения у папы...

Роман ездил на ухоженном и свежесмытом «мерседесе» двенадцатилетнего возраста, стоимостью навряд ли больше двадцатки – из машины одновременно в разные стороны вылезли и встали по бокам подышать, бессмысленно улыбаясь, два грязнолицых бойца из кавказских республик в таких потрепанных спортивных штанах, что Эбергард взглянул им на ноги: не босиком хоть?

Он разместился на заднем сиденье, но дверцы не закрыл – зачем? взять и пойти – рядом лежал пакет из



«Седьмого континента» особой прочности и увеличенной вместимости, скрывавший внутри черный мусорный пакет.

– Пересчитаете? – куда-то в сторону спросил Роман, трогая языком зубы, – так у него всё белело, ломало его. – Пачка – пятьсот тысяч. Пятьдесят две пачки. Получается – двадцать шесть. Не хреново так подкормились, да? Мне бы! – зыркнул: вправо, налево, и переправил Эбергарду трясущийся лист бумаги. – Есть, чем писать?

– Что?

– Черкните, уважаемый, – Роман протягивал также трясущуюся ручку, – столько-то получено, я такой-то... У нас тоже бухгалтерия. Только – правой рукой!

Эбергард, как и собирался, быстро выбрался из машины, но – пустой, совсем в другой, опять поторашневший, nepостижимый, неуверенный день – сразу застегнулся; теперь беречь силы, беречь телесное тепло, он не может заболеть и отстать от общего движения к теплу (Роман покрикивал что-то в спину) – кто? – его придержал за рукав Леня Монгол:

– Уже поздравлял? Большая там очередь? – прятал от снега обыкновенный букет в одиннадцать – тринадцать примерно шипованных единиц кремового цвета и прижимал локтем к боку дубленки подарочный сверток.

– Скромно ты.

– Он такой привередливый. Кто говорит: часики принеси. Он на совещаниях в мэрии у соседей всегда часики рассматривает. Кто говорит: по золоту интерес есть... А когда мне ездить выбирать? Купил хороший портфель и уложил в него: так, так, так и вот так, – Леня Монгол показал, сколько поместилось пачек. – Как думаешь?

- Лучше всего.
- И я. Готовился. Ты видишь, что я с утра у стилиста? Туфли – вон, видал?
- Сила.
- А с кем это вы там друг друга... недопоняли?
- Один коммерс.
- Глаза у него воняют. Как ты? Всё судишься? Всё обрываешься?
- А у тебя как дела? – Эбергард вспомнил, что деньги не взял, пуст, ничего из рассчитанного опять не получилось.
- Из Ставрополя бригада какая-то начала наезжать. Третий труп за год. Перед тем как грохнуть, шлют клиенту три пустые эсэмэски. Эту молодежь не понимаю, – Леня Монгол выпучился. – На хрен эсэмэски?
- Наверное, так в кино.
- Ага. В американском кино. Но мы-то – русские! Или мы больше не держава русского народа? – больно хлопнул Эбергарда по спине. – Пойду.
- Эбергард сделал вид: мне тут надо еще... Чтобы не идти рядом, чтобы не слушать, прошелся вдоль машинных морд, взвешивая телефон в замерзающей ладони: какие вспомнить-придумать дела?
- Роман – вышло! – ступал по его следам, сжав пакет свой за горло и перекрутив:
- Что ты бегаешь? Надо решать – давай решать, мы – соответствуем, – сильным, низовым каким-то движением сунул в руку Эбергарда пакет – вот она, волнующая тяжесть новых возможностей. – Если пошли вместе, то какое-то понимание, а мне непонятно, – Роман, мокроголовый, облитый какой-то удушающей туалетной водой, тянул свое лицо к нему, скалил кривые зубы, – я не привык так к деньгам

относиться. Мне их, блин, никто не носит. Вот как тебе. Благодарят с аванса, на счет мне упало, я отдал – день в день. А ты нас жмешь – под контракт. Ладно, ты нажал, мы договорились. Теперь вдруг – нет, не так, отдайте ни за хрен, просто под слово, а я не знаю, кто ты...

– Че ты плачешь? Аукцион выиграла. Завтра-послезавтра получаете контракт. И меня здесь больше нет, работайте с управлением культуры!

– Ты меня не дослушал, эй, деятель! Куда ты пошел? Он пошел...

Эбергард сдерживал шаг, выравнивал, успокаивал и, удалившись на расстояние, прячущее звуки, мучительно повздыхал и позажмуривался, опустил плечи: тяжесть, никогда облегчения – не догоняют? – вот! – кому позвонить:

– Евгений Кристианович, есть возможность сегодня отдать документы. По тому вопросу.

– Профи, – отчеканил Кристианович, показалось: мало. – Вижу взрослого человека. Я думаю, будет правильным отдать документы нашему другу, я здесь лишний – это твой результат.

В пресс-центре Эбергард, не сняв пальто, радостно, влет отсчитал свое – два миллиона, четыре пачки, в коричневый конверт, заклеил и – бросил на стол, никогда не надо прятать.

Хассо обрадовался, выскочил в приемную:

– Ну наконец-то! Ты чего не заходишь? Уже боюсь звонить, вдруг обиделся. Есть время чайку? А пойдем в комнату отдыха, а то набегут... Зинаида Ивановна, не соединяйте – мы хоть поговорим, Эбергарда разве к нам заманишь... – Бросил, но тут же поднял с диванчика зажужжавший мобильник, показал: префект! – Слушаю, Хассо! Есть. Так точно. Есть понимание. По-

решаем, – и подмигнул Эбергарду: видал? – откинулся, разбросал крестом руки по диванной спинке. – Ну, как ты, брат? Я уже соскучился! Да что это... – телефон зажужжал опять. – Слушаю, Хассо. Я не отключался... Я не позволил бы... Прошу прощения, но... Вы же знаете, как я вас уважаю... Глубоко... Я понял так, что вы закончили разговор... Виноват, виноват, прошу... – изнуренно выдохнул, матерно пошептал: – Бросил трубку. Вот – моя жизнь!

Эбергард толкнул ногой принесенный пакет, радостно хрустнувший в ответ своей плотной тяжестью и устоявший – много!

– Документы префекту по аукциону. Как раз – на день рождения!

– Выпьешь? – Хассо поднялся. – Меня как раз на пять вызвал... – Убрал пакет за диван, что-то вспомнил и сел назад, набрал: – Валентин Григорьевич, звонил префект, завтра давайте прямо с восьми сядем шлифаном его выступление на правительстве по актуализации градплана... Тот вариант, что готовил Шведов, у вас далеко? Принесите мне в приемную, прямо сейчас, – тяжело, без выражения, утонув в другом, взглянул за Эбергарда и опять как-то лениво потянулся за телефоном. – Валентин Григорьевич, – резким взлетом перейдя на крик, – позвольте поинтересоваться: а с какого хера главспец управления строительства первым заканчивает разговор с первым заместителем префекта?! Я разрешал вам вешать трубку? Я что, сказал: окончен разговор? Разговор окончен, когда его заканчиваю я. Не надо ничего объяснять!!! Вот теперь – закончили, – отшвырнул телефон и за сочувствием поднял зримо тяжелеющие глаза на Эбергарда: – Скоты. Работаю со стадом!

– Чем помочь тебе? – сострадание, желание от сих и дальше быть совсем рядом, вселиться законно вот в это вот непростое фронтовое «всё» проступило на лице Эбергарда рвущейся в тепло, протискивающейся собачьей мордой – до боли сдвинутых бровей, глаза повлажнели сами собой: есть, есть же у тебя я!

– Пусть осветят СМИ жилищно-коммунальное хозяйство округа. Но критики не надо. Нужны свершения! Созидание. Конструктив. Да ты хоть съешь что-нибудь! – пошевелил коробки и тарелки.

Эбергард послушно, голодно (так, наверное, понравится Хассо?), кусая помногу, уничтожил кусок ненавистного медового торга, а Хассо «делился»:

– Я взял курс на стратегию. Приют для бездомных собак строить хочу. На полторы тысячи голов. И чтоб на каждой, что по округу бегают, – он очертил пальцем вокруг шеи, – с микрочипом ошейник. Компьютер утром включил и видно: где бегают, с кем, кастрирована или нет. А во всю ту стену – табло! С картой округа. Горят и двигаются огоньки – это машины идут на снегоуборку, и я вижу каждую. Получим целостную картину, Эбергард! А то что мы... А все уже давно... А мы... – он попытался одним словом выразить то, к чему должно стремиться, и нашел только: Россия! – и Эбергард горячо закивал: я понял, о чем ты: да, именно!

Опять – телефон!

– Я пойду? – предложил Эбергард: нельзя засиживаться, скромность, соразмерность. – А то у тебя тут...

– Слушаю, Хассо! Как? Милицию вызвали? Выезжаю! – вскочил. – Префект собирается в Озерное, в церковь, а там кто-то овчарку к ограде привязал, надо хозяина найти, пока префект кого-то вместо соба-

ки не привязал! А то прошлый раз молился за рожденные внука, кошка зашла и ему под ноги мыша положила... Зама по ЖКХ уволили, подрядную организацию сменили, батюшка уже тот не служит... Алло! – кому-то уже Хассо звонил, нагнувшись под стол в поисках выездной обуви, и больше Эбергарда уже не видел, словно нажал какую-то кнопку, уничтожавшую всё, что больше не используется.

По утрам он отсчитывал дни до суда; всё возможное, без пропусков, сделано: отталкивался, разгонял, теперь поехало с горки само – со всею вложенной им силой удара! – нечего прибавить; только ждать, как выйдет; в префектуру до обеда не собирался, вторник – правительство, спокойный день; четыре неотвеченных: Гуляев – два и два – приемная монстра: не будет ведь монстр его благодарить за аукцион и мед? лично оповещать: принят в стаю?... Тогда что? – перебирал последнее: статья о десятилетии округа с восхвалением гения – отмечающего семидесятилетие мэра? Открытки к годовщине Сталинграда? Благодарственные письма от префекта всем, кто поздравил, на серебристой бумаге? Всё в срок. Звонили, Алексей Данилович? Ты уже знаешь, что в одиннадцать? Что «в одиннадцать»? Что в одиннадцать – к префекту. Правительство перенесли. Аккуратней оденься.

В лифте Гуляев (Эбергард улыбался) спросил: на какую цифру мы вышли в январе? Цифра тридцать. Тридцать процентов. Скажу, если встанет вопрос. Префект-то начал с открыток, а перешел... Лифт приехал; в приемной – впервые он в «зоне особого доступа», меж маячивших охранников, в воздухе чужом, пугающем, сердцебиенном; Гуляев, будто раз-

минаясь, еще остановился рядом: хочу тебе посоветовать две вещи – первая... но вошли Хассо, Шведов, Пилюс, помощник префекта Борис, здоровались, и – не продолжилось. Проходите. Новая секретарша говорила и двигалась с осторожной выразительностью распорядительницы бракосочетаний и похорон.

В кабинете для приема неблизких Эбергард сразу занял выгодный стул, но остальные замерли столбами: присаживаются здесь, выходит, только после приветствия и по разрешению, но не обратно же вставать; Эбергард сказал: а может, остались какие-то подарки и решено поделиться с достойнейшими – поэтому нас собрали? Так промолчали, словно живой он один. Помощник Борис шепотом спросил секретаршу: завтракал? Давно? Видимо, это имело какое-то значение. Эбергард подмигнул Хассо, зная, что безответно, и выудил из краснодеревянного лотка карандаш и листок, оглядывался, другие как-то умели ничего не делать, он – не умел: а небольшой кабинет, когда-то машбюро сидело, портрет Первого Петра... шорох и шорох! – монстр вошел, ослаблен у него галстук, руку – всем руку, Эбергарду, здороваясь, без нажима, но внимательно посмотрел в глаза – научила их КПСС! Слева от Эбергарда сел Шведов. Остальные – напротив. Эбергард записал день. Добавил год. Подчеркнул. Конструктивно, скромно и самокритично слушал, спрятал глаза. А мне говорили, вы болеете, бабьи, издевательски гнусаво пропел префект Пилюсу. Что же это вы – на мой день рождения и – ба-але-е-ете? Да и праздник сегодня какой, префект перекрестился, посмотрев всем за спину, – Взыскания погибших! Не бережете себя? Пилюс немощно щерился «рази я достоин?», «дае-

те много больше, чем могу перенести». Эбергард на всякий случай улыбнулся в тон. Улыбка работала. Сдержанная, уместная. Посуше, с капрызом, но так же расслабленно монстр обратился к Гуляеву: ну, и что же вы молчите, едем мы в субботу общаться со старыми товарищами? Разве можно забывать старых товарищей? Гуляев, словно пораженный в хребет стрелой, судорожно всплеснул руками: да я, да – в любую минуту, вы только скажите...

– Совещание наше, – сбоку зашел монстр в то, что как бы шло и до этого, – чтобы обсудить направления, которые ведет, э-э... – не зная, как назвать Эбергарда; тот, до последнего делая всё, как полагалось, записал «направления» и глаз не поднимал. – Вот это дерьмо я должен подписывать, – под нос Гуляеву прилетели открытки к годовщине Сталинграда. – Противно брать в руки! – Записывал «открытки, бумага?». – Что за голубой фон? Почему не розовый?! Почему «уважаемый» нельзя сделать черным, а «поздравляю» красным? – «Уваж.—черн, поздр—кр». – И так во всем! Вы откуда вообще? Из дрявни? Зачем он сидит на коллегиях? Мне этого не надо! Где аналитика?! – «Аналитика!» Эбергард попутно отметил: пишет только он – и почувствовал: сильно краснеет лицо, а так – движение устойчивое, тряска в пределах нормы. – А ему хорошо! Коммунизм! Осваивает бюджет! – Спина руководителя пресс-центра вдруг самостоятельно распрямилась, и рука вернула карандаш в лоток – броском. – Где мой проект моего поздравления женщинам округа с Восьмым марта? Матерям и студенткам? – На коже, покрывавшей стол, Эбергард заметил косую царапину – как же, наверное, она мучает монстра... подумай про суд; суд, ну что же, суд ничего не изменит, можно успокоиться, будет как будет, попробую



приезжать к Эрне каждый вечер, в восемь часов вечера, и сидеть у нее в комнате полчаса. Сигилд сразу же сдастся. Что может помешать? Участковый захочет слишком много денег. Эбергарду может не хватить упорства и жестокосердия: там маленький ребенок, начнут кричать, ребенок – заплачет, перестанут впускать, Эбергарду придется звонить, звонить, звонить в дверь. Звонить... Вроде отпустило, кровь щеки жжет уже меньше, только чувствует он себя как-то не целиком, главное: ровно подняться из-за стола. – Где проекты моих выступлений перед трудовыми коллективами? – На Эбергарда никто не смотрел, его здесь не было, словно сидел он один и слушал разговор в соседней, проходной комнате: как только там закончат и разойдутся, он сможет выйти. – Я долго наблюдал и убедился: человек – не способен. – Перерыв, должен наполниться резервуар «выводы», замигает лампочка и начнется «выдача продукта». – Ээ... Эбергард должен оставить – все! – направления, которые вел. Нужны другие кадры, вот, – монстр опять умилился, словно вынесли ему показать крестника-грудничка, – Сергей Васильевич Пилюс подключится и поможет. Если всё пройдет тихо, будет увольнение по собственному в сроки, которые обозначит Пилюс. Если нет, – монстр глянул на Гуляева «попробуй!!!», – у нас есть – методы. У кого какие-то вопросы? Замечания, несогласия? – каждая тишина его радовала: – Хотите что-нибудь сказать? – Эбергард вдруг понял – ему:

– Нет. Всё ясно.

– Тогда заканчиваем.

Улыбнуться спокойно секретарше, подумал он, не бежать – трупный яд не обогнать: вниз, по этажам уже пошло, встречные в его будущем уже отворачива-

ются, теряют лица, немеют телефонные номера в записной книжке, именем его больше не расступятся воды, силы в имени осталось на два-три простых закливания; надо, надо было хоть на одно монстру ответить по существу (на поиски лучшего ответа на каждое «одно» уйдет ближайшая ночь; усмехался: когда повзрослеешь?) – спускался на свой этаж, словно имея цель, пытаясь обмануться легкостью освобождения (тяжесть придет этой ночью), Пилюс, скакавший вослед, вокруг и рядом, не понимал: куда? – спешил:

– Ты молодец! Достоинно! Ты понял, что префект тебе пригрозил?! Он не шутил! Я тебе помогу. Зайди ко мне. Прямо сейчас! Ну, на пять минут! Немедленно! – но что-то решил наконец про себя, вроде «пусть кровь стечет». – Завтра в девять!

Жанна взглянула на Эбергарда так, словно у него во лбу зияла дыра, сочившаяся мозгами, он (и Жанна – знала) теперь не может приказывать всего, всё может приказывать следующий; послал Фрицу «Меня уволили», не мог остановиться: сидел и рвал потерявшую значение бумагу, Жанна забирала полную урну и возвращала пустой; надеялся: Хассо и Гуляев оставались у монстра, они могут что-то... Хассо расскажет про аукцион (вдруг еще не отдал?), Гуляев напомним – проценты (не зря же спрашивал) – жаль, что прошло без крика и бросания предметов, значит, не вспышка, не остынет (да и выборы проведены) – операция, давно стоявшая в плане; надеялся, тело надеялось – ничего с этим не поделаешь, смертная мускульная активность (Хассо позвонит, усталым: бегом ко мне, значит, так... Или Гуляев: ты там особо не переживай, пока одни эмоции...); час, еще час, потом час особый, в который он почему-то твердо поверил: случится! – еще час, еще, угасая,

час... но у префектуры уже не ожидали машины замов – все разъехались.

Оделся, осмотрелся (в две коробки поместится лично свое), вышел, вечер показался безвыходно напряженным, чужим, каким кажется вечер последнего рабочего дня перед Новым годом, – есть силы и дальше зарабатывать, решать вопросы, а люди расходятся и разъезжаются пить, отдыхать, отключают телефоны, засыпают на две недели – трудно смириться, остановка; что произошло, он не пытался понять, убедить себя не пытался, что что-то произошло – не помещалось; завтра на работу, вот и всё... Звонок! – остужал себя: «да это опять Улрике!», но всё же сердце жадно втянуло кровь и сильно выбросило наружу: ну?! Но это Фриц:

– Что значит «увфлили»? Не понял.

– Думаю, как отползти.

– Не о том! Надо думать, как ситуацию развернуть на исходную! – Фрицу хотелось, как и прежде, управлять, значить и мочь, принадлежать таинственным силам. – Ты где? Через сколько сможешь быть на смотровой на Синичьих горах?

Эберггард дальше поехал другим, целее, суше – уже не сочилось глаза.

Во тьме – помигали фары «я! я!» – он забрался в БМВ Фрица – непривычно видеть самого за рулем, вице-президенту ассоциации муниципальных образований не полагался водитель; Фриц, не перебивая, но мелкими подкожными движениями открывая беглость, не силу своего внимания, выслушал до условной фразы:

– Вот и думаю, как бы почище уйти, – означавшей «теперь – ты!».

– Думать надо, как остаться, – построжел Фриц. – Не спеши! Уволишься – на раз. Доработаешь, сколько

скажут, – ничего тебе не сделают. И прессовать не будут. Прокуратуре, УБЭПу надо платить, бесплатно прессуют только за политику. Зачем им тратиться, когда с тобой всё решается разговорами. У тебя позиция слабая. Но даже заяц, загони его в угол, начнет отбиваться, верно? Начнут что-то, скажи: последние трусы не сниму! Всё заработанное оставят. Может, попросят объяснить, как зарабатывать. Хассо не поможет. Он вмерз и дрейфует. Его задача перезимовать. У меня есть некоторые идеи, как всё развернуть. Переговорю кое с кем. И попьем потом с тобой чайку, обсудим, не откажешься? Веселей! – кулаком в плечо!

Эбергард послушно усмехнулся: ладно.

– Пока дорабатывай, радуй Пилюса. А там, – с душой Фриц сказал, – если мэра не утвердят, за неделю посыпятся все. Он в четверг к Путину ходил, в повестку встречи занес «о продлении полномочий». Ему в администрации президента – настоятельно посоветовали – пункт этот вычеркните! А мэр всё-таки – в самой общей форме – затронул, типа обмолвился: может ли быть? Путин вроде бы уклончиво... Но в администрации начались торги: а вы уберите замов, что подзажрались, а у нас есть на замену – молодые, голодные! В четверг все ждут – что-то объявят. А сейчас – каждый день всё может...

– И так – год за годом.

– Слушай, – вот почему Фриц примчался, бросив свое, – можешь мне бумажку размножить? – Картонная папка на заднем сиденье. – Так, чтобы не очень много исполнителей.

– Полноцвет? А тираж?

– Тысяч сорок. Но – за деньги! – Показал, где у него карман.

– Да ладно. Дай посмотрю.

Это был избирательный бюллетень для выборов Президента Российской Федерации.

– У меня там один приятель в префектуре Западно-Севера, надо им там штрихануть по двум районам.

– Так там же степени защиты, бумага специальная, – Эбергард взгляделся в волнистый узорчатый фон, поднял листок к свету. – Любая экспертиза...

– Да они заполнят, пересчитают, в архив сгрузят – в подвал, а ночью трубу прорвет – и всё зальет. Дня за три – успеешь? Сделаешь, привози. И твои дела тогда порешаем. Ну, давай пятак!

Нужно спать, многие люди по ночам куда-то исчезают; зачем-то рявкнул на тетку, перегородившую торговлей подходы к подъезду:

– Разрешение на торговлю есть?! – И отправил руку за префектурным удостоверением; тетка привычно откликнулась:

– Я под ментами, – не повернув к нему головы.

Тридцать восемь, работы нет, но ничего – сердце не колет. Жру. Ничего, освоюсь: надо пустить в себя пожить мысль «уволители», «никто», «упал», подумать эту мысль, и она обживется, сама как-то поладит с соседями, вытопчет себе прямоугольное место в снегу, и станет привычной, как старожилы, примелькается, и обычным окажется ей повиноваться.

Не мог выйти из душа, пусть еще подержит, потеет вода, и, ощупывая, находил в своем теле излишки, незаполненность – жизнь отступает, оставляя пустоты, оболочки, человек путается в стропах; важная улика – найденный парашют, его снесло ветром, зацепился за яблони, надувается, встает и хлопает на ветру утром в саду.

– Ты заказал машину с грузчиками? Так и знала, что забудешь. То есть на выходных мы не переезжа-

ем? А когда? А-а, ты еще не успел подумать. Ты понимаешь мое состояние? Ты можешь – понять! – что я могу родить в любой день – завтра, сейчас?! Я хочу, чтобы наша дочь приехала в новую квартиру! Я всё сделала для этого. Сделала ремонт и – ни разу! – не попросила тебя ни о чем. Вынашивая ребенка. Ты никогда не поймешь, чего мне это стоило! Ты помнишь, что у тебя есть семья? Что смотришь? Про нас – не забыл? У нас родится ребенок, ты понимаешь, что – всё! Твоя жизнь переменится! Как раньше не будет! Скажи: мы вообще тебе нужны? Или тебе лучше одному? – Улрике наплакалась и схватила часы, ей показалось: начались схватки; курсы и форумы будущих мам учили: фиксируйте время, – благодарно сжимала руку Эбергарда: ты здесь? тогда всё хорошо. Спокойной ночью, когда они уже всё проверили друг в друге: всё на месте, дальше идем, Эбергард сказал:

– Нам будет трудно. Какое-то время. Не могу тебе всего сказать. Может быть, мне действительно придется уволиться. Самыми трудными будут следующая неделя, и еще одна. Может быть, и – еще. До суда.

– И до родов, – вставила она свое.

– И до родов. Потом... Вернется Эрна. Родится наша девочка. Понимаешь... – вдруг сам это понял и зачем-то сказал, хотя это вслух не говорят, – любовь приходит сама. Но выживает только если... Что бы ни происходило там, – он показал наружу, – мы должны здесь беречь нас – любовь.

Улрике гладила его руку:

– Мы всё преодолеем, слышишь? Я с тобой.

– Вытерпеть эти недели, – кому он еще мог сказать? – Каким я буду завтра, в это же время? Есть люди, которые думают, что заведуют мной. Их ненавижу, – добавил неслышно: и себя.

Улрике заплакала от благодарности: доверие, он поделился.

– Ты самый лучший. Ты такой хороший папа. Ты сам не понимаешь, как отличаешься от всех вокруг. Хочешь поговорить с нашей малышкой?

Эбергард неловко повозился в постели и подсунул голову поближе к животу, как к доисторическому яйцу, лысому планетарию, и зашептал... Завтра что? Радовался – еще только ночь, еще столько часов – до завтра.

С утра – должен выполнять – Эбергард поехал на Аллею Героев, угол Институтского проспекта и Руднева, к генеральским домам, где в мае жители остановили стройку ООО «Добротолубие». Решения суда еще не было, но выборы провели, чего ждать. Половина инициативной группы после неприятных ночных звонков получила в подарок от застройщиков кофеварки и утюги и обещания рассмотреть в течение трех лет возможность предоставления скидок на парковочные места в гаражном комплексе в шаговой доступности – возведение предусмотрено градпланом, поставленным на утверждение гордумой в третьем квартале. Вторая половина инициативной группы подарков не приняла, их председательницу избили неизвестные у подъезда. Ночью Аллею Героев вырубили, бульдозер своротил самодельный памятник к шестидесятилетию Великой Победы, вдоль Институтского проспекта врыли деревца семидесятисантиметровой высоты (то есть Аллея Героев перенесена и благоустроена), к пяти утра вокруг площадки установили ограждения – вокруг прохаживалась мордатая «строительная милиция», поигрывая хоккейными клюшками; когда приехал Эбергард – в девять, –

уже работали экскаваторы; несколько стариков и старух, не разворачивая старых плакатов, не возникая, только покачивая головами, стояли под присмотром весело курящих участковых и, почти не слушая румяного юриста, объяснявшего судебную перспективу «силовых действий», зачарованно смотрели на полыхание сварки – скрепляли секции ограждения. Начался день, детей развозили по садам и в школы, всё открывалось, начинало работать; по холоду жители простояли до половины одиннадцатого, ожидая последствий своих звонков и телеграмм, потом разошлись, поддерживая за локти председательницу инициативной группы, с головой, задранной ортопедическим ошейником. Эбергард позвонил, и подъехало телевидение – три канала, из автобуса вывели сотрудников муниципалитетов Панки и Жлобеньский Стан: переступая и подпрыгивая на морозце, они представились обманутыми областным правительством дольщиками и от души благодарили мэра за начало стройки «их» дома, – победил закон. В префектуре – никто не звал, не искал – Эбергард зашел к Гуляеву.

– Сегодня написать заявление?

– Ну, это ты, как префект решил, с Пилюсом... Он обозначит временной отрезок... Может, пару недель. Месяц... – Они уже проговорили: месяц, но искренне растерянный вид. – Какую-то преемственность, введение в курс. – Недовольно отвернулся в безрадостное заокно, никто сегодня не спешил, кончились все дела, словно умер кто-то еще, много значимей Эбергарда, или Путин не утвердил новый срок мэра. – Хотел я ему что-то возразить. А возразить, ты понимаешь, мне и нечего. Ты понимаешь, могли мы – могли! – сделать на открытке розовый фон! И «уважаемый» сделать черным! Но – недора-



ботали! Эбергард, – ласково взглянул он, – ты не подумай, что я там... или Пилюс... как-то поспособствовали...

– Алексей Данилович, да какая разница кто... Случилось и случилось. Забыть и жить дальше, – людей «КГБ СССР» всегда успокаивает улыбка, улыбается, значит, предсказуем и управляем.

– Ты знаешь, я очень рад твоему такому... зрелому! по-настоящему – мужскому настроению!

Никто не звонил. Время опустело, словно давая появиться и развернуться чему-то огромному, что не появлялось никак; главной трудностью стало отвечать на случайно встречные «почему?», не получать ответных приветствий, постоянно улыбаться вне кабинета и ежедневно разговаривать с Пилюсом – словно вонь, Эбергард никак не мог привыкнуть; Пилюс замечал в журнале время его прихода и ухода, составлял и заставлял его подписывать акты на «не представленные в срок документы», объявил выговор за отсутствие утвержденного распорядка дня, готовясь в случае надобности увольнять «по статье».

Совсем поздно, когда говорят о главном, освобождаясь от суеты, в телефоне загорелось «Кристианыч», и человеческое тепло неодинокости подступившей водой подняло и сняло Эбергарда со страшного неподвижного места с такой силой, что он не постыдился самому себе признаться: ждал, жаждал именно чего-то такого.

– По видимости, не успели мы с тобой. Нестыковка, – в сипении Кристианыча неслыханно звучали вина и сочувствие. – Хотя, буду честен, картина в полном объеме мне так и не ясна. Допускаю, что некто сыграл «против». Думаю над этим. В любом случае –

с судом решим. Я там... поговорил. Судье нужен подорок. Символически.

– На сколько?

– Ну, я не знаю. Женщина...

– Вы сориентируйте меня, Евгений Кристианович...

– Думаю, часы на руку... Или – серьезный мобильный телефон.

– Понял.

– Не сам. Пошли водителя, запакуй так... неброско. Пусть: от Сидорова, Евгений Кристиановича, документация. И не пропадай. Звони. А я подумаю, что тут можно сделать.

Никто не заходил, Пилус собеседовался с серолицыми людьми с серьезными анкетами, но пока замену Эбергарду не выбрал, боялся попасть на хищника: подрастет и сожрет – вот и всё за день; на стоянке, среди машин, когда в префектуре уже погас второй и третий этаж и половина четвертого, Эбергард заметил растерявшееся человечье вздрагивание во мраке: спрятаться? узнать? «Поздно, уже заметил» – и Степанов-зомби шагнул к нему, так длинно протянув к нему руку, словно проиграл ее и вот принес, забирайте; вот он знал, соболезнующе взмыкивал и глотал, гонимые наружу советским воспитанием и бабушкиным христианством предложения помощи, нельзя, а вдруг примут всерьез:

– Слышал, у вас как-то кадровое перепозиционирование?..

– Рабочий момент, – и хватит обо мне. – Что у вас? Подписал префект?

– Да, всё в порядке. Спасибо огромное. Забрал наш экземпляр, а оказалось – без номера. Забыли зарегистрировать, а девочка, что регистрирует...

- Это пожилая тетя, сто двадцать килограммов.
- Да? Она уже ушла, завтра надо будет подъехать.
- Мне бы позвонили. Я бы решил.

Движением головы, изгибом шеи зомби показал внутрикипящее «опаздываю страшно», глубокое уважение, выдавившее из рабочего графика вот эти самые бессмысленные минуты для поддержания человеческих отношений, имеет ограниченный ресурс; отношения мертвы, если не включают «дело» или не смогут когда-то включить: Эбергард в его глазах навсегда погас.

Не делал ничего и ни на что не оставалось сил – на любовь, на обеспечение, предоставление, ограждение и поддержание Улрике; нелепо: ждали дочь, вот-вот, и ссорились каждый день – с первых слов имея в виду – расставание навечно; спасали только три «темы» – они вбегали в них обсохнуть и согреться, как только подступал крик: раз – как Эбергард страдает без Эрны; два – что каждый из них смертен; и три – скоро родится малыш; всё остальное мучительно воспаляло, и Эбергард (уже ходивший этой дорогой, узнавая вон те березы, согнутые дугой) понимал, почему так: всё легко складывалось, годилось, пока они с Улрике шли навстречу, переступая и добиваясь, а встретившись, они пошли вместе, теперь в одну сторону, уже другими шагами и другой силой, только сейчас становясь теми, настоящими... Кем-то (в очередной раз) становился Эбергард, и Улрике становилась другой (ему казалось, безвольной и самодовольной: она, видите ли, отремонтировала квартиру – за чей счет?!); и он (также из пройденного) знал, насколько далека эта ругань от настоящего расставания и как расставание она приближает; когда всё успокаив-

валось, ночью он понимал: терпеть, не верить ночи, у ночи много союзников, кладбище – первый; всё решать по утрам, женщины одинаковые, Улрике лучше многих, сам выбрал ее и позвал. Родится девочка, он развяжется, оглядится, устроится, выстроит в системе схему, и они с Улрике...

После злых слов, оказавшись у Улрике за спиной, Эбергард объявил:

– Придется поработать ночью. Не дома. Срочный заказ.

Улрике качнула головой: ей всё ясно, не обернулась, промолчала, но после хорошим, прежним голосом их начальных времен спросила:

– Сделать тебе бутерброды? Чай в термосе? Может, тебе лечь сейчас поспать?

Эбергард погладил ее плечи: спасибо, понимание. Улрике жалобно попросила:

– Можно, я попрошу маму приехать ночевать? Мне будет страшно одной. А если у меня... начнется?

– Брошу всё и приеду. Типография на генерала Ватутина, за «Перекрестком».

– Ты же не будешь отключать телефон?

Писчую бумагу (российскую, не лучшего качества, но плотностью больше всего напоминавшую бюллетень) – восемьдесят две пачки по пятьсот листов с нанесенным в офсетной типографии розоватым фоном, покрытым волнистыми узорами, обещали привезти к восьми утра, но как всегда – сперва «пусть подсохнет», потом «у нас некому грузить», потом «через полчаса отправим», потом «выехали», потом «сломалась машина», потом «у водителя разрядился телефон, он где-то на соседней улице», а потом «печатать еще и не начинали»; привезли к одиннадцати вечера.

Верстальщик, изнеможенный и рыжевато-патлатый, походил на дьячка из тех, кто на День города выгуливают по шесть детей, заправив полосатую рубашу под брючный ремень; он очень неуверенно, хотя и одержимо быстро, исполнял движения, положенные конторскому работнику: наливал чай, неся по мягкому полу, и со стороны казалось, что он управляется дистанционно подростком, еще не вполне освоившим плавный ход и обхождение углов, – затихал верстальщик, лишь присев за монитор.

– Все ушли? Уборщица ушла? – спросил Эбергард.

– Что? Да. Ушла. Все ушли. Вот только что. Догнать? – верстальщик вскочил, словно кто-то крикнул «Тревога!», долбанувшись коленом о столешницу.

– Я закрою дверь. А вы – вот что мы делаем, – Эбергард говорил отчетливо, но усыпляюще ласково. – Вот, – он показал образец – избирательный бюллетень, – верстаем такую же таблицу и подбираем шрифт – один в один. Распечатываем. И множим на ризографе. На той бумаге с фоном, что привезли. Краски хватит на сорок тысяч?

– Ну, хватит... Может, на цифре?

– На цифре я пробовал, слишком ярко, краска блестит. Я буду класть чистую бумагу, а вы – забирать готовое и по две тысячи складывать в вон те коробки и заклеивать скотчем. Вот это делаем. Больше ничего не делаем. Никому не открываем.

– Ну, ну это... Не один час, – верстальщик сунул пальцы в подбородочную поросьль.

– Поэтому я и просил выспаться. Надо успеть до начала рабочего дня.

Молча, замечая друг друга, если только ризограф зажевывал лист, – Эбергард давно так не работал, руками; ему казалось (как в детстве выдумываешь азарт-

ную идею для скучного труда), что они с верстальщиком спешат кого-то спасти: моряков «Курска», замурованных взрывом горняков; он представлял себе довольное лицо Фрица и предчувствовал ощущение собственной ценности: смог! сделал! – его будут ждать, и в мгновение, когда принесет заказ, Эбергард станет главным и благодарность положит на депозит или в оборот тут же пустит; когда устал, заболела спина, он думал то же самое, но тише; позже стерлось всё, замедлилось, словно и ризограф устал, и бумага; пачки не кончались, считал и считал, еще много, и последней – уже не обрадовался, не почувствовал свободы; вышел на холод глянуть, не подъехал ли Павел Валентинович раньше назначенного, и посчитал, как любил, словно свое, строительные краны от левого края до правого – четырнадцать; на кран полз человек, останавливаясь ради отдыха и поглядывая вниз через каждые два пролета лесенки. Эбергард подумал: нельзя сделать лифт? Есть ли у крановщика туалет? Или сидит с банкой между ног, а потом опорожняет ее, устраивая дождик, или осторожно несет на землю под смешки товарищей? Искрила сварочная пурга – сварщик присел, как в мольбе, в железных костях будущего этажа; и вдруг Эбергард остро – не понял, а почувствовал: к строительным кранам он больше не имеет отношения, это уже не его, всего лишь стоит и загораживает, и ему стало неприятно смотреть, он сгорбился, замерз и сник, словно все невидимые хозяева заметили его, смотрели на него и – смеялись.

В четверг про мэра не объявили, теперь говорили: «в четверг порешали, объявят в понедельник»; Эбергард высиживал предусмотренное расписанием, за-

рабатывал «по собственному желанию», проверял обновления в «Фото» на сайте гимназии Эрны: нет, одни старшекласники; заметил, что его неизлечимые фильмы серии «Встречи с Эрной» вдруг оставили его, как только его будущее обрезали, а мечтать «просто», без бюджета Эбергард не мог – стыдился; являлось только невнятное: стоят рядом – Эрна что-то говорит? – похоже, ничего, просто стоит, а потом крепко обхватывает его; он изредка звонил матери и первым сворачивал разговор, шутил и обсуждал только правильность питания и стоимость лекарств, не давал сказать, чтобы не узнать о жизни матери того, что всегда подозревал, пусть будет только то, что запланировал, если ничего не планировал – пусть вообще ничего. Эрна должна оставаться его продолжением, но странно: сам Эбергард не ощущал себя продолжением родителей, что-то в памяти остается, конечно, но непонятно как отобранное, и иногда он чувствовал какое-то скупливое отчуждение к тому, что запомнит о нем Эрна, – раз это само по себе, без его утверждения и выбора, то пусть идет, как идет, ладно... Не готовил резюме, «серьезные» резюме не рассылают, серьезным звонят, в худшем случае им самим приходится звонить, вот и он – составлял список «кому» и оттачивал веселое и свысока объяснение «почему»; животное не имеет особого выбора – как получится, и человек не имеет, все живут, как живется, подхватило и несет, хватаешь то, до чего рука дотянется; и тебя хватают, если дотягиваются. А есть работа, что всегда доступна, он несерьезно прикидывал список: предпоследняя – «Макдоналдс», последняя – откачка септиков, иногда менял местами; все человеческие лица казались ему уже виденными. Молодая бессмысленность. Либо старческая несправедливость. Позво-

нил зомби, «не думал, что когда-нибудь еще...» столкнулось с «вдруг у него есть для меня должность?»:

– Зарегистрировали контракт?

– Так точно. Позавчера. Хотел посоветоваться по процедуре. Контракт сейчас у, – он прочитал с какого-то носителя информации, – Пилюса Сергея Васильевича, начальника организационного управления.

– А почему?

– В общем отделе – я звонил – сказали: такой порядок выдачи документов: после регистрации Пилюс визирует и сдает в «одно окно». Звоню весь день – нет на месте. Удобно ему позвонить на мобильный? – то есть «дай мобильный Пилюса». Я при чем?

– Всё узнаю и перезвоню, – Пилюс, мразь, всё-таки решил отгрызть свои полтора процента? Кристианых отключил телефон, к Хассо нельзя. Набрать Пилюса по местному? Лучше зайти. Постучался, у Пилюса сидел залезанный и серый куратор из мэрии и два плешивых господина, все (и Пилюс) листали какие-то папки. – Позже, Сергей Васильевич?

Пилюс взглянул из-под бровей и, не ответив, продолжал листать, Эбергард ткнулся к девочкам в оргуправление, все обедали, кроме Наташки Белобородовой – та звонила матери в Кострому по межгороду:

– С утра сидит с комиссией из мэрии. Тихий и злой.

– Наташ, зайти к нему, попроси контракт с ООО «Тепло и заботу каждому», префектом подписан, зарегистрирован, исполнители на проходной, аукцион был хрен знает когда...

Белобородова вздыхала, не хотелось вставать, но Эбергарда все жалели – вот кто был человеком! – подкрасилась и пошла, тут же вернулась:

– Заперлись!



– Позвонишь, когда освободится? – Не пошел обедать, чтоб не бежать с набитым ртом, выдумал себе занятие, но Белобородова не позвонила до восемнадцати и сама не взяла трубку – бегом домой! Эбергард позвонил Пилюсу – на городском запищал факс, местный гудел – занято! занято! занято! Звонок на мобильный Пилюс сбросил. Ждать. Пришла вкрадчивая эсэмэска от зомби: «Уважаемый Эбергард, удобно ли будет, если я вам сейчас позвоню?» Эбергард поморщился: не отстанет. И не пошлешь. Поднялся в юридическое управление, на второй этаж, откуда – через двор – обозревались окна Пилюса: свет горит, шевелятся тени, мужские, – не уборщица. А Пилюса надо перехватить, пока не запер сейф, чтобы не капризничал. Отправил сообщение ему: «Прошу позвонить, как освободитесь» и погулял кругами по этажу; без изменений: свет, люди, а вот кто-то встал – прощаются? Проверяющие не будут сидеть до ночи, повезет в ресторан? Эбергард вернулся в пресс-центр, в Интернете – окончательные результаты выборов президента России и депутатов городской думы (учитывая пачки в багажнике у Павла Валентиновича), прочел, удалил письма от Вероники-Ларисы – за день три: работа, погода, он, он, он – написанное на мольбе «Когда же еще ты приедешь?»; насыпал кофе, залил кипятком, нет сахара, перерыл ящики – нет; или Жанна прячет сахар, или нет; встал посреди кабинета: нет сахара, кончен день – что он делает здесь? когда Улрике, единственный человек на свете, который его любит, ждет дома одна, в самые трудные дни? почему – до сих пор! – кому-то он должен?! Обязанности закончились в восемнадцать ноль-ноль, кого вот сейчас вот он должен бояться, кто ему может сделать ху-

же, да пусть дальше они без него – сами дозваниваются друг другу! находят контракты! дежурят возле дверей! ищут номера мобильных! притираются, отжимают, осваивают, решают; они все не помнят Эбергарда, почему же он, как привязанный, кружит у сожженной будки, не может улететь с гаражной крыши по соседству с травой, на которой еще утром стояла голубятня?! Быстро – оделся, шарф, компьютеры, свет, чтобы ничто не зацепило, и, как на свидание (давно так не...) – бегом; может, и к лучшему, что уволили, уйдет, здесь кончится, а где-то там – будет другое, уже стало... Мимо зеркал, буфета, гардероба, кивнув дежурным милиционерам: наработался, пока! От лифтов тяжело спустился Пилюс, как ради закаливания – поохивая – в прорубь, пыхтя. Эбергард кивнул и ему: всего доброго, заныла спина в ожидании окрика: что звонил? что хотел? Так нужно, так вовремя на улице валил снег, всегда обещающий много, он – молод! – Эбергард спешил, прокатываясь по двору, соединяя следы предшественников, спрямляя тропу, оглянулся на выбиравшегося из дверей Пилюса – и тот стал другим в опустившемся снежном небе, сожрал Эбергарда и успокоился. Крикнуть: «Сергей Васильевич, насчет контракта звонил!»? Чтобы долги оставить здесь, освободиться начисто. Пилюс побрел мимо – пьян? – не повернув головы, привычно обогнув Эбергарда, как дерево, что каждый вечер приходит вот сюда постоять, медленно и неостановимо ступал дальше, теперь неудобно обогнать! Эбергард потоптался, чтобы не дышать в загрибок, и двинулся следом. Пилюс шел трезво, но иногда что-то музыкально бурчал – кроме мата, в бурчании звучали торжество и досада; вдруг Пилюс на ходу даже расхохотался от души и покачал

головой: надо же! Куда он? – не к машине, мимо дорожки меж лип, ведущей к метро, – начальник организационного управления как по рельсе прокатился до набросанных и обтесанных коммунальщиками сугробов, ограничивавших стоянку транспортных средств сотрудников префектуры, повернул на девяносто градусов влево и продолжил движение в непонятное «куда-то», в сторону чернеющего кинотеатра «Комсомолец», удаляясь с каждым шагом от фонарей, дорог и метрополитеновского обнадеживающего завывания. Эбергард показал высунувшемуся – я здесь! – из машины Павлу Валентиновичу: «вижу» – и безруко, грея ладони в карманах пальто, догнал Пилюса, пошел рядом, сравнив скорость и согласовав походку, раз ощутимо подпихнув плечом в плечо: ну? что за дела? Пилюс покосился: кто? – и непонятно: узнал? видит? – не останавливаясь, брел в непонятное «туда же», хотя уже заметно подмерзал; не пьян; Пилюс словно выскочил из чего-то горевшего, его выбросило взрывом, обуглив ресницы и разорвав барабанные перепонки; непонятное «это», в чем Пилюс только что побывал, внутри него еще продолжалось, он шел дорожкой, что выводит из огня, уже понимая, что слух не вернется, про зрение что-то скажут врачи, но по ощущению – кранты! – всё потом, сейчас не отвлекаться, чтобы не ступить мимо видимых только ему поперечных жердочек.

– Сергей Васильевич! – Это я, я! – Я чего беспокоил...

– Эбергард, – Пилюс с удовольствием узнал его, словно часто они так гуляли; в углу стоянки повернули и прогуливались теперь вдоль елок, карауливших кинотеатр, умерший от бюджетного финансирования. – Во как получилось... Во мы с тобой отскочили...

Вот тут во, – он показал быстро чиркнувшее движение, легко коснувшееся виска, – прошло... – и перекрестился, – Бог поберег, – и облегченно еще рассмеялся, поозиравшись: никого? никто не видит, что он веселый, хотя плакал только что и молил? – Во попали, да? Не угадаешь – где... – Шел и шел, словно свежееграбленный, но утешенный сохраненным здоровьем. – Я уже утром думал – конец! Тебе, мне... Ноги дрожали. И сердечко прихватило. Как сошлось, а? Кристианыч, вот умная тварь, в предынфарктном в реанимацию залег, у тебя заявление на выход подписано, Хассо вообще: первый раз слышу, какое я отношение к социалке имею?! А я – вот он, поднимитесь, пожалуйста, к префекту, Сергей Васильевич. Не хреново, да? – толкнул Эбергарда локтем. – Префект ка-ак меня... – и запер рот, не полагалось об этом, только затряс головой и шел, ступал, охлаждая себя. – Понимаешь, поверить не могу. Еще бы вот столько, – толщина ногтя, – и – все бы улетели. Рад, небось? Ты понимаешь, что сегодня у нас второй день рождения?! – Молчание Эбергарда его обижало. – Я же вас всех вытащил! По гроб должны кормить, поить, благодарить. Вылизывать, гладить! А то – стыдно сказать, на чем езжу!

– Что-то с выборами?

– С аукционом твоим! – Пилюса не удивляло неведение Эбергарда, не радовала возможность «поделиться», рассказать, подняться над головами и в себе показать спасителя, не до этого, еще в чаду, одно лишь колотится: жив, спасен. – Те чудачки с конвертом, что мы сняли с аукциона, «Добрые сердца – XXI век»... Они, ООО, оказывается – от Лиды! Обещали нам показать свой ресурс. И показали! – Остановился, зажмурился, заныл, сквозь зубное стискива-

ние: больно, больно, больно. – Префекту с утра навтыкали: аукцион признать недействительным. По обстоятельствам проведения возбудить уголовное дело. Победителей – порвать прокуратурой и УБЭПом... И это всё – за пять копеек! Они шли от Лиды, ты понимаешь?!!!

– А что же они не обозначились?!

– Им это надо?! Им же ничего не надо, им даже документы аукционные правильно оформлять не надо! Представляться не надо! Предупреждать не надо! Это же не мы! У них и так будет всё!!! – Пилюс открычался, стер с лица какие-то последствия снегопада. – Наверное, кто-то... кому-то... просто... забыл позвонить.

– Зачем Лиде эти копейки... Помойка какая-то. Горячее питание в учреждениях культуры... – Говорил и понимал: не об этом нужно.

– Чуют последние деньки. Всё до крошки выбирают. А может, не себе, – Пилюс опять двинулся, но уже зряче, опомнившись – пора к машине. – Какой-нибудь племяннице троюродного брата хорошего товарища по бизнесу помогает встать на ноги в этом суровом мире. Я, теперь понимаешь, еле-еле, вот так им и вот так, – показал: крот складывает дрожащие от усилия лапки, протискиваясь вслепую от ужаса меж камней. – Зачем уголовные дела? Зачем грязь, мы же семья, контракта не отдали еще, значит, и не подписан, значит, вообще его нет... Аукцион отменяем в связи с ошибками, выявленными при проверке документов победителя... Наверное, целиком моя вина, виноват. Выговор и неполное соответствие – ладно. Кристианыча... Префект сказал: выходит с больничного – заявление на стол. Должен Лиде кровь показать, что ситуацией владеет. Ты завтра потихому

подписывай обходной и – вали. Победителям своим скажи: пусть переименуются и годик не приходят на городские аукционы, если не хотят отдать всё и остаться должны... И молятся пусть за Пилюса! Всех я спас! Всё, всё. Отскочили и – разбегаемся. Ты-то хоть подкормился... Ну почему я всё время за тобой разгребаю?! – Всё, Пилюс вернулся, вошел в личные берега, и ненависть, и бешенство затопили ему горло. – Да сдохните!!! – Уехал.

Эбергард, чтобы делать что-то, мокрой кленовой нашлепкой пристать к чему-то, уверенно движущемуся по жизни, достал телефон: три сообщения от зомби – стирал, не читая, два звонка от «Быдла-2» – Роман и четыре – с неопределившегося – в машину, как в колокол, под юбку, тебя никто и ты никого, не думая – есть еще время не думать, а просто... Если не утвердят мэра... Это не его мысль. Чья-то. Просто проплыла рядом, и он увидел. Собраться, скрепить себя, чтобы дома «сделать вид», например, «болит голова», «совсем не хочется есть, прости, что не предупредил», «нужно срочно сделать расчеты», «как чувствуешь себя?». Дома на листе бумаги, готовом многое вместить, он только и вывел «ООО», к нему стрелка, «возврат денег» испугался написать, плюс два миллиона своих, и обвел, от кого-то прячась, кто находится прямо над ним. Кристианыч... Дело не возбуждают, завтра телефон может включить, должен понимать: Эбергард постучится, надо решать... Хассо. Должен и Хассо. Он понимал: эти смелые, решительные мысли на бетонном основании завтра не найдешь, жальче теней... Но: если это не сама Лида, а кто-то «я от Лиды» и весь их ресурс ушел на допуск к аукциону, то зомби со своим ублюдком с трясущимися лапами могут привести на объявленный заново

аукцион другое свое юрлицо и дать более низкую цену (Эбергард подскажет – какую), зацепиться, получить контракт, а потом уже решать по откату: назад не назад и сколько; или кинуть им через полгода по допсоглашению «в связи с возникшими обстоятельствами» миллионов пять, что потеряют они на снижении цены, или по-тихому изменить характеристики контракта в сторону уменьшения количества учреждений и этих самых горячих порций... Или – когда утихнет – кинуть этому ООО какой-то заказик на сопоставимую сумму... Но это не сделаешь без монстра, ничего без монстра, а станет он разбирать, Лида это или «от Лиды»? Свое сглотнул и не считает, что должен. Да и дошли ли деньги, или Хассо с Кристианычем притормозили и попилили сами, как только прояснилось: Эбергард – не жилец. Он не останется крайним, понимают пусть все, если загнать зайца в угол... Зарабатывал не он, что взял – отдаст... Последнее (и лучшее): если появляется кто-то сильный очень, прикрывает Эбергарда («к тебе вопросов быть не может, тебя здесь нет»), вытаскивает зомби и накатывает: какие вопросы? вы отдали, ваш порешали вопрос (результаты аукциона видели на сайте?), но наступило страшное непредвиденное, ударивший по всем «форс-мажор», разбегаемся, и вы – бегите, если не хотите всё отдать и остаться должны, и пусть бы они побежали; да, теряют почти лимон зеленью, но это бизнес, рискуют все, – Эбергард им так не скажет, за ним никого... Завтра, нельзя откладывать, все, все должны понимать: на себя не возьмет, решаем вместе...

– Не закончил? Что-то тоже не могу уснуть. Можно, я тут... – Улрике повозилась и устроилась на кухонном диване, но сразу испуганно приподняла голову: –

Почему так страшно смотришь на меня? Смотришь так, будто больше не любишь...

– Нет. Нет, нет.

– Слышал, Ельцин умер? Наверное... не успеем мы переехать до родов, – в ее слабом утверждении угасал вопрос. – Не до этого сейчас тебе, да и мне было бы трудно...

– Давай, чтобы сейчас не гнать, ты поедешь рожать, а я – всё по-быстрому...

– Может, и к лучшему. Лишь бы она, – имя так и не выбрали, каждый думал про свое, – приехала уже в свой дом, к себе. Запомнил, куда поставить кроватку?

Вас ожидают, уже давно; Кристианыч не включался (Эбергард начал звонить с восьми), Эбергарда клевал – как он и ждал! так! так!!! – неизвестный номер, заканчивающийся на 047; с утра сжался: только это, не уступать, сегодня и кончить, и проверял себя: крепок? не уступать! Кристианыча – нет, значит следующий – Хассо!! – не собьют...

Остановите тут – из машины он вылез до светофора, отправив Павла Валентиновича на стоянку пустым, сам вошел в префектурный двор со стороны Тимирязевского с простыми, теми, кто добирается на метро, но не озирался, не исполнял «очень спешу», держа наготове подносик незримый с одноразовыми тарелками «что я скажу, если окликнут, встретят, остановят», – пройдя вахту, за милицейские обыкновенные спины, облегчение почувял и радость, словно что-то выиграл уже такое, что дает право отдохнуть, побежал сбросить пальто и – к Хассо! – выигрывать еще, выигрывать дальше! – одним взглядом зачерпнув «Жанна напугана», ее:



– Вас ожидают. Уже давно. – Порыв убежать, успеть до «этого» к Хассо, снять вопрос, остервенение: «Почему пускаете в мой кабинет?!» Слова-словечки, заготовленные для «внезапно на улице», на улице и остались; дал заметить Жанне свое обмирание и – надо! – вошел, путь в следующие комнаты лежал через эту. Человек в форме, серьезный человек в синей форме, незнакомый, сидел за столиком для посетителей, переплетя пальцы, не читая, именно – ждал.

– Утро доброе, – первым, задавая тон и скорость, привык, видно, что приползают к нему и молят. – Вы – Эбергард?

– В чем дело? – Эбергард не отвечал, не садился, цепляясь за позицию «свысока», устанавливал портфель, устраивал пальто в шкафу поудобней.

– Согласно представленным документам вы – ответственный за противопожарное состояние помещения?

Эбергард приблизился: пожарные кровососущие поменяли форму, летом походили на средний командный состав тайландской хунты, а зимой на польских пограничников, входящих в вагон «Москва – Амстердам», оставшись один (гость оказался всего лишь известным биологии насекомым, потребляющим и испражняющимся непрерывно), Эбергард всмотрелся в новый окрас: темно-синее что-то типа свитера с налокотниками, герб какой-то на кармане, на кресле грелась толстая куртка с меховым воротником и латинобуквенной табличкой – что там гнусь пишет о себе на латыни?

– Я.

– В ходе плановой проверки мною выявлены нарушения правил пожарной безопасности в занимаемом вами помещении. Будет составлен акт, вы его подпи-

жете. Акт я передам вашему руководству. Может стать основанием для депремирования, – в период сразу после вылупления из личинки голос насекомого звучит действительно угрожающе, с годами интонации беднеют, падает громкость, и теперь по выразительности его песня мало отличается от сухого шороха секундных стрелок.

– Что-то серьезное? Чайник? – Эбергард нашел в телефоне «Дядя Юра Еременко», нажал «Вызвать». – Нет громоотвода?

– При сильном задымлении может сыграть роковое значение. Должна быть табличка с указанием «Выход» на двери.

– Да? Так у нас вроде есть, – дядя Юра не отвечал, может, совещание, селектор, встреча, просто, но теперь всё казалось – не просто, ничего, больше Эбергард его не увидит никогда в жизни (а тут же горячо замечталось понадобится дяде Юре: позвонит, умолять будет о встрече... И уж Эбергард тогда...).

– Есть. Но буквы плоские. А должны быть – объемными, – насекомое, страшась, будто раздевая пьяную спящую незнакомку в железнодорожном купе, плавно потянуло застежку, распуская молнию на папке.

– Давайте как-то решим.

– Три тысячи, – молния также бесшумно сошла, – и прощаемся с вами до следующего года.

Выложил трилистником деньги на столешницу, чтобы случайно не коснуться щупалец, и без чаепитий, прощаний и проводов спешил уже по четвертому этажу – торопился на выход провожающим по объявленному к отправлению вагону – а то так и уеду: не смотри, не смотри из окон на стоянку, не ищи знакомых лиц, в местах, куда он дорос, не встречалось простых решений: одной таблеткой, нажатием кнопки,

но искал он сейчас – решения такого, его же уволили, должны хоть за это – освободить!

– На месте?

Зинаида будто ждала именно сегодня, именно его – всему, чему научилась: уперлась застекленными глазами, обрезала ножницами цепляющиеся щупальца, строжила брови:

– Сегодня у господина Хассо нет приема. Господин Хассо уезжает в мэрию, уже вызвал машину. Он не один, – и глядела с ужасом, как Эбергард без наглости («вот тут, самый краешек») присаживается на диван и – не с первого раза (вот только где ошибся – показал, что гуляет под кожей и жжет!!!) ловит пальцами верхний из журналов для приличных посетителей.

Зинаида вскочила (раньше – не могла!) и в два шага – рядом, махнула очками над его макушкой:

– Здесь приемная первого заместителя префекта! Здесь нельзя ожидать, если вы не записаны. В любую секунду может зайти префект! Я же не знаю, – и она, себе удивляясь, закончила почему-то шепотом, – кто вы.

– Виноват, – Эбергард вернул журнал в стопку и подровнял: так лежало? – Я тогда в коридорчике, – выскочил: вызовет милицию? Предупредит Хассо? Стоять нельзя – ходил; опять этот, что на 047, три звонка в час. Хассо (и сегодня показалось – еще подросток) выступил, солидно серебрясь сединой, в коридор бок о бок со Стасиком Запорожным из «Стройметресурса», продолжая обсуждать веселое, но «по работе» (успела Зинаида обрисовать? не успела, по морде Хассо ни за что не поймешь – высшая школа!); не прерывая разговор, выставил в сторону Эбергарда руку: пожми и свободен; но и Эбергард тоже умел, руку схватил, подтянул к себе Хассо:

– Нужно срочно переговорить.

– Слушай, давайте не сейчас, – Хассо вдруг сказал «вы». – Что это за набрасывание, так вашу мать?! Позвоните в приемную в понедельник, как-то обозначьтесь, – потянул руку к себе, но Эбергард держал-держал – не будет же драться:

– У меня горит. Ты вернешься сегодня? Хочешь, я к дому приеду? Позвоню в домофон? – бил и бил, но руку отпустил: всё сказал, иди.

Хассо, гневно засопев, отвернулся, догнал изумленного Стасика: что это здесь за недоразвитость? – что-то кратко пояснил, Стасик презрительно оглянулся: тогда понятно, и они дальше пошли уже без смешков. Эбергард вслед помахал:

– Спасибо! Вечером зайду. Не спеши! Я подожду, если что.

Ничего не оставалось из того, что можно было бы еще... Кристианыч не включил телефон, Эбергард покопался в справочнике в приемной Шведова и выписал домашний номер Кристианыча и дачный – оба не ответили; Пилюс подписал ему обходной, кажется, раскаиваясь за вчерашнюю распахнутость души.

– Я могу еще походить, пока кабинет не занят?

– Зачем?

– Факсом пользоваться, Интернетом... Надо как-то трудоустроиваться. Бумаги почистить.

– Времени у тебя было хрен знает сколько. До конца недели. По разовым пропускам. Если префект увидит: я не знаю, что ты делаешь в префектуре.

– А эти... Насчет контракта. Звонят?

– Я их послал, – равнодушно ответил Пилюс. – Они там что-то попытались, но ты сам знаешь – со мной вот так, – он растопырил пальцы, – бесполезно.

Велел им пропуска не заказывать, чтоб не плакали по коридорам.

Эбергард проверял входящие – два с неопределившегося и бесконечно 047 в конце, в шесть заселился в приемную Хассо, на диван, смотрел на свое отражение в зеркальных дверцах книжного шкафа, – Зинаида помещала в шкаф фарфоровую мелочь и сувенирно-полиграфическую толщ с гербами и куполами, нанесенную в подарок дебилами, не имевшими денег; Зинаида его не видела, смотрела на часы, поправляя шаль, и раз здорово всхрипнула. Хассо до половины седьмого держал у себя управление ЖКХ и юриста из тендерного комитета, потом долго говорил по телефону с гендиректором ООО «Коммунальные традиции – гордость России» по реконструкции и благоустройству Пятикуровского кладбища, за это время в кабинет дважды зашел водитель и вынес наспех заклеенные коробки, затем Хассо в одиночестве выпил чаю, в кабинете громко включился, но сразу же убавил звук телевизор; Эбергард поднял телефон – Хассо ему звонил:

– Ну, ты где? Заходи.

Следом – Зинаида:

– Хотела сегодня пораньше, помните, я... Вам больше ничего не надо? Тогда я рыбок покормлю и – пойду?

– Я и не знал, что у тебя аквариум, – Эбергард оглянулся – а что, любопытно! – он же спокоен: ожидал нежного стряхивания с наманикюренных пальцев, но Зинаида занесла промасленный кулек, доставала из него развесистые клубки кровянистых тонких червей – свивали колечки и распускали – и бросала в воду: медленно, плавуче черви опускались на дно, растянувшись гирляндами, но ни один не упал на песок –

круглые рыбы рты перехватывали червей клюющими движениями и на мгновение отворачивались, давая другим место, как будто рыб стало больше!

– Во, даже сомик выполз, – довольно отметил Хассо и показал на угрожающе пятнистое шевеление на дне. – До свиданья, Зинаида Ивановна!

– Там у нас с аукционом...

– А-а... И ты – из-за этого? – Хассо словно затошнило: и здесь у тебя... – Я так, стороной, в детали не вдавался. Слышал только, префект плющил на планерке Пилюса. А ты – каким боком?

– Кристианыч попросил, чтобы победитель посотвечивал до – получения контракта. В день рождения.

– Фу-у... Ну Кристианыч, ну подлец, – Хассо даже отвернулся, таким пахнуло ему в лицо. – Зачем ты вообще всё это с ним замутил?

– Я же...

– Ой, не надо, не хочу я во всё это... погружаться. Мне он сказал: Эбергарду надо с судом помочь, я – пожалуйста. Сказал: надо, – он показал (словно поднял осторожно горячий каравай, лукошко с яичками, живого котеночка и – отдал), – я внес. А за что... как... Закроем эту тему.

– Но они, я думаю...

– Эбергард, услышал меня? – потяжелее спросил Хассо, и Эбергард понял: разговор их может закончиться прямо сейчас, дотерпеть. – Хватит об этом. Не знаю, как видишь ты, это твоя война, ты зачем-то влез... Для меня, постороннего, ситуация однозначная: результаты аукциона отменены потому, что у единственного участника заявка оформлена с нарушениями. Они о чем думали, когда шли на аукцион? Сэкономили, ба-лин, на юристе? Префекта подставили? Они не

согласны? – Хассо, вдруг смягчившись, рассудительно, как на приеме населения, указал: – Есть суд. Есть контролирующие органы правительства города. Можно оспорить, доказать. Получить контракт. При чем здесь ты? Они пришли на аукцион, им помогли, но они – по дурости своей, русскому нашему раздолбайству... Извините!

– Но ты же понимаешь, что всё дело в другом. Там же... от Лиды.

– Слушай, зачем мне во всё это лезть?

– Но мы с ними договаривались, что...

– С кем? – даже улыбнулся Хассо. – Зачем мне: с кем, о чем, про что ты договаривался. А если так, продолжая советы постороннего, скажу: этим твоим друзьям...

– Я их не знаю.

– Как так? Не смейся. Ты – матерый, профи, ты не мог привести на аукцион не родных... Если они глубоко порядочные мужики, честные, хозяева слову, благодарить тебя должны, что – отскочили, что кончилось так. Префект фактически спас, могло бы... – Хассо сделал из пальцев решетку. – И это стоит гораздо больше чем... – Хассо опять показал горячий каравай, – гораздо! Должны понимать: главное сейчас – отношения, встроенность. Всего дороже! Вот вы нашли друг друга, идете по жизни вместе, – но не со мной, – и дальше пойдете, и ты им еще поможешь. Всё уляжется, закроем квартал, заедешь, попьешь чайку – с Гуляевым, даже со мной... Или с Фрицем, с кем-то из глав управ – и что-то решите... Найдешь им заказ. Если документы, конечно, научатся оформлять.

– Мне кажется, они меня не поймут.

– Слушай, мой вопрос? Не поймут, да пусть и идут в жопу! Чего тут можно не понять, если они еще хо-

тят работать в городе и куда-то заходить?! Посылай и не заикливайся так на этом. Нельзя, понимаешь, всё время находиться в одной точке, – побуравил пальцем столешницу, – как ты любишь – суд, суд, суд... Что, жизнь остановилась? Кругом возможности, новые темы – двигайся. Тем более у тебя новый поворот, перспективы, возможность как-то оглядеться... – Всё, зажглась лампочка следующего цвета, Хассо забыл, о чем они только что говорили, ничего не расслабилось в нем, ничего дополнительного он, выходит, не включал, разговор не был «особым», «значимым», «затрагивающим лично», говорил не то, что «должно», а как на самом деле недвижно «есть»; пока говорил Хассо, Эбергарду казалось: всё именно так, его подпитывала чужая сила, алкогольный градус, показалось: с этой силой он и уйдет, как с купленной птицей; но он уже участвовал в таких разговорах и знал: сила эта не проживет дальше порога, ее хватает (она для того и существует), чтобы выдавить человека за порог. – Ты же понимаешь, – разговоры Хассо последних дней, похоже, сводились в одно, – чуть раньше или чуть позже, но всё равно: я стану префектом, – без продолжений «и тогда мы с тобой».

– Что слышно про мэра?

– Торгуются. В администрации президента. Требуют убрать семидесятилетних: всех, кто обслуживает Лиду. Он пытается отстоять. – Хассо гордился своим равнодушием: старшие чудят, а до того ли ему? То близкое, чем он поделился с Эбергардом, про лично себя – гораздо важнее. – Раздевайся и – проходи! – крикнул Хассо за спину Эбергарда (там разведочно приоткрылась дверь), улыбнувшись особенной улыбкой тридцатилетней давности, когда



сидишь посреди зала (большая комната в квартире называлась в древности «зал», если была еще одна комната, называлась «спальня») один на стуле, а вся семья и приглашенные, шепчась и шурша, распределяют подарки на кухне: кто понесет что, а кто с тортом. – И ты это... – Хассо посуровел, нет, ему мало, что Эбергард заранее затряс головой «да, понял, понял», – веди себя как-то... Я первый зам. Есть тема: позвони Зинаиде, согласуй время, встретимся – обсудим. Понимание должно быть. А то – останешься один. Давай, – отвернулся и руку, предназначенную для рукопожатий, запустил в неустойчивую стопку папок; на верхней, красной, Эбергард, поднимаясь, прочел на белой наклейке по центру «Проект торгово-развлекательного...» и какой-то адрес – читать и запоминать на всякий случай уже незачем; сразу же – позвонить Улрике: вот (это так придумал он) самое важное, вот его жизнь – всё в порядке? – всё в порядке – и счастлив – проверка – у Кристианыча молчание по всем номерам; он обрадовался: Павел Валентинович на краю темной стоянки – один; значит, то неприятное, что надвигалось, еще на расстоянии и времени порядком – а может, ничего и не будет, и всё спокойно, вот он, снежок, включая обещание весны, земля не стряхнет с себя; и всё-таки невозможно ничего не делать, не может он всё то же самое привезти домой и ничего не сделать, и точно таким же, только старше на ночь, выйти вот из этого – своего подъезда завтра поутру; сейчас сделаю, повторял: сделаю, сделаю, дразнил себя: сделаешь? – и трижды глубоко вздохнув и трижды выдохнув, завернув на своем этаже за мусоропровод, набрал тот номер – на 047:

– Вы мне звонили?

– Эбергард! – верещала женщина, Оля Гревцева. – Куда ты пропал, милый? Жду. Соскучилась. Ты там уже всё подготовил? Когда мы от всех сбежим?

– Да уже практически, – вонзался еще какой-то звонок, Кристианыч? надо самому позвонить зомби, так боялся 047, а получилось... может, и с зомби так... давно поняли и отползли. – Может быть, даже среда-четверг, на следующей неделе.

– Определяйся и звони! Проведу коллегию во вторник и я – свободна! Я, – шептала, – твоя. Только знаешь, милый, – от волнения запинаясь, от храбрости, – может быть, возьмем с собой девочку? Я бы посмотрела, как ты ее... И как она тебе... Я бы и сама ее – потрогала... Лизнула...

– Здорово.

– Только знаешь, – счастливый человек говорил с Эбергардом, – пусть она будет высокая, с крепенькими, упругими грудками, знаешь, чтобы сосочки торчали... И чтобы попка кругленькая... Чтобы загорелая... А самое главное, чтобы здоровая. Но чтобы – очень-очень плохая! Есть у тебя такая девчонка?

– Конечно! Я пришлю фото, ты еще выберешь.

– Давай, хочу, хочу, жду – скорее!

Опять дозванивался непробившийся звонок, Эбергард поуверенней почувствовал себя, подумал: наладилось, начало налаживаться и наладится; прорвалось, он коротко:

– Да.

– Ты че бегаешь? Че ты хочешь добиться? Знаешь, сколько ты уже должен?

Эбергарду показалось: запись; он погромче спросил, но не своим голосом:

– Алло? Это кто?

– Эбергард? Мы знаем, где ты живешь. Со своей беременной... Ты не бегай. Поговори с нами, объяснись. К тебе много вопросов, – Эбергард не понимал, «какой» голос, что за человек может говорить таким голосом, ослеп, во тьме, тоскливо растягиваясь, звучала единственная нота. – Завтра в девять будем возле префектуры. Позвоним – выходи, один. А хочешь – не один. Обсудим. И телефон не отключай, понял?!

Это – с неопределившегося, Эбергард (еще оставалось время, и расстояние оставалось, так примерно он себе и...) вышел на общий балкон, задев ногой кофейную банку с окурками: вдоль тротуаров машины, на тротуарах машины, не помнил никогда – какие, кто постоянный, но если крыша в снегу, то... Вон проехал какой-то «опель», но с проспекта – не паркуется, свернул к рынку, а вот – бьет свет, но это грузовая, «газель», не страшно, и он услышал, как про себя словами сказал «не страшно»; позвонил Павлу Валентиновичу: завтра встретимся возле церкви, чтоб не у подъезда... Вряд ли они знают, где снимает, мало времени прошло, лишь бы не позвонили Улрике, лишь бы не знали (в нем произнеслось «Эрна»); страх; на самом деле всё, конечно, господи, не так, конечно, не до такого же, не бандиты же, просто умеют поговорить, ситуация развивается, динамика, включаются силы, но еще выровняется и еще посмеемся, вспоминная и не такое... Улыбался и обнимал, Улрике засияла: получше у тебя день? Я же говорила: что-то придумается и хорошее само случится! Ты мой – умище, светлая голова! – заперся, заперся, на листке набросал последовательности, «1», «2», «3» и восклицательный, и быстро, скачущими, бьющимися дрожью пальцами набирал номер зомби так долго, в необитаемой пустоте, заразившись от номеров Кристианыча, что

уже – «не возьмет», но со скрежетом и тоннельными отзвуками зомби проломил гудки и провалился в голову Эбергарда:

– Аллоу? Аллоу? Вас слушают! – сочным, что-то проглотившим ртом.

– Извините, что так поздно, – палец Эбергарда лег на «1», так, без всяких чувств, чтение чужой телеграммы, – можете говорить? Это Эбергард, префектура Востоко-Юга. Надо встретиться и обсудить ситуацию по аукциону.

– Аллоу? Говорите. Одну минуту, я выйду на воздух. Аллоу? Вы здесь?

– Это Эбергард. Я вас разбудил?

– О-о, Эбергард, приветствую, рад слышать. Нет, нет, я не в стране, разница во времени... Как поживаете? Устроились?

– Хотел договориться о встрече по нашему вопросу.

– Конечно, конечно, – запикало, неужели зомби в ежедневник полез?! – Буду в городе шестнадцатого. И семнадцатого марта, а потом еще – двадцать восьмого, какое-то время... Но, я так понимаю, у вас – плано-ново?

– Там есть момент, – говорил, и как будто не впервые, кому-то он уже пытался прокричать это не раз, и бесполезно, бесполезно, – связанный с обстоятельствами. Серьезными. Аукцион признан несостоявшимся. В связи с заходом нового игрока. Сильного. От жены большого папы, из красного дома.

– Эбергард, Эбергард, тут... Не всё слышно. Аллоу? Вы говорили с Романом? По текущей ситуации лучше с Романом и его людьми... Скинуть вам его телефон?

– Это принципиальный вопрос. Вопрос денег. Я буду обсуждать его только с первым лицом. Это ваши деньги, и вы должны владеть информацией.

– Эбергард, я в данном случае – связующее звено, финансовое обеспечение – это Роман и его партнеры... Если у него есть партнеры. Моя функция в данной сделке чисто посредническая, за некую компенсацию, кстати, небольшую очень...

– Так, стоп!!! Вы говорили: Роман – ваш человек!

– Ну, можно сказать: я его знаю. Хотя мы недавно познакомились. Когда подбирал вам исполнителя.

– Вы говорили – это ваш бизнес, Роман – исполнитель, подчиняется вам, вы отвечаете! Что вопросы решаю с вами!!!

– Эбергард, может быть, это не тот случай, когда требуются такие эмоции...

– Мне нужно одно: вы управляете им?! – Эбергард отшвырнул приготовленный листок.

– Мне рекомендовали его... кажется. Или я сам вышел... Через Интернет? Сейчас деталей не восстановить. Но я – абсолютно уверен, – где-то улыбался зомби, ему еще предстояли какие-то местные увеселения, – что Роман заинтересован в исполнении контракта. Вы будете довольны! Я, кстати, позвоню ему сейчас. Вопрос о моей компенсации так и не закрыт, но это уже, наверное, в апреле...

– По аукциону я всё объяснил, контракта не будет. Ситуация по благодарности, по соответствию – закрыта! Иначе люди из красного дома займутся вашим Романом и его бизнесом. В будущем, возможно, при размещении государственных заказов...

– Аллоу! Аллоу, – скрежетал зомби.

– Скажите ему, чтобы мне больше не звонили, не искали меня. Всё, что я обещал, я сделал...

– Эбергард, тут... связь прерывается... Давайте я скину вам номер Романа? А то получится какой-то сломанный телефон... Ей-богу, я тут – лишнее звено

между вами, – зомби захыхыкал. – Это не самый важный мой проект, я лично сопровождать каждый этап просто не имею возможности... Записываете?

Зомби еще дважды перезвонил, выкрикивая в пустоту:

– Аллоу! Аллоу!

А потом прислал эсэмэс с четырьмя номерами телефонов; будто ветер повалил на провода тополь на Транспортной улице (по ней ходили на речку, казалось – так далеко), и света не будет; у бабушки всегда находились свечки, но сейчас надо двигаться ощупью, поглаживая стены, теперь показавшие свою сущность и разность, разбежались выключатели от шаривших пальцев, насмешливо скрипел пол; тишина больше не являлась протяженным, ведущим туда, дальше пространством, это – пещера, как-то так получилось – Эбергард попал в пещеру, и в девять утра дойдет до ее дальней стены и остановится, и на темной кухне... новое, громоздкое у окна: что? – Улрике, оперлась на подоконник и разглядывает ночь.

– Ты что не спишь? – Подслушала? поняла про его обстоятельства хоть что-то? Слезы... Ей-то из-за чего? – Ты что? Ты же моя жена... – обнявшись, они постояли – немного последних в жизни дней, что осталось провести им только вдвоем, родится девочка, которая потребует себе всё-всё-всё, а потом еще кто-то может родиться...

– Всё плачет, – прошептала Улрике. – Я вдруг заметила: всё незаметно плачет – машины... Дома. Деревья. Всё незаметно уходит и плачет. И я когда-то покажусь тебе всего лишь сном.

Что сказать? Да она и сейчас, в это насочившееся и вспыхнувшее под кожей «сейчас» – сон, бытовое обстоятельство, умножившее на десять его уязви-

мость, негабаритный груз, косо ставший в проеме, но сказал: перепады настроения, депрессия беременных, полное понимание, важность полноценного сна, любовь... Утром, в восемь, он спросил добродушного Хериберта, паломника: а у тебя будет время выслушать и посоветовать? Хериберт мог «после двух», Кристианыч не отвечал (Эбергард не знал, что он хочет услышать от Кристианыча), в префектуру поехать не смог: там ждали в девять, он не представляет себе «разговора», своих слов, таких, что способны – решить, а еще больше боялся того, что сделают, его услышав; закопался в тряпье «а вдруг что-то посоветует Хериберт», «они и сами должны всё понять», и затих, спросил (а к кому еще?) адвоката: можешь? – она всегда могла; когда работает? – убрал звук на телефоне и – поехал в приятно пахнущее тепло, в некоторые узнаваемые детали, в еще не убранную постель, в перезревшее, но неизношенное тело, в бессловесную жадную ласку – и в этот раз после всего уже не было такого стыда и такого раскаяния, привкает.

– Ну что? Что-то не так? – Вероника-Лариса убирала волосы с его лба. – Тебе не понравилось?

Как сказать от себя? «У меня неприятности», «проблемы на работе», «подставили», «попал» – всё это кто-то уже говорил; не мог ею насытиться, Вероника-Лариса перестала спрашивать и больше слушала себя: что бы еще ей хотелось? как? – ворочались каждый в своем, словно обустроивая соседние норки, а потом молча смотрели в окно: громадными волнами валил снежный дым, мечась под фонарями, отряжая отдельные снежинки стукнуть в окно, там роился снег – крупинки, точки, мухи, – что поближе, летели быстрее, просто неслись, что подальше – кружили,

и волны стужи бросали их в стороны; оказывается, она не задремала:

– Переживаешь из-за суда? Я придумала отличный план боевых действий. Только перед судом всё расскажу. Мы победим! Я очень умная у тебя. И хитрая.

– Спасибо, знаю, что ты за меня, – Эбергард думал: Эрна, вот что волнует: кто же будет с ней разговаривать из-под травы, когда ее отца совсем уже не будет, когда она придет подержаться за ограду, постоит (а может, вспомнит перед сном) и немногими первыми словами начнет рассказ о том, что произошло за последнее время, о чем думает, что тревожит, что-то ведь скажет обязательно, начав с «папа...», и услышит, как кто-то говорит в ответ какие-то понимающие слова, вряд ли выходящие за смысловые пределы «я тебя люблю» – но кто будет Эрне отвечать из-под сугроба, с порыжевшего, непохожего фото, когда он не сможет, чей же это будет голос?

Хериберт почему-то подсмеивался, прыскал:

– Ну, какая у тебя обстановка? – загорел в каком-то паломничестве с федеральным министром, прохаживался и весело уточнял: – Гуляев? А Хассо? И? И Кристианыч?! Во дают... – и удовлетворенно хихикал: – То-то, я гляжу, ты схуднул – где щеки?

Эбергард не устоял и подсмеивался тоже над собой – вот заехал повеселить и посмеяться, но всё чувствовал в горле невыхарканную горькую тяжесть – проглатывал, глотал – нет, на месте; вдруг отчетливо услышал, как в его голове женский кухонный провинциальный незнакомый голос вдруг окликнул его по имени.

– Что скажешь?



Хериберт пожал плечами: а разве предусматривалось, что он... как бы... что-то скажет? Сел боком, лицом на телевизор и гербы, косился смешливо на Эбергарда, словно «я-то знаю, что на самом деле, а ты не ужели сам не догадываешься?», полностью довольный, что вот это всё, занимательно изложенное – не его, и никак его сейчас не касается, и потом не затронет.

– Не зна-аю... – рука Хериберта привычно легла на толстую священную книгу с золотыми застежками. – С увольнением... я думаю – это не монстр. Это игра Гуляева.

– Зачем?

– Он понял, что выхода у тебя на префекта нет. И не будет, – Хериберт всё так же смотрел в стену, что-то важное двигалось там, на стене, состоя из нескольких отдельно перемещавшихся частиц, трудно отслеживаемых зрением одного человека, для Эбергарда оставалось немного, остатки, разделяемые длительными паузами, «о чем это я только что». – И процент, что ты Гуляеву для монстра... он оставлял себе, подкормиться. А монстру гнал – уваливает клиент, время тянет, обещает – не делает, потерпим до выборов и сразу же... – показал, как ножницы перекусывают проволоку, преодолевая некое сопротивление. – Тебя нет и – концы обрублены. Перед тобой чист, перед монстром чист. Я бы так сделал. Ну, а как ты вообще? Ведь не одна ж работа? Ходишь на спорт? Наташка Белобородова еще работает? – и Хериберт неловко подмигнул.

– Да. погоди, а что с этими... посоветуешь? Что бы ты на моем месте?

Хериберт возмущенно хмыкнул:

– Я?! – как Эбергард мог допустить, что Хериберт мог оказаться на его «месте» – невозможно. – Ты

это... Ты, братец, разговаривай с ними... Не выходи из переговорного процесса. Чтобы понимали: ты не пропал. Все эти детские твои... Телефон отключу, на встречу не поеду... Встану и уйду посреди разговора... Это к плохому, если ты замолчишь. Но хуже будет, – Хериберт опять хмыкнул, что-то вспомнив из своего, – если они замолчат.

– А что говорить, если будут угрожать?

Хериберт выпятил нижнюю губу и совершенно очевидно впервые задумался о том, о чем не имел ни малейшего представления, наподобие: как именно создавалась наша вселенная и еще несколько соседних.

– Скажи: на всякую силу найдется другая сила.

И? Эбергард ждал, ждал, но похоже – всё. Не знал, что еще. Первое, что:

– Может, к Лене Монголу обратиться?

– Может. Но это, понимаешь, будет выглядеть так: клиент должен, а еще пытается под кого-то залечь... Могут сделать гадость. Причем любую. А Леня... Что Леня. Леня им отдаст то, что ты должен, – Хериберт повторял и повторял «должен», как что-то очевидно принадлежащее Эбергарду, как хромота или цвет глаз, – а ты ему отдашь то, что им должен. И еще половину. За меньшее Леня ответственность на себя не возьмет. Если бы не было вопросов к тебе – это другое дело, – Хериберт насмешливо потянул: – А вопрос е-е-есть...

«Я не себе», «деньги не у меня» – говорить некому. Хериберт с деталями рассказал, как целовал руку патриарху, шутливо поднимался убежать:

– Я прямо тебя боюсь! Ты такой серьезный! Будешь еще чай? Поедешь куда летом или Улрике не отпустит?

– Хериберт, а кем бы ты хотел стать? Вот кроме этого... Если бы всё, что хочешь? – Они словно знакомились.

– Я бы, – словно именно этого ждал, – открыл бы дайв-клуб в Доминикане. Погружался бы с туристами, рыбачил... Ресторанчик еще небольшой. Магазин...

«И часовню Матроны Московской», как ждал Эбергард, не добавил.

– А почему ты этого не сделаешь? У тебя есть деньги, хватит детям, внукам, всем. Почему ты здесь? Если ты действительно хочешь? Почему же ты не живешь по-другому?!

Хериберт взглянул: серьезно? еще есть время заржать и ударить ладошкой о ладошку? – показал бровями «далеко же у тебя это зашло», удалялся куда-то с огромной скоростью, меняясь лицом, мертвея, сказал: в приемной люди с Восточно-Западного округа, приехали поздравить с прошедшим Днем защитников Отечества; не пропадай.

Вслепую стер непринятые входящие – много злых непринятых входящих, позвонил сам: Фриц, у меня готовы те документы; и у меня готово! – с удовольствием откликнулся Фриц, а давай завтра в девять тридцать, сегодня какой-то такой неудобный беспорядок, в смысле распорядок.

Куда? Ждут его у префектуры? Звонили, конечно, и на городской, и Жанна сказала им, тем: уволен, сюда больше не звоните; что они могут думать другого, одно: знал заранее, состриг сумму и побежал; прав Хериберт: надо разговаривать; такая вот его слабость – некоторых людей для него не существует, ограниченные возможности общения, не умеет ничего с такими, как Роман, как монстр. Или Пилюс. Только – убить. И он – один, выпал, одному их не убедить.

Жанну он попросил (не раздеваясь, расстегнувшись, так, забежал):

– Забудьте про них. Больше не позвонят. Вы же сказали: я больше не работаю.

Жанна фыркала, преувеличивая раздражение, уравнились они:

– Так разговаривают... Очень грубо. Мне это надо? Сказали: добегайся. – Ей даже нравилось посмотреть, что с ним будет, когда скажет так. – Может, сейчас еще позвонят.

Не смог подходящее лицо вылепить; «Эрна!» «Эрна!», «Эрна!» – сияло в обеззвученном телефоне.

– Привет, пап, дашь мне доверенность на выезд на весенние каникулы в Италию, едем с классом, мне бы очень хотелось, – в один выдох. И замолчала.

В дверь застучал кто-то грубый, Эбергард приготовил уверенные, давящие на гостей глаза, и Эрне отвечал, уже не видя ее, видя только грядущее что-то:

– После суда. Посмотрим.

– До суда еще неделя. Мне завтра надо в школе сказать: еду или нет.

Заколотили в дверь еще, с издевкой выстукивая музыку.

– Ничего страшного. Подождем, – возможно, Эбергард даже первый, сам, скорее, чем Эрна, нажал «отключить»; стучались еще, с упорством, словно нужна была дверь, не он: вот – открылась (у Эбергарда укрепились глаза), не в одно движение, рывками, взмахами туда-сюда для обновления воздуха – художник Дима Кириллович, похоронно и пожило одетый.

– Ты чего не отзываешься? – Проверочно прошелся по кабинету: никто здесь не... и тронул стул. – Можно присесть-то? Извини, что не позвонил, срочное... У тебя здесь не... – Дима начертил пальцем над голо-

вой нимб, словно отмечая основные этапы летучего движения наплотившегося насекомого, «не пишут»? Говорить всё можно?

– Всё в порядке, – холодным, непроницаемым, таким быть в разговоре с Романом, намечал Эбергард; что произойдет, что может произойти, его жизни не коснется, не коснется его самого, того, что он есть на самом деле. – Долг принес?

Дима Кириллович услышал именно то, что пытался опередить, сморгнул, пропуская волну:

– Меня вызывали в прокуратуру. Расспрашивали про тебя, Эбергард, – Дима Кириллович так переживал за Эбергарда, что страх за близкого человека клочкал в бороде. – Они знают всё! Про тебя.

– Да? А что можно про меня знать? – Эбергард прощался с кабинетом: ну всё, годы... Отпечаток его жизни останется на стенах... Сколько раз они здесь с Ульрике...

– А многое... Всё! – Дима Кириллович выждал, вот его сладкая минута, хлестнул: – На какие деньги купил ты квартиру! – И, добавив размаху руке: – Откуда деньги на ремонт – роскошный! Кто тебе откатывал из подрядчиков? И сколько? Кто оплатил поездку во Францию? Тебе. И одной сотруднице управления здравоохранения. Всё знают! У них там... – Дима Кириллович словно заглянул в царскую сокровищницу, – целая папка, том! И так меня крутили, и так, а я... – художника затрясло мелким смехом, спрятались глаза, только желтые зубы, влажные десны, – дурачком прикинулся: а че? А я че? Живет вроде скромно, добро людям делает. Еле выпутался, – Дима Кириллович умолк, всё как бы, за этим, собственно, и пришел, сейчас Эбергард должен гореть и взрываться, придумывать, как благодарить, мало?

да, вот еще. – На следующей неделе опять идти. Позвонят, сказали.

– А у тебя-то как дела?

Художник подскочил – так вот же моя станция!

– Слушай-ка, Эбергард, возьми меня на работу! Добавь пару сотен, – Дима Кириллович потерпел-постонал подвешенно за ребро, – или оставь, как было, – в его молчании покашляли остывающе «инфляция», «цены», «на один бензин сколько...»

– А в какую вызывали прокуратуру?

– В межрайонную! На Северо-Онежской!

– Это ты старым справочником вдохновлялся.

Они переехали в Песчаное.

– Переехали, – слабея, повторил художник, – но кабинет у них остался на Северо-Онежской. Для встреч.

– Как фамилия следователя? – Эбергард сделал рукой «ищу телефонный справочник».

– На «сэ». Столяров. Кажется. Но он не из нашей прокуратуры. Прикомандирован. Из генеральной.

– Кабинет на каком этаже? Номер кабинета?

– Тре-етий, помню, этаж... Кабинета не помню. Восемнадцатый, что ли, – Дима Кириллович молитвенно поперебирал губами. – Что-то с восьмеркой.

– Там два этажа.

– Тогда на втором. Но точно – не на первом! Берешь на работу?

– Меня уволили.

– Ну, ты ведь не на улицу уходишь, – наступательно сказал Дима Кириллович, – и с непустыми карманами. У тебя же есть запасные аэродромы. Художники тебе будут нужны. Или друзьям твоим. У меня – имя. Три персональные выставки. – Чуть смягчился. – Может, не прямо сегодня. Но – в ближайшее время.

– Нет, Дима, не могу. Всё, пойду, – Эбергард поднялся, вскочил и Дима Кириллович, но одернул себя: не так! – сел и скрестил ноги:

– Погоди, погоди... А что же тогда мне говорить в про-ку-ра-туре? Делиться кое-какими накопленными наблюдениями? Может быть, я и кое-какие документы наксерил?

– Всё, что хочешь, – проверился: жалко Диму? – нет, ни жалости, ни ненависти, явление погибающей природы. – Пока!

– Ну, ссуду дай, – примирительно попросил художник, – в счет отношений. Вроде выходного пособия. У меня сейчас – ей-богу! – беда. Всё-таки ты на мне прилично заработал. Погоди, не уходи, давай решим, – уже просто перегородил дорогу, не мог выгнать: лучше как – улыбаться? хмуриться? Одно пробовал, другое.

– Хватит ныть.

– Эбергард! – вдруг вскрикнул Дима Кириллович так, словно что-то увидел над его головой, задергался рот. – На лечение! Жена больна, – жмурясь, словно топором кромсал икону в щепы, – на лекарства – дай! У человека болит – кричит! – Голос его дрожал так, будто поперек голоса задувал какой-то ветер, сносил в сторону, и это Эбергарду было почему-то неприятно, что-то еще появилось в кабинете кроме двоих живых людей. – Тысячу долларов дай! У тебя же есть в кармане, прямо сейчас! Ты на рестораны больше тратил! – схватил Эбергарда за руку, но страшился схватить в охапку и потрясти. – А ребенку... Дай ребенку на лечение. Тамарке! Милая доченька, папа сейчас принесет денег! У нее – вылезли волосы! Дай деньги! Не могу так уйти!!! Тебе это – тьфу два раза, а мне – жизнь! – хватнул, больно щипал, щипал Эбер-

гарду руку. – Обертку хочю с тебя соскрести! Глянуть, что внутри?!

Жанна впустила в кабинет милиционера – со вздохами и улыбками он вытолкал сразу смолкшего Диму Кирилловича вон, Эбергард погладил стены: ну, всё? Попросил Павла Валентиновича подать машину поближе к крыльцу и простился с Жанной, хотел что-то особое ей сказать лично, но не придумалось, да и она отвернулась.

Хоть что-то бы изменилось (думалось, как тлео в нем): умер бы монстр завтра поутру, лопнул бы гной и почернела бы красная задохнувшаяся морда, все бы празднично притихли на три дня, приподнятые ободряющей силой чужой смерти, обнадеженные возможными передвижениями служилых фигур, а потом и Хассо назначили бы префектом, и он бы Эбергарда вызвал назад: эй, где ты там? отдохнул? хватит! Вот они, победители, чаевничают в комнате отдыха, Хассо спрашивает (не будет так, даже если... для этого нужен другой Хассо и другая вообще жизнь!): с Пилюсом-то что будем делать? Эбергард говорит: как хочешь, мне он не нужен; вот Эбергард идет по коридорам, так, как ходили новые люди, «они», а теперь он – новый, тайна будущего у него, все улыбаются – вернулся! – вернулось нечто большее: справедливость! – приятно так думалось.

– Эбергард, – с такой задумчивостью Павел Валентинович только отпрашивался с половины пятницы доставить своих на дачу, – какой-то странный, очень неприятный подходил на стоянке. Не особо русский. Ко мне: ты пресс-центр возишь? Я говорю: я работаю по договору, вожу оргуправление. Он: а кто Эбергарда возит? Тоже какая-то «тойота». Я говорю: не знаю,



я недавно, в основном по выборам, – дал возможность Эбергарду как-то объяснить или уточнить: какой из себя, но не дождался. – Не понравился он мне. Правильно я ответил?

– Ну да, в общем... – пришлось добавить: – Спасибо, Павел Валентинович, – машины слева, машины справа, оборачиваться он постеснялся, тяжесть, что вез домой, стала весомей и ледяней, справа в машине женщина, справа спокойно, слева – машины обгоняли, менялись, – я здесь выйду. Завтра давайте к девяти тридцати... Помните, мы ездили в Николо-Холмский переулок?

– К другу вашему? Фрицу?

– Да, туда подъезжайте. Пачки с бумагой у вас в багажнике? – Из автомобильного тепла и быстро (оправданно – холодно же, он без шапки) завернул за остановку, но тропинка не там, почему он решил, там тропинки не пробили; полез на сугроб и дальше по укрытому снегом газону – один, поперек неизменного, ежедневного движения жизни не выделяющихся и не желающих многого людей, обошел рынок и двинулся к подъезду по обледеневшим мосткам между забором «Румынского дома» и металлической сеткой, ограждавшей строительство паркинга, – никогда отсюда не ходил... Всё, впереди там – черный и неподвижный, бритый лоб, – так Эбергард и представлял, – толстая шея, в легкой курточке, расставив ноги для прочности, у его подъезда, остальные в машине; пройти мимо? – упустил, вот он, Эбергард, виден уже, развернуться и побежать – куда? – он и шел дальше, закачавшись, так подкашивались занывшие от страха ноги, потерявшие какие-то важные мускулы и жилы; вытащил из кармана руки, как солдат, завидевший издали что-то похожее на офицерскую фуражку и шинель

ный цвет, правой сжал телефон, как знак отличия высшей расы, – есть кому позвонить; и понял: нет, так он не сумеет жить, не сможет долго, в чужой власти, в ничтожестве, в отсутствии... Меж ног человека-господина, ждущего Эбергарда, скользнула пушистая белая собачка, покрутилась и встала, господин нагнулся:

– Нагулялась, всё? Замерзла? Домой? – и выпустил из кулака поводок, обмяк, мускулы сменил добродушный жир, у него же мягкое, слабое лицо, у тех – не такие! Выросший, превосходящий встречных Эбергард легким, непричастным шагом обогнул незначительного человека – Эбергарду нет нужды выгуливать собак, его возит машина, здесь, в панельном, он строго временно, у него отделанная квартира в бизнес-классе, здороваться не с кем; в лифте спокойно решил: всё, поговорит с Романом, и как поговорит – тоже решил; Улрике устала, хотела спать или обижалась на что-то; всё это потом, отрегулируем, деньги, подарки, поездки, он сейчас не про Улрике, не видел ее, чистые рубашки – вот что от нее нужно сейчас; измучена ожиданием родов, родится девочка – отвлечется.

– Забыла сказать, – уже легла, но вернулась на кухню, где он изучал телевизионный пульт, думая свое, – тебя из префектуры искали.

– Звонили на домашний? – включил телевизор, чужа: запыхало, потяжелело лицо. – Что сказали?

– Соседка видела: возле корпуса три, за рынком, ходил какой-то парень и спрашивал: где живет Эбергард из префектуры? Курьер, пакет какой-то привез. Она говорит: ваш муж вроде Эбергард, а где работает, откуда мне знать? Хотела вернуться, парню сказать, но сумка тяжелая с картошкой. Сколько раз ей расска-

зывала: где работаешь, как познакомились – ничего не помнит!

Как только ушла, пошумела в душевой, костным хрустом закрылась дверь в спальню, свет погас, – мигнул и занавесился серой пылью телевизор; прошло еще время, и Эбергард закрыл глаза и ладонь положил на брови: сейчас скажет им; и открыл глаза: когда человек говорит в телефон, он не видит, вернее, то, что видит, – перестает сознавать; видит отвечающие и спрашивающие голоса, да еще свой голос, бубнящий под черепной костью; голоса, шорохи связи, преодоленные географические расстояния спелят, хоть глаза остаются открытыми, когда говоришь в телефон; закончишь и – зрение возвращается, человек вспоминает, где он, и понимает, что же на самом деле должен был говорить и как; вот сейчас главное – ему не ослепнуть, чтобы не пролаяли ответно, не подпустить голоса диких к себе; вот, как всегда, подтянул бумагу – напишет важное слово и будет его непрерывно видеть, слово удержит его, оставит здесь. Написал «Эрна». Но испугался и зачеркнул, уж слишком... Вдруг увидят, поймут; для надежности перевернул листок; написать «аукцион»? – хватит букв? Написал «я». Посмотрел: устоит? Переправил на «Я», и пожирней, усилил, буду видеть. Стер непрочитанные три сообщения от адвоката, позвонил Роману, «Быдлу-2», с каждым ударяющим гудком всматриваясь в свою главную букву – якорь.

– Извините за поздний звонок.

– Ты очень опоздал! Скоро встретимся.

– Роман, – Эбергард смотрел на букву «Я», может быть, Эрна пойдет с ним на крестный ход, через недели три начнет подтаивать снег посреди дня, пройдут годы и вообще всё другое наступит, – выслушайте

мое предложение. Я хочу вам помочь. Ситуация с аукционом вам понятна? Пришли те, кто не должен прийти, от мамы с папой – они играют не по правилам, им так можно. Свое вы должны вернуть – я на вашей стороне, хотя я – никто, технический исполнитель, взял – отнес.

– Говори. Я не один тебя слушаю. Мои партнеры хотят с тобой познакомиться.

– Я защищал ваш интерес, меня уволили за это. Но я помогу: ваш взнос попилили первый заместитель префекта Хассо и советник префекта Евгений Кристианович Сидоров. Я дам их телефоны, домашние адреса, номера машин. Знаю, где работает жена Хассо, где учатся дети. Что-то частично знаю про его недвижимость, в восемь утра всё вам вышлю. У меня вашего нет, – всё-таки не удержал, запеклись глаза жарким, и пропало «я», но опомнился: «я»; слышно – Роману кто-то говорит, не один человек, довольная интонация; вдруг ему показалось, к Роману голоса эти не относятся, потому что Роман тихо-тихо, будто таясь от этих голосов или кого-то еще, в глубь головы сказал из опасности близи:

– Соскочить хочешь, сучонок. Еще нас развести? Мы их не знаем. Мы с тобой говорили. Ты как говорил? «Я отвечаю» говорил? Ответишь. К тебе уже едут люди!

– Я уже заявил в милицию по факту угроз... – разумно начал он, но Роман отключил телефон. Эбергард повторил про себя: что следовало за чем, да, нормально, доволен собой, вдруг – всё обезумело, словно кто-то встряхнул его вместе с домом, всё рассыпалось; погасил свет, подумай, но прежде – прокрался к входной двери, Улрике забывает на нижнем замке докрутить оборот, и – в глазок – округлый мир

пятнистого кафеля и мышинных ступеней – здесь он поселился, здесь и придется выживать; выдернул из розетки городской телефон; из окна кухни (возле соседнего подъезда джип не гасил фар, ходят люди, два – от подъезда к подъезду, не торопясь, одеты тепло, еще паркуется машина) не угадаешь. Не сейчас, так чувствовал он: то, что ждал (всё что угодно...), если и произойдет, то ночью, много позже, в страшные часы, когда умирают люди и дежурной бригаде в реанимации лень вскакивать на угасающие шевеления; подумать есть время, но думать не мог; кончился он, сделал всё намеченное, но ничего вокруг не сделалось и не ослабло, не принято в расчет, не мог даже надеяться, что попозже сделается и они передумают, отъедут, или утром кошмарное всё покажется не таким... мыслей нет, так, возня в изгрызенной трухе, уже пройденные червями пустоты, обнидавшее каменное то, что может потрогать каждый: он должен. Вот всё, что понимает он остатками своей настоящей, не изжитой еще сути, человекоподобного облика, и «думаньем» не изменишь: должен, взял чужое, неважно у кого, и единственный человек, который сказал бы «нет, не так» после рассказа в подробностях, была его мама, но и она бы, отрицая, понимала – «да»; попал под какой-то забытый, но действующий в несчастных местах, в несчастное время и для несчастных устаревший закон, отмененный жизнью, русскими людьми, понятиями! – под закон угодила, и отзывалась в нем правота этого закона, что-то такое, что откликается внутри смутным, болезненным шевелением, когда он вспоминает детство, – воспоминание, то, что окликает его и не перестанет с надеждой окликать, даже когда отвечать уже будет нечему в некоем... всё, что останется от не-

го лично, вот это – «а себя помнишь?». Должен – давило больше, чем страх унижения, «осложнений», неведомого, «проблем», «вопросов», того, что могло произойти с ним, с Улрике (он налегал изо всех сил на дверь, за которой стояло «...и с Эрной» – кратчайший путь для решения с ним любых вопросов); а вернее – страх и осознание долга сливались в подавляющее что-то так, что Эбергард – вот сейчас, вот сейчас – услышал, что стонет... Молчи! – не напугать Улрике – невыносимо; что сказать, когда Улрике: почему ты не идешь? Почему сидишь в темноте? Скажет «нам страшно», она начинала утверждать за себя и за ребенка. Забылся, упустил истекающую минуту и увидел со стороны, как его втягивает в себя пасмурное полотно, похожее на кинохроникальный дирижабль, – надувается серое, слоновое, безголовое, дынно-потресканное и заслоняет такое же серое, но и черное с синевой небо, и лодка в сетях болтается под оторвавшимся от гнилых подсолнухов брюхом.

Разделся, еще проверив улицу и за дверью – в глазок, отключил звук на мобильном, лежал рядом с Улрике и ждал, когда телефон замигает опять, внизу, на полу, по правую руку – названивали с неопределившегося, Эбергард знал: будут звонить, пугался, но телефон не отключал – может быть, звонки – всё, что пока они хотят, и, если он отступит в «зону вне доступа», они примутся за что-то другое... Слушал обжитые звуки, которые есть тишина, и теперь-то понимал, из чего состоит тишина: капли роняют краны, треск остывающей лампы, перелив батарейных вод, оседания, стуки... Незнакомый звук подбрасывал его в постели: чужой! бежать к дверям? нет? Он больше не представлял себе ничего, даже разго-

воров с ними, он всё сказал, как хотел, лучше, чем мог, цеплялся только за «может быть, Фриц»; или (почти в равную вероятность) что какой-то очень сильный человек вызовет его в большой дом, скажет: мы всё знаем и как с вами знаем, но всё-таки расскажите – еще раз, с самого начала, спокойно, у меня есть для вас время, и – больше ни о чем не беспокойтесь, мы уже всё объяснили этим людям, они поняли, что не правы, они сейчас брюхом на бетоне... Они еще извинятся перед вами: кем же мог быть этот человек? Никем. Даже в мечте не бывает такого. Привыкать пора жить без мечты, мечтам его почему-то требовалось возрастное правдоподобие, выходит, мечтать оставалось о себе-старике, себе – запоздалом победителе-ветеране, себе – поздно стартовавшем седовласом; нет, с мечтами покончено, но сможет ли прожить он без своих удивительных одержимых разных «я»-людей? А что делать с мечтами, оставшимися за спиной, просроченными, когда набранная вами комбинация цифр оказывается невыигрышной и пора отходить с распаренным лицом от игрового автомата и, выпив стакан воды, двигаться к расступающимся от приближения дверям? Очертания жизни «обыкновенного человека» напоминали ему очертания гроба. Станет вредным стариком. Жалобы на судьбу, обида на мир, на близких, что не видят того, кем бы он мог, если бы; казалось: не спал, но, выходит, уснул, потому что вздрогнул, когда Улрике вскочила:

– Мама! Что это?!

Выл домофон (а чего ждать другого?!); схватив одежду, выбежал в коридор и гавкнул (первый раз у них голосил домофон, они и звука его не знали, и от этого еще ужасней):

– Алло? Алло!!! – Но смолкло уже, пищал отпертый кем-то замок, поскрипела и захлопнулась подъездная дверь, прислушался: да, лифт зацепил и тяжело потянул кого-то наверх!

– Эбергард! – звала Улрике. – Ты где? Кто это?

– Какой-то дурак... Ошибся, – негромко, боясь обнаружить свое местоположение, смотрел сквозь глазок, прислушиваясь – едет, тянет, едет лифт, всё! – не здесь, но рядом – выше этажом или внизу; может, так и делают, не доезжают и ждут между этажами, ноги Улрике уже шлепали за спиной:

– Ну, пойдём спать, что ты здесь. Господи, как же я испугалась, ребеночек до сих пор дрожит: ему страшно! – и тащила, хотя место его у дверей; может, совпадение? – он повалился и замер до утра, как нож, воткнутый в тесные обстоятельства; больше не звонили, словно звонки больше не понадобятся; не двигался, только, когда невыносимо требовалось движение, менял бок; утром (показалось: этого дня целиком у него уже нет, неполный остался день) он, чтобы не говорить своего, читал Улрике новости из Интернета:

– Семиклассник второй раз стал отцом. В Горной Шории найдено гнездо снежного человека... – пропускная страшное о выброшенных с балкона детях. – Родственница собаки Путина посетила бал прессы. Наталья Варлей похоронила пятерых котят на детской площадке. Самую большую в мире грудь пытались уничтожить. В армии США запрещен оральный секс. Лучший бомбардир премьер-лиги с трудом отличает свою жену от жены друга. Ксения Собчак потеряла грудь. Как ты себя чувствуешь?

– Болит животик, тянет, – хныкала маленькая девочка, – Улрике не выспалась. Тебя провожу и пойду досыпать.



– Я съезжу на встречу и вернусь. Улрике.

– Что? Да что?! Что ты так молчишь? Что-то страшное? Зачем ты меня опять пугаешь?! Знаешь, как это вредно для плода?

– Вернусь через три часа.

Не чувствовал, перестав уже многое, из чего составляется «жить», одно лишь: утро – многолюдно: школьники, проводы в детский сад, работники едут к девяти и половине десятого, собаководы... В лифте не один... И остановку прошел пешком вдоль переползающего в пробке Тимирязевского – он давал им возможность что-то... Расстояние остудило и добавило смелости, и...

– Ты зачем меня разбудил? – потягивалась Улрике, спокойная.

– Я тебя прошу. Никому не открывай дверь. Сейчас всякие ходят, а ты одна. Будут стучать, звонить. Скажут из милиции, из дэза... Всё равно не открывай, сразу звони. Очень тебя прошу.

Мурлыканье, трусливые охи, как приятно: волнуется за нее, родит и будет мамочка; в автобусе не был годы, мороз залепил окна, и скоро Эбергард осознал, вскочил: проехал метро, хотя не было «что-то я долго еду»; испугался и выпрыгнул в раскрывшиеся двери. Нет. Не доехал. Ровно половина пути. Знакомая картина киосков, поворота с маленькой дорожки на Руднева не успокоила, показалась – ужасной, чужой, дремучие леса окружали, пустыня, по ней ветер гнал волны снега и цветные бумажные лохмы, он стоял один на льду и понимал: этим маршрутом никто не ездит; и подошедший другой автобус показался заманивающим, ненастоящим, он страшно подъезжал, криво проскальзывая последние метры, двери раззявились – люди в автобусе оказались такие... каких не ви-

дел давно, некрасивые, больные, странно одетые – и все смотрели на него, это он – чужой; и чужим показалось метро – вот что значит из своего выпасть; и снова дул ветер, дул постоянный мертвый ветер, а ведь когда изначально садился в автобус – проглядывало, солнышко обещало.

Павел Валентинович выскочил из машины, так ждал, что... Не кричал, но делал руками кричащие, срочные знаки, Эбергард заметил и в нем – зачумленное лицо, и его коснулось, – и отвернулся, в подъезд; женщина-милиционер, пока переписывала цифры из его паспорта, попросила:

– Вы со спины ко мне не подходите. У меня спина – сплошная эрогенная зона.

Не догнав, Павел Валентинович звонил.

– Слушаю, – лестница, ступеньки.

– У меня приключение, ехали за мной какие-то... С тонированными стеклами. Мигали. Но не обгоняли. Вы должны знать кто.

– Не знаю.

– Номер я запомнил. Запишете? – Павел Валентинович хотел говорить еще. – Но я-то вообще ни при чем, вы уж там сами...

– Сейчас к вам подойдут и выгрузят пачки с бумагой из багажника, – входя к Фрицу в кабинет, тот уже показывал успокаивающую ладонь: понял, действую, и кого-то из своих «набирал»: выгружайте, «тойота», серебристая, номер...

– Да ты хорошо выглядишь! Держишься. Молодец! Выручил. Спасибо, брат, – они присели; по такому случаю времени сколько хочешь, желание любое, повелевай. – По твоему вопросу, – Фриц как-то так повернулся и так налился значительностью, что сделанное для него Эбергардом усохло в прах и просыпа-

лось вдоль плинтуса, а то, что Фриц собирался сказать, легло в красный бархат и весомо напрягло подносящие руки, еще не сказавшись, но уже перейдя в «это не бесплатно, будешь должен». – Да, ситуация непростая. Но рабочая. И – подчеркиваю: далеко не проигранная. Ведь монстр и в городе, – Фриц показала глазами «да, да!», – кое-кого пытался уволить. И выглядел очень убедительно. И мэр соглашался и на телегах монстра писал «Снять! Срок – неделя!» А намеченный человечек находил дорожку – куда надо, представлялся, – может быть, квартиру дарил. Одну. Из своих десяти. Или дом. И всё рассасывалось. Тебе, – начиналось главное, запоминай заклинание, – надо найти выход на директора ФСБ. На Патрушева. Крайний случай – на первого зама. Они знают, кому сказать – это наш. Мое! – Фриц словно шлепнул по тянущимся к конфетной вазе ручонкам. – Не трогать! И всё закончится, – и, как любил, придвинул свое лицо нестерпимо близко: как? Счастлив?

Эбергард чувствовал: в кармане дрожит телефон, кто-то...

Фриц довольно откинулся в кресле и обнял себя: понял как? Эх ты...

– У меня еще с аукционом проблемы, – зачем-то сказал Эбергард, размахивая руками и ногами – не держало уже ничто, сорвался и полетел! – Звонил телефон! – еще!

– Это решит любой вопрос, в комплексе, – Фрица подсвечивала изнутри радость делающего добро, он сам еще не изучил до конца возможности изобретенной им чудо-машины, но результаты первых опытов превосходят самые смелые...

– Понял, – Эбергард оглушенно посмотрел мимо Фрица куда-то, в стены, вытащил телефон. – Слушаю.

– Тут такое... Соседка сказала, у нас на этаже возле лифта стояли два человека, – с удивлением пока, без страха, это Улрике. – Сказали: тебя ждут. Какие-то твои друзья. Но в дверь не звонили. Как-то неудобно. Почему-то ушли. Ты кого-то ждешь?

– Нет. Ни в коем случае. Слышишь: ни в коем случае! Даже если будут звонить в дверь. Я сейчас перезвоню тебе.

– А может, тебе и бизнесом заняться, – порассуждал набело Фриц, словно до этого ничего не говорил, – я бы не смог. А ты у нас – креативный!

– Не, я лучше выйду на федеральный уровень и выступлю инициатором национального проекта «Доступные женщины», – и он даже засмеялся, облегчая другу понимание: шутка, – и Фриц поддержал.

– Куда ты бежишь? Посиди! О-о, он уже не здесь, в глазах что-то движется, наш Эбергард уже где-то... Небось, опять к девчонке какой? Ну, ладно, давай не пропадай, заходи, звони... Надо бы нам опять вчетвером посидеть, сверить часики... Позвони Хассо, а? И давай не затягивай, решай свой вопрос, а то «Фриц, меня уволили... Фриц, как бы мне потише уйти...» Ну, беги, не можешь уже, беги!

Он вышталался в коридор, сразу – на аттракцион «подвесной мост», каждая дощечка внезапно проваливается, каждая дощечка поднимается, лестница резко уходит влево, веревочные поручни расходятся в стороны, растягивая руки, – к стене, к закрытой, пусть нарисованной двери, даже к двери бывшей, заложенной камнем, даже к тени, похожей на дверь, полушпагатными припаданиями на всю длину ног; сторонящимся встречным казалось: упадет, падает, но идет, значит – инвалид, идет своим способом передвижения, приноровился; Улрике не звони-

ла, он двигался лишь потому, что кто-то из собранных в его «я», но находящийся вне Эбергарда и чуть сверху хотел, чтобы Эбергард не стоял на месте, никогда не сдавался, двигался вперед, Эбергард должен выработать ресурс... получено новое сообщение, сообщение – неважно, о важном бы позвонили; едва прочел и стер тут же, как только уловил смысл: Эрна, это Эрна ему прислала сообщение без обращения «папа», сразу суть: что «перед школой» к ней подошел человек и попросил передать привет папе, вот она после третьего урока на перемене и передаст: тебе привет! – На этой неделе Эрна уже раз позвонила сама (насчет классом в Италию), вот теперь сообщение, вот что-то и начало восстанавливаться в отношениях перед судом... Эбергард стоял среди пламени – должно жечь, не жгло, он уже не жмурился, не щурился, а осторожно оглядывался: да вот же огонь, языки, вырывающиеся из земных трещин, гуд, сотрясения... он кому-то объяснил смысл всего того, что... у него оказалось мало пространства для движения, времени хватало, но пространства недостаточно, потому что Эбергард – не лично один Эбергард, есть еще люди, которые как бы тоже он, Эбергард, входят в состав, объединенная такая транспортная система, узлы связи, обращение крови и главное – ветви других нескольких жизней, корнями собиравшиеся в нем, он не мог двигаться настолько свободно, как следовало, так, как любой на его месте; не хотелось произносить «невезение», он из сильных, он выше, но вот – пространство, он не смог существовать отдельно; позвонил Роману и голосом обыкновенным, пока кожа лопалась на лице и над сердцем, открывая уровни и опоры внутреннего устройства, говорил:

– Роман. Я вас прошу: остановите. Уберите это всё. Завтра вечером я внесу из собственных средств... В полном объеме. Куда привезти деньги? Я буду один.

Поднимаясь на поверхность из потного, молчаливого, шаркающего метро новобранцем в эскалаторной колонне, новеньким, еще не привыкшим горбиться, Эбергард поднял глаза – под куполом вестибюля покачивался воздушный шарик, некуда улететь; высвободившееся место (всё меньше и меньше, о чем требовалось думать) заполняло высокотемпературное: если умрет мэр, если мэра не утвердят, если Путина взорвут чеченцы, если Лиду посадят и бизнес она подарит питерским, если Эбергард честным трудом и скромностью заслужит дружбу генерал-полковника ФСБ или сенатора, который как бы оставил бизнес и ни при чем, но из тени рулит многим... Дальше Эбергард не представлял, возвращался к началу, к этому «если» и проживал мечту еще раз.

Риелтор – его Эбергард знал, с косой подкрашенной челкой, скрывавшей стеклянный глаз, через разные временные промежутки выходил из квартиры и задавал Эбергарду вопросы, возникавшие у риелтора постарше званием – его Эбергард не знал, – белолицего мальчика, только что полученного из интернет-магазина, одетого во всё только что купленное. Эбергард думал: никогда, небось, не полол он картошки, и не тащил мешок сахара с «Бежецкой» кольцевой на радиальную, и не ходил неделю счастливым покупкой матери сотни крышечек для консервирования; Эбергард ожидал конца процедур, гуляя от грузового лифта до пассажирского, не согревались ноги,

никто не звонил; риелтор незнакомый очередное спросить вышел сам:

– Свидетельство о собственности у вас с собой? Можно взглянуть? И паспорт, – мальчик что-то сличал. – Скажите, – что-то смущало его, не относящееся к бумагам, – это ваша квартира?

– Моя. Собственник я один.

– Почему вы не хотите зайти?

– Просто не хочется. Можно мне подождать здесь?

Оба риелтора что-то еще поделали там, щелкали выключатели, хлестала в раковины вода, постукивали сгибы пальцев по стенам, с кем-то уточняли по телефону и вышли хирургами, наложив швы, к поднимающейся с лавок дальней родне.

Знакомый риелтор тайком мигнул: да, срастается; и опять обезличил: я, собственно, так, консультации, чисто помочь.

– Ну, объект, конечно, эксклюзивный, – признал мальчик. – Авторский дизайн. Мебель, скажем там, неплохая. И расположение.

– Детская вообще супер!!! – знакомый риелтор показал Эбергарду: вложилась, молодец!

– И то, что никто не жил. Никто не жил, правильно я понял? Я думаю, в пределах той суммы, которую вы обозначили, мы можем ее взять, хотя это как бы предел того, за сколько можем...

Никто ничего больше не говорил, до тягости, словно Эбергард не дослышал знак вопроса, а остальным кажется: думает он, додумает и ответит.

– Только... – мальчик помолчал еще, признав молчание своим, – Эбергард, так вас? Эбергард, вы должны знать, это в плане совета: приобретая квартиру в сжатые сроки – за сутки, – агентство вкладывает собственные или заемные средства, и поэтому

вы теряете – до тридцати процентов от рынка. А то и больше.

Эбергард не понимал, почему мальчик на него вопросительно взглянул, и, чтобы как-то вытолкнуть забуксовавших с топкого места, он ведь тоже участник, пожал плечами: ну, ясно.

– Если вы располагаете, например, месяцем, – мальчик говорил что-то противоречащее законам жизни собственного костюма и галстука, знакомого риелтора тяготило это излишество, он поднимал брови: ну на хрена... – ваши потери могут быть существенно ниже. Может быть, у вас есть хотя бы две недели? Или вы уезжаете? Может быть, перенести отъезд?

– Закончим завтра, – то, что сказал Эбергард, почему-то прозвучало как «умер», и все сразу закачали головами и скорбно сжали губы.

– Понял. Ну что ж. Двадцать четыре миллиона, – мальчик пожал Эбергарду руку. – До завтра.

– Мы договорились окончательно?

– Да. Вы сомневаетесь в моей правомочности? Двадцать четыре. Сумма не изменится.

– Через час вы позвоните: так получилось, что ваш генеральный директор был не в курсе, а теперь в курсе, устроил скандал, кричал, грозил уволить, вообще запретил покупать эту квартиру, и вы его еле уговорили, но самое большее, что он дает, вы выбили из него! – двадцать два пятьсот. В шесть утра предупредите: если хочу получить наличными в условленные сроки, придется взять на себя расходы по обналу. В девять: еще заплатить инкассаторам. Двое и водитель. Перед оформлением сделки выяснится: ваш юрист на срочном выезде в Подмоскowie, уже не вернется, а ближайший юрист, способный всё оформить,



берет пять процентов от суммы. Или – всё откладываем на неделю, – Эбергард перечислял без обиды: просто хочу выяснить, на что рассчитывать!»

Мальчик серьезно кивал каждому слову, смотря Эбергарду куда-то в грудь, и, дослушав, сказал:

– Вы получите завтра двадцать четыре миллиона, наличными, в рублях. Мы договорились на эту сумму. Она окончательна. До завтра.

Эбергард не пошел в лифт.

– Вы с нами? Остаетесь? Отдать вам ключи?

Поколебался и:

– Нет. Я так, – он остался и сбоку, оставаясь незаметным, украдкой посматривая на свежеставленную дверь, отмытую от строительной пыли, – дверь весело уставилась глазком на соседку напротив, заодно косясь градусов на триста шестьдесят, дверь, скрывавшую топот веселых маленьких ног; он слышал крик Улрике: «Сколько можно звать? Все завтракать!» – и свой голос, и сторожил: не приближаются ли голоса, не собираются ли открыть дверь, вести в сад или школу; переступил поближе к выходу на пожарную лестницу – успеть выскочить, если что, чтобы не увидели, как подслушивает, о чем разговаривают гости за большим столом (наверное, у Эбергарда юбилей, все замечают: Эрна от него не отходит); вот, дождался: вот Эрна, бежит впервые по квартире и кричит от восторга, распахивая... И еще дверь, и еще. И еще! – и замирает посреди собственной комнаты; он увидел ее лицо, отражение каждой вещи, разных цветов в ее глазах, на самом деле отражается одно – его любовь; не выдержал и улыбнулся: столько в своей комнате она расскажет перед сном... Ночью он зайдет поправить одеяло. Эбергард видел: эти люди, что поселились и останутся жить, смотрят

из своих окон на юг, и особенно нравится: вид на север; как удобно встала кровать, покупали под размер, хорошо, что предусмотрели видеонаблюдение за няней... Такая большая квартира, что, когда звонят в дверь, надо долго идти. Когда звонят в дверь, Эбергард начинает свой путь издалека – из кабинета, и из каждой комнаты на его пути выходит еще человек: улыбается Убрике, выбегают дети, выглядывает его мама – всем интересно: кто пришел? Все идут за ним – открывать, большая семья. Всё есть. Вернее – будет; значит, почти есть, просто дорога будет чуть длиннее, Эрна будет чуть старше, и он – чуть старше, чуть меньше им быть вместе, но ничего... Нормально, ничего.

Эбергард ткнул покрасневшую кнопку вызова, лифт, отвернулся и вытер лицо, хотя на самом деле ничего такого не происходило, будет другая квартира, просто чуть позже, может быть, не так как бы масштабно... посмотрел на мокрую руку и не стал ждать лифт... Утром его позвал Хассо, ты там не сильно занят? – от Хассо тепло, в префектуре ничего не почувствовал, место, хорошо знакомое ему, вот только Хассо страдал, словно после чего-то болезненного отходила заморозка:

– Гоняли, ба-алин, хоронить Ельцина. Префектов с замами!.. изображать простых жителей!.. толпа такая, в кашемировых пальтишках, и никто руки поднять не может от тяжести золотых часиков, промерз, ба-алин, в своем пальтишке, что купил на распродаже в Дубаях, дожили: уже на похоронах выполняем программу «Зритель», а то икону встречали... Но все, конечно, оценивали позицию мэра.

Что-то вспоминалось из прошлого:

– И как?

– Несильная позиция. С семьей не шел. С президентом не шел, и даже позади президента не шел. Вообще – за оцеплением фэсэошников шел. Похоже, не утвердят. Ну как вы, Виктория Васильевна? – потому что зашла Бородкина, Смородино, муниципалитет.

– Выборы обеспечили. Районное собрание дружно работает, – глазами с Хассо на Эбергарда, угадывая, пробуя такой тон и такой.

– И голова у вас взлетела до самого космоса...

Бородкина смеялась, вытирая настоящие слезы: скажете... Скучаем без вас! – сопровождая взглядом каждое перемещение Хассо – он отлучился в комнату отдыха за двумя скрепленными листками.

– Хочу почитать вам, та-ак... Генеральный директор спортивно-развлекательного комплекса «Смородино – здоровье, будущее, доброта» в прокуратуру: полтора года не можем начать строительство комплекса из-за проволочек со стороны муниципалитета при согласовании проекта, несем убытки, тра-та-та... Такого-то числа к заявителю пришел человек, представившийся Владиславом, зятем госпожи Бородкиной Вэ Вэ, руководителя муниципалитета... И разъяснил при свидетеле таком-то, что хотел бы на правах частной собственности владеть ста квадратными метрами в будущем комплексе. А если так не случится, то муниципалитет не согласует проект никогда, для предпринимателя это непозволительное обременение, да и противозаконно, вымогательство. Аудиозапись беседы с лицом, представившимся Владиславом, прилагается, – и ловко убрал листки под стол, когти Бородкиной хапнули пустоту. – Ну что, крыса?!

Эбергард не смотрел на Бородкину, но видел, как трясутся ее губы и волнами по коже идет красный, си-

ний, белый цвет, каждый раз смывая глаза до полной неразличимости, а потом они нелопнувшими болезненно-белесыми пузырьками проявляются и взмаргивают вновь.

– Это надо остановить, – Бородкину словно погрузили в какое-то несвойственное состояние и там, в состоянии, ей показывали страшный сон про нее, что-то надвигалось, – Хассо, остановите, умоляю!!!

– Иди отсюда, – послал Хассо. – И напомни там специалистам органов опеки: скоро суд!

– И я пойду, – сразу собрался Эбергард. – Спасибо! Что ты такой недовольный?

– Да задолбали Пятикуровским кладбищем. Мэр каждую неделю с объездом. Все префектуры подключились, миллиард изыскали из фонда чрезвычайных ситуаций... Швейцарию делаем! Газоны! Фонтаны! Переложили все теплотрассы – под землю! Кипарисы, блин. Кедр. Мрамор и гранит! Дорожную развязку! – остатки прежнего Хассо насмешливо взглянули на Эбергарда. – Понял, где похоронен отец Медведева? Вдруг захочет навестить, а у нас – вон какое благоустройство! Кованые решетки! Корзины цветов – посреди промзоны! Очистные сооружения в форме каскадов прудов! – Хассо раскинул руки и прокричал: – Скульптурные группы скорби!!!

Утирая осенние капли под носом, Эбергард спустился в метро, выждал время, пока все вошедшие в вагон нашли пристанища своим глазам, посеяли их кто в газеты, кто в книги, в наклеенную рекламу, впереди расположенную пустоту, разглядели сидящих старожил, и только тогда – огляделся сам: с лавки, слева наискосок, в упор на него смотрела строгая женщина, уже побывавшая в стране диагнозов в полторы страницы и желавшая другим только «здоро-

вья!», она, как и все ее сверстницы и однополчанки, оделась клоуном: малиновая краска на преувеличенных губах, глаза, обведенные сажей, петрушечные рукава, меховая беретка набок и коротковатые штаны, – недовольна Эбергардом, осуждала, словно из-под него натекает лужа, скомандовала «надо!» – и вскочила, как парашютист на выход в небо, два перехвата поручня – рядом!

– Самсонова Алевтина Александровна, контрольно-ревизионное управление... Эбергард? Видела вас на коллегиях, так знаю... В курсе, что мы – очень серьезно! – проверяем использование бюджетных средств пресс-центром? Прошлый год смотрим. Позапрошлый. И более ранний период... – ничего не волновало ее, каждый кормится своим, у каждого свои крючья, чтобы цеплять за бок живое. – И неблагоприятное впечатление в целом... Неделька нам еще осталась, но акт я уже набрасываю... – показала углом губ «ну вы и наворотили». – Миллион шестьсот выставлять будем подрядчикам вашим к возврату в бюджет. А дальше – как префект посмотрит. Может быть, и в прокуратуру. – Всё, что хотела сказать; отвернулась проверить: ничего не изменилось в схеме метро, не отросли никуда линии? и так противно рядом с такими, а он еще и молчит!

– Но я человек, – сказала она мягче, поближе сведя губы, в детстве и юности Эбергарда так говорили про «блат», – и всё понимаю. Акт как напишешь... Можно и в общей форме указать, что небрежность в оформлении, не все акты выполненных работ предоставлены в срок... Отсутствуют кое-где подписи исполнителей. С учетом прошедшего времени...

– Спасибо! – Эбергард услышал свой голос, как незнакомый – как ее зовут? – улыбнуться и благо-

дарно, как заведено. – Я завтра подвезу. Вы уж меня ориентируйте.

– Сто, – беззвучно, отрывисто выдохнула она, словно обрабатывая произношение нерусского языка или упражняясь дыхательной гимнастикой, и еще разжала и сжала пальцы, но, слава Богу, один раз, «пять» – и пятьдесят, сто пятьдесят, Эбергард кивнул: да. Завтра.

– Журнал какой-нибудь принесите: вот, Алевтина Александровна, статья, что я хотел вам дать почитать, – зацепила щепоткой Эбергарда за рукав. – Знаю вашу ситуацию, извините, что столько. Я не одна. Надо, – как и все, она показала наверх. – А тем – надо тоже, – и показала еще повыше. – Удачи!

Хорошо. Ждать не пришлось. Роман со своими (да с кем угодно, Эбергард деньги нес) прохаживался уже в углу парковки «Веги – Красная дача», где останавливались бесплатные автобусы (договорились «где автобусы»), – трое; казалось, его ожидают люди расслабленные, обезоруженные, преодолевшие плотные слои атмосферы, где вовсю жарит, занявшиеся уже другими и другим, из глаз их он, Эбергард, в основном уже стерся, отдаст мешок – сотрется совсем; казалось: такие ж люди; ведь и он о другом сейчас думал, о чем хотел думать без помех, к чему наконец прорвался, с этим порешав: будет суд, уладится с Эрной, поменяет работу, весна... Да, еще родится девочка.

Трое выдвинулись к нему, словно не утерпели, покончим же! – и он прибавил ходу: и ему не терпелось не меньше – больше! Поперек встречного движения черный сарай типа «лендкрузера» высунул чуть аварийно замигавшую морду, Роман со своими потоптал

ся и завернул за него, будто играли: заметил, куда мы? – правила осторожности, ревподполье! – и Эбергард свернул за ними: где вы тут?

Роман стоял, приготовленно расставив ноги, удерживая карманами пальто трясущиеся руки, за чем-то хотел выглядеть серьезней и круче, иноземно – босс! Второй стоял боком за Романом, просто человек, вроде Эбергарда; третий, в куртке, с серьезным животом, с круглой головой отставника, осиротевшей без фуражки, уже шагнул Эбергарду навстречу, приготовив руку: давай; и ушел с мешком; в джипе одновременно (именно одновременность поранила Эбергарда: и здесь неведомое ему и сильное «всё готово») приоткрылись передняя и задняя двери, но без последствий, словно проветриться, – вот при ком Роман собирался выступить по-взрослому.

– Даю месяц, чтоб собрать остальное.

– Там всё. Двадцать шесть, – как и обещал: всю сумму.

– Это не всё!

– Я брал двадцать шесть.

– А дело не в том, не в том, твою мать, – рот у Романа запрыгал, что-то раскусывая, невидимое, начавшее сопутствовать словам, – не в том, сколько ты получил, а сколько я потратил!!!

Из передней дверцы «лендкрузера» вылез еще один – легко одетый, словно на минутку – отлить, Эбергард заметил только свежую стрижку над воротом черной водолазки и пушистые детские брови; встал за Эбергардом и сказал ему, но одновременно в сторону, словно скрывая свой личный запах:

– Не бзди, просто поговорим. Ничего тебе не сделаем. Аккуратно себя веди.

Эбергард показал: «я смеюсь», показал: «закончили и до свиданья».

– Ты мне всю жизнь будешь платить, – вполголоса кричал Роман, освободил руки и растирал одна другую, потом гладил запястья, сминая в гармошку рукава.

– Всё, все молчат, – сказал из джипа кто-то старый. – Ты, иди сюда.

Роман старушечьими мелкими шажками, как за благословением, подбежал к приоткрытой дверце и взгляделся в автомобильное нутро, не останавливая ни на чем определенном и ограниченном взгляда – как в неподвижную колодезную тьму, как во что-то скрытое его собственным отражением: откуда это с ним говорят?

– Чем вот ты можешь доказать, что он отдал не всё?

– По закону! Можно и в суд пойти! По статье пятнадцать Гражданского кодекса лицо, права которого нарушены, требует полного возмещения убытков. Включая упущенную выгоду. Недополученный доход, – Эбергард видел, что Роман боится и не всё знает, как здесь делается, и спешит. – Я под контракт взял кредит, а это проценты! Я проплатил подрядчикам, – он сунул в джип картонную папку, – закупился... Кто вернет? Он мои деньги месяц крутил, за это тоже процент, на сумму средств. На каждый день. Как решу, такой процент. Не отдаст за месяц, я и на остаток процент положу!

– Всё с тобой. Свободен.

Роман облизнулся, как-то неприязненно еще заглянул в джип: есть там вообще кто? – и побежал к машине посреди своих, помахивая руками на ходу, дуя в кулаки, так делают люди, чтобы показать: намерзлись, во как холодно, вот почему бежим.



– Теперь ты.

– Ничего не сделают, – пообещали за спиной. – Разберемся. И пойдешь.

На заднем сиденье джипа, раздавленный огромным животом, полулежал краснолицый лысый человек с лошадиными угасающими глазищами, он поморщился, словно за Эбергардом сияло солнце:

– Ты главное скажи: заведомо? Или «так получилось»? Это важно знать.

Эбергард не понимал, ну не понимал он никогда языка людей, окружавших его, он, как всегда, угадывал по интонации:

– Так получилось.

– Хуже, когда заведомо, – признал человек, но ему не становилось легче, брюхо также давило его. – Сейчас сможешь отдать?

– Я никому не должен. И ни за месяц, ни за год, я...

– Да нет, – успокаивающе попытался приподнять человек приваренную к колену руку, – давай так. Тебе три дня. Ты нам должен тридцать миллионов.

– Я вам не должен, – Эбергард поклялся: никогда больше я его не увижу, не буду стоять так.

– Мы свои деньги выгребем.

– Нет, – на всё надо отвечать, только не молчание.

– Тогда через три дня заберем тебя и поедешь с нами на этой машине, – человек всё время смотрел ему в глаза, тяжелей и тяжелей, совершая что-то непоправимое, разрывая что-то внутри Эбергарда.

– Я обращусь в милицию.

– Это только немного продлит... Когда-то ты всё равно выйдешь из дома за булкой хлеба. Или увидишь в этой машине свою жену. Или дочь. Мы еще матери твоей расскажем, сколько ты должен. По-любому: все мешки развяжешь и отдашь.

– На всякую силу найдется другая сила, – Эбергард упирался, напрягал мускулы, но не мог сделать слова значимыми даже для себя. – Или вы скажете сейчас, что пошутили, или другие люди будут решать с вами мой вопрос. – Следовало показать: «жду ответа», но он побежал, хотя шел не спеша, побежал в сторону бесплатного автобуса, понятных, забитых, понурых, сознающих себя счастливыми и не признающих себя несчастными людей, застигнутых временем на этом месте – ну и что, что на автобусе, может быть, есть у него машина и покруче, просто сегодня ему удобнее на автобусе. А машина у него есть. Всё, что думал, сбилось в ком там, внутри, и прутья вокруг, и сыпучее, и сверху – сползли пласты снега, оказываешься в тишине... женщина-милиционер в бронежилете на входе в метро, такая мрачная, вы такая мрачная: позади ужасный день или впереди бессонная ночь? качнула она шапкой: и то, и то... только разговоры с Улрике; думал: она не сможет переехать к маме, ей уже до кухни трудно дойти, очень набрала вес, неузнаваема... не забудь сдать кровь, чтобы нашего папочку пускали в роддом к маленькой, у тебя всё готово к переезду, список «что купить» отрастает на третью страницу, как себя чувствуешь? Ты как себя чувствуешь? Найди в аптечке и выпей это! Никак не получалось пристроиться: садись на диван, и он качается в ширину: раз, раз и раз... Уложив, устранив, он приступил к изучению старого времени, раз уж образовался такой вот период: значит, время представлено двумя стрелками – большой и малой, движутся обе, большая (но потоньше) догоняет и обгоняет. Стрелки – мечи и ножницы, угрожающий металл; всё, что отсекает и рубит; опыт у Эбергарда имелся, школьные часы говорили о многом; время всё движется без всякого

завода. Шорохом. Стрекотом. Оно как-то связано с тем, что Эбергарда не будет. И с другими изменениями. И с хорошими изменениями, но «хорошие» размещаются, в основном, в «раньше», в «раньше» он этого не понимал, хотя о времени думал часто и про исчезновение задумывался; когда ты радовался, вдруг подумал он, когда я радовался? – он сидел, потом лежал над часами, наметив увидеть, как сменой цифр, неуловимым миганием поменяется дата, то есть наступит новый день, потом «ноль шесть», «ноль девять» (имя и фамилия: Ноль Девять); полежал еще и обрадовался некой невспоминаемой мысли, не умщавшейся в человеческие представления и указывавшей на засыпание, перемещение по течению, но потом понял: нет; и признал: не заснет... А ничего не сделают, всё отдал, они-то думали, а он не испугался, на всякую силу другая сила, забудется...

Утром ответил на звонок Фрица: мэра утвердили, Путин, посещая район Чуркино, дал понять: да, мэр остается, хотя торговались до последнего, и в Чуркино мэр слегка пожаловался: вроде вопросы порешали, но аппарат ваш требует с меня еще того-то и того-то, а Путин сказал: да никого не слушайте, мы же порешали; мэр бросился раздавать облегченные интервью, но аппарат мстил – с пятницы все крепостные СМИ пели: документы на предоставление на новый срок в гордуме, а документы привезли только в три ночи в субботу; включил – в телевизоре мэр разъяснял собственноручно откормленным депутатам программу деятельности с обычными барскими паузами, изнуряюще долго, председатель гордумы, набравшись отваги, тронул звончок и просипел, как человек, которому вот-вот оторвут башку: сколько еще времени потребуется для выступления?

Забыл телефон и вернулся, а Улрике – ничего, раньше бы переполошилась: а ну, не переступай порог! Посмотри в зеркало! Перекрестила бы – размашисто и сильно. Он болезненно замечал, что Улрике упускает... Напряженное внимание к нему теперь прерывисто. Не целовала на ночь, или целовала, но не говорила каждый раз новых особенных слов, или говорила особенные слова, но не таким каким-то голосом; он жаждал прежнего напряжения и даже большего, а Улрике устала, приручила и устала; он думал: и устанет еще, а его слабость требует постоянных, умножающихся подпорок, он хотел стареть радостно, умаляться, окутываясь безответственной ватой; послал Эрне «Пойдем на крестный ход?» – сразу ответила (вот как научилась быстро набирать): «Я с мамой. Не потому, что так мама сказала, а потому, что сама так хочу»; у подъезда его встречали спортсмены, двое стояли тесно – чтобы обойти, ему пришлось воткнуть ногу в обжегший сугроб. Павел Валентинович собирался сказать, что больше работать так не может, – помаргивая дальним светом, пристроился черный джип с черномордой улыбающейся парой, пассажир помахал Эбергарду сквозь летящее поперек что-то снежное; у Эбергарда затряслись ноги, он разжимал их поочередно, давя на несуществовавшие педали, но не проходило, набрал Леню Монгола – нет ответа. От поликлиники отпустил Павла Валентиновича, не мог уже больше с ним ни говорить, ни молчать; из джипа Эбергарда окликнули «эй», не оборачиваясь, он вошел в поликлинику, растер у гардероба ладонью бок, ужас селился в животе, не отпуская, он шел по какой-то поддающейся шагу доске и сох в мясную ободранную тушу с уже частично отрубленными лишними частями: сдать кровь, чтоб пускали в роддом.

Очередь на сдачу крови ожидала, пока медсестры выпьют чай, с одинаковым странным напряжением все смотрели на плазменную панель в торце коридора, на страшную картину и слушали замогильное: «Самка стрекозы пытается отложить яйца в ткань водных растений с помощью колющего яйцеклада». Кровь, подумал Эбергард. Тоже выход. Леня Монгол перезвонил:

– Пропал куда-то... Залег...

– Куда я денусь, – изо всех сил зажмурился Эбергард, согнулся, терпя боль, напугав окружающих. – Хотел с тобой переговорить, в плане совета, оперативно.

– Давай, давай, – напевал Леня Монгол, что-то еще делая попутно, какой-то тонкий ремонт, обеими руками, зажав трубку плечом. – Какой у тебя беспорядок на... послезавтра?

– Суд. Потом в любое время могу.

– Набери после суда, – закончил, захлопнулась крышечка, провернулся ключ, задвинулся ящик, пересчитанные или проверенные купюры обхватила коричневая, бордовая резинка, натянулась, крутанулась восьмеркой и – еще раз перехватила; в полную силу Леня Монгол спросил: – Как ты, устроился?

Чуть не выронив «давно»:

– Да. В среду выхожу.

– Куда? – заработала измерительная аппаратура.

– В мэрию. Не хочу в префектуру. Надо двигаться.

– Ну правильно. Кем?

– В пресс-службу, к китайцу, пока начальником отдела, но с перспективой на зама...

– Ух ты! Ну, жди в гости, чай будем пить. Давай телефон.

– Еще не запомнил, приеду – дам визитку, как полагается.

– Давай, – Леня, передохнув, взялся опять следующее что-то сооружать осторожными пальцами. – Или эсэмэсочкой телефон скинь.

Этот день... что-то... да, мэра же утвердили, словно это еще касалось Эбергарда; на такси ехал в префектуру, в строй, вдруг в надежном тепле, среди знавших его встретится Хассо, вдруг случится что-то там; таксист, намолчавшись, выпалил:

– Весь Махортовский тоннель встал! Вентиляцию отключили, все задыхаются! Коллапс! А с первого мая машин – на три миллиона больше!

Эбергард не знал: что? как? Попробовал:

– Да куда уж им заниматься городскими проблемами. Лишь бы карман набить... Ворье!

– А ветеранам пенсию пообещали в два раза больше прожиточного минимума. По четырнадцать тысяч! – и таксист нахмуренно смолк, поглядывая в зеркало, спросил:

– Это за тобой? Давай-ка я тебя высажу!

Но к префектуре джип не поехал, развернулся через сплошную, ушел на Тимирязевский и на разворот. Префектурный постовой полистал для виду журналы дежурств и почесал под фуражкой:

– Команда прошла из приемной Хассо: не пропускать. И заявки на пропуск вам не принимать. Но фиксировать, кто заказывал. Так что извиняй, – постовой не говорил раньше Эбергарду «ты»; Эбергард непобежденно достал телефон, потыкал кнопки, посторонился, чтоб не мешать проходу, приветствуя знакомых, отодвинулся еще за колонну, чтобы не слышали, кому звонит, выбрался на улицу, не отнимая телефона от головы, еще прошелся по двору и, как только его скрыл угол, двинулся в сгустившейся среде – дорожкой к метро, почувствовав: болят ноги, и оглядыва-

ясь: не догоняет никто? За деревьями не стоят? На встречу? С надеждой выхватил телефон: звонок! Кто догадался остановить?!

– Во-первых, не опаздывай на суд. Мы должны обсудить мой гениальный план. Приходи уверенным и спокойным! И еще, мы не могли бы увидеться завтра? Надо кое-что обсудить. Не про суд.

– У тебя что-то случилось?

– Не совсем у меня. У нас.

– Ты беременная? – почему-то спросил он; рассмеется, когда она: ты что, дурак? Нет, конечно. И начал уже смеяться.

– Ну, я не хотела так, по телефону. Я беременна.

Уже возле метро, на всякий случай, запомнить окружающих, уже пожалев: деньги, и на это нужны деньги, он прокричал, чтобы скорее и с этим:

– Я думал, ты как-то ответственно – подходила к нашему... общению. Ты уже сделала всё, что нужно? Я готов помочь. С врачами, с оплатой! – Неужели у нее ничего этого нет?! – Эбергарда толкали, каждый чувствительно задевал – никто его не видел!

– Я решила оставить ребенка, – много лет женщина хотела сказать так и вот сказала, плыла где-то там повыше в своем клубящемся счастье, что легче воздуха и невероятно грузоподъемно, уже отдельно от пожеланий, желаний, мнений Эбергарда, сразу и навсегда став омерзительной, тошнотворной ему.

– Спасибо! – прорычал он. – Большое спасибо! – и побежал в метро, теперь зачем-то заторопившись, забившись меж спин, и девять станций, девять остановок нянчил телефон в ладони, сейчас адвокат придет объясняющееся, подлизывающееся, покорное, вопросительное, тревожное, сомневающееся, испуганное, но нет, нет и нет!!! Долго прохаживался меж

рынком и «Перекрестком», высматривая знакомых – с кем встречался в лифте, с кем заходил в подъезд: никого, вот! – обогнал нагруженную мать и школьницу – по выходным они выводили дышать крошечную начесанную собачью породу, поздоровались, может, инстинкт, а может, вспомнили; у подъезда трое образовали равнобедренный треугольник, переминались утепленные кроссовки, штаны из непродуваемой ткани, один сказал что-то вроде: вот он, – обернулись, разошлись шире, подтягивая перчатки и засеивая окурками снег.

– Как там в школе? – спросил Эбергард, забрал у матери сумки. – Я помогу. Не идете на крестный ход? – Вот и вместе. – Я на крестный ход пойду, – и вдруг понял: нет, не пойдет и он, спрятал глаза словно под козырек серой такой кепочки, согласившись с пинком, плевком, хватом за шиворот; он низкоросло, как на коленях, загоразиваясь школьницей, протопал в подъезд, чуть разогнувшись, когда дверная пружина отработала в плановом режиме, без задержек; никто следом? и выглянул: пусто? – прежде чем шагнуть из лифта, телефон прозвонил, просто «вызов», он выключил.

– Скорей бы, – стонала Улрике, – так тяжело. Как хочется домой. Ты нашел уборщицу, чтобы перед нашим приездом... Так боюсь рожать! Ты не отпустишь мою руку? Обещай! Ты не уйдешь, даже если я ничего не буду видеть и помнить? Обещай! Больше не уходи, обещай! Днем звонили в дверь и не ответили – кто. Вдруг квартирные воры? Проверяют, есть кто дома днем? Так страшно. Ты точно не знаешь, кто это? Может, позвонить участковому? И почему нельзя включить городской? Эбергард! Эбергард. Эбергард... – словно скачала из Интернета новый голос себе и под-



бирала громкость и мелодию, – пойдешь на крестный ход?

Нет, настроение есть, но боюсь оставлять тебя, уже пора всегда быть рядом; ей казалось: началось, схватки, звонили и звонили подруги, мама, врачи, беременные, рожавшие, кто-то... он зажег свечку, привезенную из Лапландии, и сел напротив пасхальной службы в телевизоре, разглядывая официальные лица, простые проверенные лица, белые платки, коммерсов, желавших казаться простыми, Медведева, Путина, где стоит мэр, как покрашены жены, как терпят дети, ни слова не понимая из... дожидаясь, когда скорым шагом, словно стесняясь, по пустому городу вокруг храма протечет малолюдный крестный ход отборных, помахивая флагами и крестами, и выключил, как только сказали: «Христос Воскресе, дорогие телезрители!»; Эбергард попросил: пусть всё это кончится. Пусть та сделает аборт. Завтра. Пусть больше ее не будет. Чтобы не пришлось встречаться, не пришлось говорить. Пусть и в прошлом ее не будет, пусть так: ее не было и не будет... А суд?.. Проверял телефон: не отстают, звонили; ругался: ведь только зарекся: дальше без личного – и вот именно в этот отрезвляющий момент она... Как посмела думать, что может родить ему. Что ее какого-то... ребенка можно сравнить с Эрной или девочкой, что родит ему Удрикe?! Не мог теперь даже представить себе тело... Как мог этого касаться, ведь никакого особого удовольствия. Вообще – никакого удовольствия. А уж тем более – чувств, и в сто крат более – любви, какой там, на хрен, ребенок?! Подстроила! Доброта, всё его проклятая человечность, сочувствие... Дать немного тепла! Пусть кто-нибудь адвоката зарежет! Он бил и вколачивал в поисковые

строки «как уговорить подругу сделать аборт», «как убедить девушку прервать беременность», «как быстро сделать аборт» и набрасывал кривыми, намеренно неразличимыми (вдруг Улрике...) сокращениями план победы: «отсутствие материальных условий» – не подходит! – так, вот, первое: я тебя люблю; второе: я тебя очень люблю и хочу быть когда-то потом, послезавтра, когда-то (обозначить условия и некий временной протяженный отрезок) с тобой навсегда путем образования семьи через свадьбу; третье: я не могу без тебя; четвертое: но... Но решение о зачатии, рождении, появлении ребенка должно быть строго обоюдным (у ребенка должны наличествовать обязательно – оба – родителя, чтобы рос он в полноценной любви), ребенок должен на свет появиться желанным – это ведь чувствуется, даже плод чувствует!!! Подсознанием. В подсознании остается! Нежеланность – травма, трагедия на всю жизнь, калека... Так, пятое, тут переходик на: я тебя люблю, но ребенок именно сейчас, вот сегодня по таким-то (продумать каким?) причинам разрушит навсегда, сделает невозможной нашу любовь вообще, вместо того чтобы скрепить, обеспечить уже наше будущее (как ты, скотина, надеешься), наоборот – будущего нас лишит, в этом нет сомнений, это ясно, и ничего с этим не изменится, ни через год, никогда... Шестое: сейчас действовать быстро, когда зародыш, даже не зародыш – какие-то плодящиеся клетки, икра, начальный этап, не перешедший как бы собственно в жизнь, современными методами, без последствий, это будет знаком доверия и доказательством любви с ее стороны, что окончательно закрепит их отношения, а если даже не совсем начальный этап, то (это он сам придумал) зачатый так, вот так вот, орга-

низм не может быть здоров, – генетика там, ДНК, совместимость... они должны к зачатию (можно даже обозначить «когда») подойти ответственно, не рисковать... К чему суета?! Когда они решат, то – желанный здоровый малыш... Не представлял, как говорить без бумажной подсказки, не упустив ни пункта, спокойно, изначально спокойно и зная: убедит, другого исхода не существует, убедит, ясно же; разминался, глядя в окно на неспящую машину, проверяя дверь, слушал, как дышит Улрике, не хотел Веронику-Ларису больше видеть (пусть только суд пройдет), надо только собраться – последний обстоятельный, доброжелательный, уверенный, даже ласковый разговор (ну и потом свозить ее к врачу и подождать у кабинета для поддержки, если попросит, жалея и благодаря, отвезти по итогам домой и даже посидеть у постели, немного – после этого лежат?); один разговор провести как следует, собраться, всё только от него зависит... Разговоры с адвокатом, разговоры с теми, другими существами, разговоры с монстром, разговоры с Эрной, разговоры с кем-то, кому требовалось картину объяснить «объемно», «в целом» – разговоры пылали вокруг до неба и – не прогорало, говорил, говорил, он не «вышел из переговорного процесса», он здесь, «открыт для...», и снова думал: кровь, вот что могло бы... Если бы с ним что-то случилось, совсем непоправимое, какая-то ампутация... Кто-то бы близкий умер. Мать... Еще верней бы – убили... того. Кого он любил больше себя, чтобы жизнь Эбергарда потеряла ценность, так, бумажки, монетки... Тогда – окружившие – они поняли (им бы так показалось): он ускользнул, его забрало горе и власти над ним они больше не имеют, страшнее того, что случилось

с ним, они не смогут уже... Он не мог придумать – кого же так потерять вместо себя, кого у него должны убить, чтобы он вырвался... Неужели ребенка? А вдруг мало им будет и ребенка?.. Ты так и не ложился, нет, а ты что так рано, мне кажется, началось, не знаю, странные ощущения, позвони врачу, неудобно так рано, звони, мы же платили; он сходил к дверному глазку: у лифтов выжимала тряпку уборщица; ты позвонишь участковому? да, если б ты знал, как это тяжело – вынашивать ребенка, мужчинам не понять, господи, за что такие страдания женщинам, неужели трудно было заранее переехать? Потратить три дня?! В новой квартире мне было бы легче... Там всё приспособлено... Я повернуться не могу на этой кухне... Я не могу больше всё это видеть!!! Я ненавижу!!! Ты будешь дома? Ты весь день сегодня будешь дома? А устраиваться на работу? Я думала: какие-то собеседования... Ты мониторил рынок труда? Мое мнение, если тебе оно интересно... Тебе неинтересно? Я же вижу, что совершенно неинтересно, я в твоих глазах – никто! Не верю. Всё, забудем. Ну хорошо, мое мнение: лучше устроиться в иностранную компанию... Видела по телевизору: мэр приезжает в округ. Улрике ушла рассказать по телефону о своих ощущениях, вернулась показать, как выпирает пяточка: видишь, толкается! – чувствует папу, поговори с ней, ну скажи: я здесь, доченька! Ну, говори. Уходила, возвращалась и присаживалась надолго обсудить: я вдруг подумала – она ведь не может прямо сейчас перевернуться? Неужели всё будет сегодня? Или завтра? Уже бы скорей! А если совпадет? Роды. И суд. Я не могу не пойти на суд... Улрике заплакала. Говорила: всё, не плачу, беру себя в руки, уходила в спальню и плакала там громче, он закрыл-

ся дверьми, очистил, не всматриваясь, телефон от нанесенного за ночь страшного сора.

– Эрна, – она отвечала ровно, он не улавливал в голосе ее частиц тепла, каплевидных вкраплений с повышенной относительно среднего уровня температурой, нет, – ты знаешь, что тебя завтра приглашают в суд?

– Да.

– Я не хочу, чтобы ты шла.

– Я тоже не хочу.

– Лучше заболей и не ходи.

Она спросила поживей:

– А так можно?

– Конечно!

Еще веселей:

– И в школу не ходить?

– В школу лучше сходить. Хочешь, поговорю об этом с мамой?

– Не надо. Она тоже не хочет, чтобы я шла.

– Вот видишь, – и чтобы не выпускать, удерживать какую-то жизнь, отклик с той стороны: – Сейчас напишу тебе огромное письмо!

– Я сейчас не хожу в Интернет, – и закрылось.

– Ладно. – Тебе неинтересно, что напишет отец?! лень нажать две клавиши?! всё равно?! – Буду ждать, когда...

Хотелось ему, чтобы Эрна пришла и судья Черденченко всё решила в его пользу, без переносов для «до полного выяснения мнения ребенка». Ему не хотелось, чтобы Эрна приходила потому, что ей (ему!) будет тяжело... Напишу: «Что бы ты ни сказала на суде, мое отношение к тебе не изменится». Не написал. Нельзя проявлять волнения и слабости. Не потому. Потому, что было это неправдой. Хотелось ему

уже не покорения мира, а гораздо большего – добиться любви двенадцатилетней девочки, чтобы у нее жгло глаза, если бы он собрался отсутствовать; Улрике не смолкала, закончив по телефону, шла к нему, жалуясь, причитая и плача; вцепившись в «завтра я должен выглядеть солидно», Эбергард сбежал, у подъезда не встретили; а что скажут, если с ними заговорить, скажут: последний день – он тоже считает; пошел веселей, придумывая шутку; нехотя из теплой машины на холод выбрался злоглазый человек в плечистой куртке блестящей, натянул шапочку на уши и брел по его следам, машина, какая-то машина (вылез из нее? кажется, другая) попятилась с парковки – может, человек шел просто так и машина – отдельно, но всё теперь имело к нему отношение; не верил, надо верить в хорошее, но страх жрал помимо его разумений, сам, к постоянной тянущей тяжести в животе на улице добавлялось предчувствие укола в место, где череп садится на шею, в какой-то подходящий для этого зазор, вот поэтому задирались плечи, прижимался затылком воротник; он делал вид: а, ничего, смотрел сочащимися глазами, как вдруг снесло ветром тучи с солнца, проявились цвета, какая-то весна, способная всё делать другим, пусть делает всё другим... поворот – нет, человек всё-таки шел за ним, вот и машина, бывалая пятерка БМВ, обогнала и, включив аварийку, встала на углу: дальше куда? – в его жизни всегда сбывается хуже, чем худшее, он понял: всё это делается так и существует так, как существует и делается то, что ненадолго и скоро кончится; понял и сразу после сказанных внутри слов «скоро кончится» почувал первый раз за столько дней: легче – и упал, раздирая запястья подставленных ладоней о заледеневшую снежную корку,

потому что догнавший и обгонявший его человек ударил ногой Эбергарда в бедро, без слов, как по спортивному, тяжело покачнувшись, обтянутому резиной снаряду, и прошел вперед не оглянувшись; никто не оборачивался, этого не видел, словно Эбергард поскользнулся и поэтому ворочается в снегу, обхватив бедро руками и скуля, пробуя: можно встать, а теперь: можно разогнуться? – и всё это правильно, переживаемо – Эбергард же не кричал: почему? Не бежал следом за человеком – вот он стоит на повороте возле машины, – так нужно; шаг, еще – шаг, болит, но терпимо – поковылял дальше... Он думал купить для суда костюм, влезал в примерочной в один за другим, переминаясь по полу, усеянному булавками, пластмассовыми подворотничками и кусками папиросной бумаги, за стенкой гнусавил какой-то:

– Нет, рубашку со смокингом носят с запонками... Нет, мне нужен смокинг на две пуговицы... Но чтобы носить с джинсами, а не так, как носят дядьки... Именно черного цвета, а не графитового какого-нибудь... И ткань класса ройял, чтобы ручная работа...

Ничего не подошло, нет; всё время не давая себе оглянуться, хромывая, изображая: смотрю на витрины, ищу костюм, туфли, делая вид: спокоен, кому-то звоню, делая вид: зашел выпить кофе, улыбаюсь своим непобедимым делам... Что-то нагнали дэпээсников, сказал таксист, Эбергард догадался: мэр – вышел и в ожидающей толпе под плакатом «Закладка третьей очереди торгово-развлекательного центра “Радость мира”» замерз так, что заболела спина; за стеклами построенной «второй очереди» угадывались фуршетные столы, голос, выписанный с похорон и демонстраций на Красной площади, вещал:

– Церемонию освящения проводит викарий патриарха Русской Православной Церкви!

Слившись до неразличимости с почвой, толпой, Эбергард наблюдал за монстром – тот прохаживался в короткой куртке на меху и кепке перед выстроившимися встречающими и шеренгой изображавших строителей, подъезжали министры и обнимались с такой горячностью, словно вышли из тюрьмы, оркестр в форме, напоминающей авиационную, грянул «Я по свету немало хаживал...» – Мэр, мэр! – монстр выскочил вперед с полупоклоном, выманивая поцелуй и подхватив подаренную ладошку, как брошенную монетку, – золотая! И Эбергард подобрался, выпрямился и почему-то накрыл каблуком конфетную обертку, замеченную на свежевыветенном асфальте, двинул большую ногу, стеснившаяся толпа сбила его и подтащила к мэру, сиянию, где теснились камеры, маскарадные ветераны, невеста в белом полушубке и пружиняще покачивались охранные затылки; высокий остроносый охранник с вздыбленной и колюче закрепленной лаком щетиной на голове насмешливо разглядывал Эбергарда, насмешливо и презрительно разглядывал прочих: куда? к-куда?! – оркестр по новой вступил «Я по свету немало хаживал...», и мэр, держа лопату за черенок, подальше от себя, как венок на могилу, прошел с ближними по мосткам и опустился по лестнице в котлованную бездну, пока микрофоны методичили:

– Восемнадцать лет на этом месте был пустырь! Энергия нашего мэра, талант, новаторские подходы... Ура, товарищи!

Чужой (а ведь забылся Эбергард, всё рядом с мэром повывлетало из головы, вот благодать где, вот что лечит) дотронулся – Пиллос, проходя:



– Слыхал? – и, глядя в сторону, в самое ухо: – Хассо уволили, – и, сладко улыбаясь, отошел, и все разошлись, побежали греться, отбывало телевидение, никто не следил, где там мэр, – и мэр, уже простившись, провожающих отпустив, уже помялся в задумчивости возле лимузина, вдруг прошел вперед – навстречу Эбергарду, так похоже на «к нему», что в Эбергарде заколотилась ночная рука, умоляющая: сейчас, иди к нему и – скажи! – но знал: никогда, нет; мэру что-то мешало при ходьбе, и он пробовал: да, всё-таки мешает, ему подставили плечо, он оперся и правую ногу поставил на носок, охранник, что всем улыбался, присел и найденной щепочкой начал прочищать подошву – мелкий щебень забился в бороздки ботинок, беспокойство и неудобство; мэр попробовал правую: топ-топ, теперь вроде ничего, поменял ногу; Эбергард с двух шагов смотрел на насупленного вислощеккого старика с круглой головой, мог еще ему что-то крикнуть, окликнуть по имени-отчеству и громко сказать: спасите! И торопливо что-то про аукцион, горячее питание, Лиду, мне – пять минут!!! – но знал: мэр не увидит Эбергарда; смотрел и не мог поверить, что всё зависит вот от него, что это он всё так построил, уничтожил жизнь Эбергарда... неужели вот он, одряхлевшее, уставшее, но еще не насытившее себя тело с сивым пухом на шее? и понимал: нет. Нет. Всё как-то закрутилось и закручивается само дальше и всех кружит одинаково, и не разберешь, кто разгоняет, отталкиваясь ногами, а кто едет и уже не соскочишь. Побавровевший от усилий охранник разогнулся, отнес щепочку на газон, гневно взглянул на Эбергарда: че ты здесь? – и побежал занимать положенное место, мэр уехал. Эбергард сел подстричься (хоть что-то новое к суду), увидел в зеркале своего отца, согнутого, бояз-

ливого и медленного; а потом: «вот я»... как стричь, как вода, как погода, боялся, когда звонил неопределившийся, боялся, когда долго не звонил, если продать квартиру матери, если продать квартиру матери Улрике, их участок, машину, квартиру, где он прописан, где живет Эрна, если бы люди, способные дать займы (раз, два; три... может быть, четыре, пять)... если бы он устроился, если бы его видели с мэром, под ясное будущее ссудили бы многие, под пару бюджетных статей и «отношения», а завтра Леня Монгол, сейчас суд, главное суд – сделает и освободятся руки, всё делал правильно, чтобы устроиться, нужно время... когда-то давно уже, утром, его ударили... Из безопасного тепла, из-под прикосновений худой, быстро онемевшей стилистки (она отсканировала часы, туфли, отсутствие кольца, но звонок Улрике и короткий разговор обнулил его счет, и стилистке пришлось снять кассу и заниматься оформлением возврата), она умиралась с утра на каблуках и присела на перекатывающийся стул с вращающимся для перемены высоты сиденьем; он вышел в какой-то запнувшийся, по-утреннему пустой мир, ветер по-другому оведал стриженую голову праздничным холодком, и сам удивился: почему вдруг таким счастливым идет он по тротуару, и улыбается, и замечает всё, как после отсутствия: вот новое солнце, вот его время, вот человеческие лица, и в каждом свой свет, – что-то с землей и временем произошло, приблизилось всё и изменилось: то схватывала сердце грусть, то ощущал он томление надежды на что-то, радость окликала его, словно вот она, очень рядом, просто вовремя оглянись и опознай, успевай в ее скоротечность; он почувствовал себя школьником: куда-то ходил он вот так же, словно по этой улице, по такой же свободе и просто-

ру, так ходил он на речку, подумал: река – и почуял запах воды, лопались какие-то преграды вокруг него, и прошлое не просто обнажалось – оказывалось частью света, стороной его жизни, можно прошлое увидеть, в прошлое зайти... Он шел быстрее и быстрее, почти не хромя, чтобы не отстать от этого удивительного, внезапного ощущения прочности и тепла, и вдруг – понял; остановился и – понял, почему всё так: серое, влажное протяженное пространство Кутузовского в обе стороны лежало пустыней, из тумана в туман, четная и нечетная стороны его невероятно соединились проходимым асфальтовым полем, вечная разделенность пространства течениями и смертоносными скоростями пропала, и тотчас опустилась тишина и проросли запахи весны, расправилась земля меж московскими холмами, и ты мог, казалось, пойти, куда хочешь, – иди, всё, что разделяет людей, зажило, Кутузовский – пуст: ждали Путина. И вот уже пронеслись злые, колючие мигалки и рабски стоящие на коленях невидимые автомобильные лавины заныли свое многоголосое «ненавижу!!!», подтверждая – едет, и Эбергард вернулся сюда, всё кончилось.

– Вероника, – во рту родилось это имя, без добавлений «Лариса», уже поздно, так и не запомнил основное имя – я очень люблю тебя, – сбой, «очень» лежало в ячейке «во-вторых», один пункт сократился, но остальные он соблюдал точно, адвокат не перебивала, но слушала с близи, вот же шорохи присутствия и шершавость дыхания, ему казалось: говорит он и – тает ледяное, растапливается, растекается всё угрожавшее ему приближеньем, да там уже ничего нет; то ему казалось: говорит и – ничего она не слышит, как и все, Вероника-Лариса не видит его, несуществование; он говорил (хотя чувствовал «а, всё равно уже»),

не сбившись ни разу (так он обосновывал новые сметы и принимал проверяющих), и даже до перелива наполняя чувством слова, страстью, желанием сделать всё как надо, как всем будет лучше, веря – так, да; даже приготовились слезы, жаль, она не видела Эбергарда глаза; именно в минуту, помеченную «теперь она», словно держа перед глазами свой экземпляр, адвокат сказала:

– Мы никогда больше не будем обсуждать это. Я благодарна тебе. За любовь. Сейчас не время говорить про будущее. Пусть сначала появится маленький. Я со всем справлюсь.

Он, еще не остановившись, не остыв, подумал: прогнать по второму разу, опустить вспахивающее устройство поглубже, заглянул под днище – а, нет, глубже уже нельзя, да и завод кончился, и последним вывернулся наизнанку:

– Я, ты же знаешь, как я отношусь к детям. Я не могу так. Чтобы мой ребенок был у кого-то, где-то там... У тебя. Я не хочу. И не хотел.

– Ты не понимаешь, что со мной происходит. Я начала жить, – вот и у нее там также подготовились слезы. – От тебя ничего не потребуется никогда. Я знаю, что ты очень хороший отец. Не знала бы – никогда бы не... С ребенком сможешь проводить столько времени, сколько сочтешь нужным. Может быть, иногда будем ездить отдыхать вместе. Завтра не опаздывай в суд.

Он еще пошел – туда, ближе к середине Москвы, в сторону уменьшения и исчезновения расстояний – туда, куда, надеялся, за ним побоятся пойти, – пронзая экскурсионные толпы, оглядываясь на фотографические вспышки, вмуровывавшие его в чужие вечности, на белые рубашки в ресторанных витринах,

посреди шага показалось: мужчина в ресторане похож на Хериберта; мимо, но всё же обернулся: правда, Хериберт, разглядывает близоруко, поднеся к носу, словно принюхиваясь, меню, манекенно-неподвижно; заметил Эбергарда первым, когда уже поздно метаться, и спрятал лицо. Ты? – Эбергард протянул руку к стеклу, но передумал и резко – внутрь! – огибая «вас ожидают?», так стремительно меж столиков, диванов и кресел, словно в игре побеждает тот, кто первым отыщет и займет свободное место. Хериберт ожил, поднял брови, подарком вручил правую ладонь «ты?!», «откуда?». Фриц проговорил что-то предупреждающее Хассо и, не поднявшись навстречу, возмутился:

– Не звонишь! Совсем нас забыл! Сообщения посылаю! Ты получал мои сообщения? Странно. Ты уже молодой отец? Угощаешь? – и с напряжением захохотал, и подсказал устраивающий всех выход: – Или спешишь?

Хассо пожал руку, но с запаянным ртом: просто жду, когда ты уйдешь, – не шевельнулся придвинуть стул или расчистить на столе место, четвертый – глава управы Смородино Ваня Троицкий – вот она замена, попытка (не в первый раз в новом составе они...) обновить породу, теперь пришедший к этим мертвым людям (Хассо уволен, зачем?) в прощальный раз, слабо шевелился, здоровался, не хотел лишних хлопот и ждал разъяснений.

Эбергард забрал стул, не нужный жующим соседям, и присел с торца, председателем: вас собрал я.

– Располагайся, сними пальто, – Хериберт поерзывал, вздыхая «что я говорил!», «если бы на втором этаже...», и смотрел со стороны, как на оплаченное представление, не имея ни малейшего жизненного

отношения к вот этому всему, никто не запевал, и поэтому он, словно за кого-то подзабывшего слова, подсказал, поискал спичкой керосиновые пятна: – Ну, как ты? Устроился? Что будешь пить?

– А как вы? Отдыхаете? Сверяете часы? Готовы к воспроизводству? Живорождению и млекопитанию? – оглянулся на официантку. – Умеете язык трубочкой сворачивать? Читали рекламу «Эрекция в день обращения»? Это про меня. – Почти никто уже не существовал, телефон не жужжал, в «контактах» слоями лежали замолчавшие номера, как потравленные насекомые. – Мои друзья. Столько лет по жизни идем вместе. Шел к вам и подумал: вот стоит ларек. Что это значит? Значит, занесли две штуки в потребительский рынок под конкурс...

– Сейчас поболе, – Хериберту очень всё нравилось.

– И каждый месяц – пять сотен. А таких ларьков в округе шестьсот двадцать...

Ваня Троицкий длительно взглянул на Хассо: бывший первый заместитель префекта тоже слышит это? Вот это неуместное – начало чего-то приличного последующего? Хассо сделал из ладоней противогазовую маску, сунул в нее лицо и туда тоскливо вздохнул, замеряя объем легких.

– Ларьки. Уборка мусора. Возведение строений. Покраска. Озеленение. Железные, блин, дороги. Бензин. Забота об инвалидах. Таблетки в аптеках, ракеты...

– Вообще – всё! – взорвался вдруг Фриц, грохнув ладонью о стол, так что разлетелись вилки. – Ты же это хочешь сказать: всё. Так и скажи: всё!!!

– Да. Всё. Всё собирается и течет наверх, там собирается и дальше течет наверх, там собирается и – на-

верх. Как от ларька. Ларек – в потребительский рынок, потребрынок – главе управы, глава – заму префекта, зам – префекту, префект – часть в департамент, часть – мэру, мэр...

Ваня с грохотом, уронив салфетку и застегиваясь, пролез за спинами возмущенного потерей времени Фрица и не открывавшего лица Хассо вон, прошипев:

– Провокация! – и, отойдя, еще оглянулся: на каждого, кто и сколько, собираясь куда-то звонить.

– Ты зачем людей-то пугаешь? – по-доброму спросил Хериберт, налил себе водки и выпил.

– Мэр, – Эбергард чертил пальцем протоки, – министрам, в федеральный округ, в администрацию...

– Ну, не так же буквально! Не чемоданами же, – Фриц любил точность, если уж начал разговор!

– Хорошо, – Эбергард показал: «подожди», – возможностями, землей, акциями и чемоданами. Я о другом. О непрерывности потоков, – он сложил руками гору, чуть разомкнув ее, как вулкан. – Течет снизу – от судьбы, мента, коммерса, учительницы, от попа... От последнего, на хрен, пенсионера! От каждого купленного памперса!

– Ну, так это испокон, – Фриц поковырял вилок рыбу, не отсюда ли раздается этот раздражающий его звук, но отложил: ладно, разберусь, когда уйдет.

– Я не об этом! Если всё стекается непрерывно... в одно место. Вы представляете, сколько это? Вопрос один: куда девается – всё это? Кому башляет Путин?

Хассо убрал руки и равнодушно ответил:

– Но у него же дочери... Себе на старость. Своим друзьям. У друзей дети.

– Дочерям. Другам... Да они б – захлебнулись давно!!! Они бы утонули там, в своих потоках! Щупаль-

цев бы не хватило подгрести! Карманов! Затопило бы и замедлилось течение! Заторы! Любой организм когда-то насыщается. Брюхо растяжимое, но имеет ограничения по размеру! Но ведь течет! И дальше течет! И течет! Значит... Тогда: куда? Кому наверх башляет Путин?

– И кому? – Хериберт наслаждался.

Эбергард поднялся:

– Ты знаешь. Мы все знаем. Он, как и мы, – за процент. Остальное отдает повыше. И там решают вопросы. Мы, – потрогал плечи Хассо и Фрица, до кого дотянулся, – все под кем-то, мы сами выбрали – под кого лечь. Поэтому так живем. Не просто «так получилось», – он уходил, приговорясь различить голос: кто всё-таки окликнет его, но промолчали; не пойти бы домой и пропасть, но Улрике не оставишь, сразу после родов – в санаторий (уже придумал: из роддома вывезти ночью); к каждому плану теперь прибавлялось «пока хватит денег», как раньше к любому невыполнимому прибавлялось «а если заплатить очень много», а там...

С участковым, заключавшим любое рассуждение «тоси-боси» и обнажавшим на запястье татуировку «За ВДВ!», они встретились у овощного ларька, Эбергард дал ему двести долларов, чтобы проводил до подъезда. Круглоголовый, южнорусского происхождения участковый с напористостью «торгового представителя в регионах», жадно осматривая свою часть земли, на всякий случай шел с отставанием, делая вид, что записывает номера заснеженного автомобильного металлолома.

– В дверь могут и подростки звонить. Из хулиганских побуждений. – Они прощались. – А то, что люди у подъезда... То, что вам звонки на мобильный, город-



ской, тосибоси... подъедьте в ОВД, заявление оставьте, но вообще из практики... – резанул потерявшегося, скользкого человека насмешливыми глазами осведомленного, как работает судьба на районном уровне. – Не знаю, что там у вас, но – если есть какие-то вопросы, – перекладывая папку из руку в руку, – по задолженностям, например. То лучше их в поставленные сроки оперативно порешать.

«Только не завтра», думал он про роддом, суд сначала, чем помазать ногу – упал на скользком; еще попросил у Улрике чашку чая, потом удивился: что это в чашке? – достал бинокль, в окнах напротив увидел девушку – голые плечи, сидит и красится, макая что-то во что-то, и напыляет на скулы, зачем на ночь? – на красится и, получается, встанет, пойдет одеваться, – не сводил с нее глаз: как наклоняется, поднимает руку углом, подправляя ресницы, за дальний взялась глаз, долго, еще кисточкой – легкие, обмахивающиеся движения; этажом выше девушка в пижаме расчесывала и сушила длинные волосы, потом отлучилась в туалет, возвратилась и легла поверх одеяла на кровать, свет не тушила; к ее соседям пришли гости, двое: она в красной майке и белые носочки на голых ногах, улеглась на диван, подошел он и нагнулся, не видно; Эбергард вернулся назад: первая девушка продолжала краситься, вторая девушка лежала не шевелясь; у соседей, принимавших гостей, пока его не было, что-то обрушилось, появился патлатый хозяин с веником, подмел, все ушли на кухню курить; дальше, если повести вправо, – во тьме невидимая лампа высвечивает плечо красноватым отблеском, ни одного ребенка; в пижаме – лежит; где девушка красилась – потерял – или погасила, или ушла одеваться на другую сторону; вот еще не спят: сквозь тюль и меж

развешанным на лоджии бельем появилась женщина с черными волосами, большая, что-то поделала у зеркала, мелькали, двигались руки и встряхивались волосы, – сделала шаг и – виднее: в черном облегающем халате, смотрит в зеркало и встряхивает пышными волосами, повернулась боком, провела руками под грудью – меряет халат? Снимет прямо сейчас? Тюлевая занавеска лишает деталей. Вдруг она нагнулась, запустила руку под халат и сняла трусы. И опять встала перед зеркалом. В комнату зашел мужчина. Женщина крупная, но мужчина повыше ее на голову, стояли друг против друга, Эбергард заметил: голова у мужчины свернулась на бок – целуются, что ли? Женщина обхватила мужчину сильной рукой, прижалась, и они погасили свет; в оставшихся окнах виднелись старческие ребра под кожей, посыпанной мукой; в одной комнате ночью всегда горел свет за грязной зеленой шторой, и в оставленную щель виднелся лишь кусок стены, лишенный обоев, – голая, неокрашенная штукатурка; он смотрел, смотрел, смотрел на эту штору, другие окна гасли вокруг, а здесь никогда не выключали... вдруг штора сдвинулась и он увидел девушку в пижаме, опять, но только – в другой квартире и на другом этаже лежала неподвижно на кровати, на краешек кровати к ней примостились целующиеся женщина в черном халате и ее огромный мужчина, в кресле отдельно сидел старик напротив телевизора, заложив руки за голову, и думал, что один, девушка, накрашившись, стояла в сорочке телесного цвета на двух нитках и перебирала в шкафу одежду за плечо, потом отошла на кухню, проверила кран, вернулась, туда же зашел щуплый хозяин квартиры с венником и протянул руку к выключателю... Эбергард опустил бинокль; остался шаг, семь часов до суда, всё

приготовлено, но в постели он еще пошептал в темноте: Бог, и ты вложись, пожалуйста, умоляю я, добавь от себя, посоответствуй, один раз, не за что-то, только по доброте, сделай мне завтра, различи мой голос, – взмолился, звал с такой отчетливой, не могущей не подействовать силой, что вдруг оборвал себя от страха: а вдруг повернусь на другой бок, лицом к фонарному свету, и рядом окажется что-то от того, кому молюсь, Он сделается виден, и не смогу как раньше жить, и уже никак; и умолк, искал устроившие бы его условия соглашения: помоги, но чтоб я не был обязан, помоги, но не показывайся, пощади, заранее знаю: не вынесу; я, уже облепленный морщинами, не смогу вместить еще и твоего существования, мне не надо особенного, надежд на потом, я согласен, как все, – оседать, оплетаясь корнями, и рассыпаться, мне, как и всем, – сияющего, какого-то бесконечного, не нужно, самое большее – еще одну встречу с тем, кого выберу, после жизни, одно посещение; кровоточаще болит и слезы только от того, что всем, понимаешь, не хватает еще одного разговора – я бы ему сказал... Посмотрел и убедился... Объяснил, как на самом деле... Вот, оказывается, на кого похожа... Слушал я вас, слушал, а на самом деле было не так... Напрасно ты так поступила... Видишь, я был прав... Не плачь... Хоть иногда навещай... Какая ты стала... Хотелось бы сирень... Всё-таки надстроили второй этаж... Я рад, что у вас так всё сложилось... Вспоминай меня, хотя бы раз в году... Конечно, простил... И ты прости меня. Только еще одну встречу, вечности не надо, мы от того, что отмерено, устаем; почувствовав: не получается больше молиться, безнадежно; и вдруг понял, что Улрике тоже почему-то не спит, и сказал:

– Наверное, в старости я буду одинок. В каком-нибудь вонючем доме престарелых. Буду злиться на всех, что забыли. Что ничего не вышло. И буду ненавидеть молодых.

Улрике лежала рядом, на расстоянии протянутой руки, но – отдельно, тяжело и пугающе неприязненно, словно давно знала что-то еще про них (то, что, Эбергард надеялся, она никогда не узнает) и только посреди ночи могла доставать и понимать это знание и смотрела в ту же сторону.

– А я обязательно буду дружить с другими старушками. Будем устраивать вечеринки. Хохотать.

Они молчали. Словно на ветру, высматривая над рельсами приближающийся тепловозный огонь.

Улрике сказала:

– А может... Может... мы всё-таки будем жить вместе. И помогать друг другу, – нашла его руку и на мгновение, боязливой надеждой протянулось между ними и соединило тепло, то, которого все жаждут; ему казалось: так и не спал, но когда Улрике наклонилась и сказала:

– Вставай, наверное, нам надо ехать, – оказалось: уже собрана и одета. – Почти не спала из-за схваток. – Он дернулся «такси», но всё же позвонил Павлу Валентиновичу: всё урегулировалось, никто за нами не поедет, честное слово, и радость – у подъезда действительно никого, наверное, заступают с девяти, по этому объекту работать круглосуточно нерентабельно; Улрике больно, она повалилась на Эбергарда, он выстукивал адвокату: «Опоздаю. Или без меня», получая яростное: «.....! Я так и знала! Так и знала!!!»; врач, с ней договаривались на определенную сумму, армянка с равнодушным, размеренным голосом и трагически накрашенными губами,

забрала Улрике, от адвоката: «А во сколько ты сможешь? Или вообще не сможешь?!», «Позвони сразу, как освободишься!» К Эбергарду вперевалочку подкатилась веселая, улыбочивая нянюшка, сделанная из ваты:

– А ребеночка мы вам сегодня не отдадим!

Эбергард улыбнулся, моргнул «да», ну знаю.

– Нет, не отдадим, – дразнила, – мы его сперва на вскрытие отправим!

Подбежали и смели ее какие-то черные: хоронить до заката; нянечка отбивалась: идите к главврачу! Толстая, заспанная из приемной: вы – присутствовать? переодевайтесь; медицинская роба; вещи оставьте в «узелочной», штаны Эбергард надел задом наперед, но уже поздно, большие, постоянно сползают, лестницей, в обнявшихся парах, вверх, у лифта на этаже он уперся в каталку: изможденная тихая женщина с распущенными волосами лежала ногами к лифту и пусто смотрела на Эбергарда, на ней, как узелок с вещами, лежал сверток с человеческим существом; он подумал сказать «поздравляю», но промолчал, обойдя эту повозку по широкой дуге. «Немедленно позвони!!!» – отключил телефон; его повели мимо прозрачных стен, иногда раздавались крики, за некоторыми прозрачными стенами торчали высоко поднятые женские колени, ему показывали: ваша? ваша? Нет, эта нет – Улрике не узнал, моей нет, вернулись: Улрике лежала мертвенно-бледная, раскинув руки, схватки прекратились, просто лежала, облепленная какими-то проводами, в мониторе стучало сердце девочки, от ста двадцати до ста сорока, армянка врач скучала, акушерка скучала, что-то там уже проткнули и воды отошли, ждем схваток, здравствуйте, это заместитель главного врача. Крупный плод. Может быть,

кесарево? Холеная заведующая отделением, ее слышно из соседнего бокса:

– Это что здесь за крики?! А ну молчать! Все рожали, и ты родишь, – врачи, взявшие деньги, не могли так, и заведующую приглашали затыкать крикливых.

Там – Эбергард огляделся на соседства – утробой к нему лежала женщина с промежностью, заржавевшей от крови, и смотрела на него ненастоящими глазами куклы, дальше – роженица ждала, смотрела в окно.

– Я не рожу, – прошептала Улрике.

– Родишь, – акушерка вяло повторяла, – родишь. Надо настроиться.

Схватки начались и усилились, ходить, чтобы не так больно, они ходили – от дверей до спинки кровати, он растирал кулаками Улрике поясницу, просил, как научили, «подыши!», она кричала, что не родит, осматривали: шейка еще не открылась, нет, головка не опустилась, Улрике закричала: «Господи, как больно! Я умру!» – Эбергард обернулся к врачу: идет всё нормально, как у всех? Армянка кивнула и не стала давить зевок. Ходили, Улрике кричала уже непрерывно. Шейка открылась, но головка еще не опустилась. Улрике кричала громче всех. Словно в роддоме кричала она одна.

– Сделайте мне обезболивающий! Я не выдержу!

– Не надо так кричать.

– Помогите!!!

Опять он оглянулся: всем же платил, кто поможет? Акушерка раскладывала на столе лоскут клеенки с именем мамы и розовый браслетик – девочка – и больше не делала ничего; почему Улрике не скажет ему: уходи, видит ли она его? Держал ее, кричал «дыши!», мял спину, переворачивайтесь на спину, чтобы ребенку легче дышать, но – так еще больше!!!

Акушерка рывкнула:

– Ты зачем сюда пришла?! Рожать? Ребенок не родится без тебя! Это что за истерики?!

– Не трогайте меня! – Улрике словно потеряла сознание, но страшно закричала опять.

Акушерка тормошила:

– Хочешь в туалет по-большому? Давит на прямую кишку?

Врач (с ней же сошлись на пятьсот долларов!) вообще куда-то вышла, акушерка задрала Улрике ногу:

– На схватке начина-а-аем тужиться... Ну, давай! – и так надавила на ногу Улрике, что чуть не разорвала пополам. Эбергард попятился к дверям. Улрике кричала так, словно внутри нее что-то рвалось и лопаюсь. – Всё! – акушерка цапнула Улрике за руку. – Поднимайся рожать, – подталкивала к ржавому, облупленному приспособлению из досок, колесиков и шестеренок, застеленному салфеткой, – когда успели застелить? – на ногах Улрике уже оказались серые бахилы, ее тяжело вели, тащили, словно шар, как по горячему песку, зажмуренно от боли, вернулась врач: уже начали? – Эбергард выбрался в коридор; тужься, тужься! кричали – умница! Тужься, еще давай!!! Улрике начала кричать взрывами, так, словно ее отгрызали кусками – ногу! руку, – кричала голосом какого-то животного, врач выглянула: не хотите зайти и поддержать голову? – у Эбергарда на глазах проступили слезы – почему? Девочка не может умереть, Улрике не может умереть. Он прошел по коридору дотуда, где над батареей светило окно, где собирались все крики из боксов и перемешивались между собой, только чей-то стон оставался отдельным: «Я не могу! Я не могу-у-у!» – в коридор выступила врач в маске:

– А где папа? Пусть идет смотрит на свою девочку.

Он пошел – не спеша, – и все на него смотрели; девочка – красная, с морщинистыми лапками – лежала на свету лампы и смотрела на Эбергарда, голова, поросшая, как кокосовый орех, фигурная верхняя губа, светлые синеватые глаза, опухшие веки. Гордый вид. Торчат редкие ресницы. Маленькая Улрике.

Обессиленная, окровавленная Улрике смотрела на девочку и вдруг окликнула его:

– Папа! – точно так же, как звала его Сигилд.

Акушерка ловко измерила пеленкой, взвесила, завернула и отдала девочку Эбергарду. Его отвели в детскую, где уже лежали на боках два малыша в прозрачных корытах, он смотрел на девочку, свою вторую дочку. Она раскрывала рот, показывала широкий язык, приподнимала веки и сонно всматривалась: кто ты? А Эбергард держал эту нежную, ощутимую, несомненную тяжесть – щенка, гусеницу, – слепой кусочек ворочался, искал удобств и жил у него на руках: а ведь это я втравил ее в это дело, понял он, в жизнь. Подошла акушерка:

– Красавица. Значит, твой папа очень любит маму, раз ты получилась.

Но все деньги остались в костюме в «узелочной», я потом.

Вышел, позвонил маме, купил красное яблоко, Павел Валентинович кивал «поздравляю», «поздравляю», «дай-то Бог!». Эбергард увидел: на балконе дома через дорогу, в теплом сумраке старушка стоит и курит, глядя на весенние ветки; он подумал: жизнь, живи этим, тем, что оттаёт земля, – и немного постою, легким, но скоро всё вспомнил, послал адвокату «еду!»; год не видел бывшую жену – вот и свидимся, про Эрну боялся думать; в Европе и здесь аномальное тепло, прыскал дождик на снег, по автомобильному



стеклу ртутно сползали капли, обещали еще холода, но неуверенно, ни разу в эту зиму на коньках, и в прошлую; хотелось купить газету, но это минус тридцать секунд, он разыскивал взглядом красивые лица (если находил, то рассматривал не только лица) студентов, розовощеким, голоногим потоком хлещущих по тротуарам в сторону университета; паспорт – потрогал карман: есть; постояли у светофора и повернули – к суду. Эбергард сидел неподвижно, но понимал, что у него трясутся руки, молчал, но понимал, что у него дрожит голос, – иди; ворвался в суд, в коридоре второго этажа разминулся с незнакомой женщиной в белом свитере, оказавшейся Сигилд; специалисты опеки, почему-то сидевшие в коридоре, перекрасили волосы, его сцапала за руку адвокатша (красивая, неправдиво красивая, признавал он) и затолкала – сюда! – в пустующий зал заседаний, он занял судейский стол, смотрел в зарешеченное окно, стараясь не задеть коленом «тревожную» кнопку.

– Повезло, перерыв – пусть чайку попьют, – Вероника-Лариса гладила его ладонь. – Спокойно. Эрну уже опросили и увезли. Готов слушать мой план? – Нагнулась и поцеловала. – Извини, не выдержала, так страдаешь, мой родной, – потрогала его лицо уголком влажной салфетки. – Всё, ничего не осталось, – села тесней, потрогай грудь. – Выступаешь подробно, много ласковых и сентиментальных слов. Очень уважительно про бывшую супругу. Напирай на то, что можешь дать много. И для здоровья. Если Сигилд начнет гавкать с места, ничего в ответ, просто всё отрицай: не было такого. К ругани супругов судья относится спокойно. Если скажет: встречи с отцом плохо действуют на Эрну, мы сразу: ходатайствуем о проведении психологической экспертизы и выражаем го-

товность ее оплатить. А сейчас с первых же слов – смягчаем требования! Судье понравится. Сегодня же, после суда – ты запоминаешь? – звонишь Сигилд и говоришь: давай забудем про суд, прошло и прошло, давай прямо сейчас встретимся и договоримся по-хорошему, как и когда я буду встречаться с Эрной, черт с ним, с графиком, я считаю: ты – лучшая мать для Эрны и вообще – лучшая мать на свете, да и жена... Вот так – дословно – ей скажешь. Понял? Сыграем на перепадах температур! Улыбайся, мне страшно на тебя смотреть! – В зал заглядывали приглашенные «стороны», испуганно всматриваясь в Эбергарда: наш судья? – Уходим; всё может испортить только позиция опеки, всё, нас зовут, мы у окна, садись. – «Те» адвокаты довольно и презрительно ухмылялись: вот он, наш... заявился... – Ваша честь, по поручению моего клиента я бы хотела уточнить исковые требования: в части сопровождения на внешкольные занятия с трех раз в неделю снижаем до двух, в части совместного проживания – с двух суток до «два дня, одна ночь» и выражаем готовность увеличить денежное содержание девочки на двести долларов в месяц.

– Что это... Вы бы написали! – вскочила «та» адвокат.

– Уточнение, по Гражданскому кодексу, достаточно устно озвучить! – отчеканила Вероника-Лариса и села.

Судья поворошила листки и неожиданно объявила:

– Оглашаются показания несовершеннолетней Эрны, такого-то года рождения, ученицы гимназии...

Эбергард, оставаясь сидеть, встал покрепче посреди бойни и, продолжая видеть («те» адвокаты ликующе устраивались поудобнее, переглядывались с Си-

гилд, раздували капюшоны под своими змеиными мордами), зажмурился, подставил голову под удар, важно не задерживать дыхание...

– Учится в гимназии на хорошо и отлично... Сегодня пропускает алгебру. Алгебру любит. Но геометрию любит больше. Так... больше хочет общаться с мамой, чем с папой. Своей семьей считает маму, маминого мужа, братика... Мамин муж ходит на родительские собрания, помогает делать уроки... Отец и родственники отца давно уже не звонят ей, не пишут, никуда не приглашают. Если у нее будет свободное время, лучше посидит дома одна или пойдет к подругам, чем встретится с отцом... Накануне суда отец позвонил ей и с угрозами требовал, чтобы не приходила на суд... Есть какие-то вопросы? Имеете что-то добавить?

Сигилд торжественно поднялась и встала к трибуне, кроткая и взволнованная, кормящая мать, разлученная жестокими обстоятельствами с младенцем:

– Отец общался с Эрной, сколько хотел... Его не ограничивали никогда... Сам не звонит, не пишет... Ее желаний не учитывал... Дочь ему не нужна... Не давал согласия на выезд, чтобы наказать... Я никогда не скрывала, где отдыхает летом дочь... Все знали... Он просто не удосужился спросить! Заявил в милицию. Дочь боялась, что ее снимут с поезда! У нас спокойная, любящая атмосфера в семье... Этому человеку семья не нужна, он ее предал! Я готова ответить на любые вопросы.

– Он может приходить к дочери домой? – вяло спросила судья, Эбергард увидел ее – такая же, как и в прошлый раз: официальное пыльное лицо с неразличимым выражением, короткая пожизненная стрижка; недосыпание, бешеное утро – он почувствовал себя сделанным из резины.

– Ну, наверное... Когда мужа нет дома. И когда я гуляю с ребенком.

– Вопросы...

Вероника-Лариса показала глазами: ну-ка, дай ей!

Эбергард качнул головой:

– Вопросов нет.

– Хорошо, – также невыразительно продолжала судья. – А что истец желает пояснить?

Адвокат давила ему коленом о колено: ну! мы же договаривались, вспомни, ну! – и отодвинулась, давая ему посвободней подняться: сейчас!

– Ничего.

– Вставайте, когда отвечаете суду.

Вот теперь Эбергард поднялся.

– Подождите, как это... А зачем же вы тогда подаете иск? – рассмеялась одна из «тех» адвокатш: так она и думала, кончится этим.

– Я всё изложил на прошлом заседании.

– Ничего себе! Так надо сейчас доказывать...

Сигилд разочарованно мяла в руке какие-то густо исписанные графики и таблицы, выученную роль с паузами и слезами: представление задерживалось, как бы не отменилось; Эбергард неожиданно для самого себя опустил на стул. Когда закончится, подмигнет красивой секретарше суда, кивнет опеке и пойдет.

– Опека здесь? Ваше мнение... – продолжал течь сухой песок.

– Мы поддерживаем иск.

Общее дыхание запнулось, «те» адвокаты, что-то обещавшие Сигилд, подходившие к судье, заносившие судье, отработавшие по всем направлениям, с одинаковым удивлением взглянули сквозь очки на пустую ячейку в камере хранения: так ведь только что положили... И нет.

Опека, не поднимаясь, перехватив по-другому руки еще раз:

– Мы поддерживаем иск.

Судья Чередниченко торопливо и громко поднялась и ушла писать решение, «те» адвокаты сюсюкающе перешептывались с Сигилд, та расписывала, как любит Эрна попугаев и собак, опека строго и обиженно на всех молчала, Эбергард читал в телефоне новости из Интернета (Литвиненко отравили полонием), Улрике, наверное, спала; Вероника-Лариса разочарованно смотрела на дверь: ее открывали какие-то разные люди и заглядывали: всё? не всё?

Адвокат заставила себя нагнуться к нему:

– Всё хорошо. Сигилд фактически признала, что летом вывезла дочь без твоего согласия. В случае отказа дать график судья быстро бы вернулась. Что случилось? Что с тобой случилось? Ты мог всё испортить. Не хочешь говорить? Я с тобой!

Прошло полчаса или час, Вероника-Лариса тихонько рассказывала ему случаи из практики, вопросы наследования, адвокатская премия составляет процент от осужденного имущества. До пятнадцати процентов. Гражданские жены, не упомянутые в завещании, пролетают по полной.

Внезапно – вздрогнули все – вошла, как вбежала, судья, все почему-то сразу вскочили, и Эбергард, он и не думал, что всё происходит так (стол подвинул вперед, чтобы стоять ровнее); судья, не садясь, еще не остановившись, с последнего шага забубнила не полностью различимое:

– ...Иск удовлетворить и назначить следующий график... Встречи: пятница и суббота с пятнадцати ноль-ноль с ночевкой – раз в две недели... Пять дней совместного отдыха – весенние каникулы... Пять

дней совместного отдыха – осенние каникулы... Две недели – на летних каникулах... Беспрепятственный выезд отца на отдых с дочерью... Совместное празднование Нового года – один раз в два года... Совместное празднование Пасхи – один раз в два года... Сопровождение на внешкольные занятия – два раза в неделю... Так, есть там кто по иску Аладыных? – это судья уже крикнула в коридор. – Пришли? Заходим, – и новые люди повалили внутрь, все зашевелились, заторопились, замелькали воздетые рукава, заматывались шарфы, Эбергард подмигнул секретарю суда, задержался – «спасибо!» – возле не желавшей видеть его опеки; неподвижно сидели только «те» адвокаты, поправляя очки и поджимая губы, раздраженно оглядываясь, словно купили билеты в театр у спекулянтов втридорога, а оказалось – неудобные места... Шли, шли, шли, потрясающее решение, говорила адвокат, – по точности, полноте, неопровержимости и удовлетворительности требований – всё, что ты хотел. Даже больше! Рад? Молодец я у тебя? «Те» адвокаты – ты видел? – в истерике! Ей хотелось праздновать, еще обсуждать, отказываться от горячих благодарностей и, скорее всего, услышать от Эбергарда что-то еще, что-то и о другом, но адвокат крепилась: дело, закончить дело, – и красовалась в своем: ты же сам знаешь, твое счастье – самое важное для меня; может быть, хочешь побыть один, может быть, я тебе мешаю? – безошибочно определяла она; звони! звони Сигилд; выключен телефон; подождем; звони еще; выключен... Они сидели в кофейне «Сан-Паулу» – почему ты не захотел говорить на суде? Не смог? Звони Сигилд. Отключен. Может быть, позвонить Эрне? Может, она знает, где мама? Ну что? У Эрны – есть гудок... Не берет трубку. На уроке. Ее

же повезли в школу. Подождем. Надо именно сейчас. Позвони.

И – Сигилд ответила: слушаю – словно оттуда, со скорбного, асфальтового неба.

– Ты была очень красивая сегодня, – и взглянул мимо Вероники-Ларисы, показывавшей «так ее! супер!». – Увидел тебя и понял: никто мне не будет лучшей женой, чем ты, – слушал растерянную тишину, влажную тишину, ночную. – И ты – очень хорошая мать нашей дочке, – ничего не слыша в ответ. – Забудем про суд. Давай просто встретимся сейчас и договоримся, как сделать лучше Эрне, всем нам... А потом я отвезу Эрну на английский.

– Сначала надо всё обсудить, – Сигилд стояла уже где-то рядом, упрямо наклонив голову.

– Всё обсудим. Ты подумай, как лучше. Куда мне подъехать? Но Эрну я могу отвезти уже сегодня.

– Давай сначала поговорим.

– Сигилд, если мы хотим начать заново, по-доброму, если идем друг другу навстречу... Чтобы без решений суда, – вздохнул, – и ответственности за их неисполнение, – вряд ли рядом с ней остались адвокаты, некому прошептать «это ничего не значит!»; Вероника-Лариса трясла кулаком: бей! добивай! – Почему я не могу увидеть Эрну сегодня?

– Ну... Она не очень здорова. И, может быть, ей вообще лучше не ходить сегодня на английский.

– Ладно, тогда я встречу ее после школы и просто отвезу домой.

– Я не уверена... Приезжай через час в парк, я буду там гулять. Там решим.

– Хорошо, приеду, и всё решим. И я успею забрать Эрну из школы, – он перестал видеть Сигилд; прямо напротив сидела неизвестная, ненужная ему

женщина с хищным ртом, повизгивала от счастья и торопила:

– Езжай, не теряй времени! Купи что-нибудь ее ребенку! Ох, как я хочу выпить! – И сладко заглянула в себя, он же понимает, почему не будет она пить. – А то... о чем ты хотел со мной поговорить... Мы поговорим потом, попозже, спокойно, всё решим и обсудим, – при любой возможности адвокат теперь поглаживала его.

Что-нибудь подороже, а сколько мальчику (он пошевелил пальцами), месяца три-четыре; крупный? средний; вот очень хороший свитер, и носочки возьмите, ценники оставлять? Он заметил меж обочинных деревьев, на пустом месте, где встречались и расходились обе основные дороги собаководов и молодых матерей, длинное черное пальто, коляску и собаку, остановил раздраженного Павла Валентиновича: развернитесь и припаркуйтесь здесь, чтобы потом мы сразу к гимназии; птицы скрипели безостановочно, как лебедки, то снижая, то повышая тон, плачущего маленького человека вели домой, по встрече с завыванием и мигая, обмахиваясь синими вспышками без спешки, прокатила милицейская «Лада», забитая милиционерами в теплых фуфайках, – всё, и водитель, с наслаждением курили; телефон, его позвала Улрике:

– Милый, любимый наш папка! А мы уже проснулись! А мы уже тут пытаемся покушать! И внимательно слушаем, с кем это мамочка так говорит... И морщим свою носопырку! Как суд?

– Сейчас перезвоню.

Вспугнув голубей с розовыми лапками, сделанными из червей, увидел, как тонкие ветки переплета-



лись вверху хрупкими остатками высохшей плоти, в наступившей субботней тишине он пошел по кратчайшей, по обветренной и заледеневшей снежной корке, чуть проседая, к Сигилд; не сразу, потом, уже совсем потом он по-настоящему жалел и по-настоящему любил ее, только когда влюблялся в другую – чувствуя вину или когда болела; так она однажды сказала в ответ на обидное: «Ну ничего. Вот я попаду в больницу, и ты опять полюбишь меня»; смотрела, смотрела, а потом дернулась, вырвалась и понеслась к нему собака – не мог отбиться, так плакала, тыкалась и скулила, отпихивая мордой шуршащий пакет; счастливо гладил ее, чесал и, с трудом, как с заплечным мешком, разогнувшись, по протоколу заглянул в коляску. Там лежал лобастый, белолицый и курносый мальчик, очень спокойный. Не спал и особо никуда не смотрел, вообще не издавал звуков. Они хотели еще с Сигилд ребенка, именно мальчика, ну, или девочку. Просто не хватило времени. Они стояли рядом, ближе не сдвигаясь, проложенные невидимой чугунной плитой; как два магнита, обращенные друг к другу одинаковыми полюсами, – не могут преодолеть упругую, злую полосу воздуха и – друг друга коснуться; отвернувшись в одну сторону, словно стоял и снимал их фотограф, и смотрели друг на друга впервые за так долго, и могли лишь так – через объектив фотоаппарата: пусть таким она увидит меня, такой он увидит меня, что-то еще пытаюсь договорить – друг другу. Поднявшаяся земля в этом месте прекратила подниматься – они стояли на вершине, оставленные вдвоем после всего, что уже кончилось. Отдал пакет, пошли рядом, забрал и покатил коляску главным путем, проглаженным снежокатами, исполосованным санками и разрезанным колясочными колесами, – этот парк

он весь исходил, память в руках и ногах: где выступает труба, где каждую зиму протаивает лед на мокрой, упрямо зеленеющей земле...

– Сколько денег на адвокатов. Отнял столько нервов, – горьким голосом, с гордостью добавила: – Купил опеку.

– Да ладно.

– А то я тебя не знаю. Ты вообще нервнობольной человек. И всё хорошее в Эрне – это от меня. А всё плохое – от тебя, – она почувствовала ошибку: в Эрне ничего не может быть от него. – Зачем ты всё это делал?

Он поднял руку с забулькавшим телефоном – новое сообщение, принято сообщение без текста, со странного короткого номера, вообще – пустое сообщение.

– Я потом тебе скажу.

– Когда?

– Когда нам будет по семьдесят пять лет и будем гулять вот тут с палочками между березок.

– Мы не доживем, – и Сигилд одернула себя, – и не будем гулять!

– Подумай, пожалуйста, в какие дни мне лучше встречаться с Эрной... Она в школе? Во сколько она сегодня заканчивает? В два тридцать?

– О, она давно уже так не заканчивает. По графику подумаю и напишу тебе. Давай не будем спешить. Она привыкла, что ее забирает Федя. Он подружился с родителями ее подруг... Вот если он не сможет, тогда будешь забирать ты.

– Нет, это если я не смогу, будет забирать он... У нас есть решение суда. Сегодня Эрну заберу я. Сразу привезу домой – это пятнадцать минут. – Колющая вода начинала моросить в щеки, как только они останавливались.

Сигилд показательно вздохнула: как он не понимает, это никому не надо, Эрне это не надо, она боится, стыдится безумного отца, глупая прихоть.

– Ну почему это надо начинать именно сегодня?

– Мы же договорились – уступать, решить вопрос по-хорошему. Давай я сегодня за ней съезжу. Когда заканчивается урок?

– Скоро. Через пятнадцать минут.

– Получается, пора ехать.

– Они еще гуляют после школы. Сцепятся и ходят кругами, и ходят. А мальчики следом. Сидят на лавочке на крыльце... Ты должен понимать: мой муж очень много делает для Эрны и в плане воспитания, и в материальном плане...

– Это очень хорошо, – подхватил Эбергард, ветка мягко погладила его волосы; опять достал телефон, пусть в этом сообщении что-то будет. Но: с того же номера и – без ничего. – Поеду, чтобы Эрна не ждала.

– Ты можешь хоть сейчас забыть про свои дела? А ты выбрал себе... Мне такое про нее рассказывают. Подсыпала тебе порошки в чай, чтобы ты в нее влюбился! Все видят, какая она, один ты не видишь. Дай Бог, настанет время, когда ты поймешь, ради какого ничтожества...

– Да, – он поскорее катил коляску и смотрел вокруг на коричневые и серые дома обыкновенного дня, все смотревшие мимо, и улыбался ветру с наслаждением, и дышал, дышал... всё двигалось вокруг, вокруг парка катили машины, легкий настоящий ветер налетал и слабо шумел, как отголосок незатихающих автомобильных бурь, протыкаемых резкими сигналами. Они дошли до пруда, как делали всегда, и, ловко и заученно одновременно развернувшись, назад – к перекрестку тропинок, где удобней разойтись.

Он заспешил, но скрывал, чтобы не передумала Сигилд. – Ну, всё? Я поехал. Пока. А ты расскажи мне что-нибудь про Эрну. Только без того, что я подлец, – хоть немного про «она и я», как прошло это огромное время.

– Эрна. Эрна очень хорошая. Ласковая. Чувствительная. В классе одна из звезд. Много читает, любит, может быть, это мое упущение, подростковые такие журналчики... А там столько ерунды! Не хочет взрослеть. Не хочет замуж. Никаких проблем взрослых людей не хочет. Может поплакать из-за этого... По тебе она, конечно... Почему твоя машина уезжает? Она вернется? Так ты не успеешь за Эрной, – заинтересовалась: – Или у тебя есть какая-то новая машина?

Эбергард оглянулся – Павел Валентинович уже заворачивал за угол паломнического центра и на Руднева сразу перестроился в крайний ряд, чтобы уйти в сторону области, – всё.

– Да всё в порядке. Я успею и встречу. Побежал.

– И – Эрна очень любит моего мужа. Они очень сблизилась, можно сказать, сроднились. Может быть, Федя сейчас даже поближе к ней, чем я. Но это известно, девочки в этом возрасте тянутся, – и потише, но старательно она досказала, – к отцу.

Он открыл, погасил и стер еще пустое сообщение и выбирал «куда?», представляя: вот я иду, что я делаю потом? ловлю машину; как пойти – к троллейбусным остановкам за прудом, к парковке у бильярдного клуба или к светофору на перекрестке Руднева и Первой Магистральной, отсюда больше некуда; никто не видел его, там, там и вот там шли люди, птицы неслись черными тряпками, мир только кажется бесконечным, на самом деле – всё сводится к двум-трем направлениям, освоенным людьми.

– Ну, всё! А то опоздаю. Спасибо тебе, – и он взглянул на юное, прекрасное лицо девятнадцатилетней девчонки, схваченной когда-то им за руку, не вытерпевшее и всё-таки проступившее сквозь черты усталой избитой женщины; взглянул своим тоже ставшим другим лицом, веселым, изначальным лицом первых ходов, первых ночей, ежедневного счастья, словно, не прокручивая ничего назад, его просто вернули на мгновение в начало, чтобы он запомнил, «как» и «какими» они встретились и взялись за руки; переполняясь разными несложившимися частями слов, а больше уже было некому, не оставалось, – Сигилд...

– Одну минуту. Я всё пока не считала, но раз ты выразил желание как-то увеличить то, что ты даешь... У меня дополнительно получилось – отдать тебе расчет? Там с контактными телефонами, ты можешь проверить – десять тысяч двести за все – абсолютно все! – внешкольные занятия. Это за месяц. Ты можешь сейчас отдать?

– Нет, я завтра передам.

– Может быть, хотя бы часть? Подожди. И еще. Я бы хотела, чтобы ты оплачивал корм собаке. Можешь? Я могу рассчитывать?

– Да. Завтра.

– Я дома до одиннадцати, потом в парке.

– Я всё отдам. Я поехал к Эрне. Ну, счастливо тебе! – он выдохнул, попытался вытолкать наружу снежную тяжелую массу, подтаивавшую и разбухающую в груди, нагнулся и поцеловал vareжку, незнакомую, купленную после него, на руке бывшей жены, державшейся за коляску, сказав вдруг, как упустив из рта:

– Прости.

И она уронила руку и дотронулась, пока он не видел, пока их никто не видел, наверняка смотря в сторону, вслепую, и чуть сжала его плечо, сказала другим голосом:

– Почему же ты не идешь?

И он, сжав загривок собаке, пошел к Эрне, сразу по всем возможным дорогам, стесняясь побежать сразу, немного отойду – побегу; и – деревья, вот кто узнал его, вот кто видел его, они стояли семьями – лиственницы, дубы, березы и каштаны, – дожидаясь, когда он заметит их, вот они его помнят, веселого человека, он бегал здесь за хохочущей дочкой и подсаживал ее медвежонком на толстую нижнюю ветку, бросал мячик собаке, прятки, салочки, корабли в весенних потоках, кленовые когти в замерзшей руке, и миг, когда они, запасаясь на будущее, навсегда, замирали лицом к лицу, щекотно соприкасаясь носами, ничего не говоря, – деревья, убедившись, что он заметил их, пошли безного, коряво расставляя ветви, навстречу, говоря: «как давно ты не...», не стыдясь уродства зимнего обнажения, опиленных и обломанных сучьев, трещин, кривых стволов, и каждое росло и выглядело по-своему, словно было когда-то человеком, а вот теперь стоит деревом, после жизни, и то, что нам кажется небом, на самом деле – земля.

Во время войны в школе был госпиталь, от старых времен Эбергард застал еще высокие четырехгранные столбы с потемневшими, а когда-то белыми шарами наверху напротив школьного крыльца – к столбам крепились, наверное, ограда и ворота, возле них собирались по дождливым сентябрьским (первые чернильные следы на пушистых розовых промокашках) вторникам и четвергам, дожидаясь автобусов «на картошку» (вдруг вспомнил: автобусы называли

«скотовозы»); столбы сломали, но он вспомнил их, надо сказать Эрне: здесь стояли столбы с остатками советской светло-коричневой краски, и ничего не писали на них, тогда, когда он ходил в первый или второй класс, не писали на стенах; и на этом же углу, на месте правого столба (если лицом к крыльцу), потом последней школьной весной он посадил на субботнике каштан, ни на что не рассчитывая, в другом городе, он же не коренной, но теперь школа, где был госпиталь, как-то оказалась здесь, каштан прижился и вон поднялся каким; Эрну он сразу заметил – и она подросла; выросла; она так выросла, словно ей семнадцать лет; если на каблуках и встанет рядом – как бы не повыше его; а в кого ей быть маленькой: мама высокая, папа высокий; лишь бы не стеснялась и не сутулилась. Эрна стояла с девчонками, с высокими такими же, они одновременно и стояли, и как-то двигались, перебегали, прыгали, подталкивая друг друга, крича и смеясь, – не получалось пока увидеть ее лица, всё время заслонял кто-то, а когда не заслоняли – какое-то сияние слепило Эбергарда, по глазам жгуче бил свет, но он точно знал, за светом этим – Эрна; это она, там; Эрна, звал он, Эрна, уже не первый раз, но не выходило так, чтобы она могла услышать: то получалось тихо слишком, шепотом каким-то, сипенье, то усиленный голос его заглушали проходящие мимо разговоры, не хотелось кричать, глупо. Эбергарду не хотелось мешать ей, торопить, никаких неудобств, вдруг Эрне станет неловко перед подругами от его криков, он может подождать, теперь можно не спешить, пусть Эрне понравится, как он ее забирает, и она не будет против, если он придет и завтра; поэтому он просто ждал, подготовленно чуть согнув правую руку, чтобы сразу взмахнуть рукой, как только

сияние продлится чуть дольше, как только у Эрны появится побольше возможности его заметить: вот – я; но упустил – вдруг! – в одно просто мгновение произошло: Эрна увидела, замерла, продралась сквозь окружавшие плечи и быстро-быстро побежала к нему, делаясь почему-то поменьше ростом; толком так и не видя лица, он всё-таки знал: такое лицо у Эрны бывает, когда она собирается добежать, сказать, что случилось, обхватить и сразу заплакать, тут надо успеть до слез; он присел, протянув к ней руки, улыбаясь «ничего, ничего», – его маленькая дочка бежала к нему, неся свое горе, – еще не коснувшись, Эбергард уже чувствовал, как руки его – как всегда – подхватывают и подбрасывают девочку, и над его головой, забыв всё плохое, она с восторгом кричит:

– Папа! – и возвращаясь – мягкой тяжестью ударяет ему в грудь.



*Литературно-художественное издание*

**Терехов Александр Михайлович**

## **НЕМЦЫ**

Ответственный редактор *Е.Д.Шубина*

Литературный редактор *Г.П.Беляева*

Выпускающий *А.С.Портнов*

Технический редактор *М.Ю.Байкова*

Корректоры *О.Л.Вьюнник, Н.П.Власенко*

Компьютерная верстка *Е.М.Илюшиной*

ООО «Издательство Астрель»

129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

Издание осуществлено при техническом содействии

ООО «Издательство АСТ»

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14